

НОВЫЙ Журнал



НЬЮ-Йорк

**THE
NEW REVIEW**
Новый Журнал

Основатели М. Алданов и М. Цетлин – 1942
С 1946 по 1959 редактор М. Карпович
С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев
С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль
С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор)
Г. Андреев, Л. Ржевский
1976 – 1981 редактор Роман Гуль
1981 – 1983 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Е. Магеровский
1984 – 1986 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Ю. Кашкар, Е. Магеровский
1986 – 1990 Редакционная коллегия
1990 – 1994 редактор Юрий Кашкар
1994 – 2005 редактор Вадим Крейд

Восемьдесят третий год издания

Главный редактор – Марина Адамович

Редакционная коллегия:

Марина Гарбер, Ренэ Герра, Елена Дубровина, Мария Рубинс,
Александра Смит

Ответственный секретарь – Наталья Бернадская

Редакция: Владимир Гандельсман, Наталия Гастева, Рашель Миневич

The New Review, Inc.:

T.Chebotareva; G.Glinka; S.Kishkovskaya, P.Khlebnikov; G.Mesniaeff;
A.Neratoff; N.Sluchevsky, P.Tcherepnine; V.Torchilin, L.Vulfina,
Y.Vulfin, M.Adamovitch.

Обложка художника М. Добужинского

THE NEW REVIEW

№ 320, сентябрь 2025

© 2025 by THE NEW REVIEW

Рукописи не возвращаются

Перепечатка материалов «Нового Журнала» без письменного разрешения редакции запрещается. Размещение материалов «Нового Журнала» онлайн без письменного разрешения редакции запрещается.

Редакция не несет ответственность за содержание публикуемых материалов. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых ими фактов и цитат.

THE NEW REVIEW (ISSN 0029–5337) is published quarterly
by The New Review, Inc., 1216 Broadway, 2nd floor, New York, N.Y.
10001. Periodical postage paid at New York, N.Y. Publication No. 596680.
POSTMASTER: send address changes to The New Review, 1216 Broadway,
2nd floor, New York, N.Y. 10001

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

Литературная премия им. Марка Алданова. 2025. Итоги	5
<i>Андрей Красильников</i> – Семнадцатый год. Роман	6
<i>Евгений Чигрин</i> – Перевернутое пламя. Стихи	55
<i>Григорий Марк</i> – Стихи	62
<i>Алла Дубровская</i> – Агамемнон. Повесть-миф	68
<i>Борис Фабрикант</i> – Стихи	100
<i>Виталий Павлюк</i> – Стихи	104
<i>Улья Нова</i> – Баронесса Ниццета. Рассказ	111
<i>Игорь Гельбах</i> – В мастерской художника. Повесть	136
<i>Вера Зубарева</i> – Стихи	159
<i>Владимир Торчилин</i> – Собаки и люди. Рассказы	162
<i>Сергей Лейбград</i> – Стихи	182
<i>Ольга Вольпин</i> – Стихи	185

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

<i>М.В. Винарский, Е.А. Анненкова</i> – Письма Н. Мандельштам А. Любичеву и О. Орлицкой	189
Письма Н.Я. Мандельштам (<i>Публ. – М. Винарский, Е. Анненкова</i>)	195
<i>Виталий Шейнин</i> – А.А. Шайкевич и его книга	236
<i>А. Шайкевич</i> – Ольга Спесивцева. Околдованная волшебница. Главы из книги (<i>Публ. – В. Шейнин</i>)	249
<i>П. Глушаков, М. Мишуrowsкая</i> – Булгаковская статья Е. Эткинда	267
<i>Е.Г. Эткинд</i> – Новый чорт Булгакова. 1967 (<i>Публ. – П. Глушаков, М. Мишуrowsкая</i>)	270
<i>М. Адамович</i> – К юбилею Леонида Ржевского (1905–1986)	275
<i>Леонид Ржевский</i> – Пилатов грех. 1968	284

ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА. ЛИТЕРАТУРА

<i>Лариса Вульфина</i> – Художник Федор Рожанковский. Главы из книги	301
<i>Олег Лекманов</i> – Как и из чего сделан «Неживой зверь» Н. Тэффи	326

ИНТЕРВЬЮ

<i>Людмила Оболенская-Флам</i> – Гуд-бай, Голос? Интервью НЖ	332
--	-----

БИБЛИОГРАФИЯ

<i>Книжная полка Юлии Баландиной</i> – The Russian Intelligentsia: Myth, Mission, and Metamorphosis. Ed. S. Forrester, O. Partan	345
<i>Евгений Сухарев</i> – Бахыт Кенжеев. Избранное: 1972–2024	358
<i>Ирина Муравьева</i> – Елена Холмогорова. Недрогнувшей рукой ...	365
<i>Игорь Мандель</i> – Год поэзии 2024. Сост. Виктор Фет	367

Уважаемые читатели!

Вы можете приобрести отдельные архивные номера журнала, начиная с 1953 года. Цена экземпляров определяется годом выпуска. Все подробности вы можете узнать в редакции НЖ, написав нам:

newreview@msn.com

newreviewinc@gmail.com

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ имени Марка Алданова. 2025

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ конкурса на соискание звания лауреата Литературной премии им. Марка Алданова, 2025 год.

В конкурсе принимали участие прозаики из Армении, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Италии, Канады, Казахстана, Кипра, Латвии, Молдовы, Нидерландов, Сербии, США, Финляндии, Черногории.

ШОРТ-ЛИСТ ПРЕМИИ (в алфавитном порядке):

Раушан Байгужаева – «Джигит на золотом коне» (*Казахстан*)
Мила Борн – «Черничный торт из темной материи» (*Германия*)
Александр Димидов – «Жогин» (*США*)
Михаэль Кречмер – «Айман Ш. едет в Тель-Авив» (*Израиль*)
Григорий Скляр – «Человек и вертолет» (*Германия*)

Призовые места распределились следующим образом:

1-е место:

Григорий Скляр – «Человек и вертолет» (*Германия*)

2-е место:

Михаэль Кречмер – «Айман Ш. едет в Тель-Авив» (*Израиль*)

3-е место (*равное количество баллов*):

Раушан Байгужаева – «Джигит на золотом коне» (*Казахстан*)
Александр Димидов – «Жогин» (*США*)

Лауреатам высланы дипломы и подарена годовая подписка на «Новый Журнал». Тексты лауреатов будут опубликованы в «Новом Журнале» и на сайте корпорации. Корпорация, редакционная коллегия и редакция «Нового Журнала» поздравляют лауреатов и желают им новых творческих успехов!

Членами жюри в 2025 году были: Людмила Улицкая, прозаик, общественный деятель, лауреат премий «Русский Букер» (2001), «Большая книга» (2007, 2016) и др. (Германия); Ирина Муравьева, прозаик, номинант на Букеровскую премию (2005), long-list «Большой книги» (2009) и др. (США); Марк Уральский, литературовед, историк, публицист (Германия); Владимир Гржонко, прозаик, журналист, радиоведущий, дважды лауреат Премии им. Марка Алданова (США); Вадим Яромилинец, прозаик, журналист, организатор Литературной премии им. О.Генри «Дары волхвов» (США), Марина Адамович, главный редактор «Нового Журнала» (США).

Об условиях приема рукописей на конкурс «Литературная премия им. Марка Алданова. 2026» см. сайт НЖ: www.newreviewinc.com

Оргкомитет Премии им. Марка Алданова

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

Андрей Красильников

Семнадцатый год*

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Братья Александр и Владимир не виделись целую вечность.

Расставания у них случались и раньше, иногда надолго, но чтобы полтора года друг без друга – никогда. Впрочем, если бы не смерть отца, могло быть и дольше.

До этого причиной самой большой разлуки стал нелепый поступок Владимира.

Как и старший брат, он обучался сначала в Воронежском Михайловском кадетском корпусе, а затем в Павловском военном училище, по окончании которого отправился в чине подпоручика в 202-й резервный Старобельский полк, дислоцированный в Харькове. Поселился на тихой Нетеченской улице, параллельной одноимённой набережной, и быстро сошелся с жившей там же мещанкой Клавой Кондрыкиной. Если у молодого офицера поводом к тому явилось вполне объяснимое естественное желание женского общества, то девица действовала с дьявольским расчетом. Она входила в местную ячейку партии социал-демократов и получила там задание обольстить и переагитировать кого-нибудь из армейских. Шел девятьсот шестой год, революция в самом разгаре, а харьковским эсдекам никак не удавалось внедрить своего человека в расквартированный в их городе полк. И тут подвернулся такой шанс! Ее давний ухажер купеческий сынок Виктор Кнабе даже не думал ревновать: партийный долг превыше всего. Руководитель ячейки Соломон Гликин, считавшийся большим знатоком законов, поскольку служил помощником присяжного поверенного, убедил Крапивникова, что в случае провала сумеет с помощью своих связей защитить его в суде, и попросил распространить среди нижних чинов своей роты прокламацию. Ее пафос был направлен против государственных устоев, но хитрец Гликин умудрился истолковать возмутительный текст как ратующий всего лишь за справедливость. Звучал он так: «Братья солдаты! Мы, ваши братья, сознательные солдаты харьковского военного гарнизона, много думали над современным положением нашей родины, и вот мы решили пойти вместе с рабочим народом на великий подвиг освобождения России от гнусного самодержавия. Мы готовы на смерть за

* Роман второй из цикла «Четвертое благословение». См.: На краю бездны. Роман первый: НЖ, № 293, 2018. ©Андрей Николаевич Красильников.

великое дело! Мы готовы показать вам правильный путь жизни! Братья солдаты! Подумайте, кому вы служите? Вы служите нашим врагам и врагам всего народа. Вас заставляют охранять фабрики, заводы, дома капиталистов, экономии помещиков, банки, в которых хранятся миллионы, награбленные у трудящихся бедняков». Кончалось это словоблудие призывом: «Да здравствует армия, переходящая на сторону народа!»

Как часто зло прикрывается борьбой за справедливость! Молодой подпоручик этого не понимал и легко клюнул на удочку социал-демократических пропагандистов. Однако лишь четверо из подчиненных ему нижних чинов прониклись революционным духом. Остальные пропустили мимо ушей, а кто-то на Крапивникова донес.

Губернское жандармское управление учинило дознание, и после обыска, обнаружившего на его квартире воззвание бывших членов Государственной думы, программу РСДРП, журнал «Солдатский путь», брошюры издательства О.Н. Поповой «Как расходуются народные деньги», «Очерк развития социал-демократии в России», «Сорок два дня» и другую подпольную литературу, Владимира привлекли в качестве обвиняемого. Но он, наученный опытным Гликиным, виновным себя не признал и заявил, что в партии ни в какой не состоит и только до некоторой степени сочувствует социал-демократии, а беседы с нижними чинами своей роты вел исключительно с целью поднятия их умственного уровня и подготовки к восприятию идей и прав свободного гражданина, каковыми они должны стать по окончании службы.

По совету того же Гликина Крапивников быстренько уволился из полка и стал неподсуден военному трибуналу, что вызвало энергичный протест генерал-лейтенанта Пешкова, харьковского губернатора. «Военный прокурор считает дело подсудным гражданскому суду на том основании, что обвиняемый как уволенный в отставку является в настоящее время лицом гражданского ведомства, – писал он министру внутренних дел Столыпину. – Я не могу допустить, чтобы такое слушалось в Харьковской судебной палате, где на Крапивникова несомненно будет наложено ничтожное наказание, а само дело послужит для адвокатов темою для возбуждения общественного мнения против правительства и армии».

Так и случилось, как полагал генерал-губернатор: гражданский суд усадил Владимира за решетку всего лишь на один год, что и стало причиной длительной разлуки братьев.

Казалось бы, военная карьера на этом для неудачливого агитатора закончилась. Но мобилизация летом четырнадцатого снова вернула его в строй. Войну он, к тому времени студент юридического факультета столичного университета, начал в составе 590-й пехей Ставропольской дружины, продолжил службу в 27-ом Кавказском стрелковом полку ротным командиром. Революционная дурь к тому времени полностью выветрилась из его головы. В первом же сраже-

нии Крапивников получил Станислава третьей степени, к которому вскоре ему пожаловали мечи и бант. Во второй половине девятнадцатого он уже поручик и командир батальона.

К концу того же года – новый поворот в карьере: назначение адъютантом командующего.

В этом качестве он и был командирован в январе семнадцатого в Петроград в связи с конференцией представителей союзников.

– Расскажи, как турок били, – первым делом попросил старший брат, когда они остались вдвоем после совместного ужина в ресторане, где успели обсудить семейные новости и изрядно посплетничать о делах служебных.

– Замечательно били. И всё благодаря великому человеку – нашему командующему Юденичу. Как он Эрзурумскую операцию провел, во всех учебниках со временем опишут.

– Вот и поведай так, как если бы сам для учебника писал.

Владимир усмехнулся:

– Тут непременно пролог требуется, который никто никогда не напечатает.

– Отчего же?

– Все задумки генерала Юденича могли состояться при двух условиях: разрешения его августейшего тёзки и полного неведения Ставки. Дядю Николашу он не сразу, но уговорил. Правда, тот дал добро только под личную ответственность Юденича и предупредил, что умывает руки во время штурма. Чтобы не допустить утечки в Могилев, за неделю до начала операции выезд из прифронтовой полосы закрыли для всех. Якобы из-за возможных турецких шпионов. Но больше всего боялись собственных болтунов.

– Да уж, – не удержался Александр, – главным нашим врагом был и остается родной дурак.

– На неприятеля при этом вылили целый ушат всякой дезы. Запустили слухи, дошедшие и до турецких ушей, что одним офицерам зимой начнут давать отпуска, а другим разрешат вызвать к себе жен на святки. Днем батальон демонстративно отводили с передовых позиций в тыл, но под покровом тьмы его же незаметно для неприятеля возвращали назад. В сообщениях в Ставку, которые специально не шифровались, утверждали бессмысленность каких-либо действий в зимнее время и предлагали отложить наступление до весны. И турки клонули на это: их командующий Камиль-паша уехал отдыхать, прихватив с собой и начальника штаба, кстати, немецкого аристократа фон Гюзе. Там еще поди пойми, кто из них главней, кто кем руководит.

– У них во всех армиях начштабы немцы, – пояснил Александр.

– А флотом и вовсе германский адмирал командовал. Вдумайся: одни христиане помогают бить других фанатичным мусульманам.

– Против Юденича все они слабы. Он им еще одну незашифрованную телеграмму подкинул: с приказанием об отправке целой дивизии в Персию. Они, видать, и этому поверили.

За три дня до Нового года наши начали наступать. Сначала корпус генерала де Витта, принявший огонь на себя. Под его прикрытием мы двинулись в обход к Эрзеруму. Снежище порой по колено. Орудия тащили в горы на руках. Частенько вступали в рукопашную. Но все поставленные задачи выполнили. Ты не представляешь, какое царило воодушевление.

– Не мерзли?

– Мы – не очень. Нас хорошо одели и обули – поверх сапог еще и валенки. А турки замертво валились от холода. Оставшиеся в живых укрылись в крепости, чем усилили ее гарнизон.

Недели две с лишним готовились мы к решающему штурму. Очень помогли авиаторы, которых у неприятеля не было. Каждый день они вели разведку с воздуха.

– А ведь, знаешь, – перебил его брат, – среди них мог оказаться и наш бедный кузен Саша. Но зачем-то напросился на Западный фронт.

– Да, ты говорил. Ужасно жаль его и ужасно обидно. Ты-то с ним в детстве меньше общался, больше с Эженом, а мы частенько вместе играли.

– Не прожил и тридцати, – покачал головой Александр. – Прости, прервал твой рассказ.

– Но авиация авиацией, а крепость-то неприступна. Ты даже не представляешь, какая это махина! И вокруг рвы, как во времена короля Артура, три линии фортов с амбразурами в несколько ярусов. Штурм репетировали, как балет в Мариинском театре. Всех разбили на отряды из пехотинцев, артиллеристов и сапёров и каждодневно проводили учения. Идешь и не знаешь, на манёвры сегодня или уже на саму битву.

День для штурма Юденич выбрал, казалось бы, самый неподходящий: снег валил стеной. В обед велась артподготовка, ближе к полуночи вперед пошли штурмовые отряды. Нам выдали белые халаты. Турки не понимали, куда стрелять, и постоянно промахивались. На третий день мы со своими пластунами взяли форт Тафта, после чего наш корпус повернул в сторону от города, чтобы перерезать ему все коммуникации, а в прорыв бросили кавалеристов. Турки обратились в бегство. Входили мы практически в пустой город. А Ивана нашего на носилках пришлось вносить. Ему так в плечо угодило, что левая рука у него теперь неподвижна

– Прямо, как моя стопа. Бедняжка! И где он теперь?

– Дома, в Омске. Лечится. Получил в утешение чин есаула.

С братом Иваном Александр общался мало. Судьба постоянно разводила их по разным углам. Иван был еще несмышленишкой, когда он уже поступил в кадеты. Потом старший сын генерала Крапивникова уехал в столицу в юнкерское училище и дома бывал редко, Иван же оставался при родителях и воспитывался в Сибирском кадетском корпусе, поскольку отец к тому времени уже

получил назначение в Омск. Дальше их пути еще больше разошлись, и даже во время войны они оказались на разных фронтах. Женился младший Крапивников на омичке, служил в Сибирском казачьем полку и в представлении старшего брата превратился в сущего азиата.

– А еще через два месяца взяли Трапезунд, – продолжил рассказ Владимир, – где нас забросали цветами: население-то в большинстве своем христианское. С этим в Стамбуле никак не желали смириться. Снарядили экспедицию, которая выбила нас из Мамахатуна. Но лишь временно: через полтора месяца мы его вернули. До Трапезунда турки так и не дошли, а их хваленая Третья армия сократилась наполовину. Наши потери несоизмеримо меньшие. Но самое главное – теперь вся Армения свободна, иноземное иго для нее завершилось.

– Да, славно вы повоевали, – с ноткой зависти в голосе попыток рассказ брата Александр. На вас всё воинство российское равняться должно. Дядюшка племянника явно перещеголял.

– Разве ж в нем дело, – не согласился Владимир. – Это всё другого Николая Николаевича заслуга. Вот уж истинно военный гений. Новый Суворов земли русской.

– Посмотрим-посмотрим: турки пока не капитулировали, война еще в самом разгаре. Генерал Брусилов тоже немало прошлым летом отличился, а уже осенью сильно оплошал, и государь представление к Георгию второй степени за Луцкий прорыв ему не утвердил.

– Вот видишь: а Юденичу такую награду дали.

– Так он же Николай. У нас теперь этот орден только Николаям дают: Великому князю, Иванову, Рузскому, Юденичу. Больше пока никому.

– Шутишь?

– Как тут не шутить, если государь лишь своих тёзок привечает. Председателем Совета министров назначили недавно кого? Князя Николая Голицына. А министром иностранных дел? Николая Покровского. А министром юстиции? Николая Добровольского. Кого министром просвещения? Николая Кульчицкого. А кто у нас обер-прокурор Святейшего Синода? С осени Николай Раев, – Александр невольно рассмеялся. – Ладно, шутки в сторону. Скажи теперь, что тебе о завтрашней конференции известно?

Владимир слегка нахмурился, пытаясь сделать важный вид:

– Думаю, государственной тайны не выдам, если скажу, что речь пойдет о послевоенном устройстве мира.

– О послевоенном после войны говорить надо, а не в ее разгар. Венский конгресс открылся после взятия Парижа, а не после битвы народов, хотя уже тогда всё казалось ясным.

– Не знаю насчет раздела Австро-Венгрии, но на нашем фронте мы ждем передачу России Константинополя и контроля над проливами.

– Старая песня! А самим взять этот самый Константинополь вы для начала не желаете?

– Желаем. Уже разработали план операции.

– И когда собираетесь начать?

– Весной. Общее командование возложено на вице-адмирала Колчака.

– Знаем такого. Окончил Морской кадетский корпус с премией имени нашего прадеда.

– Он ее полностью оправдал, переняв у упомянутого предка мастерство установки минных заграждений. Но сейчас от него требуется другое.

– Справится?

– Думаю, да. Он чертовски изобретателен. Все в него верят.

– Это, пожалуй, главное, – согласился Александр. – Наши солдаты и наши матросы – великая сила. Но лишь тогда, когда они кому-то безраздельно доверяют. Если б на нашем фронте кто-нибудь такой оказался, мы бы давно до Берлина дошли.

– Без Берлина мы как-нибудь проживем. А вот Константинополь очень нам нужен.

– Не достаточно ли Армении? Разве грекам он не нужней?

– Может быть, и нужней. Но кто будет сегодня с ними считаться?

– Не кажется ли тебе, Володя, что считаться надо со всеми союзниками? Они ведь тоже кровь свою проливают. А за что? После двух Балканских войн самим им наши споры абсолютно неинтересны. Зато проливы могли бы стать заслуженной наградой за поддержку. Им ведь они ближе. И нас бы через них они наверняка бы пускали. Кстати, предок наш великий для них в свое время очень многое сделал и сейчас наверняка бы ратовал за возвращение исконных греческих земель законному владельцу.

– Это всё романтика пушкинских и байроновских времен. Сейчас политика другая.

– Увы, да. Политика нынче имперская: одни империи низложить, а другие усилить. А вдруг как потом все народы объединятся против нас и англичан? У них отнимут колонии, нынешние и будущие, а нас расчленят по национальному признаку? И станем мы просто Великороссией, между Днепром и Волгой.

– Когда это еще будет!

– Лет через сто. Но разве о правнуках своих не надо думать?

– Нет, брат, нужно думать не о том, что случится через века, а о завтрашнем дне, даже о сегодняшнем. Нам в глаза смотреть ныне живущим, а не тем, кто родится после нас. Ты бы видел, с какой радостью нас всюду встречали люди, натерпевшиеся от турок! И таких еще немало осталось. И не кажется тебе, что укрупнение империй сведет на нет угрозу войн в будущем? Новые земли им будут не нужны, старые они после нынешней войны полюбовно поделят. Откуда будет *casus belli* взяться?

– Нет, не кажется. Начнутся войны внутри самих империй. Гражданские. А они кровавей всего. С Наполеоном мы за два года

управились, а потом на Кавказе с горцами сорок с лишним лет бодались. Все народы хотят самоуправляться. Вспомни, что в прошлом году в Ирландии произошло. К слову, как на завтрашней конференции чешский вопрос будет решаться? Уж не желают ли наши *освободители славян* чехов со словаками тоже в свою империю после войны включить?

– Нет, так вопрос не стоит, хотя есть – ты прав – охотники их под себя подрести. Обсуждается лишь политический строй будущего чехословацкого государства: республика или монархия.

– Русские, англичане, французы и итальянцы решают, как жить чехам и словакам! Замечательно!

– А кому это решать? Извечное право победителей диктовать побежденным.

– А если австрияки сами из войны выйдут?

– Никто из союзников на сепаратный мир не согласится.

– Почему сепаратный? Они могут предложить мир всей Антанте. Карл не такой воинственный, как его двоюродный дед.

– Да он вообще мальчишка: нас с тобой моложе. Кто будет принимать его всерьез?

– Вот поэтому может захотеть совсем из войны выйти. Если окажется таким же живучим, как предшественник, то ему еще полвека с лишним править. Зачем ему судьбой рисковать?

– Как это он выйдет? Мы, пока Галицию не отвоеем, на мир с ним не пойдем.

– Пойдем. Еще как пойдем. Помяни мое слово.

– Славянские земли нам в первую голову нужны.

– Зачем? Чтобы расширить Царство Польское? Нам мало Костюшко, мало тридцатого года, мало шестьдесят третьего? Поляки – это же наши «ирландцы». Тоже рьяные католики. К чему такую змею на груди пригревать?

– Эх, Шура, Шура! Что с тобой сделалось, пока мы не виделись? Ты ведь не был таким.

– Умнеть, брат, никогда не поздно. За последний год такого понавидался и понаслыхался, что всё в моем сознании в сильное движение пришло. И никак не успокоится. Неверно суждение, что мы, военные, должны шаблонами мыслить, лозунгами, с какими в бой солдат ведём. Всем нам стратегами быть нужно. И в политике разбираться.

– Ну уж уволь! Полез я однажды по юношеской дурасти в политику, получил сполна, и больше меня в эту трясиину не затащишь.

– То не политика. То циничный обман романтических умников и безнадежных дураков ради корысти, замаскированной под справедливость. Слава богу, эти твои бывшие дружки сегодня по каторгам и по Европам разбросаны. Им даже немцы не доверяют: ни одного такого к нам пока не заслали. Шпионов больше из своих единоверцев остзейских вербуют.

– И как же ты, стратег, видишь конец войны?

– Плохой у нее будет конец, – покачал головой Александр. – Мир сошьют на живую нитку, а потом эти швы очень скоро затрещат и расползутся. Как бы на склоне лет нам снова браться за оружие не пришлось.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Разнообразить скучноватую провинциальную жизнь, начинавшую зимой докучать своей монотонностью, Угрин решил с помощью одной из главных достопримечательностей захолустного Губернска – его старинного архива. Время, к радости любителей древности, пощадило его содержимое, включая неоклеенные и оклеенные в многометровые гармошки столбцы шестнадцатого и семнадцатого столетий, а также церковные книги, метрические и исповедные, с петровских времен. Их удалось уберечь от сырости, мышей, жучков, воров, пожаров и прочих напастей, лишаящих нерадивых потомков знаний о своих предках.

Именно ими и решил заняться Михаил. Привести в систему рассказы и предания о пращурах, разглядить старческие морщины древнего рода.

Конечно, он хорошо знал его историю. Но исключительно ствол фамильного дерева. А его интересовали и ответвления по женским линиям. Бабушку, мать отца, умершую в его раннем детстве, он помнил смутно – лишь ее казавшиеся смешными одежды. Капитолина Александровна тоже мало знала о свекрови – только то, что она была татарских кровей, проступавших в юные годы и в облике внука.

После долгого копания в архивных материалах Угрин обнаружил запись о венчании деда с какой-то Верой, Андреевой дочерью. Но бабушку-то при том же отчестве звали Шурой! Пришлось продолжить перелистывание метрических книг. Наконец он наткнулся на запись об отпевании помещицы Веры Угриной. И буквально тут же – сорока дней не миновало – о втором бракосочетании излишне нетерпеливого деда с Александрой Андреевой девятнадцати лет. Фамилию ее приходской поп не счел нужным указать, словно та была не дворянкой, а простой крестьянкой. К счастью, в том же году венчался и дворовый человек бабы Шуры, и Михаил определил по окладным книгам, откуда его перевели. Выяснилось, что крепостного этого подарила невесте на свадьбу бабушка, мать ее матери. Тем самым открылась ещё одна побочная ветвь рода, довольно известная как в уезде, так и в России. Ну а прадедом его оказался герой войны 1812 года Андрей Михайлович Ямбулатов, потомок последних новокрепченцев, согласившихся принять православие только в семнадцатом веке и на условиях причисления их, происходивших от татарских мурз, к потомственному российскому дворянству. Жили они и не тужили компактной колонией в селе Бордакове еще лет двести и поначалу в некоторых документах так и писались: бордаковские новокрепченцы.

Еще более непростым стал поиск других женских линий. Единственной из жен других Угриных, упоминавшихся в деле о древнем дворянстве, стала мать прадеда. И всё потому, что заявителем был ее муж, сержант лейб-гвардии Преображенского полка Денис Епифанович, персоне воистину легендарная. Сорокапятилетним вдовцом вернулся он со службы в родное село с абшитом за подписью генерал-аншефа Бутурлина, гласившим, что по указу Ее Императорского Величества государыни императрицы Елизаветы Петровны, Самодержицы Всероссийской, объявитель сего, по свидетельству доктора и полковых штаб-лекаря и лекарей, за болезнью его от полковой и гарнизонной службы и от всех дел отставлен вовсе и отпущен в дом его, того ради жить ему в доме своем свободно и к делам никаким не определять, разве особливим о нем Ее Императорского Величества указом когда повелено будет.

Через семь лет государыня почила в бозе, а племянник ее своим манифестом даровал безоговорочную свободу и Денису Епифановичу, и всему шляхетству российскому.

К тому времени отпущенный по болезни сержант имел уже троих сыновей-погодков от второго брака с Матреной Кирилловной Тряпкиной, чей род был не менее древним и знатным и восходил к Великим князьям Рязанским через потомство знаменитого мурзы Салахмира. Всего у них родилось восемь детей. Когда появился последыш, отставному по болезням лейб-гвардейцу шел шестьдесят восьмой год.

А в восемьдесят пять, почувствовав приближение кончины, решил он внять призыву императрицы Екатерины Алексеевны и род свой в дворянскую родословную книгу внести. Собрать и подать все бумаги успел, а получить грамоту – нет: тем же летом отошел он от мира сего. Вот почему рукой четвертого сына (старших троих старик пережил) сделана такая запись: *«По сему определению грамоту на имя покойного родителя моего сержанта Дениса Епифановича Угрина, также и документы, от него представленные, обратно всё spolна получил. За грамоту пятнадцать рублей внес».*

Да, недешево обходилось в то время причисление к высшему сословию!

Узнал Михаил кое-какие новые для себя подробности о более давних предках. Календарным именем Суботы было Герасим. Служил он долго: после обороны Москвы от войск польского королеви́ча в 1618 году и получения за это вотчины в сельскую жизнь погружаться не стал, продолжал тянуть свою лямку. А с возникновением первого рейтарского полка в 1632 году пошел туда драгуном. И с тех пор все старшие мальчики в роду повторяли его путь, пока Денис Епифанович не предпочел самый престижный по тем временам Преображенский полк, шефами которого всегда числились сами монархи. Ради одного этого можно было изменить семейной традиции. А марш у преображенцев какой! Невольно заслушаешься! Да и

слово «гренадер» звучит ничуть не хуже, чем «драгун». Так пытался объяснить мотивы прашура Михаил.

Впрочем, прадед, один из сыновей Дениса, по старинке, пошел служить в Нарвский драгунский полк, как и брат его, с которым заключилась одна забавная история.

По выходе в отставку в чине майора устроился он в родном уезде исправником. Видать, был строг, ибо один крестьянин и один дворовый пожаловались на него царю Александру. Дескать, притесняет (заставляет работать на светлой неделе), и бьет (т.е. злоупотребляет своим служебным положением), а лучший луг нет чтобы им отдать – себе забрал.

Жалобу прочитал сам государь император и лично направил комитету министров, который ее коллегиально рассмотрел и положил: прошение сие препроводить к управляющему Министерством полиции для исследования чрез гражданского губернатора, и дабы о том, что откроется, довел он до сведения Комитета.

Дело расследовали достаточно быстро, и в том же году на стол министра легли все его подробности. Сам помещик вины своей не признал и поведал, что после недавней покупки этого имения прибавил крестьянам еще девять десятин и снабдил их почти всех на посев яровых, а во многих случаях приглашал для помощи им соседних крестьян с оплатою денег по найму. Жалобу считает мезью, ибо подаватель замечен им во многих худых поступках. Что касается самого челобитчика, то он от подачи совершенно отказался, присовокупляя, что *«прошение сие уповательно подано бежавшими от помещика его двоими дворовыми людьми; что ж касается до показанных в том прошении отягочительных работ, то действительно он с прочими крестьянами того села настоящего 1818 года в светлую неделю с вторника обгораживал господский сад и рубил ветельник по наряду старосты... и сверх сего в течение нынешней весны занимались оне по воскресным дням и прочею господскою работою»*. Это же подтвердили еще семнадцать человек, и лишь один сказал, что господскими работами никогда не отягощался и по воскресным дням, хоть изредка мелочными делами и занимался, но остается господином своим довольным.

Опрошенными оказались все соседние помещики, многие их крепостные и приходской священник. Единственное они припомнили, якобы в одно воскресенье в прошлом году ездили крестьяне его в город за кирпичом, но и тут им помогали других того села владельцев мужики.

Что касается жалобы на «истязания», то сам обвиняемый в отобранном от него объяснении показал, что в 1814 году купил он у поручика князя Гагарина дворового человека Фому Иванова с женою его и детьми, не зная развратного его поведения; что с самого начала Иванов, кроме грубостей и оскорблений, обращался всегда в пьянстве и вовсе не радел о приличной ему жизни, за что единственно

отдавал его, по неимению в уездном городе смирительного и рабочего дома, под стражу, и по выгрезвлении Иванов был им наказан слегка розгами.

Следствие проводил уездный предводитель дворянства, который относительно отягощения крепостных работами в выходные дни рассудил так: *«хотя такового показания приходской священник не утвердил, но единогласное их отзыв... а потому, руководствуясь высочайшим повелением, изъясненным в указе Правительствующего Сената от 30 числа сентября месяца сего года, я предписал уездному земскому суду строго наблюдать, дабы крестьяне помещика Угрина к работам на него по праздничным дням отнюдь принуждаемы не были, и никаких не происходило со стороны его истязаний, равно и работы разделялись бы согласно высочайшему указу 1797 года апреля 5-го по равному числу дней в неделю, как для крестьян собственно, так и для работ в пользу помещика».*

Этот вывод гражданский губернатор сообщил письмом от 25 марта 1820 года действительному тайному советнику, управляющему Министерством внутренних дел графу Виктору Павловичу Кочубею.

Однако комитет министров с таким решением не согласился, посчитав, *«что помещик с людьми своими и крестьянами обращается несогласно правилам человеколюбия и употребляет их на работы более узаконенного времени, заставляя заниматься оною и в самые праздничные дни, а сверх того наказывает их безвинно; и что хотя от нынешнего губернатора подтверждено уездному земскому суду о наблюдении, дабы работы крестьянами производимы были не иначе, как на основании законов, но мера сия не может быть достаточна, ибо земский суд, кроме того, что озабочен исправлением множества разнородных обязанностей, не оправдал, как судить можно, распоряжениями своими того, что в деле сём от него ожидать должно было».* Об этом граф Кочубей сообщил местному генерал-губернатору 7 апреля 1821 года, предложив тому войти в рассмотрение этого дела, *«дабы по ближайшему соображению всех обстоятельств оного и по точнейшему удостоверению об образе управления имением Угрина и о положении крестьян, учинить распоряжение о взятии имения сего... в опеку, или поручили бы, по крайней мере, уездному предводителю иметь наблюдение за поступками помещика, с обязаньем его подпискою, чтобы как крестьян, так и дворовых людей без ведома земской полиции не наказывал и никакими излишними повинностями не отягощал».* Предложение это доведено было и до сведения государя императора.

И всё же худшего сценария брату прадеда избежать удалось. Это понятно из последнего документа в деле: отношения генерал-губернатора Александра Дмитриевича Балашова на имя управляющего министерством внутренних дел от 9 сентября 1824 года: *«Помещик Угрин, по жалобе на него крестьян, подвергнут надзору, в продолже-*

ние которого, как из полученных мною от г. гражданского губернатора донесений видно, означенный Угрин управляет именем, как доброму помещику следует, и жалоб на него от крестьян не доходило. О чем считаю нужным довести до сведения Вашего Высокопревосходительства».

Вот в какую, оказывается, передрягу мог попасть русский помещик, что высек своего пьяницу-мужика! Помещик, к слову, не самый заурядный. Мало того, что чин имел штаб-офицерский, должность для уезда очень высокую, но и происхождением таким не каждый мог похвастаться.

Да, его собственный род особенно знатным не назовешь. Однако предки матери восходили к Великим князьям Рязанским. Легенду эту Михаил слышал и раньше, но подробностей то ли по малолетству не запомнил, то ли сами рассказчики их толком не знали.

Дед жены сержанта-преображенца Матрены Кирилловны Тряпкиной Леонтий Иванович Улитин по линии своей матери приходился внуком одному из последних представителей рода Пороватовых, идущего от сестры Великого князя Рязанского Олега Ивановича Анастасии, якобы дочери печально известного Ивана Ивановича Коротопола. Отца его, Великого князя Рязанского Ивана Ярославича, казнили в Орде. Стало быть, непокорность хану проявил, гордость свою показал. Напуганный сын оказался стоворчивей: согласился участвовать в карательной экспедиции, посланной Узбек-ханом в далекий Смоленск. Но по дороге встретил кузена своего, пронского князя Александра Михайловича, везущего ордынцам собранную дань, ограбил его и убил. Сын погибшего пожаловался мстительному Узбеку, и участь жадного и трусливого Коротопола была предрешена. Где и как погиб он, от татарского меча или от русского, история умалчивает: на таких негодяев летописцы много слов не тратили. В любом случае конец его стал позорным и бесславным.

Позднее вычитал Михаил у самого известного рязанского историка, ярого антинорманиста Дмитрия Иловайского, что отцом прародительницы Анастасии был не жалкий Коротопол, а сын убитого им князя, но первое из брошенных в его сознание семян так быстро и мощно проросло, что второе надежного ростка уже дать не смогло и быстро засохло.

Мужем Анастасии стал выехавший из Орды знатный татарский мурза Салахмир, помогший будущего шурина Олегу Ивановичу изгнать из Переяславля-Рязанского занявшего тамошний стол Владимира Дмитриевича Пронского. За такую великую услугу Олег отдал ему в жены сестру, перед чем татарин крестился с именем Иван Мирославич. Читая эту историю, Угрин невольно поймал себя на мысли: уж не был ли этот Салахмир сыном какого-то знатного русского, звавшегося Мирославом и угнанного силой в Орду? Иначе с чего бы ему в то непростое время перебежать на сторону врага и принимать чужую веру? К слову, жестокий Узбек-хан навязал как раз

тогда всему татарскому племени ислам, чем не мог не вызвать недовольство православных пленников, имевших детей от туземок.

Ох уж эта русская история! Одни загадки, одни домыслы и вечный повод для споров до хрипоты между легко ладящими друг с другом людьми, когда речь заходит о деле, о дне сегодняшнем и о дне завтрашнем. А вот о дне вчерашнем так же ладить у них не всегда получается. Если другие народы история объединяет и сплачивает, то великороссов только разъединяет и ссорит.

Но что бы ни происходило до Куликовской битвы, во время нее и сразу после, никто не сомневался, что женой Дениса Епифановича стала носительница великокняжеских кровей. А именно это и было важно Михаилу в его изысканиях.

Точно такую же кровь обнаружил он и у родной бабки Александры, успевшей больно потаскать его за ухо в наказание за мелкие шкоды. Дед ее приходился потомком князьям Острожским и Галицким, а жена его происходила от нескольких знатных фамилий как славянского, так и германского происхождения, и тоже была потомком Владимира Мономаха.

Всё это придавало молодому адвокату большей уверенности: ведь не перевелись еще хлыщи, кичащиеся своими пращурами. Теперь он легко мог заставить их прикусить язык и платить ту же цену за услуги, какую он назначает простым смертным. Требовать скидки за знатность у него они теперь точно не могли. Более того, в силу своей спеси должны были обращаться по деликатным вопросам именно к нему как к себе равному.

Михаил заказал знакомому художнику традиционное родовое древо. Помимо листочков с известными Угриными тот изобразил и боковые ветви, дающие полное представление обо всех предках заказчика. Повесили это необычное произведение искусства не в самом кабинете, а в смежной с ним комнате, где обычно посетители дожидались назначенного им времени. Редкий из них не бросал любопытный взор на непривычно густой для таких «растений» образец и не принимался его пристально рассматривать. Так молодой юрист прослыл не только способным, но и родовитым, хотя по строгим меркам канонической генеалогии таковым считаться не должен. Но кто будет разбирать, по мужской или по женской линии идет известная историческая фигура? Поскольку детей у последнего Великого князя Рязанского Ивана Ивановича, умершего в Литве, не осталось, любой его потомок мог сойти за очень знатную персону.

Конечно, в дворянском собрании, куда Михаил с Лизой ходили постоянно, новаторство Угрина восприняли как милое чудачество, но многие, тем не менее, похвалили его за инициативу, обещав ее подхватить.

Что ни говори, возвращение выпускника Московского императорского университета в родные пенаты оказалось успешным во всём. Впереди маячили радужные горизонты. Конечно, надо было двигаться

вперед, но жизнь виделась настолько замечательной, что сильно торопиться ее менять, даже к лучшему, не очень и хотелось. А хотелось вторить известному герою Гёте, остановить то прекрасное мгновение, которым так приятно наслаждаться, и заставить его застыть надолго, пока не наступит пресыщение, пока из кокона однообразия не вырвется и не пожелает взмахнуть крыльями имаго приключений.

Возможно, такая метаморфоза произошла бы не скоро, если бы наш герой жил в стране со стойким иммунитетом к пагубным катаклизмам, где от копеечной свечи не выгорают большие города. Но его, к сожалению, угораздило родиться в России, которую все мы беззаветно любим, хотя еще ни одному поколению не удалось избежать в ней годин серьезных потрясений.

Любовь к отечеству на всех языках зовется греческим словом патриотизм. Однако у патриотизма есть две грани, как и у материнской любви.

Одна родительница хвалит не нахвалится своим чадом, даже если он того не заслуживает. Другая сетует на недостатки собственного ребёнка, хотя бы они незначительны. Кто больше любит свое дитя? Вопрос риторический: обе одинаково. Только выражают это по-разному.

Так и с отечеством. Один закрывает глаза на все недостатки родной страны и говорит о ней лишь в восторженном тоне. Другой подмечает любую червоточинку, пусть и малейшую, и тут начинает бить тревогу. Из какого чувства? Всё из того же: любви к отечеству. И смешно им мериться, кто из них больший патриот.

Правда, первые часто отказывают вторым не только в паритете, но и вообще в праве так называться. Происходит это исключительно по недомыслию, ибо ура-патриотизм часто сочетается с элементарной глупостью, а глупцов, как известно, на земле во много крат больше, чем умных. Слепая материнская любовь и квасной патриотизм – явления одного порядка. Но не будем осуждать их: ведь в основе всё-таки лежит любовь, а важнее этого чувства нет ничего на свете.

Однажды на прием к Михаилу пришел какой-то юный военный. Мундир блистал новизной, словно сшитый как раз к этому визиту. Вошедший с порога отвесил поклон и ошарашил странным обращением:

– Здравствуйте, дорогой дядя. Позвольте представиться: Николай Павлович Угрин. Двадцати лет от роду.

Адвокат, сам бывший не намного старше, сразу не нашелся что ответить, и визитёр поспешил пояснить:

– Мой покойный дед Николай Васильевич и ваш родитель – двоюродный братья. Стало быть, вы мне троюродный дядя.

– Дорогой племянник, – отозвался наконец хозяин кабинета, – разница в возрасте у нас всего пять лет, а родство очень близкое, поэтому первая просьба: обращаться на «ты». Садись и расскажи, откуда сам и куда путь держишь.

Разговор в кабинете длился добрых два часа и продолжился затем наверху в присутствии Лизы, благо начался он после обеда, и других посетителей в тот день не предвиделось. Первым делом гость поведал, что он родом из Пронска, неделю назад окончил в Москве Алексеевское военное училище и произведен в прапорщики. Заехал домой проститься с родителями и сестрами и следует к месту назначения в расположение 64-го пехотного Казанского полка на Юго-Западный фронт, а куда точно – военная тайна.

На разглашение военной тайны Михаил и не претендовал, а вот с семейной поспешил разобраться. Как получилось, что они до сих пор не знакомы? После длительного обмена воспоминаниями о слышанном от родителей сошлись на такой версии: дед прапорщика, будучи сильно старше своего кузена из Губернска, рано покинул родовое гнездо, обосновался сначала в Касимове, рядом с которым лежало имение жены, а потом в Зареченске, где служил начальником местной тюрьмы и был в подчинении у Георгия Гавриловича. На этой почве личные отношения, видимо, не сложились. Сам же Михаил, лишившийся отца в трехлетнем возрасте, разумеется, не успел ничего услышать от него о родственниках, а мать, купеческая дочь, имевшая брата и множество сестер, предпочитала свой круг общения. Родитель Николая получил назначение в Пронск, где обитает до сих пор. Он-то и надоумил сына завести знакомство с троюродным дядей. А когда это сделать, как не перед отправкой на фронт, откуда можно и не вернуться, философски заключил гость.

На этом рассказ о кровном родстве не закончился. Посетитель сообщил еще об одной паре отец-сын, первый из которых также доводился Михаилу троюродным братом, хотя и был старше больше, чем на тридцать лет. Да и сын его родился на три года раньше своего ничего не подозревающего о нём дядюшки. Оба зареченские. И оба в действующей армии. По отношению к рассказчику они – дядя и кузен. Василий Николаевич – гордость всей большой семьи. Окончил столичное Павловское военное училище, сейчас уже полковник, командует артиллерийским дивизионом и носит на груди не только Станислава и Анну с мечами, но и Владимира. Воюет на Северо-Западном фронте. Там же и его сын Александр. И награды имеет такие же, как отец, только чином пока пониже – штабс-капитан. Год назад у него родился сынишка Всеволод. Михаилу, выходит, он внучатый племянник. Троюродный.

Но и это оказалось не всё. У полковника Василия Николаевича есть еще один родной брат Сергей. В том же чине и с тем же набором орденов. И тоже командует артиллерийским дивизионом. Правда, совсем в других краях – в Харбине, поскольку служит в Заамурском округе Отдельного корпуса пограничной стражи.

Посудачили и о кому – кузинах, а кому – племянницах. Родная дочь Василия Николаевича Ольга перед самой войной вышла замуж за германского подданного Павла-Фердинанда Штирциля и родила сына. Живут по-прежнему в Зареченском уезде. Каково им теперь!

Засиделись до самого отъезда гостя на московский поезд. Покаялись постоянно писать друг другу и больше не теряться. Николай пообещал сообщить адрес Михаила остальным Угриным.

Вот, оказывается, какую шутку может сыграть судьба: радуешься, что узнал о дальних предках, начинаешь мнить себя знатоком истории своего рода, а о живущих рядом его представителях понятия не имеешь, тогда как им о тебе всё известно!

Осознание собственного невежества в семейных вопросах повергло Михаила в настоящую депрессию. На следующий день он сказался больным, перенес все встречи с клиентами, а вечером, собравшись с силами, отправился к матери.

Капитолина Александровна помнила кузена мужа из Зареченска. Тот не раз бывал у них в гостях, когда приезжал в Губернск по делам. Знала она от Георгия Гавриловича и давнюю семейную историю. Отец этого кузена был старшим братом ее свекра. Женился он на какой-то татарской княжне из-под Касимова, наследнице большого имения, и переехал к ней. Вот почему эта ветвь Угриных словно отпала от родового древа. Все исторические документы оставались в руках их тогда еще живого отца и перешли от него не к старшему, а к младшему сыну. Тот, продолжая жить в родовой вотчине, фактически принял на себя роль главы всего клана, тем более что отделившийся брат рано умер, оставив лишь одного сына, который всю жизнь провел в захолустной тиши, пребывал в скромных чинах и на главенство в роду никак не претендовал. Каким образом дядя с племянником поделили деньги за проданное имение предков, Капитолина Александровна не знала.

Однако ее рассказ не порадовал Михаила. Скорее, наоборот. Как законник он прекрасно понимал, что его место в родовой иерархии отныне не просто не высшее, но и самое скромное. И если бы не война, он завтра же ринулся бы к старшему из троюродных братьев с семейными реликвиями, чтобы передать их надлежащему владельцу.

С каким же унылым видом предстоит ему теперь идти на масляничный карнавал в дворянское собрание! Туда, куда еще совсем недавно он входил с чувством особого достоинства. И древо в приемной придется теперь перерисовывать, что у иных посетителей вряд ли вызовет сожаление, а более вероятно – презрительную насмешку. Как бы тут от стыда не провалиться!

Выход один: самому напроситься на фронт, хотя он имеет все права оставаться дома. А там – что будет, то будет.

Буквально вчера ему хотелось воскликнуть фаустовское: «Остановись, мгновение!» И вот как жизнь всё безжалостно опрокинула!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Александр долго оставался под впечатлением разговора с братом. Кому еще мог он высказать всё, что долго зрело в душе? Мысли

были не только крамольны, но и спорны для него самого. В таких случаях нельзя их долго держать в себе, нельзя мучиться от сомнений: важно увидеть реакцию собеседника, причем такого, кто не станет ни поддакивать, желая уйти от неприятного разговора, ни с ходу возражать, не пытаясь вникнуть в суть. Владимир лучше других подходил для подобной роли. И он оправдал надежды Крапивникова, оттенив своим несогласием то, в чем Александр и сам не чувствовал уверенности.

Нужно ли заботиться о далеком будущем, если жить в нем не тебе, думать о правнуках, а не о страдающих сегодня братьях и сестрах? Пролить кровь свою и ближних ради благополучия тех, кто может такие жертвы и не оценить. Брату грели душу искренние приветствия армян, которых он со товарищи спас от истребления. И это действительно благородное дело. Но будут ли так встречать русские войска в той же Познани? Там каждый нутром почувствует, что вместо одних завоевателей пришли другие.

Нет, не следует людям, говорящим на одном языке, владычествовать над теми, кто говорит и мыслит на другом. Уж коль Всевышний попустительствует беспощадной сечи между империями, то не за тем, чтобы одни победили других: самая идея империи должна быть посрамлена и отринута. Третий год идут бои, и нет им конца и края. Это не восемьсот тринадцатый, когда все объединились против одного. Это какое-то взаимостреление, абсолютно бессмысленное. Но какой-то смысл всё-таки должен быть. И он может заключаться лишь в одном: самоопределении народов. Вряд ли у Карла достанет ума выйти из войны. Он неизбежно проиграет. И владения его распадутся не только на Австрию и Венгрию, но и на Хорватию, Чехию, Словакию, Галицию, Боснию. А уж Османская империя развалится на столько частей, что всех и не перечислить. И какой же вывод должны сделать победители? Мягко, плавно, добровольно передать свои колонии и полуколонии в руки их вождей, пока те сами не пойдут ирландским путем.

Увы, это должно коснуться и России. Большую игру надо кончать: после общей с британцами победы нужно полюбовно договориться о взаимном уходе из Азии. Дать всем государственным новообразованиям гарантии невмешательства в их дела и закрепить согласованные общемировым конгрессом границы. И только тогда мир заживет в спокойствии за завтрашний день. Конечно, останется Африка. На какое-то время там всё будет по-прежнему, пока ее народы не цивилизуются. А потом пусть решают без России. Если и с ней, то лишь в роли третьей стороны.

Вот к каким мыслям пришел Александр Крапивников к январю семнадцатого года, когда в русской столице собралась конференция союзников – почти победителей изнурительной войны, как сами они считали. Но наш герой придерживался совсем другого мнения, которое донести до участников переговоров никак не мог и должен был

молчаливо ждать итогов помпезной и практически бессмысленной встречи сановников и генералов дружественных стран.

Началась она с приема у Государя императора, а уже на следующий день, считавшийся у всех, кроме хозяев, первым числом февраля, прошло пленарное совещание. За пять дней до визита официальных делегаций Николай Второй дал аудиенцию британскому послу Джорджу Бьюкенену. Тот, нарушив дипломатический такт, сначала поинтересовался, сохраняют ли свои портфели министры, с которыми союзники сядут за стол переговоров, поскольку они в России стали меняться очень часто, а потом и вовсе заявил царю: «Перед вами открыт только один верный путь – уничтожить стену, отделяющую вас от вашего народа и снова приобрести его доверие». Николай, сверкнув очами, парировал: «Не следует ли скорее народу заслужить мое доверие?»

Даже в критический момент этот не самый способный представитель династии больше думал о демонстрации собственного величия, чем о стране. Слова посла, видимо, настолько возмутили императора, что он пожаловался на него жене, а та тут же посоветовала мужу попросить кузена Георга отозвать дерзкого дипломата. Своей гипертрофированной обидчивостью чета Романовых подчеркивала, что задержалась в девятнадцатом веке и никак не хотела считаться с реалиями двадцатого столетия.

Побеседовав перед конференцией царь и с исправлявшим должность начальника штаба Ставки генералом Василием Гурко, назначенным в основную – военно-политическую – секцию вместе с новым министром иностранных дел Покровским. С солдатской прямоотой, позволительной сыну последнего боевого фельдмаршала, тот спросил государя, следует ли понимать его слова о создании свободной Польши из трех ее ныне разделенных провинций в новомодном Приказе по армии и флоту как намерение восстановить утраченную в восемнадцатом веке самостоятельную польскую государственность. Определенного ответа он так и не получил, хотя сами поляки уже развешивали газетные вырезки с текстом приказа во всех людных местах, а некоторые, наклеив на паспарту, держали у себя дома под стеклом.

– Чтобы Польша стала свободной, сначала нужно вытеснить неприятеля за ее пределы. Только после этого можно говорить о ее будущем, – уклончиво высказался Николай.

– Должен доложить Вашему величеству, что переизбранный недавно на второй срок президент Северо-Американских Соединенных Штатов поддержал ваше желание видеть Польшу свободной.

– Господину Вильсону хорошо бы вмешаться не на словах, а на деле.

Однако Вудро Вильсон вступать в войну не спешил. Он сделал это только в апреле. Останься тогда его страна нейтральной, не быть бы ей потом самой могущественной державой мира. Поучаствовав в

бойне всего год, американцы сумели прочно примазаться к кругу победителей.

Главной темой конференции стали не стратегические, а злободневные вопросы, рассмотренные в двух специальных секциях: по снабжению и по финансированию. Хозяева прямо заявили гостям, что сократят число формируемых частей, если не получат от них материальной поддержки. Из-за румынских неудач протяжение линии фронта для русской армии увеличилось на пятьсот километров, то есть на треть, а полевой артиллерии ей не хватает.

Начальник штаба французских вооруженных сил генерал Ноэль де Кастельно тут же возразил: «Необходимо иметь в виду, что распределение средств между различными фронтами нельзя подчинить отвлеченным математическим суждениям; это распределение должно прежде всего соответствовать значению намеченных операций, причем союзники не должны забывать, что все их фронты, вместе взятые, представляют собой единое и общее поле сражения». На это генерал Гурко дипломатично заметил, что ответ на главный вопрос конференции о решающем характере для всей кампании операции предстоящего года может быть положительным лишь в случае, если в распоряжении всех союзников в нужное время будут необходимые на то средства. Генерал де Кастельно попросил уточнить: решающий характер – это полное завершение войны или такой оборот, при котором победа союзников станет несомненной?

После непродолжительной дискуссии делегаты пришли к решению: кампания 1917 года должна вестись с наивысшим напряжением и с применением всех наличных средств, дабы создать такое положение, при котором решающий успех союзников был бы вне всякого сомнения.

Генерал Гурко задал после этого каверзный вопрос: нужно ли торопиться с нашими приготовлениями и начать операции, не закончив подготовку, ради удержания инициативы действий или же наоборот: закончить свои приготовления, хотя бы с риском дать неприятелю возможность перехватить инициативу?

Дальше происходит следующее. Французский, британский и итальянский делегаты в ответ дружно твердят о вероятном наступлении уже через две недели. Русский представитель не обещает сделать это раньше весны, поскольку его армия до тех пор не закончит проводимую реорганизацию. Генерал де Кастельно напоминает старую договоренность: при атаке на одного союзника другие должны как можно скорее выступить с максимумом своих средств. Гурко озадачивает коллег еще одним непростым вопросом: нужно ли следовать примеру неприятеля и наносить удары там, где у него имеются малые силы, как делал он сам в Бельгии, Сербии и Румынии, что, с другой стороны, задержит развитие решительных операций? Всем понятно: речь идет о Болгарии. Нет, решают делегаты, противника надо атаковать на главных фронтах. Но балканское направление с

повестки дня не снимается. Обсуждение действий на нем длится дольше всего. В конце концов делегаты признают, что балканский театр утратил прежнее значение и необходимости изоляции Турции от Болгарии силами России, Румынии и Греции больше нет. Передышку необходимо использовать для реорганизации румынской армии. Генерал Гурко предупреждает союзников, что русские армии смогут начать крупные наступления только в мае, а до этого будут предпринимать лишь второстепенные операции. Итальянский делегат граф Паоло Руджиери-Ладерки уклончиво объясняет, что его страна готова наступать к середине марта, но полностью вооружится лишь к концу апреля.

В итоге решили на каждом из главных фронтов к пятнадцатому февраля принять все меры для воспрепятствования противнику захватить инициативу операций, а если для сохранения этой инициативы кому-либо из союзников придется выступить до весны, то остальные не позже, чем через три недели, поддержат его максимум имеющихся в их распоряжении средств. Если неприятель не проявит активности, союзники начнут общее наступление на всех фронтах всеми своими силами в апреле, чему могут помешать лишь климатические условия.

Одновременно приняли и политическое решение: создать центральный орган России, Франции, Великобритании и Италии для более быстрого соглашения по вопросам высшего направления войны. Делегаты полагают, что в такой орган целесообразно войти главам правительств или уполномоченным ими лицам. Для начала такой орган должен согласовать военные действия на Кавказском фронте и в Месопотамии.

Напоследок делегаты выразили пожелание доукомплектовать сербскую армию, понесшую значительные потери, пленными славянского происхождения. Имелись в виду воевавшие за Австро-Венгрию и Германию этнические поляки, чехи, хорваты, словаки, словенцы, русины и прочие.

Ни о проливах, ни о будущем Польши в Петрограде не сказали ни слова.

Однако в дни конференции гости посетили Москву, где на торжественном приеме в их честь в ресторане «Прага» возглавлявший французскую делегацию Гастон Думерг, будущий президент страны, произнес:

– Необходимо исправить историческую несправедливость и дать России осуществить свою мечту о свободном выходе к морю. Турок нужно изгнать из Европы, а Константинополь должен стать русским Царьградом.

Вне всякого сомнения, так бы и случилось, не вмешайся в события еще одна сила, стремившаяся разрушить Российскую империю изнутри.

У нее не было единого командования, ею руководили разные

мотивы, но она все годы изнурительной войны таилась в засаде и ждала удобного момента.

Этот момент, возможно, не наступил бы, если предпобедная конференция ясно и громогласно заявила бы о согласии союзников снабдить русскую армию всем необходимым и поддержать ее наступление. Но келейные переговоры, не увенчанные конкретными договоренностями, были восприняты обществом как пустая говорильня. До какой-то степени встреча союзников сыграла роль спускового крючка в цепи случившихся вскоре событий.

Перед возвращением Владимира на фронт братьям удалось поговорить еще раз.

– Знаешь, Шура, англичане изобрели два модных спорта: футбол и лаун-теннис, – будучи студентом философского факультета, он постоянно искал образные сравнения. – В первом играют отмеренное время и могут разойтись миром, не попав ни в один гол. Во втором всё сложнее: сначала надо выиграть несколько подач, потом несколько геймов, затем несколько сетов. И в промежутках между ними передышки. Но кто-то должен непременно победить. Так сейчас и у нас. Отдыхаем между сетами: в одних лучше сражались мы, в других – наши противники. Всё теперь зависит от последнего, решающего.

– В утомительном лаун-теннисе, Володя, не всегда побеждает тот, кто способней. Чаще тот, кто выносливей. Усталость – плохой союзник, а наша армия явно утомлена. И усталость эта не физическая, а моральная.

– Вот и Гурко о том же говорил. Просил время на создание и вооружение новых формирований. А французы – знай своё: пятнадцатого февраля надо начинать решительное наступление, по всем фронтам.

– Кто ж против: пусть наступают.

– Нет, одни они не хотят. Требуют всеобщей поддержки.

– По Польше ничего не решили?

– С Польшей, Шура, оказалось не так всё просто. В ее австро-венгерской части не только поляки, но и малороссы живут. Галиция не захочет быть в составе польского государства. Но может так случиться, что и наши малороссы пожелают с австрийскими соединиться. И что тогда? Им тоже свободу давать и еще одну республику у себя под носом создавать? Знаю твою идею раздробить весь мир на маленькие страны по языкам их жителей, создать этаким Вавилон наизнанку. Но от России тогда что останется? За что в таком случае воюем?

– Да, брат, озадачил ты меня, – неподдельно искренне ответил Александр. – И всё же, какой пустой затеей обернулась ваша конференция! – заключил он, хлопая Владимира по плечу.

– Ничего страшного. Скажу по большому секрету: босфорская операция и без всяких союзников намечена на весну. Нам их помощь не нужна. Мы отвоюем проливы сами. И Константинополь возьмем

без них. Я верю в способности Юденича и Колчака. Вдвоем они – сокрушительная сила.

Слова брата на тему польской независимости после войны действительно сильно озадачили Александра. Получается, что новогоднее обещание государя не стоит и гроша. Но так не должно быть с царским словом. Значит, какие-то умники найдут иное объяснение строкам высочайшего приказа. Да и писал их не он сам. Видимо, в Ставке царят одни настроения, а в столичных кабинетах другие. Прямота формулировок генералов вызывает у бюрократов-крючкотворов обратную реакцию: они ж без хлеба насущного останутся, если дела начнут вершиться в военных штабах.

В Приказе по армии и флоту формулировка чеканная: «Еще не выполнены Россией две поставленные перед нею войной задачи – овладение Константинополем и Дарданеллами и создание свободной Польши из трех ее ныне разделенных провинций».

Овладение – понятие эластичное, лукавое. Можно овладеть территорией неприятеля ради победы над ним, а потом ее оставить по условиям заключенного мира. Но можно овладеть с тем, чтобы потом остаться там навсегда. В каком значении слово употреблено в приказе, можно только гадать. А вот «создание свободной Польши из трех ее ныне разделенных провинций» двоякого толкования не предполагает. Ясно, что речь идет об объединении австрийской и немецкой частей с Царством Польским. Стоп! А ведь это тоже вариант: бывшие земли Речи Посполитой передать входящему в Российскую империю квазигосударству и объявить его свободной Польшей. Вернуть ему двухпалатный сейм, дать новые привилегии и принудить к унии с Россией, как предлагал Великий князь Николай Николаевич в своем манифесте в самом начале войны.

Да, похоже, так и есть. Вряд ли генерал Гурко решился бы перечить дяде Николаше. Переписал другими словами и принес на подпись государю. Тот уточнять не стал.

И всё же какой-то план создания свободного польского государства существовал. Иначе бы Володя не заговорил о Галиции. Непростая это история!

Он не раз бывал в родовом имении матери в Купянском уезде и не понаслышке знал историю этой слободы. Испокоен веков жили там черкасы, как звались малороссы в бытность его пращуров. Их певучий говор ему страшно нравился, но большинство слов он не разбирал. Однако на их языке не только разговляются, но и сочиняют: немало неплохих *письменников* есть. Не станет Галиция воссоединяться с Польшей. Она наверняка захочет с Малороссией объединиться. И что это будет за пример другим народам? И в остзейских, и в кавказских, и в туркестанских краях.

С другой стороны, правильно ли дробить Австро-Венгерскую и османскую империи по этническому признаку, а самим от такого чле-

нения уклониться? Ведь всегдашним оправданием присоединения соседних земель была забота об их народах, защита их от внешнего врага. Разве после завершения Великой войны нужно будет их так же рьяно опекать и защищать? Урезанную со всех сторон Германию придется просто обуздать, турок согнать с европейского берега, да и в Малой Азии поджать. И не нужно тогда бояться за наших единоверцев на юге...

Однако предавался мечтаниям Крапивников недолго. Их постоянно теснила мысль о шкуре неубитого медведя: ведь до победы было еще так далеко! И никто обещать эту победу в трезвом уме не брался: слишком опасен оставался неприятель, слишком ослабли наши собственные мощь и дух, а тут еще рос и креп враг внутренний.

И ведь рядился он в тогу спасителя нации, подтачивая при этом изнутри изможденное войной государство.

Еще в декабре шестнадцатого планировались в один день съезды Земского союза и Союза городов. Обе организации годом раньше, во время поражений и отступлений на фронтах, создали совместный комитет по контролю над снабжением армии, что сильно повысило их авторитет в глазах народа. Казалось бы, кому мешает встреча в Москве делегатов этих союзов? Ан нет: обнаглевший Борис Штюрмер, занимавший одновременно посты председателя Совета министров и министра иностранных дел (а какое-то время и министра внутренних дел) стал требовать расформирования Земгора. В итоге сам слетел со всех должностей под давлением общественного мнения, с которым на сей раз государь посчитался. Казалось бы, главное препятствие устранено. Но губернаторы на местах всячески препятствовали поездке избранных представителей, а их московский коллега и вовсе запретил проведение съездов. Обличительная речь лидера земцев князя Георгия Львова осталась произнесенной широко, всенародно, однако прозвучала на частном собрании делегатов от тех двадцати двух губерний, из которых выборным всё же удалось добраться до Белокаменной, и легла в основу принятой ими резолюции.

Вот главные мысли оратора.

Правительство, под видом забот о твердости царской власти, разрушает самые ее основы. Оно готовит почву для позорного мира. Из-за него Отечество в опасности. Оно в организованной общечеловеческой ответственности видит не радостное спасительное явление, а личную себе гибель. Мы ведем борьбу за целостность, величие и честь России, а они – за сохранение власти в своих руках. Но страна жаждет полного обновления и перемены самого духа власти и приемов управления. Когда власть становится совершенно чуждой интересам народа, ответственность за судьбу родины должен принять на себя сам народ. Власть уже отделилась от жизни страны, она не стоит во

главе победного духа народного. Народ ведет войну, напрягая свои силы без руководства власти. Старая государственная язва розни власти с обществом покрыла собой, как проказой, всю страну, не пощадив и чертогов царских.

Мы зывали к власти, мы указывали на пропасть, к которой они ведут царство и царя. Теперь мы на самом ее краю. Никто уже не может спасти отечество, кроме самого народа.

Попытки наладить совместную работу с властью обречены на неуспех, ибо в действительности правительство не имеет ее и не руководит страной. Оно бездейственно не только перед страной и Думой, но и перед самим монархом. Оно преступно стремится возложить на него всю ответственность, подвергая страну угрозе государственного переворота. Им нужен ответственный монарх, за которым они прячутся, – стране нужен монарх, охраняемый ответственным перед страной и Думой правительством.

Эти хлётские, как пощечина, слова разослали по губерниям и уездам. Все ждали реакции царя. Он сменил не проработавшего и двух месяцев председателя Совета министров Александра Трепова, а в рескрипте на имя вновь назначенного на эту должность князя Николая Голицына похвалил земства, назвал их «неизменной опорой правительства».

Думцы, собравшиеся 14 февраля для продолжения своих занятий, ликовали.

С одним из них, братом свояка, Александру Крапивникову случилось встретиться в те дни в Петрограде.

Венёвцев считал себя знатоком всей политической закулисы и, как обычно, судил о государственных делах с убежденностью человека, посвященного в самые сокровенные тайны.

На вопрос о будущем Польши думский депутат безапелляционно отрезал:

– Какая независимость! Разве мы воюем ради потери территорий? Где видано, чтобы победитель лишался, а не приобретал!

– Но ведь сам государь обещал.

– Ничего он не обещал. Он посетовал, что до сих пор не выполнена задача объединить все три польские провинции.

– Нет, Владимир: в высочайшем приказе прямо говорится о создании свободной Польши.

– Правильно: Польша должна стать свободной. А пока две ее части под гнетом у германцев и австрияков.

– А третья – под гнетом России.

– Постыдись, Шура! Ты же офицер, а повторяешь либеральный бред. Когда все поляки воссоединятся, получат такие же привилегии, как финны. Или, по-твоему, финны тоже под гнетом?

Больше Крапивников обсуждать эту тему не стал. Ему и услы-

шанного хватило, чтобы понять, куда дует политический ветер перемен.

С ужасом понимал он и другое: по-настоящему мыслящих, способных заглянуть на годы вперед людей среди тех, кто вершит политику, попросту нет. Все они более или менее согласованно выполняют определенные функции: одни на полях сражений, другие за переговорными столами, третьи – на парламентских занятиях, четвертые – в министерских кабинетах. Даже государь – страшно подумать – всего лишь блюститель задолго до его рождения сложившихся традиций, отступать от которых не может, что бы ни диктовала ситуационная ситуация. Поэтому бессмысленно менять людей: надо изменять правила их поведения. Иначе даже великая, всемирная война, отобравшая миллионы жизней, не послужит уроком и не положит конец явным несуразностям для века электричества, автомобилей, авиации и телефонной связи. Вот уже без аэропланов, появившихся в самом начале кампании, трудно бывает победить в сражениях на земле. А в прошлом году появилось новое мощное оружие – танки, и, как знать, может быть, они сыграют решающую роль для исхода всей войны.

Если уж быть верующим, то нужно всякий раз задумываться: для чего Всевышний попускает разные напасти. Идущая третий год война с ужасающими жертвами не может не быть сигналом свыше. Но его надо расшифровать, осмыслить и наверняка что-то изменить в привычном образе мышления. Истреблять себе подобных из чувства ненависти к ним – дело понятное. Но разве мы ненавидим немцев, чехов, болгар? Разве австрийцы, венгры и словаки ненавидят нас? Из-за чего вся многолетняя бойня? Неужели ради того, чтобы Польшу подмяли не три империи, а одна?! Выходит, одни угнетатели поляков убивают других за то, что те делают то же самое, что и они. Ну где здесь хоть малая доля здравого смысла?

И уж какой резон тем же остзейским подданным царя проливать кровь за переподчинение польских земель? Допустим, Данциг отойдет России. Как это должно радовать лифляндцев? Нужно ли им добиваться этого ценой собственной жизни, собственного спокойствия: ведь битвы будут и на их территории, бомбы и пули заденут не только военных!

Почему же умных людей – а он считал таковыми и думцев, и земцев – это волнует меньше, чем возня вокруг министерских портфелей? Давно замечено, что стоит его получить даже прогрессисту – он вмиг превращается в ретрограда. Видимо, так уж устроена любая власть. Ее противники постоянно твердят об ответственном перед Думой правительстве. Так ли важно, кто будет менять нерадивых министров? Государь в последнее время и сам с этим неплохо справляется.

Чтобы радикально изменить что-то в мире, надо сперва изменить многое в себе. А этого не хотят понять ни в Зимнем, ни в Таврическом, ни в Мариинском, ни в земских управах. Решительное

наступление задумали и тут же во всех головах посеяли сомнения в основах государства! Куда с такими настроениями наступать можно? Какие проливы завоевывать?

В четырнадцатом году царило полное единство и единомыслие. Никто не говорил о правительстве, не предлагал никаких ответственных министерств. Мыслей не допускалось о внутренних спорах, когда всем предстояло одно: громить врага. Но даже тогда успех сопутствовал изредка и значительного перевеса не давал. Чего же ждать теперь при открытой конфронтации общества и власти, если по примеру князя Львова называть обществом различных выборных? Ох, не ко времени такие споры!

Крапивников с благодарностью вспоминал Георгия Евгеньевича Львова. Ведь именно он спас его после тяжелого ранения под Ляояном.

В самом начале войны с Японией князя избрали главноуполномоченным земских организаций по помощи больным и раненым воинам. Тот собрал группу медиков и отправился с ней в Маньчжурию. Волей и энергией Львова по всему фронту стали создаваться полевые лазареты, передвижные операционные, эвакуационные пункты, что облегчило и сохранило жизни тысячам солдат и офицеров. Князь сам бывал на позициях и воодушевлял воинов своими незамысловатыми речами, проникавшими в души слушателей благодаря простоте слова. Этот прямой потомок Рюрика вмиг делался своим для всех, кого посещал, и вскоре завоевал симпатии всего воинства. Армейское начальство, поначалу относившееся к нему насторожённо, впоследствии само искало его поддержку в сложных для себя ситуациях.

В сражении под Ляояном кровь лилась рекой. Однако земские медики успевали не только перевязывать раненых, но и эвакуировать их в тыл. Спасли они тогда и поручика Александра Крапивникова, которому прострелили десницу: без своевременной обработки раны он мог бы истечь кровью. И успели вовремя вывезти в безопасное место. Львов сам руководил отправкой увечных, что позволило избежать паники и столпотворения при загрузке вагонов, поскольку одно его присутствие вселяло в людей уверенность и надежду. Он гордился тем, что обошлось без потерь и страшно переживал за гибель в самом последний момент одного из врачей и сестры милосердия.

Домой после войны он возвратился героем и любимцем всей России. Поговаривали, что полученную из рук генерала Куропаткина награду за помощь армии он тут же вернул обратно, и эта молва тоже прибавила ему популярности.

Александр на всю жизнь запомнил, как генерал-лейтенант Федор Трепов, брат будущего председателя Совета министров, возглавлявший санитарную часть армии, лично распределял раненых по вагонам и отказался взять его, сославшись на нехватку мест. Внезапно рядом с ним вырос князь Львов, мигом оценил ситуацию и скомандовал:

– Поручик, ноги у вас, слава богу, целы, поэтому – быстрым шагом в мой вагон: состав скоро отправляется.

Тут же появился санитар из земского отряда и повел Крапивникова к месту посадки. Оторопевший Трепов не произнес ни слова. Зато Львов – Александр успел расслышать только начало – на повышенных тонах стал выговаривать генералу.

Конечно, такие, как князь Львов, энергичные, деятельные, искренне болеющие за отечество, больше нужны России, чем неповоротливые военачальники, корыстные министры и бессмысленные царедворцы. Это Крапивников прекрасно понимал и был всей душой с подобными людьми. Но он решительно не принимал их риторики, их постоянных нападок на власть и с трудом маскируемую критику самого государя. Ему казалось, что эта конфронтация непременно ослабит и государство, и армию. Любые претензии надо отложить на потом, а пока собрать все силы в кулак и нанести им решающий удар неприятелю. В этом он не был оригинален: так считало большинство офицеров да и просто разумных и рассудительных соотечественников. Вспоминалась первая Отечественная война, когда мужики уходили в партизаны и из лесных чащ нападали на армию Наполеона, обещавшего освободить их от крепостного ярма. Тогда не задумывались, хорошие или плохие министры и перед кем они ответственны, а просто общими усилиями гнали врага с русской земли. И ни о каком перемирии даже не заикались. Не то что некоторые нынешние краснобаи, постоянно толкующие о сепаратном мире.

Горькая чаша, но испить ее надо до дна.

И всё же благородного князя Крапивников ценить не переставал. И почему только государь не привечает его? После Трепова-брата назначил бесцветного Голицына, безмолвно год просидевшего в Государственном совете по протекции императрицы. Тот уже второй месяц у власти, а сдвигов никаких.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Ближе к карнавалу Угрин немного поостыл.

Ну и пусть на схеме, висящей в приемной, не изображены кузены: в конце концов это же его личное древо, где в некоторых коленах тоже показаны наверняка не все мужчины, поскольку они по-прежнему неизвестны. С младшим из троюродных братьев у него разница в двадцать лет. Значит, рано или поздно он всё равно окажется старшим в роду. И сын его, которому еще предстоит родиться, будет намного моложе всех Угриных в своем колене и тоже спустя годы попадет в подобное положение. Да и пока никто ему никаких претензий еще не предъявлял. Зачем же торопить события?

Когда он сгоряча заявил Лизе, что в дворянское собрание в субботу они не едут, реакцией жены стали горькие слезы. Еще сильнее расплакалась она, не получив внятного объяснения причины манки-

рования таким замечательным праздником, где, по слухам, в этот раз будут выбирать первую красавицу. Она-то чем виновата, задавал себе вопрос Михаил и, не найдя ответа, день спустя твердо решил на карнавал всё-таки пойти, о чем поспешил порадовать не в меру расстроенную Лизу. Зачем терзал ее целые сутки? Отговорился тем, что, узнав о четверых воюющих близких родственниках, поначалу счел кощунственным какие-либо развлечения, пока тем грозит смерть.

– Но ведь пока никаких боев на фронтах нет, – недоумевала она. – Они, небось, тоже на масленицу веселятся.

Объяснить, в чем может заключаться веселье на передовой, он не стал.

В двусмысленном положении находилась тогда вся страна. С одной стороны, с бесконечными потерями на фронтах несовместимы вообще никакие веселья и праздники. С другой стороны, нельзя повергнуть многомиллионный народ в перманентный траур. Нужна была золотая середина. Каждый изощрялся во что горазд. В Губернске местное дворянство решило устроить скромный масленичный карнавал, а самой блистательной даме на нем выдать приз за красоту.

Можете теперь представить, каким бы тяжким наказанием стало для Лизы Угриной лишение возможности побывать на таком празднике! Ведь до этого в городе ничего подобного никогда не проводилось.

Михаил долго размышлял о костюме и решился наконец облачиться на карнавал в татарские одежды в память о далеких предках. Однако здесь он оригинальным не оказался: еще трое выбрали себе подобное одеяние.

Лиза подошла к вопросу по-философски рассудительно. Она понимала, что ее конкурентки постараются подчеркнуть те свои достоинства, которыми другие не обладают. Одни придут в глубоких декольте, другие попробуют сосредоточить мужские взоры на лебяжьих шейках или изящных ручках. Кто-то понадеется на пышные волосы и сделает невообразимую прическу. И уж, конечно, обладательницы осиных талий утянутся до предела, а длинных стройных ног – вырядятся кавалерист-девицами наподобие писательницы Надежды Дуровой.

Сама она могла взять лишь одним: миловидным лицом, что, хотя в представлении о женской красоте и есть самое главное, зачастую вытесняется различными деталями внешности, вызывающими у мужчин страстное влечение и вытесняющими из их сознания всё остальное. Но не монашкой же наряжаться, хотя это, может быть, оказалось бы для нее наиболее выигрышным.

Контраст в тот день в Благородном собрании царил просто разительный. Мужчины оделись скромно и в какой-то степени однообразно: либо в экзотические национальные костюмы, либо в военную форму прежних эпох. Дамы, как и предполагала Лиза, не столько оделись, сколько разделись, обнажая прямо или завуалированно то, что

могло бы помочь завоевать приз за красоту. На этом фоне выгодно выделялась единственная участница, чье одеяние было не просто скромным, но и устыжающим тех, кто перешел незримую нравственную грань, за которую в годину тяжких испытаний переступить людям истинно благородным предосудительно.

Елизавета Утрина явилась на карнавал в белоснежной форме сестры милосердия с красным крестом на груди. Той самой, в какой все привыкли видеть со страниц газет и журналов императрицу Александру Федоровну, ее вдовствующую сестру и дочерей. Костюм, слегка мешковатый, ничего не обтягивал и не подчеркивал в ее фигуре, а всё внимание привлекал лишь овал лица, обрамленного белым платком. Очаровательного. Одухотворенного. И чем-то даже более вызывающего, чем голые плечи и обтянутые лосинами ляжки.

Детали тайного голосования не разглашались, но знающие люди утверждали, что мадам Утрину избрали первой красавицей подавляющим большинством.

Правда, нашлись газетчики, укорявшие победительницу в нечестном приеме, в ударе ниже пояса своих конкуренток. Один из них вообще потребовал лишить Лизу приза, поскольку она не заслужила права надеть такое платье, ибо не работала в лазарете. Однако губернское дворянство, подобно крыловскому Слону, на мосек-репортеров давно не реагировало.

Буквально на следующей неделе первой красавице пришлось сменить белые одежды на траурные черные.

Пятнадцатого февраля покинул сей бранный мир, пробыв в нем без малого девяносто пять лет, отец ее свекрови Александр Владиславович Владиславов.

Он ничем не болел. Только в последние месяцы медленно слабел и дряхлел, словно выпускал из себя с каждым выдохом удерживающие на земле жизненные силы. В пятницу вечером отправился почивать своими ногами, а в субботу не проснулся.

Кончина старика стала громом среди ясного неба. Все настолько уверовали в его бессмертие, что не сразу поверили в печальное известие.

Своего единственного сына он пережил на три с лишним года. Дмитрий Александрович умер пятидесяти лет от роду, оставив троих сыновей-подростков и маленькую дочь. В могилу его свел беспощадный туберкулез.

Дело Владиславовых переходило теперь полностью вдове Дмитрия Елене, дочери крупнейшего окского пароходчика Ивана Александровича Квачкова. С долей в нем мужа и раньше пришлось справиться ей из-за малолетства сыновей. Теперь они хоть и подросли, но стезю себе выбрали иную: старшие Владислав и Александр учились, как и их кузен Михаил Утрин, на юридическом факультете Московского университета, а младший, Борис, мечтал о карьере художника.

Похороны главе клана устроили пышные. Такие же, как он сам, будучи уже на десятом десятке, организовал сыну, подле которого на монастырском кладбище, находящемся в Губернском кремле, в самом центре города, отца и погребли. Но первой, еще в самом конце предыдущего века, упокоилась там жена Александра Владиславовича Мария Михайловна.

На отпевание съехались все потомки, кроме самого старшего внука – полковника Александра Полуектова, за несколько дней до этого возглавившего эрзурумскую крепостную артиллерию на Кавказском фронте. Три дочери-вдовы продолжали жить в Губернске, а их сестры с мужьями разлетелись по разным городам и теперь собрались все вместе впервые после празднования девяностолетия отца. У некоторых из их детей уже родились свои дети, но проститься с прадедом взяли только его тезку – восьмилетнего Шуру Полуектова, внука старшей дочери покойного, Екатерины. Остальных сочли слишком маленькими для участия в подобном ритуале, могущем травмировать детскую душу. Так, шестилетний Костик, сын сестры Михаила Веры, по возрасту не подошел и был оставлен с нянькой.

На поминальной трапезе витийствовали долго. И почти все повторяли одну мысль: с кончиной хозяина дома ушла целая эпоха.

Чему современником и свидетелем он только ни был!

Ему шел уже четвертый год, когда пришли две страшные вести: сначала о скоропостижной смерти императора Александра Павловича, а вслед – о невиданном доселе мятеже в самой столице, где возмутительно вели себя офицеры, а какой-то отставной поручик, потомственный дворянин, подло убил столичного генерал-губернатора, командира полка лейб-гвардии и, не будь он вовремя схваченным, мог бы застрелить и самого государя. С тех пор мальчика воспитывали в духе ненависти к цареубийцам и всяким прочим бунтовщикам.

В гимназические годы он оплакивал Пушкина, чьи стихи переписывал к себе в альбом и заучивал наизусть, а в студенческие годы оказался среди первых читателей гоголевских «Мертвых душ». И потом вся великая русская литература рождалась на его глазах, а такие ее знаменитые творцы, как Островский, Салтыков-Щедрин, Толстой, были и вовсе моложе него. И всех их, включая годившегося им в сыновья Чехова, он пережил.

В мир Александр Владиславович входил при свете лучины, а уходил в век электричества. Гимназистом проехал по первой железной дороге, а в конце жизни имел собственный автомобиль с шофером. И даже успел увидеть летящий над головой аэроплан.

Любые новшества его радовали. И в молодости, и в старости. И дело свое он постоянно модернизировал, легко и быстро принаравливаясь к техническому прогрессу. На склоне лет и вовсе предпочел непыльное занятие, передав все заводы сыну и открыв губернское отделение крупной столичной страховой компании.

Да, были в юности какие-то мечты, наверняка даже амбиции, но

рано умер отец, и на единственного наследника неожиданно свалились все родительские заботы. Мог бы, конечно, дело продать, но считал такой шаг кощунственным по отношению к памяти предков и смирился с тем, что было ему, как говорится, на роду написано. И не прогадал: долгая жизнь прошла безбедно и без крупных огорчений, что всегда возможно при честном и разумном предпринимательстве. А чего добились служилые зятья-дворяне, половины из которых уже нет в живых? Ни славы, ни достатка: а ведь трудились не покладая рук.

В детстве у Михаила отец матери особых родственных чувств не вызывал. Поначалу он даже стеснялся его и объяснял каждый раз знакомым, что его настоящий дедушка давно умер, а этот – по материнской линии, случайно ставший его предком. Конечно, причиной было незнатное происхождение и занятие старика.

С годами Угрин начал понимать, что их материальный достаток всецело зависит от нелюбимого деда, поскольку пенсия за отпущенника не позволила бы свести концы с концами семейству без кормильца и с барышнями на выданье. Сперва это его злило и еще больше настраивало против старика. Но душевная мягкость Александра Владиславовича, ласка, с которой он относился к внуку-сироте постепенно сделали своё дело: сердце мальчика оттаяло, и он перестал уклоняться от визитов на Соборную, где вдовец не только жил, но и содержал просторную контору. Да и возвращался он оттуда всегда не с пустыми руками.

Одно из посещений окончательно изменило не только отношение к деду, но и всю жизнь юного Миши. Любопытный мальчуган украдкой прокрался в давно привлекавший его кабинет и заметил в углу шпагу, самую настоящую, – правда, почему-то без привычного темляка. Рука сама потянулась за ней. И тут в комнату неожиданно вошел сам хозяин. Миша сжался от страха, ожидая подзатыльника, но услышал вполне доброе:

– Хочешь иметь такую же?

Станный вопрос: кто же не хочет! Он, оставаясь в оцепенении, смог лишь молча покачать головой.

– Тогда учись прилежно, а когда вырастешь – поступай в университет.

Дед усадил внука в кресло, сам сел напротив и рассказал о своих студенческих годах. Говорил, как со взрослым, что окончательно подкупило ребенка, а желание учиться в университете, в Москве, напротив древнего Кремля сделалось с тех пор самой заветной мечтой.

Немного повзрослев, Михаил невольно задумался: почему надо стыдиться родства с кандидатом университета, владельцем просторного дома, уважаемым в городе человеком, возглавляющим отделение столичного страхового общества? На его собственный статус столбового дворянина происхождение отца матери никак не влияет. Разве лучше, если бы им оказался какой-нибудь отставной майор или ассессор без собственного угла, живущий на скромный пенсион?

Пусть даже благородной фамилии. Такого деда иметь было бы гораздо хуже и даже в чем-то стыднее.

И вот теперь, проведив старика в последний путь, Угрин снова задумался над феноменом этого незаурядного и родного для него человека.

Почему провидение наградило его столь долгой и вполне полноценной до последнего дня жизнью (а в том, что такое даруется лишь по высшему промыслу, Михаил не сомневался)? Наверняка неспроста.

Он еще раз уточнил у матери и теток детали биографии их отца. Те с детства помнили его в постоянных трудах, набожным, предпочитавшим проводить редкий досуг не в увеселениях, а в кругу семьи. Он много читал и заставлял читать их.

Видимо, в голове Александра Владиславовича еще в молодости произошла серьезная переоценка ценностей, если служебной карьере, сулящей повышение сословного статуса, он предпочел рискованную судьбу заводчика. Значит, укоренилось в нем стремление созидать, а не созерцать. И в самом деле: что интересного в повседневных заботах чиновника, чем они могут украсить жизнь? Сначала исполняешь прихоти его превосходительства, через два-три десятка лет сам им становишься и начинаешь заискивать перед его высокопревосходительством. И если очень сильно повезет, оказываешься в прямом подчинении его величества. Лишь тогда, быть может, сумеешь проявить себя и сделать что-то полезное.

Но людям в их повседневной жизни нужны не циркуляры, а хлеб насущный. И всё, что мы едим, носим, в чем и с чем живем, создается не чиновниками, а промышленниками. Польза от их деятельности начинается уже с первых ее шагов, а не по прошествии лет. Вот перед какой дилеммой встал Александр Владиславович после смерти своего отца: либо продолжить его дело и приносить общественную пользу, либо пополнить ряды соискателей доходных мест.

И он выбрал первый путь. Причем не по нужде, а осознанно. Свои университетские знания употребил для грамотного ведения дела, почему легко выдерживал неизбежную для любого промысла конкуренцию и не оказывался ни разу в отчаянном положении. Для этого тоже нужен был определенный талант, которым он несомненно обладал.

Кому не памятен эпизод из великой гоголевской поэмы, когда недалекая и осторожная помещица Коробочка предлагает Чичикову купить у нее вместо умерших крестьян более ходовой и имеющий стабильную цену товар – пеньку! Именно с нее и начал Владислав. Но он не скупал ее в дальних деревнях для перепродажи, а наладил собственное производство, включавшее также веревки и канаты. Потом стал делать и пробки. Все эти вещи вроде бы грошовые, но на такой мелочи проще получить большую прибыль, чем на крупном товаре. Да и хранить, перевозить, упаковывать подобную продукцию не столь накладно. При бережном отношении она не портится, из моды не выходит, испокон веков не меняется.

Так дела постепенно пошли в гору. Никакой конкуренции в Губернске и ближайших городах никто Александру Владиславовичу не оказывал. Ум и знания его земляки ценили: не раз гласным избирали. Предлагали даже стать городским головой, но он решительно отказался, ибо к службе ни в каком ее проявлении тяги не имел.

Его порядочность и деловитость были хорошо известны далеко за пределами родного города. Канатное и пробковое производство позволяло иметь самые обширные связи по всей стране. Слух о фабриканте с университетским дипломом дошел и до столицы, где ему предложили сотрудничество с крупнейшей компанией транспортного страхования «Надежда». К этому времени сын Дмитрий женился на дочери богатого и успешного парходчика. Полученное предложение Владиславов счел знаком судьбы, принял его и тут же переписал на единственного преемника все свои фабрики. Новое дело требовало особой вдумчивости, но это даже радовало стареющего промышленника: ведь умственное напряжение – залог активного долголетия. И на новом поприще ошибок он не допускал, не то бы мгновенно угодил в отставку. Попросился он в нее сам, когда начал сдавать после смерти сына. Да и невестка на первых порах нуждалась в его помощи. Опекал ее как мог, пока не убедился, что она вполне сможет справиться и сама.

Какой же урок преподавал ему дед? Об этом Михаил не переставал размышлять все дни после его смерти. К чиновной карьере он и так не стремился. Однако играть какую-то роль в делах государственных в тайне души хотел и считал себя не худшим на то претендентом. Больше всего задумывался о депутатстве, мечтал рано или поздно оказаться в Таврическом дворце.

Теперь он засомневался: нужно ли ему это? Оправдана ли суетная жизнь думца тем, что он в силах осуществить? В одиночку – вообще ничего. Значит, большая часть энергии и усилий уйдут на интриги и закулисную возню: партии, фракции... Но так ли радостна вся эта канитель? И главное в другом: живем мы, чтобы толпе потрафить или чтобы стяжать царствие небесное – вот в чем главный вопрос. Для первого депутатство – самый правильный, самый надежный путь. А ведет ли он ко второй цели? Ох, едва ли! А то вовсе лежит в противоположном направлении. На нем ведь не обойтись без лукавства, без пустых обещаний, то есть, по существу, обмана. Одним словом, политика – вещь очень морально нечистоплотная.

Чем важнее всего обустроить жизнь? Раньше Угрин считал, что только законами. Отсюда и мысль баллотироваться в Государственную Думу. Пример деда заставил взглянуть с другой стороны. Может быть, веревки и пробки людям нужней? Разумеется, выражаясь фигурально. Вон сколько всего, прежде невиданного, появилось: граммофоны, автомобили, кинематограф... Глядишь, и аэропланы скоро станут доступны всем смельчакам (такому трусу, как он, эта летающая фанера даром не нужна). Потом еще что-нибудь новенькое придут-

мают. И станут больше других цениться люди, всё это изобретающие, производящие, ремонтирующие. Чиновник и депутат превратятся в общественный рудимент: для проформы нужный, но не слишком уважаемый, а помогать людям можно и будучи в своем городе гласным.

Видимо, дед интуитивно это понимал и своими пробками и канатами стремился внести хоть малую лепту в прогресс, неся параллельно и полезную общественную повинность.

Размышления неизбежно вели к мысли о собственном деле. Нет, бросать адвокатскую практику Михаил не собирался, но появившиеся первые накопления недурно было бы куда-нибудь вложить. Самый простой способ – покупать акции у тех же клиентов, однако становится заурядным рантье ему не хотелось.

Может быть, основать завод по производству граммофонных пластинок? Теперь, с появлением патефонов, они стали немного другими. Правда, какой-то немец такое производство под Москвой уже наладил. Немца не грех и перещеголять, делая красочную упаковку и вкладывая листок с рассказом об авторах, исполнителях, а для оперной и балетной музыки – с изложением либретто. Да и страна наша велика – всем здесь места хватит.

Еще выгодней – выпускать пленку для кинематографа. Когда завершится война, а конец ее уже близок, картин будет сниматься много. Пленки своей у нас в России до сих пор нет, и мы не стыдимся завозить ее из-за границы.

Идея прочно завладела сознанием Угурина, и он принялся делать в голове расчеты в попытке выбрать более прибыльный вариант.

– Чем ты так озабочен? – заметив это, спросила Лиза в супружеской спальне.

– Размышляю над нашим будущим, – попытался полуправдой отмахнуться он.

– Это хорошо. И очень вовремя. Боюсь, нас осенью ждет пополнение: у меня уже несколько дней задержка.

– Чего же тут бояться! – мгновенно отреагировал муж. – Мы же того и хотели. Радоваться надо, Медя, а не бояться.

Все расчеты тут же вылетели из головы, и он принялся целовать Лизу со страстью молодожена.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Кузен Георгий, первый сын генерала Константина Ксенофонтовича Крапивникова, был старше Александра на год. Но так сложилось, что в Павловское военное училище они поступили в один день и также в один день его окончили. Дальше дороги братьев разошлись: Георгия отправили служить в 108-й пехотный Саратовский полк, а Александра – в 123-й Козловский. Снова свела их вместе война с Японией, откуда оба вернулись кавалерами. Чин поручика они получили одновременно, штабс-капитаном младший стал на год раньше,

а следующие чины у них оказались разными: продолживший службу в пехоте Александр надел капитанские погоны, перешедший в Отдельный корпус жандармов Георгий – похожие, но ротмистрские, ибо офицеры восьмого класса у жандармов именовались так же, как у кавалеристов.

Пути кузенов в очередной раз пересеклись во время Великой войны. Георгия в сентябре пятнадцатого направили в распоряжение начальника штаба Шестой армии для работы по контрразведке, а через месяц туда же получил назначение Александр. С тех пор, куда бы ни переводили их по службе, братья находили возможность не просто встречаться, но и вместе проводить досуг.

Старший жил в Петрограде с женой Еленой, дочерью отставного подполковника Николая Ариановича Пиотровского. За десять лет счастливого брака Господь детей им так и не послал. И вдруг на одиннадцатом году случилось чудо, в которое никто из них уже не верил: Елена понесла и в положенный срок произвела на свет младенца.

Счастливым отец разыскал кузена по телефону и по-офицерски лаконично доложил:

– Сын. Девять фунтов. Крестины в среду. Восприемник, разумеется, ты.

Спорить с последним Александр не стал: родной брат Георгия Николай находился в действующей армии, а ближе ни по крови, ни по месту жительства у новорожденного никого не было.

Двадцать второго февраля Александр, никогда не бывший до того в подобной роли, воспринял от купели младенца Ксенофонта, нареченного в честь их общего с его отцом деда. Сей достойный муж полвека верой и правдой прослужил престолу: сначала, как водится, копиистом (правда, не где-нибудь, а в Правительствующем Сенате), но уже вскоре – столоначальником: сперва в Гофинтендантской конторе, а затем сорок лет кряду в инженерном департаменте военного министерства, из-за чего жил в зловещем Михайловском замке, где родились все его дети. Старшие – Аполлон и Александра – умерли в младенчестве, а сыновья Константин и Николай дослужились до генералов. Была еще дочь Юлия, смолянка, но вышла она за германского (тогда еще даже прусского) подданного Генриха Германа Альфреда Ундербергера и уехала на родину мужа. О ее детях кузены знали лишь понаслышке, имен их не запомнили, чему теперь были несказанно рады, ибо не очень приятно иметь в рядах неприятеля двоюродного брата. Отцы их вели с сестрой переписку, но сыновей в нее не посвящали, словно предвидели грядущий зигзаг судьбы, и те даже не знали, жива их тетка или нет.

Стол, которым управлял Ксенофонт Яковлевич, ведал снабжением армии снарядами и во время Восточной войны обеспечивал оборону столицы минами, в том числе по договору со шведским их поставщиком Эммануэлем Нобелем, работавшим в Петербурге. После войны Ксенофонт Крапивников был включен в состав Комитета для

определения довольства армейских войск. Незадолго до отставки по причине ослабления зрения прилежного служаку пожаловали орденом Святой Анны второй степени с императорской короной. Имел он также Святого Станислава двух степеней и Святого Владимира. Прожил три четверти века и тихо скончался от отека легких.

Дети Ксенофонта Яковлевича дали объявление в газете, в котором, с душевным прискорбием извещая о его кончине, последовавшей в ночь с 27 на 28 марта 1872 года, покорнейше просили родных и знакомых, желающих почтить память усопшего, пожаловать на вынос тела из квартиры его, на углу Загородного и Гороховой, дом Григоровича, № 77, квартира № 7, в четверг, 30 марта, в 9^{1/2} час. утра, на Митрофаньевское кладбище. «Панихиды будут утром – в 11 часов, вечером – в 6 часов. Особых приглашений не будет», – говорилось в объявлении.

Отпевал Ксенофонта Яковлевича протоиерей Аполлос Потапович Знаменский, известный профессор богословия. Называя в честь прадеда первенца, Георгий Крапивников надеялся, что тот унаследует не только доброе имя, но и добрые дела своего предка. Да и логично носить его продолжателю старшей линии рода.

Восприемницей стала бабка новорожденного Софья Карловна, вдова Константина Ксенофонтовича. Тот скоропостижно скончался в августе пятнадцатого. Сердце старого генерала не выдержало после требования властей срочно эвакуироваться из Вильно, где он прожил без малого двадцать лет после отставки.

Софье Карловне вместе со скарбом пришлось вывозить и тело мужа в цинковом гробу. Он так и не узнал, что в начале сентября город захватил неприятель. Похоронили Константина Ксенофонтовича подле отца, и несчастную вдову бросало в дрожь от мысли, что умри он чуть раньше, могила осталась бы в недоступном для посещений и установки памятника месте. Ей даже снился по ночам кладбищенский холмик с деревянным крестом, куда ей подойти не удастся из-за колючей проволоки с табличкой о запрете к ней приближаться на родном для нее немецком языке.

Рождение внука вернуло ее к жизни. Мысль, что никогда ей не стать бабкой, терзала много лет. Казалось, нет надежды ни на беременность невестки, ни на женитьбу младшего сына, хотя списывать в холостяки серьезного мужчину на тридцатом году жизни еще рано. И вот ее мечта свершилась.

За обедом по поводу крестин Александр узнал от тетушки во всех подробностях о панике, царившей в Вильно перед сдачей города, о проклятьях жителей в адрес бездарных генералов. Он не стал расстраивать ее оценками Виленской операции профессионалов: в штабах ее расценили как вполне успешную, позволившую стабилизировать линии фронта. О судьбах людей, оказавшихся из-за такой «стабилизации» по вражескую сторону, там, похоже, и не задумывались.

«Решают, как поступить с будущей объединенной Польшей: подчинить себе или сделать независимой, а не представляют, что могут совсем без нее остаться», – мелькало в голове у Александра. Еще одна такая «блистательная» операция, и придется идти с Германией на мировую. Где же тогда окажется русская треть Польши по разделу столетней давности? А им всё проливы подавай!

Поделился сомнениями с кузеном Жоржем. Тот вспылил:

– Вечно тебе, Шурка, всё не слава богу! Думаешь, мне не больно было отца потерять из-за нашего отступления? Но это же временно. Надо мыслить стратегически. Кутузов даже Москву сдал, на разграбление ее отдал, чтобы потом кампанию выиграть. Вот увидишь: весной пойдем вперед и дойдем к осени до самого Берлина, как в свое время дошли до Парижа.

Александр объяснял про себя оптимизм брата большой личной радостью и решил не спорить с ним в такой счастливый для него день.

Однако красочные рассказы Софьи Карловны не давали покоя. Он живо представлял себе, как в благополучном губернском городе, где среди множества жителей немало людей домовитых, состоятельных и даже знатных, объявляют о его предстоящей сдаче наступающему врагу и предлагают срочно перебраться вглубь страны. Но всем ли есть, куда ехать? И что будет с домом, имуществом? И как всё можно продумать в считанные часы? Самое грустное здесь то, что приказ об отступлении последовал сразу после смещения с должности Верховного главнокомандующего Великого князя Николая Николаевича и вступления в нее самого Государя императора. Кому же не понятно, кем принималось такое решение? Хорошо ли это для репутации монарха? Едва ли. В войсках и без того злословили о неспособности царя возглавлять страну в лихое военное время. И уже полтора года Вильно под германской пятой. Лет двести не случилось такого позора, чтобы русская армия не возвращала сданные города в считанные недели. И вот новый Азов.

Александр неспроста вспомнил Азов. В 1683 году его далекий предок Клементий Петрович Крапивников получил за государеву службу поместье в Пензенском уезде в Кутлинской слободе. Обустроился, обзавелся семейством. И тут случилось повзрослевшему царю Петру потеснить турок и завладеть Азовом. Решил он закрепить там основательно и повелел перевести в новые владения служилых людей и дать им наделы больше их прежних. Среди азовских переведенцев оказалось и семейство Клементия Крапивникова.

Дело было в марте 1699 года. Как раз в ту пору скончался главный царский сподвижник Франц Яковлевич Лефорт, и на его место заступил следующий по положению при дворе Федор Алексеевич Головин. Тому тут же досталось больше благ, чем имел предшественник: не только чин генерал-адмирала, но и – первому – только что учрежденный орден Святого апостола Андрея Первозванного, а следом – тоже первому – и чин генерал-фельдмаршала. Но в придачу ко

всему отошли Головину и многочисленные поместья азовских переведенцев. Он их и в глаза никогда не видел: жил в Москве, где по другую от дворца Лефорта сторону Язузы выстроил свой (в нем впоследствии прямая мужская линия Романовых и пресеклась со смертью Петра Второго). Однако, когда уже после его смерти, в 1711 году Петр Алексеевич затеял неудачный Прутский поход и вынужден был вернуть Османской империи Азов; переведенцам пришлось возвращаться в родные края, но уже не как помещикам в былые имения, а как обычным крестьянам на жалкие пятнадцать десятин.

Клементий Петрович к тому времени успел почить и стыду такому не подвергся. Но лишь его праправнуку удалось, скопив небольшой капитал, построить поташный заводик и вывести четверых сыновей в купеческое сословие. Одним из них был Яков Акимович – отец Ксенофонта Яковлевича Крапивникова. Сто с лишним лет ушло у потомков пензенского помещика, чтобы вернуть прежнее положение.

Зная семейную историю, Александр почитал за большое несчастье любое вынужденное переселение и принял близко к сердцу рассказанное Софьей Карловной. Самой тетушке досталось ютиться в холостяцкой квартире младшего сына, ушедшего на фронт вольноопределяющимся. Теперь, в связи с рождением внука, Георгий и Елена стали упрашивать ее перебраться к ним. Хотя бы на первое время. Для передачи невестке своего материнского опыта. А он у нее возник еще задолго до рождения старшего сына, в первом браке с бароном Вревским, от которого у нее осталась дочь.

* * *

В том, что с завершением зимнего затишья ему пора ехать в Ставку, Николай не колебался. Единственным сомнением оставалось: брать или не брать с собой сына.

Впервые за почти полтора десятка лет судьба династии висела на волоске, ибо у императора был всего один наследник. Но если Павел Петрович, единственный сын своих родителей, не огорчал их своими хворями и не пугал подданных телесной немощью, то о цесаревиче Алексее такого не скажешь. Неизлучимо больной, он, по всем прогнозам, собственного отца пережить не мог. Других же наследников у Николая уже не предвиделось. Брат Михаил не имел династической супруги, а потомство в морганатическом браке с госпожой Вульфферт, которой августейший деверь после долгих колебаний дал всё же титул графини Брасовой, претендовать на трон не могло ни при каких обстоятельствах.

Хотя безутешный отец всё прекрасно понимал, перед Двором и народом разыгрывался оптимистический сценарий, поэтому безнадежно недужного ребенка даже возили в Ставку постигать премудрости ведения войны, каковая со временем якобы должна была ему пригодиться.

Перед очередным отъездом двенадцатилетний Алексей (а в этом

возрасте последний из прямых Романовых по мужской линии уже короновался) собирал свои вещи, когда вмешалась мать. Властная императрица Александра Федоровна категорически настояла оставить мальчика дома из-за признаков простуды: тот сильно кашлял.

Николай в который раз уступил напору жены и двадцать третьего февраля отправился в дорогу один. Более того, обещал супруге вернуться через неделю.

Конечно, ехать ему не очень хотелось. Но ведь царского слова не вернешь, а он его дал, когда срочно отправлялся в столицу из-за убийства Распутина.

Ему бы подумать в пути о судьбе династии, о том, что ждет страну после его смерти, но мысли лезли в голову совсем другие.

Чем он, истово верующий, так разгневал Господа, что Тот послал на него столько напастей? Сначала ужасная необходимость венчаться в дни траура по отцу, потом чудовищная давка с множеством жертв во время коронации и, наконец, кровь невинных людей, идущих к Зимнему, где его самого вовсе не было в тот день.

Почему именно ему пришлось уступить бунтарям и согласиться на унижительное дарование прав выборным от народа одобрять законы на занятиях Государственной думы? Достанься она ему от отца или деда, не так было бы обидно. Теперь от него требуют ответственного министерства. Чтобы не он, самодержец, а депутаты назначали председателя Совета министров. Неслыханная дерзость! Особенно во время такой войны.

Да и почему война разразилась именно при нём? Угоряздило же какого-то фанатика-серб застрелить австрийского эрцгерцога! Не то жили бы спокойно и дальше.

А в самой семье! Если говорить о главном Божьем наказании, то это, бесспорно, роковая болезнь сына: малейшая рана, и он истечет кровью. С таким недугом юноши обычно не доживают до совершеннолетия. Значит, права наследника снова вернутся к младшему брату. А дальше? Тому предстоит вступать в новый брак, настоящий. Нынешний – насмешка над здравым смыслом: ведь венчался он тайком, в столице сегодняшнего врага, с дважды разведенной дамой сомнительного происхождения. И единственного ребенка умудрился прижить с ней еще задолго до своего бракосочетания. Формально тот родился как сын какого-то поручика, мужа той особы. Пришлось специальным указом дать ему и его матери вымышленную фамилию и возвести их в графское достоинство. А это еще противней, чем соглашаться на выборных.

И сестра тоже учудила. Пятнадцать лет прожила с достойным мужем – герцогом Ольденбургским, а потом умолила брата аннулировать ее брак. Якобы он оказался фиктивным. Тут и новый супруг не замедлил объявиться. Простой ротмистр, родом из служилого дворянства. Ее слезам он снова уступил и согласился на такой мезальянс.

Зять другой сестры заманил в ловушку и убил лучшего друга

семьи, Богом посланного целителя, способного какими-то неведомыми силами продлевать земные дни цесаревича.

Не слишком ли много испытаний для одного человека? Даже если он самодержец.

Но удары судьбы должны лишь закалять волю. Раз фортуна так немилосердна, надо вести себя жестче, не отступать от жизненных принципов. Главный он высказал в первой же публичной речи: охранять начала самодержавия столько же твердо и неуклонно, как его предшественник. Все ждали от молодого царя возвращения к политике деда. Думали, что он, подобно Александру Благословенному, объявившему при вступлении на престол о намерении следовать заветам своей бабки, захочет вернуть страну на путь прогресса, по которому ее вел Александр Освободитель. И горько просчитались!

Все их дальнейшие происки он отражал и будет отражать. И больше не проявит слабости, как в девятьсот пятом. Они требуют отставки Протопопова. Не бывать тому! Уступил им Трепова – и пока хватит. Конечно, Протопопов не семи пядей во лбу, но человек он верный и очень набожный, а другого сейчас и не нужно. И дело знает. На вопрос о возможности революции прекрасно ответил: возможно, но лишь лет этак через пятьдесят. И уж, разумеется, не может идти речи об ответственном министерстве. *Этой* Думе таких полномочий точно давать нельзя. Когда выберут в ноябре новую, наверняка во время очередного духовного подъема вследствие продвижений на фронтах, можно будет о том немножко подискутировать, даже с чем-то согласиться. С чем-то, но не со всем. Пусть они почувствуют, что любое новшество – подарок самодержца, который еще надо заслужить.

Однако главное теперь – подготовка наступления. С отдохнувшим и подлечившимся генералом Алексеевым дело пойдет легче. И работать с ним куда приятней, чем с Гурко. Тот никогда не чувствовал царских желаний, не умел понимать намеки. С ним, что называется, каши не сваришь, ибо он своенравно готовил ее на свой вкус. Взял и подсунул ему в декабре нечто несуразное о Польше. Да еще назвал приказом только по армии, совсем забыв о флоте. Флот пришлось вписать самому, от руки, а исправлять весь текст он уже не стал, хотя надо бы.

Обещал жене вернуться через неделю... Зря, конечно: в такой срок и половины срочных дел не переделать. Но слово держать придется. Да и дети не ко времени расхворались. Кашлю у сына он бы не придал особого значения, оставайся при нем старец, а теперь и кашель стал опасен: вдруг от него сосуд какой-нибудь лопнет, внутреннее кровотечение начнется.

И снова мысли вернулись к Распутину. Не столько к нему самому, сколько к реакции на его убийство. Никто из родных не высказал царю сочувствия в связи с утратой. Иные злословили, а иные даже ликовали. Как же это гадко, как же гадко!

Когда одного из соучастников злодейства – Великого князя Дмитрия Павловича, своего кузена, он отправил с глаз долой на пер-

сидский фронт, десятка полтора Романовых написали ему прошение вернуть негодя назад. Но как можно прощать такое неблагодарное создание?! Он ему в свое время умершего отца заменил, взял к себе в семью, готов был дочь старшую за него отдать, – хорошо, жена вовремя воспротивилась – а в ответ получил незаживающую душевную рану.

Полагая инициатором письма старшего из подписавших – Великого князя Николая Михайловича, своего двоюродного дядю, выслал того в дальнейшее имение, хотя он чем только в столице не ведал: и Географическим, и Историческим, и еще каким-то обществом, и даже в Академии наук состоял.

И за это его родственники за глаза поносят. Ну и семейка ему досталась! Больше полусотни дармоедов, кормящихся из государственной казны. Но кроме как от дяди Николаши пользы ни от кого. Да и на него, как показала жизнь, во всё положиться нельзя.

Просил ведь он отца в свое время избавить его от этой ноши, назначить наследником одного из братьев. Тот ни в какую и даже разгневался. И оказался прав: Георгий умер рано, а из Михаила какой царь: эгоистичен он и к делам государственным совсем тяги не имеет.

Значит, и дальше нести ему этот тяжкий крест самому, в одиночку, опираясь лишь на любящую супругу и стареющую мать, которая одна только и может осадить не в меру ретивых родственников. А раз так, то и нечего навязывать ему то, что душе противно и что предками не завещано. Пусть всяк кому не лень не лезет с советами и проектами. Ишь, манеру взяли: пугать новой революцией и учить, как ее предотвратить. Уже не только Великие князья, но и худародные выскочки стали о том нашептывать. Народа ведь совсем не знают! Не понимают, что ни один мужик бунтовать не полезет, пока война идет, пока земли утраченные возвращать надо.

Вот о чем нужно думать. К осени кровь из носу отбить у неприятеля западные губернии. Стыд сказать: холмский губернатор живет и держит свою канцелярию в Казани, за тридевять земель от места назначения.

С тем и прибыл в Ставку. Тут же телеграфировал жене: «Чувствую себя опять твердым, – и добавил, зная ее слабости: – но очень одиноким».

В ответ пришло: «У Ольги и Алексея корь. Бэби кашляет сильно, и глаза болят».

И всей твердости – как ни бывало.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Двадцать третьего февраля родные и знакомые почившего старика Владиславова собрались по поводу девятого дня по его кончине. После панихиды отправились в опустевший дом, где последнюю волю усопшего огласил его нотариус.

Им был зять Михаила Утрина Николай Белов, муж его сестры Надежды и однокашник по юридическому факультету Императорского Московского университета. Близким родственникам подобная роль запрещалась, но супруги внуков и внучек не имеют своего названия в русском языке, потому среди тех, кому она возбраняется, не перечислены. Расхождение духа и буквы закона – дело для России привычное, и поэтому при очевидной невозможности для Александра Владиславовича оказаться доверителем отца своей правнучки, то есть потенциальной наследницы, его завещание заверял и хранил именно он. Впрочем, большинство заинтересованных лиц о родственных связях завещателя и нотариуса и не догадывалось, ибо Надежда Георгиевна венчалась тайно, против воли матери, а та, не на шутку обозлившись, молодых принимать отказалась, никаких отношений с ними не поддерживала, внучку в глаза не видела и со злорадством наблюдала охлаждение дочери к ее избраннику, с которым ту зачем-то свел родной брат.

Михаил не думал делать это специально. Вышло всё неожиданно: он просто пригласил домой на Рождество однокурсника, жившего на соседней улице. Нечасто такое случается, когда с соседом по не столь большому городу знакомишься в полторамилионной Москве, оказавшись рядом на студенческой скамье. Чем взял не слишком симпатичный юноша, к тому же неблагородного происхождения, красавицу Надю, понять трудно. Однако ее с того дня словно подменили. С влюбчивыми барышнями подобное случается сплошь и рядом: мгновенно вспыхивает страсть и так же быстро гаснет. Похоже, их греют теперь лишь угли с того пожара, что вызвал неизбежность столь странного брака.

Старик оригинальным не оказался: одну половину нажитого отказал поровну всем дочерям и невестке, а вторую также в равных долях разделил между их детьми, сиречь, своими внуками. Дом надлежало продать, и вырученную сумму раздать всем наследникам в той же пропорции. Но если кто-нибудь из них пожелает в нем жить, то должен будет выплатить остальным их долю стоимости, при этом преимущество при выкупе отдавалось по старшинству.

Как и ожидалось, никто из дочерей, давно обустроенных, и невестка, мужу которой был подарен не меньший дом к их свадьбе, интереса к предложению не проявил. Промолчали и их дети. Прозвучал лишь один голос – Михаила Утрина. Тетки, сестры и кузены с кузинами ему дружно зааплодировали.

Решение возникло спонтанно: тщательно оберегавший тайну завещания Николай Белов никого из наследников заранее в нее не посвятил, даже друга по университету.

Мечта о свечном заводике теперь откладывалась: накоплений едва хватало для расчетов с родственниками. А у матери, Веры, Нади и Любаши придется даже просить отсрочку: ведь переезд и обустройство на новом месте тоже не дешево.

Зато после сороковин можно будет начать обживать собственное жилище. И сын – а он не сомневался в появлении осенью именно мальчика – должен родиться только там.

Накануне, двадцать второго февраля, администрация Путиловского завода решила закрыть его из-за продолжающейся почти недели стачки. На следующий день солидарность с путиловцами проявили рабочие более полусотни других предприятий. Все они вышли на Невский с обычными лозунгами «Долой войну!», «Хлеба!».

Хлеба в городе хватало, но пущенный слух, будто бы на него введут карточки, как на сахар, сделал свое недоброе дело: многие начали запасаться впрок, и кое-где буханки исчезли с прилавков. Тогда слух стал еще зловещей: в Питере хлеб закончился, а кое-где прозвучало так: его нарочно прячут. Начался погром булочных.

Градоначальнику столицы пришлось обратиться к армии. Немногочисленные войска привели в готовность на следующий день выдвинуться в места беспорядков. Царю, уехавшему в Могилев, ни о чем не доложили.

Наутро забастовка охватила более двухсот заводов и фабрик. К прежним лозунгам прибавились «Долой самодержавие!» и даже «Да здравствует республика!». Власти отреагировали по-разному. Исполнительная в лице министра внутренних дел поспешила телеграммой заверить государя, что эксцессы, возникшие на продовольственной почве, к утру уладятся и рабочие вернуться к станкам. Законодательная в лице Государственной Думы, точнее, ее оппозиционных депутатов, возобновила требования ответственного министерства. Военная в лице командующего войсками Петроградского округа генерала Хабалова расклеила успокаивающие разъяснения на хлебную тему: мол, муки в городе хватает, хлеб выпекается в прежних объемах, а вчерашние перебои с ним возникли из-за нелепых слухов о его дефиците.

Во вранье министра царь поверил, а народ в разумные доводы генерала Хабалова – нет.

С того всё и началось.

Узнав о всеобщей забастовке, разбежались из присутствий служащие, ушли с лекций и студенты. Народу на улицах становилось всё больше и больше. Шли толпами по проезжей части. Тротуары даже Каменноостровского проспекта оказались узки для манифестантов. Конная полиция их потеснила. И тут пролилась первая кровь: но стреляли не в людскую гущу, а, напротив, из нее. Убили случайную прохожую. Мигом нашелся провокатор, тут же громогласно обвинивший в роковом выстреле городского. На счастье того, рядом оказался полицеймейстер. Он взял у перепуганного городского револьвер, показал народу его нерастраченное содержимое и тем самым спас от расправы. Как выяснилось позднее, другим блюстителям порядка повезло в тот день меньше: десятка три из них поранило, а кого и покалечили.

Не чудно ли: безоружные бесчинствуют, а вооруженным нельзя к ним силу применить? Такие даны указания.

Громят лавки, бьют витрины, ломают трамваи – всё им с рук сходит: категорически запрещено повторять Девятое января и применять оружие. Можно только рассеивать толпы конными отрядами.

Совет министров, как всегда, по пятницам заседал в Мариинском дворце. Вопросы рассматривались важнейшие. Во-первых, о дальнейшем оставлении некоторых местностей на положении чрезвычайной охраны. Еще в прошлом августе высочайшим указом губернии, не переведенные на военное или осадное положение, объявлялись в положении чрезвычайной охраны до четвертого марта. Срок истекал, и его надлежало продлить еще на полгода, что и предложил министр внутренних дел Протопопов, обеспокоенный подготовкой рутинного указа больше, чем подавлением волнений в столице (он полагал это делом городских властей да военных). Не забыл включить в него, по просьбе Великого князя Николая Николаевича, пункт об особых полномочиях кавказского наместника в отношении торгового флота Каспийского моря, которые заканчивались тем же днем и тоже нуждались в пролонгации.

Другим важным пунктом шло содержание созданного внутри министерства иностранных дел Особого политического отдела по вопросам славянских народностей габсбургской монархии (проще говоря, на внутреннюю подрывную работу в Австро-Венгрии). Министр Покровский испросил дополнительно 75 тысяч на не подлежащую оглашению надобность (разумеется, всё это было секретом полишинеля, но совестно раскрывать его в документах). Согласились и выдали, с отнесением на счет наличных средств государственного казначейства.

Не то Дума. Глава ее и некоторые депутаты навестили уши и задумались о развороте ситуации себе на пользу. Председатель Родзянко, предупреждавший царя несколько дней назад о возможных нестроениях, в душе ликовал: происходящее превращало его из паникера в провидца. А такой внутренний подъем всегда побуждает к энергичной деятельности. В течение дня он успел, во-первых, убедить малоинициативного князя Голицына провести вечером совещание с участием верхушки правительства, Государственного Совета, Государственной Думы, а также городских властей; во-вторых, сделать о том заявление на заседании в Таврическом дворце, предварив его собственной оценкой событий:

«Волнения, возникшие в Петрограде и других городах на почве расстройства правильного снабжения населения пищевыми продуктами, достигли таких размеров, которые, несомненно, угрожают превратиться в явление, крайне нежелательное и недопустимое в тяжёлое военное время, нами переживаемое.

Вне всякого сомнения, причина этого явления кроется главным

образом, как уже неоднократно говорилось, в отсутствие достаточно целесообразной организации, ведающей делом продовольствия».

Откуда взял он про другие города? И что это за «достаточно целесообразная организация»?

Сказавши «а», надо говорить и «б». Пришлось Родзянко на вечернем совещании держать речь о заявленном им новообразовании. Но ничего ему за день не придумалось, а другие и подавно о том не помышляли. Решили перепоручить продовольственные заботы городским властям. О погромах, об опасных лозунгах демонстрантов ни словом не обмолвились, будто и в самом деле причина всех неприятностей таилась только в скудном наполнении прилавков булочных. Даже ответственных за поддержание порядка не пригласили: ни военных, ни полицейских, ни жандармов. Зато Думе теперь на неделю прений: расширение прав городского самоуправления возможно лишь изменением закона. И газетчикам будет надолго о чем судачить.

Надо заметить, у Родзянко наблюдалась явная способность вносить различные предложения, либо в головы других не приходившие, либо с их языка не срывавшиеся. Но чего он явно не умел, так это просчитывать последствия от воплощения в жизнь своих идей. Отдать гласным по всей России распределение продовольствия – звучит с виду заманчиво и прогрессивно. А к чему может привести рассредоточение ответственности в столь щекотливом вопросе? И время ли сейчас менять здесь прежние порядки? Но не нашлось никого, кто бы в этом вслух усомнился.

Спать в ночь на субботу все ложились в умиротворенном состоянии.

А проснулись – и снова за вчерашнее. Толпа заняла весь Невский, а любители поорать сгрудились на Знаменской площади вокруг конной статуи Александра Третьего. Да так кучно, что для извозчиков, везущих пассажиров с вокзала и на вокзал, казакам пришлось коридор проделать и цепко его держать.

Пока ораторы изошрялись в краснобайстве, сбоку, с Гончарной, прискакал пристав с группой полицейских. У всех шашки наголо. Толпа с испугу подалась назад, вдавилась в шеренгу казаков, прорвала заградительную цепь. И случилось непоправимое: пристава, зачем-то ухватившего красный флаг, обозначавший место выступающего у постамента памятника, сзади предательски и провокационно зарубил кто-то из казаков.

Народу-то как это понимать? Кто тут за кого и против кого? Раньше военные и полицейские всегда выступали заодно, и всегда против протестующих. А теперь? Или низшие чины на офицеров поднять руку осмелились: убитый как-никак ротмистр...

Сами же военные, получив полную власть над столицей, употреблять ее для усмирения бунтовщиков не спешили. Генерал

Хабалов придумал пугнуть забастовщиков досрочным призывом: мол, не вернетесь до вторника на работу – забрешу и тех, кому еще время не подоспело (а до вторника целых три дня).

Но лишь подлил масла в огонь: ведь главный лозунг протестующих «Долой войну!». С ним они митинговали и у Гостиного двора, где случилась перестрелка с кавалеристами. Трех манифестантов уложили наповал.

Пришлось незадачливому генералу держать ответ перед самим председателем Совета министров (хотя с чего бы: он ему не подчинен). Объяснил, что первыми огонь открыли из толпы. Князь Голицын тут же напомнил: главное в политике правительства – не поддаваться на провокации и в людей не стрелять. Их можно бить, разгонять, теснить, давить лошадьми, разумеется, не до смерти, но только не пускать в них пули.

Можно разгонять и давить? Хорошо, он вызовет назавтра еще один кавалерийский полк.

На том отправились ночевать.

А воскресным утром Хабалов, решивший воевать исключительно с помощью листовок, расклеил третью по счету: «Последние дни в Петрограде произошли беспорядки, сопровождавшиеся насилием и посягательствами на жизнь воинских и полицейских чинов. Воспрещая всякое скопление на улицах. Предваряю население Петрограда, что мною подтверждено войскам употреблять в дело оружие, не останавливаясь ни перед чем для водворения порядка в столице».

Получается, не послушался председателя Совета министров (что и не обязан был делать). Решил наконец действовать надежным и проверенным способом. А что ему оставалось? Революция (он уже не сомневался в ее начале, памятуя о Девятьсот пятом годе) как беременность: сама не рассосется.

Однако бастовать по воскресеньям нужды нет, и людей на улицах стало поменьше. Конница же, вызванная Хабаловым, прискакала.

После обеда Невский всё-таки стал заполняться. Видать, в неприсутственный день люди решили по привычке как следует отоспаться, прежде чем выходить на улицу.

И снова большое скопище на Знаменской. Только на сей раз его окружают уже не казаки (Хабалов крепко запомнил, кто накануне зарубил пристава), а рота Волынского полка с пулеметами. Военные перекрыли выход на площадь с Гончарной и потребовали от митингующих немедленно разойтись. А народ уже привык в эти дни, что солдаты стрелять избегают, и на угрозы не отреагировал. И зря: теперь пулеметы заговорили, и многим такая доверчивость стоила жизни. Да и в других местах, где войска, выполняя приказ, открывали огонь по демонстрантам, – десятки жертв.

В морозном питерском воздухе снова запахло Девятьсот пятым годом.

Наконец сообщения о серьезном характере беспорядков доходят до царя. Он лапидарно телеграфирует напрямую Хабалову: «Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжелое время войны с Германией и Австрией».

И никто не осмеливается объяснить ему, что с Германией и Австрией воюет он, а народ, если и готов воевать, то только с ним самим, что уже успешно делает.

В ночь на понедельник разрывается бомба замедленного действия, и ее детонация постепенно обрушивает монархию. На квартире князя Голицына хранился подписанный Николаем указ о перерыве в занятиях Государственной Думы. Число на нем не стояло: его должен был проставить сам председатель Совета министров на свое усмотрение, о чем его попросил лично государь перед отъездом в Ставку. Срочно вызванные на совещание вечером в воскресенье министры дружно начали обвинять в происходящем думскую оппозицию: мол, именно она дирижирует толпой и ответственна за беспорядки. И в голову никому из этих недалеких людей не пришло: раз депутаты заодно с народом, то с ними надо сугубо считаться.

Однако, излив свои обиды, они купно проголосовали: указу дать ход немедленно. Заручившись их поддержкой, трусоватый Голицын вывел дату: с 27 февраля.

Целились в одних, а попали в других: день этот войдет в историю как день низвержения самодержавия.

Слово *самодержавие* за сто с лишним лет почти истерлось из нашей исторической памяти, а теперь, по вполне понятным причинам, его лучше забыть совсем. Но слово словом, а от самого понятия никуда не денешься, тем более такого, исконно русского, более никому не ведомого. Миру известны тирания, деспотия, абсолютизм, диктатура и тому подобные политические термины, но самодержавие в этот синонимический ряд никак не встраивается. Что бы ни говорилось в учебниках и энциклопедиях, феномен самодержавия не описать сухими лаконичными формулировками.

Да, это безраздельная власть монарха, самолично принимающего и меняющего законы, вершащего суд, определяющего внутреннюю и внешнюю политику страны на свой вкус и возглавляющего крупнейшую конфессию. Различные коллегиальные органы, даже выборные — думы, соборы, комиссии, советы — никакой самостоятельностью не пользуются, и каждое их решение подается на высочайшее утверждение. Однако ошибочно считать это узурпацией власти одним человеком. Подобная система существует на основе всеобщего общественного договора, пусть и негласного, где образованная часть общества парализована политической трусостью и конформизмом, а остальному большинству вообще наплевать, как управляется государство.

Характерно, что даже при попытках изменения верховной власти насильственным путем, руководители мятежей не собирались

отменять самодержавие и прятались за именами либо законного наследника царя (оба Лжедмитрия), либо его самого (Емельян Пугачёв), играя на чувствах верности народа несправедливому смещенному ненадлежащими лицами самодержцу.

Умный царь Александр Николаевич, натерпевшись от разного рода революционеров, понимал: из-под самодержавия начинает уходить почва, которой оно питается, – народное безразличие к собственной судьбе. Буквально дня не хватило ему начать коренные изменения. Его недалёковидный сын отверг отцовские проекты и принялся не видоизменять, а укреплять шатающееся самодержавие. В сущности, на революционные рельсы Россию перевел именно Александр Третий.

Его наследник Николай, также ума недалёкого, из-под палки издал в критический для страны момент Манифест 17 октября 1905 года, чем успокоил революцию, однако так и не понял, что на половинчатых мерах долго не протянешь.

Сначала всё держалось на продуманной и жесткой политике председателя Совета министров Столыпина, потом народ загипнотизировали тремя праздниками с пышными по нарастающей торжествами: в 1911 году – 50-летием освобождения крестьян, в 1912 году – 100-летие победы над Наполеоном и в 1913 году – 300-летие Дома Романовых. Да и экономические показатели пошли вверх.

Всё изменила бессмысленная война. Подъем первых дней, царивший во всех слоях общества, сошел на нет, как только стал понятен затяжной ее характер. Великое отступление 1915 года морально убило бóльшую часть населения.

И опять основы самодержавия заколебались. От безоговорочного конформизма элиты не осталось и следа еще с начала работы Государственной Думы и с появления легальных политических партий. Некоторые из них шли в народ, и безмолвная прежде крестьянская масса стала подавать голос, те же ее представители, что уходили на заработки в город, научились отстаивать свои права с помощью забастовок.

Парламент, ставший двухпалатным, перестал служить ширмой для самодержавия, и ему становились тесны законосовещательные рамки: во всяком случае, нижняя его палата стремилась к полноправной законодательной функции.

Даже императорский двор, невероятно разросшийся, не столько охранял самодержавие, сколько его компрометировал. При Александре Павловиче и его брате Николае Великих князей можно было пересчитать по пальцам (в первом случае – вообще одной руки). Николаю Второму достались двоюродный дед, четверо родных дядей, одиннадцать двоюродных, двое родных братьев и четверо двоюродных. Да еще больше десятка князей императорской крови. И почти все вступили в неравнородные браки. Это поветрие приняло такой размах, что в 1911 году царю пришлось разрешить мезальянсы. Правда, с оговоркой: потомство ни при каких обстоятельствах на трон претендовать не сможет.

И всё же уступка стала чувствительным ударом по репутации династии и эхом могла аукнуться принципу самодержавия: ведь умри завтра император и чахлый цесаревич, шапкой Мономаха и венчать толком было бы некого, если иметь в виду дальнейшую перспективу престолонаследия.

Постепенное вырождение Романовых, появление официальной политической оппозиции, рост народного самосознания – всё это неуклонно вело к иной модели правления, отличной от традиционного самодержавия.

Вот почему и рухнуло оно именно 27 февраля 1917 года, когда народ не убоился стреляющих в него пулеметов, а его избранники отказались подчиниться указу о перерыве в своей работе. Заметьте: не о роспуске Думы, а всего лишь об отправке ее на незапланированные самими депутатами каникулы.

Но самый главный, смертельный удар самодержавию нанесло правительство, самопроизвольно, без разрешения самодержца, прекратившее выполнение возложенных на него государственных обязанностей.

(Продолжение следует)

Евгений Чигрин

Перевернутое пламя

КАНЦОНА

Растенья сбрасывали сны,
В саду зелёном абрикосы
Дышали зрением весны,
Курили эльфы папиросы,
Такие маленькие, что
Лишь аромат мы ощущали,
И розы, колера бордо,
Совсем других не замечали.

И облака ложились на
Холмы и лес, стоящий в страшном.
Бродяга брёл себе бубня
О мире сладком и продажном.
Распространяли миражи
Четыре ветра не бумажных,
Абракадабру малыши
Вопили возле дядей важных.

Так почему же плакал тот,
Стоящий подле старой церкви,
Слегка качался, был нетвёрд...
Его обидели, отвергли?
В какую бездну он смотрел
(Перевернись, страница жизни!),
Курил ненашенский «Pall Mall»,
Какие в нём вращались мысли?

И облака смотрелись, как
Висящие кинотеатры,
Лес разгонял весомый страх,
Хвосты теряли саламандры
В порядке аутоотомий,
Тебя толкни – воображенье
Выходит, точно некий змий,
Как нужно спрятанной геенне.

Как нужно ворон Nevermore
 Смотрел трагическим актёром:
 В глазищах кубовый костёр
 Раздутый Чёрным Режиссёром.
 А тот, что плакал, не исчез...
 Он превратился в форму счастья.
 Смотрел коровий бог Велес
 И вся его седая паства,

Стирали (это может быть?)
 Речения Экклезиаста.
 Хотелось плачущему жить,
 Взамен дурного и несчастья.
 ...Был солидарен автор с ним,
 А он зависнул, словно ангел...
 И плыло всё большим, ночным,
 И с увертюрой выплыл Вагнер.

ПРЕЛЮДИЯ

Кто гладит смерть незримою рукой?
 Известно Кто. На небе пятна крови,
 Их оттиски становятся весной
 И сыпятся закатом в Подмосковье.
 Весна, расправив складки у луны,
 Вернула лесу жёлтое свеченье.
 Там, где живут болотные огни
 Цветут ли орхидеи? Совпаденье

С известным фильмом про собаку и
 Дисталкером* с секретом детектива...
 Везде чернеют снежные пески,
 Под Пятым Камнем теургия мифа.
 Под каждым лесом гномики стучат,
 А коротышки фонари включают
 С загадкой лампы, обещают фарт
 И мысленно любимых обнимают.

Смеются мойры. Сёстрам мы смешны:
 Всё видят в зеркалах и в зазеркалье.
 Что жизнь для этих трёх? – глоток весны,
 Смертельный луч, кровать в стационаре,
 Астральный взгляд мерцающей сейчас
 Одной звезды (я повторяю имя,
 Не потому, что оборвалась связь,
 Не потому, что ей светло с другими).

Не оторвать от пряжи трёх сестёр...
Всё лучше дома с изумрудным чаем.
На всякий случай сбереги обол,
Хранитель-ангел... Рядом с тёмным раем
И светлым адом гладит смерть рукой
Весну, что смущена и осторожна,
Присматривают рыбы за рекой,
Порой кричит большая выпь истошно...

Всё лучше дома, чайник закипел
И сам ты чайник, но другого сорта.
Не от вороны в миске камамбер?
А ночь в окне – натура для офорта.
Здесь нет финала. Быть он должен – а?
Там сказочно, а тут летает совье.
И если Бог – вот *эта* тишина,
То пусть она продлится в Подмосковье.

* Шляпа охотника за оленями (англ. Deerstalker hat), также известная как Шляпа Шерлока Холмса.

МУЗЕЙ

Вот этот угол переулка,
Москвы-реки апрельский всхлип,
И куст, куда шмыгнула мурка,
Не завершённый манускрипт,
Собор Никольский, что напротив,
Как в песне, дома моего,
В зелёном колере апокриф,
Поющей птички волшебство –
Вот мой музей, ты слышишь, мама,
Ты осмотрись и приходи
В музей, чтоб сына встретить прямо,
Полить уставшие цветы.
Пусть всякий день теперь железный,
Здесь нет ступенек, проходи
Сквозь адский ад моей болезни,
Смири мне бешенство в груди.
Я тоже был осколком счастья,
В рубашке выстиранной сад
Мне машет ветками участья,
Я каждой ветке очень рад.

«Ну вот и всё стихотворенье», –
Сказал и – Оля подошла.
...И говорят, что для спасенья
Отворены врата Петра.

ЖУЖЖИТ И ПЕСНЬ ЗАВОДИТ

До сердца дозвониться не всегда
Смартфон умеет, если очень плохо
Хозяину. Последний города
Считает и – как будто просит Бога...
В жилище дирижабли комаров,
Напились крови, хвастаются между
Собой – блатные кровососы. Дров
Такие наломают... А надежду
Одну украли, а другую не...
Сплотилось тело с ящиком Пандоры.
По телику горит Восток в огне,
На фоне зла открыли челюсть горы
И этот, возле телика, и те
Живые в ястребиную эпоху
Ракет сверхзвуковых, как в темноте:
Не знают, как теперь пробиться к Богу,
До сердца достучаться, та ещё...
Нарушена программа человека,
В мозгах – нищо, окрест – нехорошо,
Откройся, ангел... «Здесь не фильмотека,
Чтоб выбирать», – смеётся Вельзевул,
Он мухою жужжит и песнь заводит:
Пойдёшь направо – вот и век минул,
Налево – соответственных методик
Не существует. Вспыхнули глаза
Огнём зелёным, сатана на каплю
С мужчиной спелся, тот про тормоза
Свои забыл, перемаравшись тварью.
Отринул ангел злое колдовство,
Взывая к миру праведные души,
Петух проснулся, сделалось легко,
И в парадизе покачнулись груши.
...Наш персонаж забыл про гаджет и –
Не Каин – Кай, в котором сердце плачет,
И очень, может стать, это ты? –
Скажи, Всевышний, это что-то значит?..

* * *

Сидит на рифме, как на стуле, и –
Старая – молодеет и обратно,
На выходные носит джинсы Lee,
А Levi Strauss в будни, вероятно.
Он охраняет допотопный морт,
В котором мы с тобой опустим флаги,
В зелёном сновидении с ним киборг:
Так эти двое отгоняют страхи.
В потёртом кепи, в солнце голова,
Ты пьёшь с ним кофе на такой веранде,
Что можно слить с Эдемом... Синева
Такая, что в ней слышится Вивальди.
А в воздухе разлит богатый Крым
Воздушным замком, смехом Балаклавы
Бессрочным Богаевским, вместе с ним
На лезвиях и остриях агавы,
Та живопись, с которой умирать
Учиться можно, как в воскресной школе,
Когда б хотел взлететь, как братья Райт,
Пожалуй, лучший вариант, чтоб море
Смотрело снизу вверх на флайер-III,
Безбашенные черти, вам респекты!
«На, – говорит мне вестник, – закури,
Не перепутай жизнь и смерть... Кометы
Взрываются в галактике, а ты
Попался в лапы трешевой Костлявой,
Теперь и сам ты Смерть, и те скоты,
Что вняли Вию, грязь над Балаклавой
Пытаются из ада разбросать
Такие курвы, не скажу иначе,
В строфу стучится вурдалаков рать:
Влад Цепеш растворяется в удаче.
Ты слышишь, поезд откатил в печаль,
Плащом его накрыл блаженный ангел,
А Фридерик рукой потрогал даль,
В которой притворился спящим сталкер.
Сорвать стоп-кран, забыть про ход часов,
Кто был утрачен – будет обнаружен
На кладбище потерянных отцов.
Ты никому заведомо не нужен.

* * *

Так вот: послушай, Буратино,
Отдай мне ключик золотой,
Пока папаша у камина
Сидит, набравшись джина... Твой
Успех ещё, возможно, будет,
А мне в затылок смотрит та,
Что в балахоне, всем запудрит
Мозги: с косою сволота.
А на плечах – змеюки, жабы,
Собака Огненный Язык,
Над головой сверкают лампы,
Моленья смердов и владык.
Так вот: я схоронюсь за дверью,
Воспользуюсь твоим ключом,
Чтоб оттянуть впазд поверью
Конечный траурный some on.
Запрыгивай, мальчишка, в гробик,
Ложись безумным стариком,
Спасай меня, друган-пособник,
Всё цигель, цигель, всё тайком.
Все ништяки и все лайфхаки
Я посвящу тебе, дурак!
Как только дверь закроет страхи,
И я стряхну последний прах.

РАЗНОЕ 3

Подвинься, дай мне посидеть
На пару с Блоком
Играет духовая медь
Землёю, Богом.
А на болотах стонет выпь,
Глаза навывают.
Владимир Нарбут снял бы клип,
Без всяких выгод,
Где вышел сумрачный скелет,
Откинув крышку,
И взял под руку тётку Смерть,
Укрылся в нишу.
Я розой сердце разверну,
Сосуд аорта
Пускай сработает весну,
Всё будет твёрдо.

Скелет пугалово включил,
Зовёт собаку,
Что на болота отпустил
Затеять драку
Милейший доктор. Круговерть –
Вот новый фокус.
Снимает слэшер Нарбут, Смерть
За пультом – бонус.
Кто режиссёр? Так я сказал!
Всем аллилуйя!
Покойник выдумал кошмар,
Шипя, колдуя.
*Ужели Богом власть ему
Дана?* Вот нежить
Костями разгребает тьму,
Как не опешить?
Как не сорвать стоп-кран души,
Скажи-ка, Нарбут?!
Кикимора карандаши
Стащила мабудь.
Меня закроет Блок плащом,
Но не чугунным,
Не говори мне ни о чём
Между подлунным
И безобразным миром, в нём
Скелет захлопнул
Сосновый гроб... С небытиём! –
Сказал и охнул.
Добавил – мне б твой алфавит,
Блаженство речи,
Тогда бы ад был мной разбит,
Все черти печи
Закрыли б на большой замок.
Царём скелетов
Я б сделался. Закройте морг,
Простив поэтов.
...Ну вот, полфильма снято, друг, –
Сказала бездна.
Закрыв глаза А.Блок. Не вдруг
Случилась песня.

Григорий Марк

КОПАЙГОРОД*

Груды каменных карликовых небоскрёбов,
избывающих время бессмертием плит.
Без дверей и без окон. Какой-то особый
сумрак над головой. Будто туча кружит

очень медленно, и сквозь тебя ось проходит.
Ничего не растёт. Ни травы, ни кустов.
Под железною аркой табличка у входа.
Копайгóрод. Последняя сотня шагов.

Вдоль промёрзшей дорожки на чёрном граните
чьи-то лица. От ветра слезятся глаза.
Между светом этим и тем, по границе
очень медленно движешься. Ноги скользят.

Фотография в камне почти уже стёрлась.
Словно в зеркале мутном, увидел себя.
Или это отец? Что-то дёрнулось в горле.
Имя не разобрать. Ты стоишь, теребя

скровенную память. Где в прочерк меж парой
чисел жизнь уместилась. Преследует взгляд
из плиты. Разноцветные листики старых
проржавевших венков на морозе звенят.

Монотонно вызванивают расставанье.
Прочитал древний Кадиш. Смущенно притих.
Здесь намоленный воздух вызывает к молчанью.
И к Творящему мир на высотах своих.

Для оставшихся и для ушедших отсюда
через прямоугольники рыхлых дверей.
Копайгород молчания и самосууда.
И камней. Сколько глаза хватает камней.

Февраль, 2024

* Участок на еврейском кладбище в Бостоне.

ВОПРОСЫ К СТОЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ

Хорошо бы узнать, что сейчас происходит
с той бессмертной душой, больше века назад
отлетевшей от тела Владимира Ленина,
незажившую память оставив в народе.
Или там и таких после смерти простят?
И душа в новом теле окажется где-нибудь
совсем рядом, ведь зло неизбежно в природе?
Он живёт уже здесь? Год за годом подряд
превращаясь в народного первосвященника

зла, творящего беспрекословное счастье?
Миллионам живущих вокруг мавзолея
безразличны и труп, и камлания старух,
и чекистов молитвы над мумией власти?
Всё равно, что за флаги над башнями реют?
И народ теперь на обещания глух?
Ну а труп – чтоб страна не распалась на части?
Это только вопросы мои к юбилею.
Но ведь должен их кто-нибудь высказать вслух?
21 Марта, 2024

БОЛЬШОЙ ДОМ. АПРЕЛЬ 1971

Глотал электрический свет. Думал, что меня ждёт.
К тому времени дело моё целый месяц в конторе
крутилось со скрипом и не продвигалось вперёд.
Словно винт мясорубки. А вскоре

процесс начинался. Пока я свидетель. Дожди
за стеной причитают, скрежещут трамваев колёса.
Всё тянется медленно здесь, я привык. Позади
было много таких же допросов.

Скруглило, расплющило время лицо следака:
циферблат, на усах без пятнадцати три. В кабинете
одиннадцать ночи. Он в штатском, во тьме пиджака
синий ромб ЛГУ. Сигарета

во рту, газыри авторучек блестят. Аксакал
держит паузу. Встал, не спеша затянулся. – Ну что же,
попробуем снова. – И громкость повысив слегка. –
– Вам помощь нужна. – В жёлтой роже

от скуки скукожилась кожа. Молчит. Наконец, намотав поплотней на кулак мои нервы, со вздохом задумчивым выпустил несколько сизых колец мне в глаза и рванул. – У вас плохо

работает память. Есть несколько новых больниц, где такие проблемы решают врачи. – Он сурово сужает глаза. Взгляд блестящий и острый как шприц, где беспамятство плавает. Снова

в платок носовой протрубил. Варикозные нити возникли на крыльях широкого красного носа. А судя по цвету его, аксакал любит выпить, расслабиться после допросов.

Платок аккуратно сложив, замолкает. Потом он встаёт и подходит в упор. Мощно плечи расправив – военная выправка – палец сгибает крючком, и я вижу: на коже в суставе

морщин уже нет, вместо них лишь слепая полоска, и палец взведённым курком начал тускло сверкать. Усмехнулся. Усатое время в лице его плоском стоит на два сорок. Опять

показанья друзей в меня вкручивать против резьбы начинает. Ещё через несколько лет он куда-то сбежать умудрится, следы его тёмной судьбы навсегда затеряются в Штатах.

Друзья, для которых он срок намотал в тот апрель, от звонка до звонка отсидят в лагерях. Очень многих не стало теперь. Накрахмалена кровью шинель, из которой мы вышли в дорогу.

Июль, 2024

* * *

Превратился за пару часов в неподвижное тело, оплетённое сотней присосок, цветных проводков. А у спрута в квадратной его голове зеленела дрожащая линия жизни. И не было слов, только цифры и стук. Равнодушные руки умело вертели, втыкали повсюду иголки шприцов.

Спрут мигал наверху. Кто-то вынул мне голос из глотки и выбросил в мусор. Больные кричали, скользя на каталках и таяли. Ждал терпеливо и кротко чем кончится всё. Ничего было сделать нельзя. Но была тишина на душе, будто ночью на лодке плывёшь в одиночку, и сыплются звёзды в глаза.

24 Июля, 2024

* * *

Был голос вещь, и вещью было слово.

Буквы-литеры русские любят меня.
Пятилетним ребёнком увидел впервые
их голыми в азбуке и с того дня
с удивленьем смотрел, как сцеплялись в простые
семейные пары-фонемы мужские
согласные с женскими гласными. И
появлялись лесбийские пары витые,
сливаясь в двойные звучанья свои.

Как частички от пазла фонемы и слоги
на место вставали своё, а потом
возникали глаголы, союзы, предлоги.
Все строились перед дорогой гуськом,
и заглавная буква, как нянька детишек,
вела за собой на прогулку цепочкой.
За ней снова фраза, где буквицы дышат
друг другу в затылки, шагая по строчкам.

Сюжетные линии в хитрую ложь
аккуратно сплелись, и нельзя разглядеть
ничего... Вдруг сверкающий окрик, как нож,
разрезает со свистом словесную сеть,
и весёлые толпы оживших людей
на свободу выходят. Вокруг, сквозь меня
проходящей оси, они кружат быстрее
и быстрее. Зазывают, невнятно бубнят.

Очень хочется сразу поверить. Но я
хорошо уже знаю, не следует верить
ни им и ни этой вот фразе. Хотя
в мире слов интересней по крайней-то мере.
Вся Вселенная судеб и смыслов звучащих
из слов создана. Расставляя умело
их в нужном порядке, ищи и обращай.
Попробуй. Нехитрое вроде бы дело.

Август, 2024

* * *

семь т́еней отбросил подсвечник
на скатерть... мольба о семи
огоньках... слабых, недолговечных...
но всё же не гаснет... прими

её... хоть до сих пор сомневаюсь...
дорога к Тебе – как туннель,
пробуравленный теми, кто знают...
вслепую, наощупь... и цель –

дотянуть до второго зачатья,
рожденья меня самого...
когда девственность время утратит,
и семя из плоти его

выйдет к новому свету... в начало
последней жизни... без слов,
лишь морзянкою сердца... так мало
останется, если б пришло

уходить уже завтра... но тело
цепляется... непобедим
мой животный инстинкт... так я сделан...
не я себя сделал таким...

Сентябрь, 2024

* * *

Нас двое на кухне. В дыму сигарет
оживают большие слова и, друг друга
нешадно толкая, выходят на свет.
Ничего не понять, голова идёт кругом.

Секунды по капле стекают в пятно
кастрюли под краном, в ней много часов
накопилось. Мой друг их не слышит давно.
Он блуждает в эфире, но беден улов.

Голубое свечение идёт от окна,
наполняет дрожащей тревогою кухню.
В ту ночь была старой и дряблой луна
и казалось, ещё до рассвета потухнет.

Из приёмника сыплется треск. В Будапешт
входят танки. Фокстрот шелестит за стеной,
у них танцы. Всё вместе: крушение надежд,
скрежет гусениц, музыка. Наперебой.

Человек по природе своей хочет знать.
Голос полый внутри – интонации нет
и не будет – сквозь треск проступает опять,
говорит о войне. Наступает рассвет.

Далеко за границей всю ночь напролёт
убивают невинных людей деловито.
А здесь за стеною всё тот же фокстрот,
контрапунктом к убийствам плывёт Риорита.

Словно лист папиросной бумаги в окне,
кольхается небо. Он, вдруг обозлясь,
жёлтым пальцем проткнул диск луны и ко мне
повернулся всем телом: вот так же и нас.

12 Сентября, 2024

Алла Дубровская

Агамемнон

Повесть-миф

Грише Стариковскому

Агеев часто видел одни и те же сны. Сны у него были любимыми и нелюбимыми, мучительными, прихода которых он боялся еще и потому, что не мог их контролировать, а контролировать ему надо было всё, уж такая его натура. Фрик, одним словом. Жена, кажется, давно с этим смирилась, а вот дочь нет-нет да и протестовала. Впрочем, дома видели его редко еще и до войны, а уж когда она, проклятая, началась, Агеев и вовсе исчез с радара. До поры. Так вот, любимым его сном были Кавказские горы, в красу которых он влюбился, как в женщину.

– Там небо такого цвета, – говорил он и замолкал в неумении высказать налетевшее чувство восхищения.

– Ну какого? – иногда кто-нибудь пытался помочь справиться со словами косноязычному рассказчику. – Голубого?

– Оно небесного цвета, понимаешь? – делал только хуже Агеев. – Оно то высокое без конца и без начала, а то висит низко. Давит на голову. Хочется скинуть его с плеч. Ну как-то так. Не могу сказать точнее.

Когда сын прочитал ему про Атланта, он задумался поначалу, а потом стал вставлять, как умел, этого героя в свой рассказ о Кавказе. Мужественность титана, держащего на плечах небесный свод, повлияла на впечатлительного Агеева с такой силой, что он с завидной легкостью одолел книгу для детей среднего возраста «Мифы Древней Греции», запомнив ее почти наизусть. Оттуда и пришел к нему Агамемнон, которого он полюбил так же сильно, как Кавказские горы. Почему именно царь Микен вызвал такое предпочтение, неизвестно. Известно только, что майор Агеев взял позывной «Агамемнон» на той проклятой войне, с которой были связаны его нелюбимые мучительные сны. Над необычным словом прикалывались даже в дивизии. Не все могли выговорить его с первого раза, сокращая на свой лад и рифмуя с более привычными словами. Дело дошло до полковника Куликова. «Это что еще за позывной у вас, майор?» – скорее с любопытством спросил начштаба. Услышав про микенского царя, махнул рукой: «С нетерпением жду появления Одиссея». Полковник был не лишен чувства юмора. Позывной оставили за Агеевым, прозвав его за глаза Агамемноном.

Но вернемся к снам нелюбимым. Начинались они по-разному, то со взрыва, разрывающего барабанные перепонки, и крика «Прыгай, майор, прыгай!», то с полыхнувшей вспышки и жара, от которого он просыпался в поту. Жена приносила ему попить холодной воды с таблеткой, прописанной еще в госпитале, куда он попал после крушения вертолета.

А дело было так. В штабе полка майор Агеев славился своей занудностью и пунктуальностью. Перед штурмом Грозного у него имелась даже карта города и окрестностей, чем похвастаться могли немногие, да и сводки его были всегда последними и полными. Как ему это удавалось? Скорее всего, он просто знал свою службу. Короче, Куликов его ценил. О пунктуальности майора знали все, а о его потаенной любви к древнегреческим мифам – никто. Тем ранним зимним утром, накануне Нового года, когда солнце наконец пробилось сквозь низкое небо, у Агеева, выскочившего из «уазика» на подмороженную колею, перехватило дыхание от вида мерцающего вдали Грозного.

– Ё-маё! Красотища! Прямо как античная Троя!

Можно с уверенностью сказать, что из пятнадцати тысяч человек, согнанных на подавление мятежного генерала, никому на ум не пришло это сравнение, да и Агееву довольно скоро пришлось забыть о мифах Древней Греции.

...Так что там Пашка Грачев с бодуна-то говорил? За два часа одним парашютно-десантным полком можно решить все вопросы? В армии министра обороны никто не уважал. Еще в армии не понимали – почему нельзя было договориться с Дудаевым? Мужик-то, вроде, свой, генерал-майор. Летчик. Отличный командир. Награды, то да се. Кто-то умело играл на одной струне ельцинской балалайки, науськивая на чеченца. Хотя... какая у него балалайка, скорее уж контрабас, а у Дудаева труба, правда, нефтепроводная. Он рассчитывал сыграть на ней на пару с контрабасом, да тот уперся: послал Пашку вместо себя. А Пашка – кто? Что он в трубе смыслит? Он только в шашлыках разбирается и только под водочку. Правда, у Дудаева шампанского выпил, в отдельной комнате. Тот тоже глотнул, хоть и мусульманин. Поздно, говорит, если я дам уступку, меня убьют, другого поставят, совсем отморозенного, резня начнется на всем Кавказе.

Вот и не договорились. «Значит, война, Джохар? – Значит, война, Павел.»

Почему, ну почему Россия всегда начинает войну не подготовившись, не продумав, не скоординировав действия всех частей, бросая на смерть необученных мальцов?

Майор Агеев вошел в Грозный со вторым батальоном мотострелкового полка накануне Нового года. Сидя в кабине «Урала», он

вертел головой, вписывая в карту города названия улиц, которых почему-то там не обозначили, не были расставлены и блокпосты, помеченные в карте крестиками. Когда пошли разрушенные, в дырах от снарядов дома и подбитые танки, преградившие путь, колонна встала. Агеев спрыгнул с подножки грузовика. Его берцы просели во что-то мягкое. Мать честная! Он стоял на теле убитого солдата, вмятое в разжиженную грязь. На деревьях и проводах висели куски человеческого мяса, рядом с подбитым танком лежали обгорелые, как головешки, тела танкистов. Здесь был не бой, здесь было побоище. Агееву стало жутко и тошно. Он не смог удержать нутро, выворачиваемое наружу.

*Рати, одна на другую идущие, разом сошлись.
Сшиблись щиты со щитами; гром раздался ужасный.
Смешались победные крики и смертные стоны
Воинов губящих и гибнущих; кровью земля заструилась,
Словно когда две реки с гор низвергаясь,
обе в долину единую бурные воды сливают.
(Гомер. «Илиада». Песнь четвертая)*

Ну что, Паша, решил вопрос за два дня? Чего торопились-то так, не продумали, погнали людей на смерть? Планировали начать операцию в середине января, а полезли в Новый год. Выходит, победил Джохар. Что теперь делать? – Как что? Бомбить. И бомбили. Пашка, говорят, узнав о потерях, впал в запой и не выходил из своего вагончика в Моздоке.

«Твою же мать, – думал Агеев, – Олежке через три года призваться...» И он замирал, не в силах продолжить эту мысль. Зато другая мысль захватила его целиком, мысль о том, как убивать и не быть убитым самому. Потом эта мысль развилась в другую: убивать так, чтобы как меньше было убитых своих. И эти такие простые на войне мысли противоречили бестолковым приказам, приходящим в полк от генералов и прочего начальства. Лицо Куликова сводило от боли, когда он получал подобные распоряжения. У Агеева, докладывающего полковнику о потерях, нехватке и поломках, лицо становилось таким же. А Грозный меж тем превращался в город-призрак, где вместо домов стояли закопченные стены с пустыми оконными проемами. Оставшиеся жители прятались в подвалах. Как выживали эти люди? А кто говорит, что они выживали? Кто их считал? Сколько их вообще там осталось? Агеев и сам посидел в подвале – потолок, хоть и бетонный, дрожал от взрывов, мог обвалиться в любой момент. Наверху горел дом, от раскаленной железной двери несло таким жаром, что в подвале было не продохнуть. Видя бесстрашие мальцов, он давил в себе ужас, поселившийся в нем в первый день войны. Позднее ужас прошел, да и Агеев был словно заговоренный. Пули его не брали, хотя, может, ему просто везло. Воронка войны затягивала

всех больше и больше. В начале весны Дудаев с бандитами ушел из Грозного в горы.

Однажды, когда штаб полка расположился у подножия Кавказского хребта, полковник вызвал Агамемнона к себе. В скале было мало света: горела единственная лампочка. Там привычно пахло то ли козьим сыром, то ли портянками. На столе лежала карта с помеченными еще утром рукой Агеева аулами, отбитыми у бандитов. Полковник начал с ходу:

– Село Ведено знаешь?

– Так точно. Вотчина братьев Басаевых, – ответил майор, а сам скосил глаз на фигуру, сидящую в тени, в камуфляжной форме без знаков отличия.

– Саперы там уже отработали, ребята прошлись по зинданах, вытащили пленных, а в одной яме нашли подарок: тридцать ящиков героина. Неплохой бизнес братцы наладили, – продолжил Куликов. – Человек ты надежный, я тебя капитану рекомендовал для секретного задания.

Тут заговорил то ли гэрэушник, то ли эфэсбэшник (кто их разберет в камуфляже). Зато интонация у тех и других всегда одинаковая, не терпящая возражений.

– Груз уже идет сюда в сопровождении лейтенанта Еременко. Погрузите на Ми-8, доставите в «Северный», перекинете на борт, уходящий в Ростов-на-Дону. Вернетесь на той же вертушке. Учтите еще раз: груз секретный.

У лейтенанта Еременко единственный верхний зуб во рту был железный, а снизу торчал неровный и прокуренный заборчик. Это не помешало ему широко и дружелюбно улыбнуться Агееву. Вдвоем они быстро покидали ящики из грузовика в раскрытое брюхо Ми-8. Накрытый брезентом груз смотрелся сиротливо в просторном отсеке вертолета. Кроме лейтенанта и Агеева там больше никого не было.

– Ну что, мужики, по коням!

Загремели, завертелись лопасти вертолета. У Агеева сдавило голову то ли от шума, то ли от шевельнувшейся тревоги. Ну не любил он ситуации, которые не мог контролировать, а тут была именно такая. Хотя... сколько их уже было, этих неподконтрольных ситуаций. Вся война была такой. Он с завистью поглядывал на Еременко, открывавшего банку тушенки. Не жрал, мол, с утра. Запах съестного смешался с запахом бензина и еще чего-то технического. Лететь предстояло не меньше часа. Чтобы немного расслабиться, Агеев прикрыл глаза, задремал и не видел, да и не мог видеть то, что увидел командир экипажа: вспышку от выстрела ракеты. Вертушка успела резко уйти в сторону, ракета прошла по касательной и потом взорвалась.

– Вот оно! – промелькнуло у Агеева.

Потом был еще взрыв, дым заполнил отсек. Вторая ракета

попала в хвост, вертолет закрутился, падая. Пламя сжирало машину. Еременко успел рвануть сдвижную дверь.

– Прыгай, майор, прыгай!

– Как прыгать-то? У меня ж парашюта нет!

– Да низко тут! Сгруппируйся, приземляйся на обе ноги! Давай, пошел!

Еременко вытолкнул его из проема и прыгнул следом. Агеев подтянул колени к груди и комом повалился вниз. У земли ему удалось вытянуть ноги вперед. Он удара и боли он потерял сознание.

Его разбудил ветерок, пробежавший по небритой щеке. Впрочем, он не совсем был уверен в том, что проснулся. Как бы там ни было, над ним склонился воин из книжки «Мифы Древней Греции» для детей среднего школьного возраста. Агеев сразу распознал Агамемнона.

– Я что, умер? – выяснение обстановки всегда была главной тактической задачей майора.

– Не вполне, – уклончиво ответил Агамемнон.

– А как второй? Еременко? Со мной еще лейтенант летел.

– Вот он умер. И весь экипаж. Так что тебе одному повезло.

Агееву стало жалко летчиков и Еременко. Особенно Еременко. Он вспомнил его улыбку с железным зубом во рту, веселый говорок, с которым тот уминал тушенку из банки. Ну что за мерзость эта война. И зачем ее начинают? У греков всё понятно было – из-за прекрасной женщины, а тут – говорят одно, на деле совсем другое.

Агамемнон словно прочел его мысли:

– Все войны – происки богов, а человек – игрушка в руках рока.

– Это верно, – согласился Агеев, хотя не верил ни в богов, ни в рок, но не спорить же с явившимся к нему великим героем.

– Берегись женщин, майор, – изрек Агамемнон и исчез.

«Чего он приходил-то?» – подумал Агеев и снова провалился то ли в сон, то ли в странное состояние между жизнью и смертью, из которого еще можно вернуться, но которое нельзя описать.

Тело Агеева продолжало жить, он дышал, когда его подобрал вертолет, посланный на поиски рухнувшей вертушки. С аэродрома «Северный» в Грозном, куда он должен был доставить ящики с героином, его самого отправили во Владикавказ. Там, в военном госпитале, врачи решили, что стоит побороться за его жизнь. Агеев, вернее его организм, оказался живучим. Через две недели он очнулся. Тогда-то и начались невыносимые боли, от которых спасали уколы, вводившие его в странное состояние полубреда-полусна. Он вливался в голубое пространство, заполненное безмятежным небом и волнуемым морем. Иногда до его слуха доносилась непонятная речь и поскрипывание уключин. Еще там, где-то вдалеке, виднелся город, обнесенный высокой зубчатой стеной тревожного красного цвета, а однажды он услышал голоса. Говорили двое, вернее, спорили. Агееву даже показалось, что они бранились, крепко бранились.

– О чем базарите, мужики? – поинтересовался Агеев и открыл глаза.

Агамемнон:

*«Сколько ни доблестен ты, Ахиллес, бессмертным подобный,
Хитро не умствуй: меня ни проведешь, ни склонить не успеешь.
Хочешь, чтоб сам обладал ты наградой, а я чтоб, лишенный,
Молча сидел?»*

Ахиллес:

*«Царь, облеченный бесстыдством, коварный душою мздолюбец!
Кто из ахейян захочет твои повеления слушать?
Кто иль поход совершит, иль с враждебными храбро сразится?
Я за себя ли пришел, чтоб троян, укротителей,
Здесь воевать? Предо мною ни в чем не виновны трояне...»*
(Гомер. «Илиада». Песнь первая)

Открыв глаза, майор Агеев в одно мгновение перенесся из-под стен легендарной Трои в общую палату военного госпиталя. В палате стоял тяжелый дух от скопления изувеченных тел, испражнений, незаживающих ран. Возле него хлопотала немолодая санитарка с лицом простой русской женщины, испещренным добрыми морщинками.

– Проснулся? Ну и хорошо. А то все «ага» да «ага». Вроде соглашаешься с кем-то, только кивнуть не можешь. Давай-ка, я тебя на другой бочок переверну, простынку подтяну, а то намучаешься потом с пролежнями-то. Вот так.

Руки санитарки делали то, что им было положено делать. Агеев расслаблено поддавался этому действию, слушая ее причитающий голос.

Постепенно боль стала терпимее. Когда перестали колоть морфин, видения исчезли. Переломанные ноги и ребра потихоньку срастались, подживали ушибы, внутреннее кровотечение остановил хирург, прокопавшийся в его кишках пару часов, еще была пересадка кожи на обгоревшей голове, теперь уже навсегда лысой. Потом Агеева поставили на костыли. Приноровившись кое-как, он медленно тащил свои загипсованные ноги мимо кроватей с лежачими пацанами, которым повезло меньше, чем ему. Чего тут только не было: ампутации, контузии, пулевые ранения. Танкисты лежали с ожогами. Жалость к искалеченным молодым людям не пробуждала в нем тревожащих душу мыслей. У него вообще с мыслями стало плохо. Они путались. Известие о заложниках, взятых Басаевым в Буденновске, он встретил равнодушно, словно после перенесенного собственного страдания в нем вымерло сострадание к людям, хотя он не забыл Басаевское село с зинданами, ямами по четыре метра глубиной, откуда вытаскивали военнопленных. Помнил и надпись «Русские! Не

уезжайте! Нам нужны рабы!» на стене дома в Грозном. Но всё это будто не касалось его. Так же равнодушно он встретил прикатившую в госпиталь жену Клавдию, сообщившую много неприятных новостей. Закрылась ее фабрика, выпускавшая покрывала и коврики. «Так она ж приватизированная», – удивился Агеев. «Что-то они там проворовались, каким-то хмырям фабричку нашу продали, нас пинком под зад, – хныкала Клавдия. – Работы нет, денег нет. Ни хера нет.» Агеев безучастно скользил взглядом по ее, когда-то любимому и вдруг ставшему некрасивым лицу. Какое отношение к нему имела эта женщина? Он ее не хотел.

– Ну ты чё, оглох что ли? – возмутилась, наконец, Клавдия.

– Как малые? – выдавил Агеев.

Лучше бы не спрашивал.

– Элке в школе дали американское угощение: одно мороженое на двоих. Как они его там по очереди лизали, не знаю. Пришла домой вся в слезах, – затрещала Клавка. – У Олежки прохудились последние ботинки. Учиться не хочет. Нашла у него клей в сумке. Говорит, не его.

– Зачем ему клей? – удивился Агеев.

– Так нюхают! Пакет на голову – и звездочки в глазах.

Это неприятно поразило Агеева, особенно – пакет на голове.

После всего увиденного на войне, да и здесь, в госпитале, жизнь на гражданке отошла настолько далеко, что была почти незримой, Агееву не хотелось туда возвращаться. Сын явно отбилсь от рук, Клавдия не справлялась, его офицерского жалованья не хватало, но почему она так вяло проявила сострадание к его ранам, не поняла, что он почти умер? Только и сказала «смешной какой», глядя на его лысый череп, покрытый розовой кожицей. Это задевало больше всего. «Все о своих делах тарахтит, – с раздражением думал он. – Хоть бы глянула вокруг, сколько мальцов покалеченных лежит.» Но и сам он не увидел ее раздрызганную обувь, не обратил внимания на задрипанный свитерок под больничным халатом, отвел глаза от постаревшего лица с обвисшими щеками, на которых когда-то лукавились ямочки от хитровой улыбки.

– Как жить дальше, не знаю, – продолжала ныть Клавка.

– Как все, так и мы! – сорвался Агеев. – Ты бы видела, как люди в подвалах живут под бомбежками. И ниче! А я видел, вечером старик с бидоном вылез водички набрать и на растяжку наступил по неосторожности. Только клочки в разные стороны полетели. Женщины потом за ним пришли, ни одна руки на заламывала «как жить, как жить?» Собрали потихоньку что осталось и у дороги закопали.

Клавка торопливо перекрестилась.

– Жуть какая!

Но тут же переключилась на свое:

– Я это, Слава, хочу бизнес открыть.

Агеева аж передернуло:

– Ну какой еще бизнес? Поумней тебя люди прогорают, теряют последнее. Лучше работу какую-нибудь поищи...

Он говорил что-то еще, но всё летело мимо, не оседая в Клавкиной голове. Она только поджимала губы и глядела в сторону, пережидая, когда он закончит. «Всё бы ему командовать, чтоб всё поевонному выходило, чтоб под его контролем было», – с ожившей старой злобой думала она.

...Вопрос о реабилитации решился просто и как будто сам собой: домой в Самару он не поедет, а будет восстанавливаться в специальном центре в Ростове-на-Дону.

Южное осеннее солнце припекало, но Агееву было приятно это тепло. Он блаженствовал, сидя на скамеечке в садике при военном госпитале. Рядом сидели стратеги и тактики, политики и дипломаты в шлепанцах на босу ногу и в синих пижамах. Разговоры велись со знанием дела, неторопливо, правда, иногда кто-то начинал горячиться, вставляя сочное словцо для подкрепления набежавшей мысли. Чаще всего мысль эта терялась в густом словесном потоке. Полемика не мешала «синим пижамам» провожать жадными взглядами женские фигуры, обтянутые белыми халатиками. «Белые халатики» переносили долетавшие комплименты с улыбками, довольно часто поощрительными. Среди них красотой и доступностью славилась Броня, практикующая массаж и прочие процедуры, прописанные выздоравливающим воинам. Сосед Агеева по палате, капитан-десантник Михальчук, всячески восхвалял ее достоинства, открывшиеся ему на подоконнике в заветном месте. Агеев и сам поглядывал на Броню. Голубоглазая блондинка с высокой грудью и крепкими ногами напоминала ему любимую латышскую актрису Вию Артмане. Михальчук, конечно, помоложе, да и понахальней будет, но если капитану можно, то почему майору нельзя?

На днях Агееву сняли гипс с обеих ног. Врач долго рассматривал снимки, прилепленные к экрану:

– Ну что, майор, где переломы-то были? Не вижу ни деформаций, ни смещений. Мы тебя в балет отправим, только сперва ходить научим.

– Срослись, видать, мои переломы, – выдохнул Агеев с нескрываемым облегчением.

– Классный хирург собирал. Повезло.

Агеев и сам знал, что ему повезло как немногим. Тело праздновало выздоровление, хотело жить. Если оно и болело, то боль эта была приятной. Передвигать ноги после гипса и вправду оказалось нелегко. Отбросить костыли и разом рвануть на своих двоих не получалось. Каждый шаг давался с трудом. Тут и пришла очередь женщин в белых халатиках. Выросшему в интернате Агееву никогда не перепало столько внимания. С ласковым щебетом его учили ходить без костылей, заставляли напрягать отвыкшие мышцы, плавать в бассейне. В военное время не разгуляешься. Жратва в городе была, но

только на местных базарах. Поварихи старались как могли скрасить скудный рацион «господ офицеров», а те и не жаловались. Хлеба давали вдоволь, когда начальство расходилось по домам, за огурцами и водкой всегда соглашалась сбегать какая-нибудь санитарка «звать Тамарка». Она же потом подбирала и пустые бутылки. Утром, если не удавалось опохмелиться, «трубы» заливали компотом из сухофруктов, потом расходились на процедуры.

По ящику, работавшему целый день в комнате отдыха, мужики смотрели в основном футбол. Говорящие головы с новостями мало кто слушал, Агеев, во всяком случае, предпочитал партию в карты, а тут вдруг заслушался журналисткой, чирикающей о смелости тех, кто отказался ехать на войну в Чечню. «Да что ты, цыпочка, про смелость знаешь? Что ты вообще про войну знаешь, сидя в Москве?» Вон, Егорушкин «козла забивает» – костяшками по столу щелкает одной клешней, вторую ему под Моздоком оторвало аж под корень. Говорит, спасибо танкистам, от чеченов отбили. Михальчуку снайпер пулю под ключицу вогнал, попал бы в артерию – и кранты капитану. Десантуру вообще гнали как пехоту, а это не их дело, да кто там много думал-то? Война подлая, без линии фронта. Агеев никогда не забудет, как местные завели Куликова с ребятами в засаду: заходите-угощайтесь, мол, для нас гость – святой человек. Многих тогда перебили, хорошо спецназ рядом оказался, помог уйти из гостеприимного дома. Куликову всегда везло, да и ему самому везло, пока героин этот чертов не подвернулся. Если подумать, то всех здесь спасла счастливая случайность: то танкисты рядом оказались, то спецназ. Вот корешу Михальчука не повезло два раза: сначала на фугас наступил, а потом вертушку с его останками сбили. Жене даже гроба не довезли. А уж бардак какой, кому рассказать. Агеев занервничал, захотелось покурить. Без таблетки он не засыпал ночами, наваливались кошмары. Да на кого они здесь не наваливались?

Хромая, он вышел в садик. А там Броня с мужиками кокетничает. Увидела его: «Шо же вы, товарищ майор, на массаж ко мне не ходите? Я вас на завтра запишу». И записала.

– Расслабьтесь, ну шо вы такой напряженный?

У Брони певучий южный говор. Она растягивает слова, выговаривая мягкие гласные. Руки у нее сильные, прямо лапы с короткими пальцами, а на пальцах мозолистые подушечки, должно быть, этим рукам приходилось много работать. Она смазывает их чем-то пахучим. Незнакомый запах окутывает растянувшегося на лежанке Агеева. Он блаженствует: его тела давно не касались женские руки. Глаза закрываются сами собой, а когда он их открывает, видит Броню, слегка склонившуюся над его ступнями. При каждом ее движении в разрезе халата колышется большая грудь. Броня прекрасно понимает, какой эффект производит на неказистого майора. Она знает, что он сейчас скажет, они все это говорят.

– Это... Броня, вы случайно не записаны в городскую библиотеку? От удивления Броня выпрямляется, заправляет челку, выбившуюся из-под белой шапочки.

– Доця записана. Она мне книжки какие надо носит.

– Понимаете, – продолжает, смущаясь, Агеев, – мне очень хочется почитать что-нибудь о Древней Греции, а в госпитале ничего такого нет.

«Это ж надо! – думает Броня. – Древняя Хреция его интересует. А с виду обыкновенный мужчина.»

– Ладно, – обещает она, закончив сеанс массажа.

Так у Агеева появился томик «Илиады» в переводе Гнедича, который он открыл с каким-то трепетом и прочитал:

Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына...

Нельзя сказать, что он сразу справился с творением Гомера, но возвышенность слога и торжественный ритм повествования околдовали его. Брониной доце пришлось несколько раз продлевать срок, взятой в библиотеке книги. Зато майор прочел ее от корки до корки вместе с предисловием и комментариями, поразивших его не меньше самой истории Троянской войны.

– Удивляюсь я кровожадности этих древних греков, – разглагольствовал он, пока Броня сильными пальцами месила его ослабевшие мышцы. – Вот взять хотя бы отца Агамемнона, это герой такой древнегреческий...

Поскольку Броня никак не проявила любознательности, он продолжил:

– Его Атреем звали. Так вот, Атрей этот убивает сыновей своего брата, мало того, варит из них похлебку, ну что-то вроде харчо. И братца этим угощает.

– Да шо вы такое хворите? – ужаснулась Броня. – Как ж это можно?

– Даже солнце скрылось с неба, чтобы не видеть этого ужаса. А братец-то заподозрил неладное и говорит: а покажите мне моих сыновей. Где мои мальчики? Ему и показали головы, да ноги мальчиков этих. Тут он возопил и проклял весь род Атреев. Значит, Агамемнон – царь-то царь, но царь проклятый, обреченный на страшную смерть.

Агеев замолчал. Впечатлительная Броня вложила как можно больше нежности в разглаживание мышц его спины. Женская интуиция подсказывала ей, что воцарившееся молчание не нужно прерывать вопросами. И правильно, потому что Агеев в это самое время вспоминал ежик белобрсых волос и закатившиеся глаза на отрезанной голове пацана, совсем салаги, тела которого они так и не нашли, наверное, боевики сожгли его в БТРе, от которого остался один остов.

«Что матери посылать?» – сокрушался Куликов. И солнце с неба не скрылось, а заливало грешную землю безмятежным светом.

Мозг Агеева не был приучен к работе над глубокими мыслями. Конечно, он невольно задумывался о смерти, от которой ушел, как колобок от бабушки с дедушкой, понимая, что впереди произойдет неизбежная встреча с лисой. Но по мере выздоровления мысль эта тревожила его всё меньше, поэтому, когда Броня наклонилась над ним и, придыхая, сказала: «Та шо ж вы такой робкий?», он крепко обнял ее и притянул к себе.

– Ну что, Агамемнон, дождался своей очереди? – бог его знает, как Михальчук узнал прозвище Агеева, может, услышал по солдатскому радио, а может, сам допер, хотя это вряд ли.

У Михальчука оттяпана верхняя доля легкого, он уже комиссован и со дня на день поедет домой. Был бы кто другой да в другом месте – получил бы, но на калеку у Агеева рука не поднимется, поэтому он молчит. Агеев умеет выразительно молчать. Угрожающе. При всей его неказистости в нем чувствуется сила характера. Хотя – почему неказистости? Ну череп обгорел, лысый совсем. Ну, ростом не то, чтобы не вышел, а не высок; ну нос не греческий, а картофелиной, скулы, скорее, крестьянские. Зато глаза умные, цепкие. И весь он какой-то надежный. Не случайно у него с Броней любовь получилась серьезная, хоть и был он человеком семейным. «А как скажет, так и сделаю», – решила Броня, зная, что скорее всего Агеева признают годным к продолжению службы в рядах российской армии, уж так отлично они его здесь залечили и восстановили. «Как новый стал», – шутила она, обхватывая сильными руками своего возлюбленного. И точно, ранней зимой девяносто шестого Агеев получил указ о повышении в звании и предписание вернуться в родной полк, который уже год как ушел из Чечни.

Рейс на Самару задерживался. Люди разбрелись по залу ожидания, кто-то вышел покурить под навес перед входной стеклянной дверью в аэропорт. Легкий снежок крутился в воздухе, пахло сыростью. Агеев пытался справиться с непонятным волнением: хотелось ему домой или нет? Он еще не докурил, когда к дверям аэропорта подрулил «Мерседес». Окно с тонированным стеклом приоткрылось, к нему подбежал откуда-то взявшийся человек в кожаной куртке. Как ни напрягал слух Агеев, не смог расслышать, о чем там шел разговор. Через минуту-две «Мерседес» укатил.

– Это кто ж там в «мерсе» сидел? Начальник какой? Не знаете? – Агеев обернулся к мужикам, кучкой стоявших неподалеку.

Видимо местные, мужики с понимаем отнеслись к его любопытству.

– Не, это наш ростовский криминальный авторитет. Его щас прямо к трапу подвезут, видать, скоро посадку объявят.

И точно. Объявили.

Агееву не удалось разглядеть бандита даже в самолете, но перед тем, как погрузиться в свои невеселые мысли, он успел-таки подумать о том, сколько же их развелось... в кожаных куртках.

Опустевший военный городок встретил новоиспеченного подполковника равнодушно. Старые друзья демобилизовались и разъехались, оставшиеся месяцами не получали жалованья. Магазины стояли пустые, зато на центральном рынке было не протолкнуться. Когда Агеев увидел тамошние цены, он понял, что зря покрикивал на Клавдию. Дома в столовой горела одна лампочка, в коридоре со стен обвисли обои, и штукатурка сыпалась на пол; горячей воды не было – спасибо, была холодная; в пустой ванной лежал больной кот. Забрать его оттуда не давала дочка Эллочка. В туалете протекал смывной бачок, и унитаз покрылся коричневым налетом. «Всё так плохо, что уже и унитаза не отмыть», – с раздражением думал Агеев. Сын пропал где-то целыми днями, с отцом разговаривал неохотно и сквозь зубы. Радовала только Эллочка, щебетавшая, как весенняя пташка. Ночами Агееву не спалось. Лежа рядом с умотавшейся за день Клавдией, он вспоминал горячее тело Брони, а если засыпал, видел Кавказские горы под ослепительной синевой неба или вскрикивал, пугая жену. В своем доме он чувствовал себя чужим. Нужно было что-то делать.

«Игру престолов» не читали? И не надо. В Кремлевском скворечнике своя игра престолов. Телевизор включайте и смотрите. Бесконечный сериал. Вот они, три генерала. Один – фуражку сменил на холхан (папах из барашка). Он и родного языка толком не знал, зато знал наизусть «В полдневный жар в долине Дагестана с свинцом в груди лежал недвижим я». Наверное, сам понимал, что долго ему не жить: с одной стороны – полевые командиры, с другой – Москва. Кто-нибудь да прикончит... И точно. Спецслужбы ракетой и прикончили. Дудаева не стало, но полевые командиры остались. Приходите, говорят, всэх пэрэрэжэм.

Второй генерал лебедем прилетел из Приднестровья с красавицей женой и овчаркой на поводке. Мир с Молдавией он заключил, грохнув кулаком по столу. Кулак у Лебеда здоровенный, а весу ему прибавила Четырнадцатая армия, стоявшая в Бендерах.

У него и голос громкий, командирский. Россия, говорит, Чечню задавит, если захочет, но есть ли в этом нужда, вот вопрос. Вопрос стал большим и очень болезненным.

Ну, а третий генерал, Пашка-мерседес, даже не мерседес, а козел. Козел отпущения. На него всё и свалили. Ты, мол, эту войну проклятую начал, а как закончить теперь – никто не знает. Так они все говорили. Армия роптала...

*Тягостна брань, и унылому радостно в дом возвратиться.
(«Илиада» Гомер. Песнь вторая)*

Зевс, перебравший амброзии, молча на Трою взирал...

Кавказский узел затянулся. Кто его разрубит или хотя бы ослабит, тот президентом России и станет. Армию выводили, гробы вывозили, полевые командиры нагтели. Пока остававшиеся в Чечне войска защищали аулы, в России гремели взрывы. Такой войны там еще не знали. Дальше – хуже. Снова бои в Грозном. Что там от города осталось, сейчас уже никто не помнит. И тут в Кремлевский скворечник влетает ясный Лебедь. Я, говорит, дело с Чечней разрулю, только Пашку уберете, поскольку лебеди с грачами в одной стае не летают. На том и порешили. Грачева убрали, Лебедь подписал с Масхадовым* мирное соглашение и остановил войну, но мир не наступил.

А всё потому, что виноград с помидорами – это не нефть с героином.

Разве так не бывает, что ты медлишь и тянешь, все никак не принимаешь решения, от которого зависит твоя жизнь, да и не только твоя, а решение вдруг приходит само собой, просто и непринужденно? Бывает – не бывает, но это именно то, что случилось с Агеевым. С ним связался Куликов, ставший к тому времени генералом. Для начала порадовался на чудесное воскрешение своего подчиненного, вспомнил войну, сказал, что не верит в замирение, что Кавказ бурлит, расспросил про семью. Агеев уже собирался поблагодарить за звонок, когда получил неожиданное предложение:

– Владислав Николаевич, я вот что думаю, а не пойти ли тебе подучиться в академию? Офицер ты деловой, надежный. Мне такие люди позарез нужны. Что с армией делают, видел. Сам понимаешь, какая обстановка напряженная. Повоевать еще не хочешь, Агамемнон?

Агеев замер. Секунда-другая... Минута пошла...

– Предложение интересное, Сергей Иванович, – только и успел сказать, как Куликов тут же подхватил:

– Ну лады! Характеристику мы тебе соответствующую дадим, направление получишь. Готовь документы, вспоминай науку, заскучал там, небось, у себя-то.

Агеев не заскучал, он затосковал. Казалось бы, всё делал как надо: квартиру подремонтровал, с Клавдией отношения наладил, кота вылечил, унитаз отмыл, с Олежкой душевную работу провел – а всё тошно было. Какие-то лохотроны лезли из всех щелей, в телевизоре экстрасенсы нащупывали руками невидимую ауру над головами доверчивых граждан, «пирамиды» то строились, то распадались, банки то открывались, то исчезали, Клавдия то челночила по городам

* Президент ЧРИ с января 1997 по март 2005 года.

с китайскими мешками в красную с голубой полоску, то стояла на рынке с привезенным добром. Говорила, что доверять никому нельзя. Крышевали ее чеченцы, которые, ясное дело, торговали не только мандаринами. Однажды один из них вдруг заговорил с Агеевым, пришедшим к жене на рынок. Мол, дочка у тебя карошая, подрастет – красивая будет. Кровь ударила Агееву в голову: «Тронешь, убью!» Чеченец понял. Этот язык они понимали лучше всех других. Чувство вины разъедало душу Агеева: он дал в долг деньги, накопленные женой на подержанный «Жигуль». Дал не первому встречному, дал другу. Друг исчез. Пришлось признаться: «Клавушка, мол, так и так, денег больше нет». Клавушка схватилась за край стола и рухнула на пол. Скорая приехала минут через сорок, когда она уже сама немного оклемалась. Глядя в испуганное лицо мужа, склонившегося над ней, она тихо сказала: «Вот так ты меня вгонишь в гроб». «Дык он же поклялся жизнью детей», – виновато замямлил Агеев.

Иногда ненависть так шибала ему в голову, что, казалось, будь у него в руках калаш, высадил бы весь рожок в наперсточников и прочую мерзость в кожаных куртках поверх треников. Время от времени ему снилась Броня, качающая головой: «Так нельзя, Агамемнон, так нельзя» – а как можно, не говорила.

В родной в/ч спокойно отнеслись к решению Агеева поступать в Академию. Для многих он оставался штабным занудой, при котором разговоры о войне в Чечне не то чтобы замолкали, но сводились к тому, что мы люди, мол, военные, нам приказали – мы выполняли. По сути, так оно и было. Но это было и время развязанных языков, особенно под водку, хоть и паленую, но употребляемую «господами офицерами» в больших количествах. А где ее не употребляли? Таких мест на карте и по сей день нет. Ну кричали, конечно, кто во что горазд. Одни – раньше надо было вводить, давить этих черножопых, чтобы тихо сидели. Другие – да на фиг нам Дудаев этот сдался? Почему ему не дали независимость? Ельцин сам сказал – берите. А на деле что? Х* – и столько людей положили? Грозный размолотили, а бандитов не добились. Были еще и третьи, которые не кричали, а значительно говорили, как будто они знали нечто важное, но сверхсекретное: «Мафия это чеченская с нашей мафией чего-то не поделила». Агеев, рано выпавший из войны, хотел во всем разобраться сам. «Как же меня так заклинило, – думал он, – что мне всё похую было? Ну ладно, в госпитале сам не знал, на каком свете, а потом?» Почему от газет его мутило, почему не мог смотреть телек, особенно, когда там появлялся плешивый человек с вкрадчивым голосом? Агеев его особенно невзлюбил. Такие люди у него не вызывали доверия.

«Ну вот же, вот черным по белому написано о нецелесообразности использования танков в городском бою, – тыкал он пальцем в учебник по боевой тактике. – Они же знали, что танк в городе как слон в яме. Любой пацан выльет с балкона ведро бензина, бросит

окурок, и всё!» Подпирая лысую голову кулаками, он ворошил в памяти события той зимы в Грозном. Вспомнил пришедший на его позывной отчаянный голос лейтенанта: «Я прошу два танка, сколько раз, б***, я могу просить два танка? Пожалели, б***! У меня уже двадцать три трупа тут, б***! Ты кто, Агамемнон? Сегодня моего друга убило, у него грудники-близнецы сироты, б***! И кто позаботится о них? Агавнемнон? Петров-Иванов? Ельцин? Никто! Сначала сказали: вышли танки, б***! А потом, х*й вам, б***! С четырех сторон долбили по нам, снайпера, гранатометчики! Ты где окопался там, б***?» Что он мог лейтенанту этому сказать? Что послали им не два, а три танка, только они не дошли? Что сначала боевики подбили первый танк, потом последний, а ребят, кто не сгорел заживо, постреляли снайпера? К лейтенанту тому пошла пара БТР-ов вывезти раненых. Агеев так никогда его и не встретил. Жив ли, нет? Как забыть-то это всё? Да с самого начала ерунда какая-то понеслась. Технику выгрузили в Моздоке и заводили с буксира, аккумуляторы старые разрядились, танки отправили в Грозный с «голой броней» как солдат с голой жопой, без прикрытия пехоты. А какую им задачу поставили? Это ж кому рассказать, когда начальник штаба дивизии по связи говорит, пятой роте – налево, шестой роте – направо! Кто там разобрал у кого право, у кого лево? Вот первый батальон ломанул на всей скорости к вокзалу, чтобы там и остаться, а второму задачу ставили то ко дворцу Дудаева идти, то разворачиваться. Один батальон угробили и на смерть второй послали.

Агеев вливал в себя полстакана водки, чтобы приглушить звучащие в голове голоса, стереть картины, встававшие перед глазами.

Среди ночи, начитавшись учебников и навспоминавшись, он впал в беспокойный сон. Опять ему снились то горы, то оскал Еременко с единственным железным зубом, то нежная и манящая Броня, с вываливающейся из белого халатика грудью, а однажды снова появился Агамемнон, с которым Агеев с ходу вступил в разговор.

– Ведь у вас как было: верни Парис законную жену Менелаю, Троянская война враз бы и закончилась. Вожди ваши, забыл как их звали, на том и порешили, но тут в дела смертных вмешались боги, а всё из-за тебя.

Агамемнон нахмурился. Морщины залегли меж его царственных бровей, но Агеев не обращал внимания на грозный лик воина.

– Ахиллес, вроде как бластной был, по матері – бессмертный; она хоть сама по себе и незначительная богиня, но доступ к Зевсу имела. Она, значит, и выпросила войну, чтобы греки поняли, что без ее сына у них ничего не получится. Ахиллес для них был как греческое стратегическое оружие. Вернее, древнегреческое. Ничего я придумал, да? – Тут Агеев самодовольно хмыкнул.

– Ну вот. Девять лет вы под стенами Трои простояли, это долго, все окрестности ограбили... Извини, я понимаю, что подвоза не

было, грабили по необходимости. На десятый год всем уже в лом, по домам пора, а у богов разборки пошли: одни за вас, другие за троянцев. Короче, ты в курсе, чем дело кончилось. Выходит, исход войны не армия решала, а боги. У меня тут параллель наладилась, понимаешь? Война наша чеченская, государственное это было дело или чей-то личный интерес? Слово «мафия» знаешь?

Агамемнон не знал. Агеев продолжал:

– Или вот еще, какие у вас были воины! Красавцы. Атлеты. Совершенство в мраморе. Понятное дело, война такая была. Копьем в три метра длиной владеть надо, это же было ваше основное орудие убийства. И у нас тягать надо, но дембеля прыщавые какие-то, многие без передних зубов, узкогрудые. Что им на гражданке делать после войны этой? Убивать они, конечно, научились. На таких сейчас спрос. Может, мне плюнуть на академию, уйти в запас, да и наняться в охранники? А?

Агамемнон растаял, оставив вопрос Агеева без ответа.

Но не таким был человеком подполковник, чтобы отказаться от своего обещания, тем более старшему по званию, тем более Куликову. Экзамены он сдал на очное обучение, набрав проходной балл. Жена ехать за ним в Москву отказалась наотрез. Она только-только купила ларек на базаре и наняла челночить одну из своих товарок. Дела у нее, вроде, пошли в гору. Олежка занял родительскую спальню, Эллочка поделила с мамой бывшую детскую. Так что и места стало больше, и отец семейства не на войне, а в столице, правда, в общежитии, но военным людям к неудобствам не привыкать.

Москва всегда оглушала провинциалов. Здесь все обветшалое облетало, а новое пробивалось шумно и бестолково. Эта бестолковость обескуражила Агеева, ему пришлось привыкать к новому ритму и пестроте окружавшего его пространства. Здесь и время вело себя как-то странно: оно то тащилось вслед за стрелкой Кремлевских курантов, то несло вперед, пугая опозданиями пунктуального Агеева. Он долго путался в московском метро, натирал ноги, гуляя пешком по центральным улицам, удивлялся количеству чеченцев, толкавшихся возле припаркованных «бээмвэшэк»: «Это что же, они теперь все сюда подались?» Один раз отстоял час в «Макдоналдс», откуда вышел недовольный: «Клавкины котлеты лучше». Был и на Красной площади, впечатлился видом покойника, но не до слез.

Под окнами общежития Военной академии тусовались юноши со странными прическами, похожими на петушинные гребешки, и обритые наголо девушки с серьгой в носах. Они шумели, прихлебывая кока-колу из стеклянных бутылок или пиво из металлических банок. Один раз Агеев попросил огонька у пацана в джинсах с голым животом. Тот дружелюбно дал прикурить от своей сигареты. Был он с виду совсем цыпленок. «Куда ему, господи, против тех...», – невольно подумал Агеев. Цыпленок решил позадираться: «Папа, я за

мир во всем мире!» Он то ли понял взгляд подполковника, то ли слышал что-либо подобное от других. «Ну, молодец», – не пошел на обострение Агеев. Вообще, ему было одиноко в чужом городе. В одно из воскресений он подался на Ленинские горы. Простор, конечно, и дышать можно, но не Кавказ, не горы, а холмы. Наломавшись по красотам, он зашел в соседский почтамт и заказал переговоры с Броней. Так Броня дождалась вызова от любимого. «Та шо ж я там буду делать?» – с придыханием спросила она. «С твоими ручками, лапушка, не вопрос!» И точно, как в воду глядел.

Броня была не только влюблена, но еще и практична. Приехав на недельку в Москву, проведать, что и как, она поняла, что жить надо здесь и больше нигде. А дальше всё быстро получилось: увольнение с проводами и пожеланиями, продажа маленькой, но уютной квартиры, переезд (на годик, не больше) доци к бабушке. Ну и, наконец, комната в Дорогомилово, снятая на ее деньги, куда с чемоданом перебрался Агеев. За новоселье выпили сначала шампанского, а потом, как положено, разлили водочку, закусив селедочкой с картошечкой. Ночью под Агеевым светилось белое лицо Брони с закрытыми глазами, ее большие груди, как две распахнутые створки, колыхались в ответ его требовательным и властным движениям. Счастье их было тихое, будто они уже прожили вместе много лет. Ручки никогда не подводили Броню, и она быстро нашла работу в салоне.

Лекции Агеев записывал ровным бисерным почерком, так же аккуратно он писал в «Рабочую тетрадь оперативной группы», пока сидел в подвале под обстрелом. Фрик он и есть фрик. Но с компьютером у него не заладилось. Пальцы тыкались по клавише, разыскивая нужные буквы, набранный с таким усилием текст в любую минуту мог улететь непонятно куда. Агеев огорчался, покрывался испариной, заискивающе заглядывал в глаза молодой лаборантки, помогающей «папикам» справляться с новой техникой. Дома Агеев не занимался, чтобы не мешать Броне, но та скучала. Пришлось купить телевизор. И вот не зря же где-то висела рекламная картинка «Телевизор – твоё окно в мир». А из этого окна площадь Красная видна. И не только. Вся Москва как на ладони.

И кого там только не было: монархисты, анархисты, социалисты, националисты, либералы и генералы. Броня любила генерала Руцкого за красоту, а Лебеда не любила, у того не было усов. «Думающая гиря» – впрочем, это не она придумала, а какой-то бойкий журналист. «Гиря» благополучно спихнула ненавистного Грачева – «двум пернатым в одной берлоге не жить» – и полетела во власть. Прямо русский Пиночет, только наивный какой-то, не понимающий, что на гражданке он всегда простая пешка. Агеев Лебеда не любил хотя бы за то, что возле того все время вертелся маленький плешивый человек с большими деньгами, а таких людей подпускать нельзя. Но и Агеев тоже был наивный. Как ни посмотреть, они все тогда были наивными, взять хотя бы генерала Рохлина. Этот генерал был боль-

шой и неуклюжий, даже военная форма топорщилась на нем. Услышав по телеку его выступление, Агеев так и замер:

– Армия обижена! Армия унижена! Армия не с теми, кто сейчас у власти!

Прямо на душу легло. А ведь Рохлин – свой мужик, командовал соседним корпусом в Грозном. Про него вообще легенды ходили.

В Академии слушатели тоже шумели: «“Наш дом – Россия!” Все туда вступим и за Рохлиным двинем. Куда? На Кремль!»

Не зная на что решиться, Агеев занервничал. Одно понятно, настоящая война на Кавказе еще впереди. И кто там победит (Россия, конечно) – неизвестно. Что-то накапливалось в воздухе, какая-то тревога висела над головами людей, живущих на громадной территории, приходящей в упадок.

Боги! Великая скорбь на ахейскую землю приходит!

(Гомер. «Илиада». Песнь первая)

Иногда Агеев думал о том, как быстро пронеслась та часть его жизни, когда ни о чем не надо было думать. Интернат, военное училище, выполнение приказов, а если сказать точнее (ведь он любил всё точное) – старательное выполнение приказов. Тогда у него не было предмета размышления. Когда же появился *этот* предмет? В Грозном? Скорее, в госпитале, где Агеев стал просыпаться от наступающей его сонный мозг мысли о смерти. «Ну и что такого, – говорил он себе. – Чего пугаться-то?» И он начинал разбираться в своем страхе. Казалось бы, один раз он уже «был там», но в том-то и дело, что он не знал, не мог вспомнить, не мог даже представить, что это означает. Голова Агеева раскалывалась от непосильных стараний. И это пугало его больше всего. Спасение находилось в мелком мусоре забот и любви к Броне. Но прошлое нет-нет да и накатывало: одним утром у дверей Академии он увидел топчущегося в кроссовочках и куцой куртенке сына. Подмораживало, Олежек явно продрог. «Ты откуда тут?» – только и спросил Агеев.

– Я к тебе...

Агеев вдруг увидел сына маленьким, с детскими кудряшками, торчащими из-за оттопыренных ушек, смотрящим на большого и сильного папу преданными голубыми глазенками. Деловой утранный настрой отступил перед чувством вины. Стало больно.

Куда ж его вести? Дома Броня. Ну и что? Он уже взрослый, поймет.

Отогретый на кухне Олежек поедал всё выставленное перед ним на столе. Броня деликатно удалилась. Агеев не торопился расспрашивать, пусть начнет сам. Но и сын не начинал. Он водил по клеенке указательным пальцем, поглядывая то по сторонам, то на отца. На месте Агеева, человек, склонный к рефлексии, задумался бы сейчас

об утраченном смысле прошлой жизни, но Агеев был не таким человеком. Глядя на сына, он удивлялся отсутствию интереса к делам жены и всему, что было с ней связано. Молчание затягивалось, оно уже тяготило обоих.

– Ну, как там мать? – не выдержал Агеев.

Из вдруг полившегося торопливого рассказа выяснилось, что бизнес Клавдии процветает, она наладилась строить дом в Черноречье. Есть и хахаль. Агамемнон не стал спрашивать, кто и как. Денег не дают, говорят, должен зарабатывать сам. Школу заканчивать не собирается. И что-то еще жалобное и обозленное. Пока сын говорил, Агеев думал, куда его девать. Переночевать, допустим, Броня постелет ему на полу в кухне. А дальше?

А дальше было вот что: Броня быстро разобралась в ситуации. Конечно, она постелила Олеже на полу в кухне – не выгонять же мальчика на улицу, но не для того она отправила свою доцю к бабке, чтобы прикармливать чужого говнюка. Утром, когда озабоченный подполковник ушел изучать тактику ведения ночного боя, Броня дала пасынку денег на билет в Самару или «еще куда». Олег, вяло ковыряющийся яичницу, вдруг ожил и благодарно заулыбался, рассовывая деньги по карманам. Понимала ли Броня, что ни в какую Самару он не поедет? А то нет! Была, правда, опасность, что, потратившись, «сыночек» снова появится на пороге, но Броня знала, что боевые задачи нужно разрешать по мере их поступления. Ее простая тактика называлась «там видно будет».

Агеев воспринял отъезд сына с некоторым облегчением, но и с затаенным беспокойством, заставившим его связаться с Клавдией. «А я думала, он у тебя, – скорее с удивлением, чем с тревогой сказала та. – Ниче, объявится, никуда не денется», – и перевела разговор на темы, не интересующие Агеева. Хорошо, что хоть Эллочка при ней. Доченьку он любил и хотел взять в Москву на каникулы, но для этого требовалось согласие Брони. «А что, если привезти сразу двух девчонок? Вот было бы гарно», – размышлял Агеев. Но всё понеслось и сложилось совсем не так, как ему хотелось.

Начать с того, что незадолго до Нового года дежурный по Академии вызвал его к телефону. Звонил генерал Куликов. И как-то так вышло, что Агеев позвал генерала в гости, а тот охотно согласился. Куликов явился с коньяком и коробкой шоколадных конфет, в костюме-тройке, весь какой-то напояженный, пахнущий дорогим одеколоном. Агееву стало неловко за свои домашние тапочки и выпирающий живот, зато Броня встретила гостя в платье, обтягивающем ее ладную фигуру, всем видом демонстрируя абсолютное счастье знакомства с таким важным гостем. Куликов с ходу оценил ее слегка перезревшую красоту.

– Броня? Редкое имя, а как по батюшке?

– Ну зачем по батюшке. Зовите Бронислава, если хотите, но мне

привычной откликаться на Броню. А назвали меня в честь бабки, она была из поляков. – И Броня лебедушкой проплыла на кухню за холодными закусками.

Когда до них дошло дело, мужчины уже переговорили об успехах Агеева в Академии (никаких особых успехов не было), стоимости квадратного метра площади в центре Москвы и прочих темах, предшествующих главной части программы: разлива спиртного по рюмкам и бокалам, раскладывания салата по тарелкам, тоста, и закусывания с неперменными похвалами кулинарных способностей хозяйки. После первой рюмки, крылом позвавшей вторую, разговор заметно оживился. Стала упоминаться Чечня и кое-какие неизвестные Броне имена. Куликов вдруг спросил Агеева, не интересуется ли он нефтью. Какой-то огонек вспыхнул в глазах Агамемнона (генерал, смеясь, припомнил это прозвище), но и быстро погас. Не интересуюсь. А что? Да так. Нефть сейчас у всех на уме. Зная своего бывшего командира, Агеев понял, что вопрос был задан не случайно, но расспрашивать не стал. Само всплывет, когда настанет время. Они допили бутылку коньяка, перешли к «Столичной», и Агеев рассказал генералу о сыне – исчез, мол, парень. Не знаю, где искать.

– Не вопрос, – откликнулся генерал. – Есть у меня кое-какие связи в МВД. Вот тебе телефончик, – он написал номер на пачке Беломора, – позвони завтра. Тебе там скажут что и как.

Тут и Броня подоспела с жареной уткой на блюде.

– Помогите пошукать мальчика, Сергей Иванович, а то мы извелись уже все.

Извелись-не извелись, но «Столичную» допили. Потом Броня пела романсы, красиво поворачивая голову то в сторону Агеева, то в сторону Куликова. Те заметно охмелели, но выпив цейлонского чайку (подарок благодарной клиентки), немного протрезвели. И уже за полночь распрощались, перецеловавшись в прихожей.

Нефть. Во как! Что, собственно, Агеев знал про нефть? Немного. А что помнил? Горящие заправки помнил. Еще помнил каких-то женщин, продающих банки с желтой жидкостью, старики там тоже стояли вдоль дорог, мальчишки. Наши смеялись, это не моча у вас там, в банках? Зачем моча? Покупай-заправляй, как новый поедешь. Агеев покупал пару раз, заправлял «уазик». Ниче. Старая советская техника была неприхотливой. Еще помнил ямы-колодцы, залитые до краев конденсатом. Это что, и есть чеченская нефть? Сама из земли прет. Залейся. Только это еще не бензин. Однажды в Ханкале напоролись на склад, забитый бочками с бензином. Сколько могли взяли. Агеев хотел сообщить соседям, мол, налетай! Да не сообщил. Почему? Куликов перебил, послал куда-то. И стал Агеев в уме прикидывать, как это до него раньше не доперло, что Куликов-то еще в Германии руку набил, когда, выходя, дербанили всё, что могли, причем, вагонами. Он сам-то мелочевку сербу загнал: личный ГТ. Что если у Сергея

Ивановича размах был покруче? Потом в Самаре всё и началось, в смысле обидной бедности с никому ненужностью. Вот вам и «Армия унижена. Армия обижена». На свою зарплату Агеев мог купить Броньке пару трусиков. Тоненьких таких, как их? Стринги. Ну еще ерунду какую-нибудь. Хорошо, Клавдия поднялась, понимает ситуацию, но он же должен на детей посылать хоть что-то.

Так что там про нефть? Агеев пошел в читальный зал за подшивкой газет. Только карандашик наточил, статью нашел про нефтепровод из Каспия через Грозный, как в дверь просунулась голова дежурного: подполковника Агеева к телефону. Так вызывают, когда звонит высокий чин, ясное дело какой. И точно! Опять Куликов. «Чего же ты хочешь, Сергей Иванович?» – не сказал Агеев.

– Свободен? Выходи через десять минут. Есть разговор.

Куликов подкатил на служебной «Волге» прямо к дверям Академии. Но особого разговора в машине не получилось. Агеева почему-то раздражал скрип дворников, смахивающих легкий снежок с ветрового стекла. Ему хотелось скорее домой, за окнами старой легковухи мелькала предновогодняя Москва, а куда они ехали, было непонятно. Генерал всё не начинал. То ли мешал шофер, то ли еще что. На войне Куликов доверял Агееву и вообще казался другим человеком. Правда, помог оформить Олежку в розыск. За любезность надо платить любезностью. Так и вышло.

Уже сидя в маленьком ресторанчике, где-то у черта на куличках, и пропустив первые сто грамм, Куликов наконец сказал, что ему нужно:

– А сгоняй-ка ты, Агамемнон, в Грозный на денек-другой.

Агеев не успел ни подумать, ни ответить – только глянул в раскрасневшееся лицо своего бывшего начальника.

– Бизнес у меня там есть, сам поехать не могу, а ты человек надежный, проверенный...

Немного льстиво, но верно, таким Агеев и был. Поэтому и стал внимательно слушать. Говорил Куликов не долго, даже карту Чечни на столе разгладил и крестиком нужное место обозначил. Схрон в горах, проводник-чечен. С чеченцами Агеев дел никогда не имел. Какое-то сомнение пробежало по его лицу, которое тут же уловил Куликов.

– За доставку груза оплата в валюте.

Вот это другой разговор.

– Сколько?

– Зависит от успеха. А это для быстрой связи.

На столе появился мобильник. Дальше шли подробности. Впрочем, многое оставалось туманным.

Агееву даже интересно было, кто летит ранним утром из Москвы в Грозный тридцатого декабря. Ну да, в основном торопи-

лись домой лица кавказской национальности: женщины неопределенного возраста в черных платках и длинных юбках, мужчины в холказахах, орущий младенец (вот это Агееву совсем не надо, у него дико разболелась голова), пара военных чинов. Ребенок проорал все два часа полета. Таблетка аспирина, предложенная стюардессой, не спасла Агеева от головной боли. Когда он вышел в зал аэропорта «Северный», вид у него был помятый. Дальше надо было следовать указаниям Куликова, значит, звонить по номеру, вбитому в мобильник. Номер ответил почти сразу: «Жды у киоска с журналами». В зале было многолюдно. Говорили громко, иногда доносилась русская речь. Вокруг новогодней елки бегали дети, люди тащили какие-то тюки, сумки, чемоданы. «Щас отару овец приведут», – злобно подумал Агеев. У него за спиной висел пустой рюкзачок. Было тревожно, лысая голова под зимней кепкой без кокарды раскалывалась от боли. Уж сколько раз бывал он в неподконтрольных ситуациях, а привыкнуть так и не смог. Куликов велел показать схрон на карте человеку по имени Иса, а тот должен был отвезти туда Агеева. Иса оказался чеченом без особых примет. Лет под сорок, рожа бандитская. Высокий. На нем ненавистная Агееву кожаная куртка поверх треников и баранья шапка. Сели в «Жигуль». На заднем сиденье еще один. В спину дышит какой-то кислятиной. Агеев справился с раздражением и постарался улыбнуться дружески, но не заискивая. Я, говорит, место знаю. Знаешь? Ладно. Поехали. До места ехали часа два, столько же, сколько Агеев летел до Грозного из Москвы. Город изменился, ожил. Сердце Агеева сжалось от узнавания знакомых мест. На улицах люди, кто-то смеется, много детей, как будто и не было войны. Ровно три года прошло. Разве мог он тогда даже подумать, что сядет в одну машину с чеченцами, куда-то с ними поедет, будет им улыбаться. Ему не хотелось ни о чем говорить. Иса спросил, почем мандарины в Москве на базаре и какой обменный курс валюты. Агеев не знал ни того, ни другого. Тогда чечен презрительно замолчал, перекидываясь время от времени словами на своем языке с человеком, сидящим сзади.

На «Жигулях» к схрону было не подъехать. Пришлось идти по тропе, правда, недолго, но пока шли, Агеев сначала успел подумать о том, как хорошо, что он обулся в берцы, а потом и поразмыслить о том, как же выносить то, что в схроне? Как по скользкой тропе на себе тащить-грузить тяжелые и даже очень тяжелые предметы? Ясное дело, им троим это не по силам, а кому по силам, Агеев знать не хотел. Какие там предметы, он догадался, как только Куликов предложил ему слетать в Грозный. Еще ему было неприятно, что к его спине словно прилип второй чеченец и ступает след в след. И уже почти у самого схрона Агеев подумал о том, что открывать его будет непросто. Это же старая заброшенная шахта с чугунными воротами, может, придется подрывать. Вот такой Агеев был думающий и обстоя-

тельный человек. Но мыслительный процесс в его раскалывающей от боли голове уступил место неподдельному удивлению, когда он увидел обыкновенный амбарный замок, висящий на ржавых ушках, впаянных в ворота. Иса достал из кармана ключ, открыл замок, потянул створку ворот на себя. Второй чеченец посветил фонариком во всю глубину схрона. Пусто.

– Это что за е***?

– Это же наши горы, да? – оскалился Иса. – Мы место давно нашли, груз вывезли. Спасибо генералу.

Пока он говорил, Агеев увидел несколько разбитых ящиков на полу, знакомые обрывки упаковок, вдавленные круги от когда-то стоявших тут бочек. Уж не тот ли это бензин, который не дал разбазарить Куликов? Хотя нет, тот склад был далековато. Тут, скорее, припасы Северо-Кавказской армии. Ну и за каким его сюда притащили? Вот он, знакомый холодок по спине, а по лицу пот градом. Когда-то он это уже чувствовал. Здесь и оставят... Иса что-то сказал второму и вышел на воздух. Было слышно, как он с кем-то говорит по мобильнику. Вроде, сказал «Агамемнон». Великое безразличие охватило Агеева. Все силы покинули его. В одно мгновение. Он не заметил, как прошла головная боль, не слышал, что говорил ему второй чеченец, он просто медленно, с трудом передвигая пудовые ноги, вышел из темной пещеры и наткнулся на Ису.

– Рэмбо будет работать с генералом. Ты слышишь? Работать будем. Передай генералу. Еще вот. Иди сюда.

Позднее, когда Агеев пытался рассказать о том, что он испытал в тот момент, он просто говорил «жизнь вернулась».

Иса достал из багажника какой-то пакет.

– Возьми. Здесь не все. Рэмбо сказал, что мы сами нашли, могли вообще не платить, но он хочет работать с генералом. Ты понял? Что ты всё молчишь? Испугался, да?

На обратном пути Агеев думал о том, как быстро он, офицер российской армии, оказался втянут в криминал, да еще с кем? С чеченами, бандитами, которых и за людей-то не считал, а считал за врагов. Рэмбо! Это что у них там за Рэмбо? Почему он не записался в «Наш дом – Россия»? Не пошел к Рохлину? Еще он думал о пакете в его рюкзаке. Он даже не знал, сколько там зеленых. Что если его задержат в аэропорту? Перевоз валюты. Кранты. Агеев промолчал всю обратную дорогу, стараясь не раздражаться от клевета незнакомой речи. Расстались спокойно, без эмоций, как малознакомые люди. А кем же они были? На посадке в «Северном» никто не обратил внимания на его рюкзак. В битком набитом самолете (несет же всех в Москву) голова Агеева раскалывалась от мыслей. По большому счету работать в Чечне можно было с наркотикам или с трубой. Из-за суеверия встраиваться в наркотики Агеев категорически не хотел. Вопрос Куликова про нефть все-таки был не случайным. Тогда почему оружие? Сладкие остатки?

Дома его ждала записка от Брони, улетевшей к доце. Стало грустно. Завтра Новый год, а он один-одинешенек сидит на кухне с пакетом валюты. Пересчитать, что ли? Пересчитал. Двадцать тысяч зеленых. Неплохо. Что ж там было в схроне? «Калаши»? «Шмели»? Порванную упаковку от патронов, следы от бочек с бензином или соляжкой он разглядел. И генерал не звонит. Выжидает. Чеченцы-то, небось, с ним уже связались. Агеев решил немного потомить Куликова. Не то, чтобы из вредности, а из какого-то другого плохого чувства. Уж больно просто тому достанутся двадцать тысяч долларов, но не выдержал и позвонил первым. Куликов обрадовался:

– Чего тебе там одному сидеть, давай ко мне.

«Откуда ему знать, что я один?» – уже на лестнице подумал Агеев.

У Куликова он прожил два дня и многое узнал. Рэмбо оказался полевым командиром Асламбеком Мовсаевым. Как генерал вышел на этого бандита, Агеев спрашивать не стал.

Поле чудес бывает не только в стране дураков. Глупенький доверчивый Буратино зарыл монетки в ямку, чтобы оттуда выросло целое дерево с золотыми денежками вместо листьев. Монетки его украли старые ханыги Кот и Лиса. Вот и в Чечне было свое поле чудес. Зарывали там трубу, говорят, даже на американские денежки, а разрывали и качали из трубы все, кому ни попадя. Не такие уж американцы глупенькие и доверчивые, но не поставишь же охрану вдоль всей трубы, да и охрана в Чечне – та еще. Говорят, подъехал однажды к эстакаде милиционер на белой «шестерке», вышел с канистрами, важный такой. Вытащил пистолет. Хлопнул выстрел, из трубы вырвалось пламя. От машины остался обгоревший остов, от милиционера – ничего. Пепел. Но такой дилетантский подход, слава богу, не у всех желающих отсосать из трубы на халяву. Дыра, в основном, сверлится продуманно, чтобы нефть ровным потоком стекала в отстойник. Там-то и произойдет химическая реакция под названием дегазация и очищение. Когда нефть покроется зеленой пленкой, за ней придет бензовоз. Такая мелочевка Куликова не интересовала. Не для того он носил генеральские погоны, чтобы заниматься отстоем. Ему нужна была скважина, а лучше – две, причем работающие, а не горящие. Бизнес этот рискованный, но Куликов был человеком знающим, что риск того стоил. Скважина – это только начало, а дальше – бензовозы, блокпосты, цистерны, НПЗ, снова цистерны и уже потом неспешащие танкеры – доставка на дом: нефть заказывали? Платите ваши денежки. Денежек должно хватать всем. А как же? Рэмбо с бандитами задаром охранять скважину, а лучше две, не будут, ни один блокпост «за так» цистерну не пропустит; цистерна сама по себе ниоткуда не придет, обогащать ворованную нефть «за спасибо» ни один НПЗ не рискнет. А уж всякие Грознефти, Чечenneфти, Роснефти своей доли долго ждать не будут, и вспыхнет скважина черным огнем, ника-

кой Рэмбо не спасет. Ну и зачем здесь Куликов? А затем, что работать всё это должно бесперебойно. Порядок нужен, а порядок могут обеспечить только федералы. А зачем Куликову нужен Агеев? Курьер ему нужен. Почтальон-доставщик валюты, не через банк же ее переводить. Неприметный такой мужичонка нужен с рюкзачком за спиной или с сумкой, на которого ни один милиционер в любом аэропорту не посмотрит.

Новый 1998 год чета Куликовых встретила вместе с Агеевым. Посидели, выпили, проводили, встретили, посмотрели телевизор да и разошлись по спальням. Агееву дали махровый халат, уложили спать под каким-то балдахином. На тумбочке возле его кровати позвякивал хрустальный стаканчик о серебряную рюмочку с остатками коньяка. Куликов любил французский. Жена его пила только «Вдову Клико». Агеев пил всё. Покачиваясь на водяном матрасе, он думал о том, чего же еще не хватало Куликову. Квартира на Ленинском проспекте, дом – полная чаша, приятная супруга в брильянтах. Сын учится в Англии, дочь уехала в Париж. Три года назад был начштаба полка, вскакивал к ребятам на БТР, отправлял похоронки матерям – и вдруг такой полет. Не с того ли героина всё началось? Допив коньяк, Агеев поворочался на булькающих волнах и заснул под самое утро. И снился ему любимый сон: Кавказские горы под ослепительным солнцем, и цветочки, пробивающиеся сквозь снег, но сон этот почему-то перешел в другой, нелюбимый, с жарким пламенем за его спиной и криком «Прыгай, майор!»

Броня вернулась с претензиями и вроде завелась на ссору, но смягчилась, увидев три тысячи долларов, разложенные веером на кухонном столе.

– Откуда?

– Да так, дело одно провернул, – уклонился Агеев.

Ему надо было бы сдать экзамены в Академии, чтобы не тянуть хвосты к весенней сессии, но мешали навалившиеся головные боли. Пришлось идти к врачу. Военврач попался серьезный, сразу спросил про контузии и сотрясения. Агеев пожал плечами: «Головой, вроде, не ударялся». Доктор словам Агеева не поверил и отправил на всевозможные просвечивания головного мозга. Ответ пришел неутешительный – опухоль.

– Видимо, голову все-таки ударили. Такая штука просто так не вырастает. Вырезать ее вряд ли получится, так что самое время комиссоваться.

Погоны Агееву были нужны. Пенсия никак в его планы не входила.

– Может, обождем пока с диагнозом, товарищ военврач? – заискивающе замурылкал Агеев.

Военврач поправил очки на носу, нашел какую-то бумажку на столе и написал карандашиком цифру. Агеев понял и кивнул:

– Окей. Без проблем.

Из веера, разложенного на кухонном столе, пришлось забрать тысячу. «Это надо ж, как быстро всё меняется, – жаловался Агеев пришедшему ночью Агамемнону, – еще год назад меня санитарки выхаживали, говно выносили, на ноги ставили за грошовую зарплату и добрые слова, а нынче за фальшивую бумажку кусок зеленых отжимают.» Агамемнон смолчал. Уж не был ли он порождением той самой опухоли в мозгу подполковника?

Экзамены Агеев сдал, вернее было бы сказать – не провалил. Слушателю Академии, которому звонит генерал Куликов, заваливать сессию не пристало, а об этих звонках знали все. Так что к следующему семестру подполковник Агеев был допущен. Ему бы радоваться, но он снова тревожится. Чувствует, складывается очередная неподконтрольная ситуация. На этот раз на кухне, но что еще хуже – в кровати с Броней, ставшей равнодушной к его ласкам и другим проявлениям любви. Оказывается, она могла быть грубой и насмешливой. Поначалу это озадачивало Агеева, но, поразмыслив, он решил, что всему виной столичная жизнь, вызывающая зависть у провинциальной Брони. И в этом была большая правда. Что она видела, кроме ухоженных дамочек в брюликах, приезжающих на массаж в иномарках? Они кидали ей отличные чаевые, но Броне этого было мало. Больше всего на свете ей хотелось небрежно сбросить шубку из белой норки на руки гардеробщика и пройтись, покачивая бедрами, меж столиков самого дорогого ресторана. Бедра были, а мехов с иномарками – нет. Кто был в этом виноват? Убогий лысый Агамемнон, сидящий на ее шее, да еще со своими отпрысками. Они ей надо? Конечно, нет! Агеев всё понял и, собрав вещички, вернулся в общагу Академии. И всё же сердце его ныло, время от времени он украдкой прогуливался возле Брониного салона. Когда ждешь чего-то неизбежного, всегда боишься, что это произойдет. Вот Агеев и дождался, он увидел, как к салону подкатил белый «мерс» с Куликовым за рулем. Выпорхнувшая ему навстречу Броня, плюхнулась на переднее сиденье. Куликов притянул ее к себе, небрежно обхватив за шею. Дальше Агеев не смотрел. «Вона как, товарищ генерал! – застучало в его большой голове. – Б*** она и есть б***. Правильно говорил Михальчук. Ай да Броня! От подоконника в госпитале до генеральского матраса с волнами. Вот ведь порочная тварь! А я-то дурак. Поверил этим... Пристрелить их, что ли?» Упорная эта мысль засела в его воображении. Он старательно глушил ее водкой, засыпая там, где сидел. Сосед по комнате оттаскивал его обмякшее тело на койку, понимающе разувал и гасил свет. «Пусть подполкан отдохнет. Видать, накопил обиду». И правда, как ни посмотри, денег Агеев не накопил, одни обиды.

Что, Агамемнон, ты сетуешь, чем ты еще недоволен?

(Гомер. «Илиада». Песнь вторая)

Очухавшись от запоя, Агеев стал ждать звонка Куликова, поглядывая на мобильник и размышляя, что ему говорить. С Броней было всё ясно, но с Куликовым они вместе больше года терлись под пулями в Чечне. Когда-то это много значило. С подачи того же Куликова он попал в Академию в Москве, неплохо заработал на странной продаже оружия. Понятное дело, он втянут в криминал, но откуда еще свалятся такие деньги? Теперь вот эта опухоль. Болит-болит его лысая обгоревшая голова. Кому он нужен такой? Агееву стало не просто одиноко, ему стало сиротливо. Кто у него остался-то? Жена? И он бросился звонить Клавдии, подолгу расспрашивая ее о жизни. Та подробно посвящала его в строительство дома, свой бизнес, которым гордилась, в успехи Элочки, ставшей красавицей: «Нет отбоя от женихов, а девке только четырнадцать. Олежа так и не вернулся – но я чувствую, он живой...» «Как же можно было забыть о семье? – корил себя Агеев. – Вот черт попутал, вернее, чертовка.» Он обещал Клавдии приехать весной.

Но как говорить с Куликовым? Сказать ему всё, что накопело на душе или промолчать? Если сказать, то что? Я к тебе со всей душой, а ты? Мы с тобой в Грозном тушёнку из одной банки жрали, а теперь я нищий, а ты богатый? Мы с тобой этих бандитов били, а теперь ты им оружие продаешь? Нет, этого сказать он не мог. Не такой уж он прямой и бескомпромиссный. Не ему мораль читать. Поэтому, когда Куликов наконец позвонил на мобильник, Агеев говорил с ним сухо и по делу.

Ясным апрельским утром они встретились в каком-то скверике: подтянутый и бодрый Куликов в щеголеватом гражданском прикиде и опухший, в старом камуфляже Агеев. Как ни в чем не бывало. Просто давно не виделись. Поулыбались – и сразу к делу, присев на скамеечку.

– Ты дома давно не был? – начал генерал.

– Собираюсь, недели через две.

Тут Куликов обрадованно вскинулся:

– Надо бы пораньше поехать. Передача есть местному человеку.

Согласен?

Агеев кивнул и выслушал полный инструктаж: сегодня взять портфель из ячейки камеры хранения Казанского вокзала. Что внутри, сказано не было, но Агеев и сам смекнул: деньги. Опять зеленые. Сумму знать не полагалось. Там же будет билет «туда-обратно». Уже в Самаре, выйдя с поезда, заложить портфель в ячейку с тем же московским номером. Сразу отзвониться и сесть на поезд обратно в Москву. Расчет по возвращении. Всё.

Агеев опять покивал, поднялся со скамейки, но руки не протянул. Протянул Куликов, пришлось пожать.

– Привет жене, – ослабился Агеев.

Что-то промелькнуло в лице Куликова, но он быстро справился и заулыбался.

– Передам. Ну, бывай.
На том и разошлись.

«Что же это у него в Самаре? – раздумывал Агеев. – Неужели вышел-таки на нефтянку? НПЗ там стоит мощный, туда маленьких не пускают. Может, только подбирается. Уверенный такой, что я безотказный.» Уже на вокзале Агеев рассматривал билет до Самары с отправлением на следующий день. Что, если сделать по-своему? Он купил билет на ночной скорый, отходящий через пару часов.

Клавдия удивилась, но услышав серьезный голос мужа, обещала встретиться, не задавая лишних вопросов. И всё же не удержалась:

– Дочке-то подарков привезешь?

– Посмотрим, Клав, я и сам пока не знаю. Это неожиданная поездка, от меня не всё зависит.

В купе, завалившись головой на портфель, он вдруг почувствовал, как понеслось время, словно сорвалось со всех тормозов, словно оно мчится, опережая поезд, отстукивая оставшиеся часы жизни его вытянутого тела. Откуда? Куда? Зачем? Откуда? Куда? Зачем? «Сам не знаю, сам не знаю», – впал в тревожную дремоту Агеев.

Утро еще не разыгралось, когда московский скорый подошел к перрону самарского вокзала. Небольшая толпа быстро разошлась в разных направлениях. На выход Агеев не пошел, ноги сами повели его к ячейкам камер хранения. Вот нужная. Занята. «А ну, попробую», – он набрал код, сработавший в Москве. Не открылась.

«Ну и че?» – он и сам не знал, зачем ему нужен был этот подход. Любопытно было, что ли? А ну как грохнут тут же на вокзале? Агеев скосил глаза на скучающего неподалеку мента. Вроде, спокойно. Он знал это обманчивое спокойствие, когда внутри всё дрожит. «А чего дрожать? Сказано – завтра. Выполняй инструкцию и не лезь, куда не надо», – подбадривал себя Агеев. Навстречу ему уже шла Клавдия. Лицо ее было какое-то неразглаженное, застывшее в недовольном выражении. Увидев мужа, она растянула губы в улыбку, глаза ее, меж тем, оценивающее ощупали портфель и заросшую щетиной физиономию мужа. Какой это офицер? Бомж. Вид Агеева привлек и внимание патруля, топчущегося в зале ожидания. Старлей с красной повязкой на руке козырнул, лениво заглянув в военный билет подполковника – «Здравия желаю!» Клавдия заметила, что Агееву, напрягшемуся поначалу, как-то полегчало. Опережая вопросы, он потащил ее к ларьку с игрушками:

– Погоди маленько. Дай-ка я Элке куплю того зайца.

– Она сапоги на платформе носит, а ты ей зайца покупаешь.

Но зайца купили, розового и ушастого. Такой сидел на компьютере у лаборантки в Академии и всем нравился за обаяние. Понравился он и Эллочке, с криком бросившейся на шею отцу.

– Какой классный заяц!

– Ты и сама классная!

И правда, из примерной девочки с хвостиком на макушке, она превратилась в одну из девушек, сидящих под окнами его общаги: черный лак на ногтях, торчащий в разные стороны ежик фиолетовых волос. Не хватало кольца в носу.

– Это че теперь, и таких в школу пускают?

– Ой, да у нас все такие. Есть еще хипповее, чем я. Ты там в Москве совсем от жизни отстал.

Ему послышался упрек в голосе дочери, а может, только показалось, потому что чувствовал он себя кругом виноватым. Вот и сына потерял. На кухне запахло слегка подгоревшими оладьями, Олежка называл их «оладушки». Заболела, заныла душа у Агеева. Тяжело давалось возвращение домой. В ванной первым делом он увидел знакомую трещинку на зеркале – всё собирался, но так и не купил новое. Лицо – да, заросшее. Постарел, однако. Кому он такой нужен? Ну не Броне же. Клавдии? В шкафчике предательски торчал оставленный кем-то помазок для бритвы. Агеев всегда брился электрической бритвой. Да, не Пенелопа. «Ну и ты не Одиссей, – усмехнулся Агеев. – Ладно, потом разберемся ху из ху.»

– Ты там уснул, что ли? – заколотила в дверь ванной Клавдия. – Руки помой, да и ладно. Я тебе баньку истоплю на даче. Дом посмотришь, правда, недостроенный, но банька там стоит прям на берегу речки. Я стоко денег в нее угрехала. Попаришься и сразу охладишься.

Запах дома – родной запах. Агеев узнавал все его оттенки. Вот он сел на всегдашнее свое место за кухонным столом, вот его кружка, из которой он всегда пил чай, масленка с отбитым краем, вот кот закрутился у него под ногами, ласться и выпрашивая кусочек колбаски. Вот дочка ковыряет вилкой запеканку. «Совсем есть перестала. Фигура у нее... – сетует Клавдия, любовно поглядывая на Эллочку. – Ты в школу идешь или будешь копать здесь до первого звонка?» Дочка убегает, вильнув задиком в короткой юбочке. У нее и впрямь сапоги на платформе.

Агеев разомлел от рюмки водки, доел яичницу прямо из сковородки, не потому что не дали тарелку, а потому что так вкуснее собирать хлебом жир, растекшийся от кусочков сала. Вот он уже проваливается в глубокий сон на старой своей кровати, с которой Клавдия сдергивает невиданной красоты покрывало (вьетнамка золотом вышивает, продает нарасхват) и старый кот, верный Аргус, уютно устраивается у него в ногах.

И пока он погружен в глубокий доверчивый сон, Клавдия пытается открыть портфель. Она не из тех женщин, кто шарит по карманам мужей в поисках зажатой записочки. Агеев никогда не таил от нее денег. Другое дело, денег у него просто не стало. Бедность, грозившая перевалиться в нищету, возродила в Клавдии потаенные чувства зависти и злобы, затмившие все другие качества ее несложной натуры. Когда-то она была обыкновенной круглолицей девчонкой с ямоч-

ками на щеках, выскочившей замуж за курсанта. Потом стала офицерской женой, принявшей на себя скуку и тяготы гарнизонной жизни. Что пришло потом после «потом», она и сама и не знала, но Агеев стал раздражать ее. Если бы какая-нибудь поднабравшаяся жена капитана или майора, сподобилась бы ей сказать: «Ну че ты бесишься, мужик-то у тебя неплохой», – она бы передернула в нервном несогласии плечами: «Любовь прошла, завяли помидоры».

Они бы выпили еще, и Клавка бы продолжила:

– Дети его любят. Это да. Особенно малая. Она его фриком зовет, и то ласково.

– Фрик – это че? – Не разберется со словом жена капитана или майора.

– Ну... типа дурак совсем, – затянется сигареткой и стряхнет пепел мимо пепельницы Клавка.

Только все эти пьяненькие разговоры не имеют никакого отношения к тому, как сейчас Клавка шарит по карманам мужа в поисках маленького ключика. Надо же открыть этот несчастный портфель. Ведь не случайно так неожиданно свалился на ее голову Агеев, не случайно напрягся, когда его остановил патруль, не случайно уедет на следующий день. Ключика нет. Что делать? Клавка прикрывает дверь и выбегает на лестничную площадку. Теперь надо унять колошачее под горлом сердце, справиться с дрожащими руками. Всё тихо. За дверью напротив слушают прогноз погоды по телеку. За другой – тявкнула и замолчала собака. Она быстро семенит по лестнице вниз, прямо в тапках летит через двор в подвезд напротив. Теперь – четвертый этаж (естественно, без лифта) и длинные требовательные звонки в дверь, обитую дерматином. «Ну проснись ты, проснись!» Она открывается – эта дверь. «Ты че, Клав?» На пороге хахаль Жорик, по паспорту Егор. У него заспанный и недовольный вид. Жорик из своих, из гарнизонных, подавшихся в охранники после демобилизации. Встреча не запланированная, но вид у Клавы такой, что он впускает ее в свою загаженную однушку. Трудно сказать, что он понял из ее сбивчивого рассказа, но вопрос задал толковый:

– Так что в портфеле? Ты сама-то знаешь?

– Ну ты че, совсем тупой, Жор? Бабло там. Не знаю сколько. Портфель тяжелый.

У Жоры заходили желваки под щетиной.

– Ты бы поговорила с ним, Клав, может, он в долю войдет.

Клава засомневалась. Своего занудного мужа она знала. Агеев был какой-то правильный, не способный на криминал. Может, время его изменило? Надо попробовать. И она кивнула.

– На дачу его повезу в Черноречье. Там еще выпьем, баньку natoпим. Я тебе с балкона махну.

На том и порешили. Последний вопрос Жоры был, скорее, деловым:

– Ствол у него есть?

Ствола не было.

Дома Клава потихоньку прикрыла входную дверь, прислушалась, не проснулся ли муж. Спит. Нетерпение жгло ее. Надо будить. Агеев нехотя оторвался от сна. Ему снилось что-то тревожное и томящее, сквозз которого шел маленький Олежка, протягивая навстречу ручонки.

– Ты чего? Я храпел?

– Что у тебя в портфеле? Деньги? – понеслась с места в карьер Клавка

– Точно не знаю, думаю – да.

– Баксы? Ключ-то у тебя есть? Давай откроем – посмотрим.

И тут выяснилось, что никакого ключа нет. И открывать портфель Агеев не собирается, поскольку вещь это чужая и ее нужно отдать тому, кому положено. Но Клавдия повела себя как-то странно: она словно ничего не слышала, словно ни одно сказанное слово до нее не дошло. Присев на край кровати, она заговорила тихим сладким голосом, которым говорила когда-то много лет назад: «Выкуплю нашу фабричку, вложусь по новой, найму таджичек, повезем продавать покрывала за кордон...» Лицо ее преобразилось. Оно смягчилось, мечта разбогатеть озарила увядающие черты.

Агеев даже расстроился, так ему не хотелось увидеть разочарование на этом похорошевшем лице.

– Нельзя, Клава. Это деньги Куликова. Лучше я сделаю всё как надо. Он мне заплатит. Будут деньги, может, меньше, чем тебе прямо сейчас подавай, но зато верные.

Лицо погасло. Вернулся базарный знакомый голос.

– Ну что ты тупой такой?

– Какой есть, – насупился Агеев.

– Да наебет он тебя дурака. Даст копейки.

Агееву разговор надоел. Рывком он поднялся с кровати, стоя перед ней в синих семейных трусах и линялой футболке.

– Это ты дура! Не понимаешь, с кем связываешься! Он убьет за эти деньги!

– Не убьет, Слава! Не найдет. Вон Олежку полгода никто найти не может, даже твой Куликов. Пропал – и нету!

– Я всё сказал! – крикнул Агеев и трахнул кулаком в стенку. Какая-то картинка свалилась на пол, кот испуганно забился под кровать. Клавка поняла, что проиграла, и сразу поникла.

– Ладно, орать нечего. Нет, так нет. Я тебе баньку обещала, давай собираться, чтоб дотемна вернуться, а то Элка скоро из школы придет.

Может, Агеев и был тупой, но ехать париться в баньке он раздумал, как-нибудь в другой раз, спасибо, лучше он помоеется дома, благо есть горячая вода, да и вернется на вокзал. Так ему, мол, будет спокойнее за портфель этот несчастный. Скорее бы его уже сбagrить, от греха подальше. Клавдия лицом немного спала, но новость приняла покорно. Как скажешь. Дам щас полотенце. Там у нас нагреватель плохо работает, может, посмотришь.

Пока Агеев возился с нагревателем, Клавка на балконе знаками сообщила новость Жорику. Тот хоть и был ума не протяженного, но понял всё правильно. За никчёмную свою жизнь заниматься рукопашным боем ему приходилось не раз и не два. Инструментом он владел лет с тринадцати. Так что на место преступления прибыл быстро и собранно. Застигнутому врасплох в ванной собственной квартиры, Агееву накинута на голову то самое покрывало, по которому золотом вышила рисунок нанятая Клавкой вьетнамка. Жорик быстро истыкал ножом его тело. Пока кровяща стекала в ванную, Агеева, еще живого, засунули в какие-то мешки и затолкали в багажник Клавкиной «шестерки». Туда к нему и пришел Агамемнон. «Вот теперь ты умер, – сказал он, – а заказала тебя жена. Но ничего, Владислав Николаевич, сын за тебя отомстит. Олежек уже совсем скоро придет.»

– Я Клавке смерти не хочу, – были последние слова подполковника Агеева, бесславно завершившего свою жизнь.

*К вам же, конечно, и в дальнюю землю дошел об Атриде
Слух, как домой возвратился он, как умерщвлен был Эгистом,
Как и Эгист наконец по заслуге приял воздаянье.
Счастье, когда у погибшего мужа останется бодрый
Сын, чтоб отмстить, как Орест, поразивший Эгиста, которым
Был умерщвлен злоковарно его многославный родитель!*
(Гомер. «Одиссея». Песнь третья)

Борис Фабрикант

* * *

Бог постоял у открытых дверей,
Вышел, вернулся с ведром.
Рядом за лесом оставил зверей,
Печку наладили в дом.

Звонко с поленьев сколол горсть лучин,
Выбрал в окошке восток,
Первого дня обозначил почин,
Рядом на плашке засёк.

Долго кряхтел, прибираясь в хлеву,
И непонятное пел
Взмахом широким косил траву
И в небеса глядел.

В печке колышутся тени огня,
Слышно журчание вод.
Руки обтёр, потянулся, поднял
И распахнул небосвод.

Звери спускались напиться воды,
Взглядом простор обнял
И улыбнулся, увидев следы,
Глину в руках размял

* * *

От времени осталось только завтра,
Скупая ночь минуты бережёт.
Мы наши жизни, павшие на карту,
Кладём, цены никто не признаёт.

Под вой сирен разорванной пружины,
Как старое военное кино,
Всё бывшее мы вывезли машиной,
А нынешнее бросили в окно.

Тут песенка какая-то играет
О будущем, распятом на кресте.
Осталось только завтра, так бывает.
И счастье снится в бывшей темноте

* * *

Пустынный свет, фонарь, подъезд
И лестница для привидений,
Где выше крыши дома влез
Прохладный месяц невесенний.

Он восходил из-под крыла,
Чтоб дня перевернуть страницу,
Где жизнь неслышно подошла
Проститься.

Ты оглянись и всё поймёшь,
Под ветви уходя кривые.
Пей на ночь капли дождевые,
Потом уснёшь.

Во сне увидишь старый дом,
Как будто свет не погасили,
И подойдёшь там за углом,
Чтоб попросить, чтобы простили,

Где, завершая разговор,
Нас обнимает старым другом
И битый бомбой детский двор,
И месяц кругом

* * *

Здесь, собирая в охапку привычки с куста,
Так, как всегда, неумело и рано, и мимо,
Вдруг попадаешь в такие грибные места,
Где всё надолго, уверенно, неопалимо.

Жизнь, истекая ручьями, уходит в песок,
Русло оставив в наследство, а может быть, ложе.
Если счастливые дни, ветер дует в висок.
Если несчастные, дует, наверное, тоже.

Свет, пробиваясь сквозь листья, забудет узор
И никогда повториться уже не возьмётся.
Всё, что случается, долго идёт до сих пор.
Но, по привычке, не знает, откуда вернётся

* * *

На небе жизнь идёт своя,
Там облака латают,
И пограничные края
За горизонт цепляют.

Не виден в тучах срез луны,
Немытая погода,
Там в небесах цветные сны
В любое время года.

Им гром печальный нипочём,
Дождь, красота сырая,
Все притворяются ручьём
С грозой первомая.

И радужную акварель,
Тумана лист бумаги,
Несёт случайная метель,
Шары, портреты, флаги.

И длинным светом фонари,
Резину взяв пошире,
Сбивают тени до зари,
Как на площадке в тире

* * *

Девочка с ребёнком на груди,
Вечности в глазах не убывает,
Знает всё, что будет впереди,
Где молитва больше не спасает.

На руках собою не укрыть,
«Чашу пронеси!» не повторится.
На копье ни умирать, ни жить,
На кресте навеки не простится.

А потом никто не говорил.
Он воскрес, и сохранилось слово.
И признал грехи, и искупил.
Девочка одна стояла снова

* * *

Когда б родился я немного раньше
во Львове, где рождён немного позже,
увидел бы, как гонят по брусчатке,
рвут платье с мамы, смех, бьют сапогами
и бьют отца, волочат на коленях,
подняться больше папе не дают,
как вижу нынче в давней киноленте.
Мы позже жить приехали во Львов,
прошла война и не было погромов,
я вырос и родил своих детей,
за эти годы жизнь переменилась.
Немало видел городов и стран,
и где бы ни был, никогда не знаю,
когда опять погонят по брусчатке,
швырнут и больше не дадут подняться,
ползти заставят к смерти на коленях
уже совсем от мамы далеко.
А с матерей сорвут бельё и платья
и будут снова убивать детей.
И я не знаю, где это начнётся

Виталий Павлюк

ТЛЕЮЩЕЕ ПИСЬМО

Ну, здравствуй. Тут снова – движение.
Колонны, полки, поезда.
Победы, ничьи, поражения.
На время, на миг, навсегда.
А я уплываю в наш свадебный,
в наш инопланетный вояж –
и тают: куняющий вахтенный
и потные лица вояж.

Да что я пишу по-казенному,
стою у чертога, юля.
Родная, мы все прокажённые,
и нами дымится земля.
Ты там, в своей звёздной полиции,
пожалуйста, правду прочти:
что я – на никчёмной позиции,
и глиной засыпан почти.

Я знаю, ты не разбираешься:
Кто право имеет, кто – раб.
Пора или – нет, не пора ещё.
А может, уже не пора.
Не слушай – тут ругань площадная,
воронка, перрон, автозак.
Славянка со скифкой прощается
навек, и обе в слезах.

Любовь наша, блажь неприметная,
курлычет, свиваясь в гнездо.
Родная, как славно, что смерть твоя
случилась не после, а до
того, как твой суженый-ласковый
под крики: стрелять буду, стой! –
увидел: вот брызги шампанского
трассируют над высотой.

Родная моя – пораженчество
туманом вползает в нутро.
Такое, поди, впору женщине –
я весь превращаюсь в ребро.

И чувствую – может, так велено? –
впечатано Господом в роль? –
тревогу, контроль и забвение,
и снова: тревогу, контроль.

Всевышний, ты главный тут вроде бы.
Смотрящий за всеми кино.
Нет-нет, я не буду юродиво
тебе выговаривать, но:
горит разрывного парабола.
Не знаю, мертво ли, живо,
а – тлеет письмо, не отправлено.
Куда ты отправишь его?

ГЕО-ФЬЮЖН

Смотри – дух древности какой! –
как только спустишься с Пригорка
на угол Невского с Тверской,
где начинается Соборка.

Тут, право, каждый атрибут
заслуживает интереса:
провинциальный Петербург,
таки имперская Одесса.

Тут обнаружишь без труда,
прикончив тыквенное мокко, –
объединяет города
их деревенское барокко.

Не поленись, свершив намаз,
с метро ВДНХ пройти на
Крещатик, угол Карантинной, –
где брат Исакий режет глаз.

Москва, жемчужина морей,
и ты, первопрестольный Киев, –
остатки горькие, сухие
от идентичности моей.

НА ЗАРЕ

Ане Мельниковой, в дорогу

На заре, в час, когда отступает
то, что мы принимаем за тьму,
а в груди копошится тупая
то ли боль, то ли – что, не пойму –

то ли – то, что не принято всуе
(всё равно, что ни скажешь, – враньё), –
в этот час остановленной сути
есть возможность увидеть её.

На заре души в квантовой яме
(плоскость – много, объёмность – тесна) –
то парят в декорациях яви,
то бегут по реальности сна.

Им, не знающим, чёт или нечет,
есть ли Бог или нет, – в этот час
открывается цельное нечто,
то, что мы принимаем за часть.

Ты, кого именую собою, –
объяснись, я тебя не пойму.
Собирал на починку собора,
а зачем-то построил тюрьму –

ей, которая неповторима,
ей, не терпящей поз и гримас,
ей, которая видит без грима
то, что мы принимаем за нас.

На заре – ты и ключ, ты и слепок.
На заре ты – в начале, в конце ль?
Как понять – как принять, напоследок –
кто здесь – снайпер, кто – пуля, кто – цель? –

расплавляясь, смеясь, леденя,
устремляясь – вперёд и наверх,
где горит, в ореоле тоннеля,
то, что мы принимаем за свет.

ВОТ УЖЕ ГОД

Дождь зашуршал листвой,
закокотал по крыше.
Вот уже год не слышу,
Господи, голос твой.

Вот уже год твою
я тишину не чую.
Ночью, дрожа, ночую,
утром, как тварь, творю.

Верный твой замполит,
вот уже год природа,
словно нарочно, длит
пятое время года.

Ветер юлит листвой,
не по-сентябрьски рыжей.
Вот уже год не вижу,
Господи, облик твой.

В левую – зонт беря,
в правую – плащ линялый,
пленников сентября
табели пополняю.

К узникам ко своим
добр и щедр, даром
передо мной янтарь он
мечет – мой конвоир.

Бисер, вслед янтарю,
перед собой мечу я.
Веки сомкну – ночую,
а отворю – творю.

Ванна, имбирь, миндаль,
камфора, запах тела.
Зеркало запотело –
Господа не видать.

КВАНТОВОЕ СХЛОПЫВАНИЕ

Настоящее – это единственная вещь,
не имеющая конца.

Э. Шрёдингер

Любимая! Проснувшись, я нашёл
тебя, себя и несколько растений
в Америке, среди картин на стенах,
и, в то же время, – пьяных, нагишом –
на трассе Баден-Баден-Трансвааль,
как Шрёдингеру грезилось едва ль.

А помнишь ли – последний год Совы?
На улице Героев Сталинграда
ютились мы, ни живы ни мертвы,
под стук подков того, кто носит Прада?
Ах и увы, хоть стал иным декор –
ни живы ни мертвы мы до сих пор.

Любимая! Ведь так тебя зовут?
Престранные в гостиной нашей гости:
воюют, особенно при норд-осте.
А счастье – как заевший Голливуд,
а Божий дар – как рана ножевая.
Я помню, ты мне встретилась живая.

Лавируя, дерзая и дерзя,
себя находишь поднятым на вилах.
В тот день была фатальная гроза,
и ты метала молнии развилки.
Как хищники из цирка шапито,
мы выбирали часто, но не то.

О Шрёдингер! Позволь, я воспую
тебя – грозу котов и малолеток!
Возможно, квартируешь ты в раю,
покаявшись удачно напоследок,
и любишь, в размышлизмы погружён,
свою суперпозицию двух жён.

А может, в ад на должность поступив
блатную, подливаешь в чан ты лаву
и после смены, под аперитив,
как Санта-Клаус, тешишь Санта-Клаву?
Скорее же всего – и там и там
преуспеваешь, фору дав котам.

Тебя судить, о Шрёдингер, – не мне.
Ты просто жил. Как выяснилось, это –
трюизм, нетривиальный для эстета, –
вмешаются, того гляди, извне:
хоть трижды ты лирический герой,
а форточку, пожалуйста, прикрой.

Но полно об учёных, мир их дням,
войну ночам их, лучше мы – о вечном.
Я столько раз тебе не изменял,
что стал и в этом деле безупречным.
Ты тоже – столькох не плела интриг,
что хватит, может, даже на троих.

Любимая, а помнишь Ланжерон,
киоск «Народ и партия едины»?
Минуло тридцать лет и три години
в сплошном непротивлении сторон!
И пусть на мове снова вышла ложь,
однако адаптивность не пропёшь.

Вот так, в театре калек и калек,
не размыкая век, и длим свой век,
штурмуем крепость власти и наживы –
и лезем вверх, и падаем во рвы –
вот так: не живы, но и не мертвы –
а значит сразу: и мертвы, и живы.

Вот так ведут – поди их, примири –
сиамские слепцы-поводыри:
ночной – мятежен, утренний – лоялен.
Тем временем, один галилеянин
с креста – того, что высится внутри,
глядит, склонивши голову на бок, –
уже не человек, ещё не бог.

СЕНТЯБРЬ

Сентябрь струится по сетям,
волхвует уханьем совиным.
Сентябрь. О господи, сентябрь!
А ты – с заветами своими!

Нет – не в твою до дурноты
сегодня взглядываюсь призму.

Нет, господи, сегодня ты –
второй по интересу призрак.

Сегодня – новый санитар
срывает старые печати.
Сентябрь – о господи, сентябрь! –
как попросить твоей пощады?

Взрывающий мои зрачки
специалист по белладонне –
что – кроме собственной тоски –
что уронить в твоё бездонье?

Бесчинствуешь, духотворя
предсмертную одышку лета...
И даже благодать твоя –
не благодатна, а благолепна.

Какой ещё гексамерон?
Какие тайные вечера? –
щель между двух полумиров,
в ней я – и детские качели...

Улья Нова

Баронесса Ниццета

1.

И тогда она забыла все свои цвета, как их сочетать, чем оттенять. Всё перепутала. Растеряла. Стала пепельной изнутри и снаружи. Обрушилась трагической карнавальной фигурой – прямо посреди коридора. И сидела на полу в полумраке, рассыпанная изнутри, расстрепанная снаружи, сдерживая подкативший к горлу клубок отчаяния, потом стесняясь себя за эти слезы.

Оказалось, выходные черные туфли треснули поперек подошв. Так – как они и зимовали в дурацкой напыщенной коробке с гербом модного дома – загаив безнадежность, безжалостный сюрприз. Пара кожаных заговорщиков умышленно дожидалась сегодняшнего дня, когда она с утра пораньше (а точнее – в полдень) решила подготовиться к субботнему вечеру. Она была воодушевлена неожиданным приглашением в гости к бывшей сокурснице, которая теперь стала хозяйкой собственной галереи. Она предчувствовала что-то особенное на этом ужине, какую-то затаенную, мерцающую в тумане возможность. И вдохновенно приступила к подготовке своего образа и подобия. Но треснувшие туфли ранили ее в самое сердце.

Распластанная посреди коридора в домашнем тряпье, она сбивчивым пепельным привидением принялась исследовать одну за другой остальные обувные коробки. Сапоги незаметно расклеились на мысах. Любимые замшевые пулены сморщились и преобразились в надкусивших кислоту, удрученных старух. Кожаные кеды за зиму превратились в дачный хлам для сбора опят в сырых топких оврагах. Туфли на каждый день явились после спячки пыльными и битыми на вид. Неулыбчивая ветхая обувь подавала неутешительные намеки на состояние всей ее жизни, свернувшей не в тот переулок. Туфли, ботинки и сапоги молчаливо свидетельствовали, предъявляли вещественные доказательства, обвиняли ее в беспечности всем своим угрюмым заношенным видом.

«Зануды», – патетически огрызнулась она.

В чем же состояла вина? Вот уже несколько лет она увлеченно и страстно занималась представлениями с бумажными птицами. С некоторых пор в ее сумке гнездились бумажные вороны, чирикали бумажные воробьи. Растрепанные хвосты и крылья шуршали, когда она бежала по городу, вечно опаздывая в своих неудобных, грызущих пятки лодочках. Которые тут же наполнялись дождем и сыростью, распространяя вокруг аромат бега женщины без возраста. Усталой и неприкаянной. Зато бумажные синицы и кособокие картонные соро-

ки круглосуточно таились в карманах ее плаща, перелетали из маленькой неуютной мастерской – в фойе камерного театра, в выставочный зал тесной галереи. Несколько лет и зим бумажные птицы непрерывно увивались шуршащей стаей, когда она бежала, вывихивая каблуки, стачивая о брусчатку набойки, сморщивая мысы недозволенными мышинными ухмылками. Сегодня оказалось: вся ее обувь за эти годы превратилась в заношенное старье, в хлам. Непригодный для субботнего выхода в гости, особенно с тайной надеждой поймать там мерцающую, манящую в тумане *возможность*.

Она плакала на полу среди коробок – драматически, театрально. В ней не было ни тени настоящего отчаяния, скорее бескрайняя обида и прозрение роковой ошибки, блуждания, ослепления. Ветер ворвался в форточку, на подоконнике за спиной зашуршали лохмотья на крыльях бумажной чайки. Или бумажного дрозда, разве издали, со спины отличишь?

Перед Новым годом она устроила представление в бывшей швейной фабрике, несколько цехов которой приспособили под выставочные залы. Белые и черные бумажные птицы, подвешенные к потолку на черных и белых нитях, беспечно кружили на сквозняках, гуляющих по коридорам громоздкого пустого здания. Перья-лохмотья шуршали в тишине безлюдных неотапливаемых помещений. Белая бумага чуть тоньше, поэтому издавала тихий жалобный шорох-шепот. Черная бумага плотнее, поэтому шелестела настойчивее и глуше. Припомнив это представление, она утерла слезы широким рукавом домашнего балахона, чуть размазав тушь по лицу. И еще пригладила растрепанные лохмы, собрала их в кулак, скрутила в пучок. Нести растерзанную обувь в ремонт сегодня было попросту не на что. На это ушел бы еще только ожидаемый аванс за представление с бумажными чайками в детском оздоровительном центре.

Раздавленная, взбешенная своими горькими прозрениями, она бросилась в гардеробную, которая давным-давно служила ей мастерской. В незнакомом отчаянном старании, будто от этого сейчас всё зависело, принялась хватать со стола и запихивать в огромный красный пакет из супермаркета горсти обрезков, ворох бумажных лохмотьев и бахромы. Маленькая комнатка-коробок, утонувшая в черных и белых бумажных перьях, потихоньку оголилась, стала пустой и прозрачной, как несколько лет назад. Пока стая птиц не ворвалась в окно заснеженной машины, заполнив тишину ее жизни ликующим июньским перезвоном, который показался истинным, показался голосом правды, зовущим за собой. Который прикинулся торжественным гимном жизни и любви, одой творчеству и творению. Стол для реставрационных работ с тех пор был завален трафаретами птиц, выкройками хвостов и крыльев. Сколько она ни старалась, птицы в ее исполнении утрачивали строгие контуры и видовые признаки. Они со временем становились расплывчатыми, полоумными *образами* птиц, грезами с бахромой на распахнутых в недоумении крыльях. Они

обретали ее почерк, поспешность, небрежность, неловкость. Косолапые галки с крыльями разной длины, как на стремительных эскизах Пикассо. Встревоженные вороны с отмороженными лапками, из нестрашных сказок. Слепые на один глаз филины. Ухмыляющиеся сороки. Она отдалась их ликующему граю, чириканью, щебету. Была одурманена ирием, вырием, раем бумажных крыльев. Возможно, это были души некогда убитых, изуродованных, застреленных птиц, сумевшие благодаря ей заново обрести кратковременную, перекосленную, шуршащую жизнь. Завороженная свободным шелестом-пением, она полностью подчинилась их воле. Стала дрессировщицей и хозяйкой черных и белых бумажных созданий, носилась по городу с огромной шуршащей сумкой.

Один раз ее пригласили в онкологическое отделение. В другой раз она показывала свою версию Шантеклера в доме престарелых. Ее не останавливали неоплаченные счета за электричество, кустящиеся долги, из-за которых всё реже случались встречи с подругами. Она перестала ходить в театры, в рестораны, в кафе. Она больше нигде не ездила летом. Потом легко и безболезненно продала свой маленький «Фиат». Под Рождество решила провести наступающий год без покупок – и действительно умудрилась не купить ни одной побрякушки, ни одного платья. Зато ее стали приглашать не только в дома престарелых и детские сады, но также и в маленькие окраинные галереи. Где она порхала в вихре бумажных крыльев в программе фестиваля искусств для сбора средств на лечение умирающей актрисы. Все ее туфли, туфельки и ботинки за это время пережили череду необратимых трансформаций, отражая видом и состоянием новый уклад ее бесшабашной, шуршащей, летящей в неведомое жизни.

В шлепанцах на босу ногу, с алым пакетом бумажных обрезков она кралась в полумраке лестницы, надеясь проскользнуть незамеченной мимо соседских дверей. Не терпелось поскорее избавиться от этих лохмотьев, отжившей птичьей бахромы. Она суеверно и упрямо полагала, что теперь, когда распознала изъян и прозрела свое легкомыслие, порядок жизни начнет восстанавливаться. Шлепала по ступенькам, всхлипывала, шуршала пакетом, по-прежнему окутанная призраками птиц, раздумьями о том, что у всего, даже у беспечной бумажной ласточки, в этом мире имеется оборотная сторона. Что всё однажды оказывается чем-то другим, роковым и тревожным. Безжалостным. Соучастником вины. Смешным. Или делает тебя жалким. Совсем уязвимым. Доказывает бескрайнюю нелюбовь мира к тебе. Даже бумажные синицы, чайки и галки. И сморщенные туфли, треснувшие поперек подошв.

Никем не замеченная, лохматая, с растекшимися по щекам черными ручейками, она шлепала через широкую парадную к двери подъезда и по пути, в потемках, пыталась уловить, отследить в хаосе обрезков и пернатого мусора, когда случилась точка упадка, когда в

жизнь закралась роковая печатка, неточность, непрочность. В крайней квартире первого этажа распахнулась дверь. Женщина в шляпке и мерцающем в сумраке нейлоновом плаще сосредоточенно гремела ключами, придерживая за запястье мальчика в твидовом пиджачке.

В шлепанцах на босу ногу, растрепанная, вдруг почувствовав себя нищенкой, она затаилась, укрытая треугольным крылом тени. Так и стояла, притаившись сбоку от лифтовой камеры, зачем-то задержав дыхание, стараясь не шевелить рукой, чтобы не шуршать пакетом. А женщина в шляпке всё гремела ключами, запирая нижний замок.

– Сколько еще осталось рисунков по биологии? – визгливый голос летел к высокому потолку парадной и там, среди трещин и лепнины, разбивался на множество прохладных отзвуков, которые дребезжали вослед, колыхались в сумраке за спинами матери и сына.

– Еще три, к понедельнику.

– Ты только этим и занимаешься. Своей биологией. А как же другие предметы? По математике у тебя что? Твой отец – математик. Сегодня вечером давай-ка проверим задачи, – они спустились по лестнице. Потом за ними с таким грохотом захлопнулась дверь подъезда, будто упала крышка рояля или гроба.

Нищенка вздрогнула, прохваченная безжалостным звуком, который грохнул и встряхнул всё внутри. Рисунки по биологии: она представила три рисунка. Строение пера. Строение крыла. Скелет голубя. Что поделать, она помешалась на этих своих птицах. Думала только о них. Верила только им. Теперь, опомнившись, снова пригладила волосы, вытерла щеки рукавом балахона, с деловитой поспешностью сорвалась и направилась к двери.

Во дворе ее встретил настырный ветер, вырвавшийся из огромной темной бутылки с надписью «ноябрь». Дождь накрапывал, потом невзначай осыпал лужи горстью осколков. Во дворе-колодце, вдруг почувствовав себя на сцене, она с напускной легкостью, а на самом деле стыдливо, метнулась к мусорным ящикам – поскорей избавиться от мешка обрезков и шмыгнуть обратно в сумрак подъезда.

2.

Возле мусорных баков копошился невысокий человек в морщинистой кожаной куртке. Невзрачный невидимка, только вот на голове – затесавшаяся сюда случайно, совсем из другого кино, синяя бейсболка. Новая, аж хрустящая на вид. За спиной у бродяги – словно выросший из коричневой куртки гриб-чага – таился заношенный рюкзак, с кривой ухмылкой ждущий добычи. А еще она подумала (потому что всегда старалась понять происходящее и сделать какой-нибудь проясняющий вывод): человека, который так увлеченно склонился над мусорным баком и что-то там высматривает, скорее всего как-нибудь зовут. Она подумала, что мусорный бак уравнивает всех, склонившихся над ним в поисках пропитания или вещей. Лишает

возраста, делает перечень прожитых лет незначительным, на пять лет старше или на десять лет моложе – возле мусорного бака стираются даты рождения, мельчают вершины жизненного пути.

Человек в кепке протянул руку в разинутую ржавую пасть... всё же передумал, ничего оттуда не взял, проскрипел курткой. Потом он бережно и бесшумно опустил крышку – таким образом обозначив, что досмотр завершен. После этого обросший щетиной человек с обветренным неподвижным лицом уверенно шагнул в сторону, откинул пластиковое крыльышко следующего, среднего, бака, внимательно и сурово над ним склонился. По двору полз запах забродившего арбуза, кефирный плесневый дух помойки. Она почтительно стояла в стороне, делая вид, что курит, а на самом деле завороженно наблюдала за ритуалом изучения бытовых и хозяйственных отходов целого дома. Человек в скрипучей кожаной куртке просматривал жизнь нескольких подъездов с азартом рыболова или ловца жемчуга. Зачарованная его охотой, она совсем забыла, что еще минуту назад была намерена шмыгнуть незамеченной, спрятать зареванное лицо и весь свой сегодняшний день от лишних глаз. Сейчас она думала о том, как трудно понять, кто он, этот человек, заглянувший в мусорный бак с надеждой что-нибудь там найти. Он становится мифическим персонажем, вроде гнома или дикого мусорного тролля. Отдаваясь этому занятию каждый день, он постепенно утрачивает даты и имена, лица и населенные пункты своей жизни. Постепенно, день за днем заглядывает в отбросы чужой жизни, становится одноликим с себе подобными. Его можно увидеть одновременно в трех-четырёх местах. Возле мусорного бака на площади вокзала. Во дворе новостроек в Вильнюсе. Около шести новеньких мусорных ящиков, что возникли на днях у платформы Северное Чертаново. Мусорный бак не просто уравнивает, внимание к нему делает похожими всех: немец и грек, русский и таджик в этой молчаливой сцене неотличимы друг от друга. Все – братья-близнецы, когда разыскивают в мусорном баке что-нибудь пригодное для жизни. И даже точнее: все люди, которые роются в мусорных баках, на самом деле *один и тот же человек*.

Тем временем Синяя Бейсболка выловил из ржавого распахнутого нутра, впопыхах забитого зелеными пакетами, перекошенный радиоприемник. Секунду-другую изучал находку в ломком дождливом свете, обнаружил отсутствие антенны, покрутил колесико, потряс над ухом. Улов оживил его и даже придал сил. Он деловито и поспешно скинул рюкзак – поскорее упрятать свою сегодняшнюю добычу. И тут Синяя Бейсболка наконец заметил молчаливую зрительницу, а потом внимательно, вторым взглядом, всмотрелся в ее лицо. Можно было подумать, что он узнал старую знакомую, так просветлела небритая, сумрачная физиономия. Уместив находку в рюкзак, бродяга беззубо, силпо, но при этом настойчиво пробормотал:

– Баронесса, не плачь! Чего ты? Мы с тобой еще не проиграли. Помни об этом. Самое главное – вот что: Париж не будет управлять

нами. И Лондон никогда не будет управлять нами, ты понимаешь? Москва давно нами не управляет. А Пекин никогда нами и не управлял. Мы сами по себе, мы никому не подчиняемся. Мы никому ничем не обязаны. Поэтому скорее утри слезы, Баронесса. Не считай, что мы проиграли. Не считай, Баронесса. Еще не всё потеряно, а до конца – далеко.

И тогда она вдруг сорвалась и подхватила песню бродяги:

– И Берлин не будет управлять нами, – громко и бесшабашно выкрикнула на весь двор, чтобы ее голос бесстрашно и свободно летел мимо окон в небо. – И Нью-Йорк не будет управлять нами! И Токио – не будет! А Сидней никогда нами и не управлял! Мы сами по себе, мы еще не проиграли.

– Видишь, как ты всё правильно поняла, Баронесса, – одобрительно, будто чуть приглушая ее, будто приглашая теперь помолчать, пробормотал бродяга, – ты утри эти слезы, ты посмотри, какая бутылка. – Он втянул ноздрей запах из темного горлышка, – пустая, а ведь еще вечером в ней было вино. Хочешь, я подарю ее тебе? Стесняешься взять в подарок выпитое вино? Ты, главное, улыбнись. И не считай, что всё потеряно. Не считай, Баронесса.

Тогда она сочла, что сцена закончена. Улыбнулась, приоткрыла крышку крайнего мусорного бака, швырнула туда пакет обрезков. Метнулась к двери. И уже взлетала по ступенькам парадной, сквозь сумрак безлюдного пространства, мимо лифтовой камеры – румяная, растрепанная, запыхавшаяся. И перебирала губами: «Баронесса, не считай, баронесса Ницета».

3.

Стоило переступить порог квартирки, как бумажные птицы, учуяв хозяйку, с шелестом и шуршанием устремились в коридор. Они слетались к ней со всех сторон: из карманов пальто, из брошенных на диване сумочек, из кухонных ящичков, из ванной. Бумажные галки, зяблики и кулики летели к ней с подоконников, из шкафов. Они перешептывались, шелестели, шуршали по всей квартире. Бумажные удоны, малиновки и дятлы. Как всегда, почувствовав легкое сердце, порхали вокруг своей госпожи. Белые, черные и серебряные птицы летали плавно и невесомо. То чуть ускоряя, то слегка притормаживая шелестящую карусель. Трепет их крыльев напоминал шепот объявлений в порывах ветра, шелест газетных страниц в парке, смущенный хруст бумаги, обернувшей букет влюбленного. Она не считала их, только замерла посреди прихожей в черно-белом вихре, зажмурилась и слушала нарастающее бумажное ликование. Тем не менее неохотно признала, что в субботу эту легкокрылую стаю надо будет унять, упрятать получше, закрыть на ключ. Да-да, это даже не обсуждается, придется их запереть, всех до одной. Например, в большую клетчатую сумку на колесиках, с которой она когда-то ездила на море, а в последнее время ходит на рынок за свеклой и картошкой, потому что

овощи в два раза дешевле после шести. А еще лучше – уговорить этих птиц посидеть спокойно в шкафу. Упросить их всего один вечер побыть в темноте, переждать взаперти, а самой потихоньку сбежать на ужин, навстречу мерцающим там надеждам.

В прихожей ее ждали преданные лодочки с песьими сбитыми мысами. Она заботливо зачистила трещины, замазала проплешины ваксой, до блеска натерла старье байковой тряпочкой. Через полчаса недоверчиво прищурилась перед зеркалом. Наклонила голову. И с удивлением нашла себя вполне приличной. В целом невыдающейся, зато и не выдающей особых ожиданий. Если, конечно, бумажные галки и сороки не пустятся за ней следом, не удумают летать над головой и садиться на плечи, когда она будет в гостях. Вдруг вспомнила и усмехнулась: хм, Баронесса! Тогда выше голову, Баронесса! Так она и отправилась в субботу: в балахоне оливкового цвета, в изящно состаренных лодочках, с лентой в волосах, которая только и выдавала надежду.

4.

И все-таки случилось именно то, чего она опасалась: вместе с ней в гости пробрались две шумные трясогузки. Спрятались в сумке-кошельке, выпорхнули в самый неожиданный момент и зашуршали вокруг нее посреди веранды. Она стояла перед огромным окном в парк, негодую, сгорая от стыда. Хорошо еще, что хозяйка дома Соня, бывшая сокурсница, ныне – хозяйка собственной галереи, в это время сосредоточенно и аккуратно прятала в духовку пряные овощи, мясо и кексы. А хозяин дома, толстый и медлительный Паша, художник-абстракционист и коллекционер утюгов, монотонно, вежливо, на всю квартиру упрашивал слюняво рычащего бульдога успокоиться и пойти, наконец, полежать в ванной. Еще один гость задерживался. Это был сюрприз, хозяева наотрез отказались намекнуть, кто еще приглашен на ужин. Они предвкушали особенное, неожиданный поворот в появлении на сцене этого персонажа, и теперь нетерпеливо ждали начала. Главный гость-гвоздь уже два раза звонил из пробки, он всё еще был в пути.

Никто не обратил внимания на ее обувь, зря она так переживала. Весь ее облик остался за кадром. Баронесса догадалась: потому, что она не главная, поводом для ужина явилось другое. По-настоящему важное, особенное. Несмотря на ее появление, все в этом доме внимательно смотрели внутрь себя, как будто предчувствуя долгожданную премьеру. Даже пятилетняя Илона, белокурая фея в капроновом платье со множеством оборок, сосредоточенно и вдохновенно созерцала себя как бы со стороны, изредка придирчиво поправляя сияющие ручейки волос. Баронесса поспешила выйти на веранду, потому что ей было не по себе в просторных полупустых комнатах. Всё в этом доме казалось неспешным, старательным, образцово-элегантным. Но при этом тягостным. Здесь было трудно дышать. Антикварный буфет

на кухне, похожий на орган собора. И комод в гостиной – громоздкий, тяжеловесный. Статуетки из бронзы и картины на стенах – работы Сониного отца – напирали и давили на сердце. И уж, конечно, две бумажные трясогузки остались незамеченными в этом доме. Изловив своих беспечных птиц, она упрятала их под замок в испещренный трещинами кошелечек. С облегчением опустила в плетеное кресло в дальнем углу веранды. Прилежно сложила руки на коленях. И приготовилась много слушать. Потому что умный и ждущий возможностей – всегда молчит, слушает и ловит.

Всё пошло наперекосяк, как только квартиру пронзил безжалостный дверной клаксон. Чуть прищурившись, она всматривалась вдаль сквозь листву и снующих туда-сюда ласточек. Их волнение уж точно предвещало грозу к вечеру – так она подумала мельком, одним левым виском. Потому что вся превратилась в настороженное внимательное ухо. И еще – в недовольный собой, сокрушенный, отравленный вздох: за эти годы отвыкла быть собранной, выстроенной, тщательно уложенной, сосредоточенно молчащей, слишком распустилась и растрепалась с этими бумажными представлениями. Теперь она прилежно старается распознать каждый шорох и шелест из-за спины, из прихожей. Скрип дверной задвижки. Хохот на пороге. Милая и вдруг такая звонкая Соня, толстый добродушный Паша и сверкающая стеклярусом Илона наперебой что-то выкрикивают, приговаривают, напевают. Объятия-объятия под залиvistый, жалобный, совсем уж скулящий лай заключенного в ванную бульдога. Из коридора доносится шелест-букет, возня-пальто вокруг вешалки, смешки-опоздания, заговорщические шепотки, взрыв смеха. Илона визжит на всю квартиру, как будто уколола палец и даже громче – судя по шелесту и шепоту, девочке вручили подарок. Шлепая по паркету, Илона уносится в боковую комнату, запирается там у себя, затихает на целый вечер. Как будто ныряет и исчезает в ворохе оборок, разноцветных лент и сверкающей оберточной бумаги.

Теперь Баронесса ненасытно хватается спиной, затылком, шеей, даже кожей лопаток отдельные фразы, смешки, интонации. Долгожданный гость вполголоса рассказывает. Слов не разобрать, удается уловить лишь ускользающий ореол звуков. Слишком знакомый. Боже, откуда такой сине-серый, сиплый, бархатный голос? «Нет, ты чего?» – бормочет она. По коже прокатывается поэмка ночного шоссе. Однажды она ехала куда глаза глядят, мчалась одна среди темных лесов, а на дороге перед ней танцевали тончащие шлейфы снега. «Уф, нет, не может быть. Проехали!» – ворчит она себе под нос и примирительно, прилежно поправляет ленту в волосах.

Из кухни победоносно, раскатисто пахнет кексами, струится пряный аромат овощного рагу и сочного мяса. А ведь она ничего не ела с самого утра, ни крошки – так волновалась, предчувствовала что-то. Она хотела, чтобы лицо чуть подтянулось и проступили

скулы – это всегда красиво и строго. Теперь тушеный перец, чабрец, жареное мясо, розмарин, карамель и имбирь умышленно летят сюда из кухни, чтобы всё качнулось и закружило перед глазами. Туда-сюда за спиной мечутся шаги. Бусинами раскатывается смех. Она смотрит вдаль сквозь ласточек, шнурующих небо. Перебирает бахрому пояса, чтобы чуть-чуть успокоиться. Вдруг что-то подсказывает ей: нужно встать. Она тут же решительно отрывается от плетеного кресла. Делает резкое, поспешное движение, сталкивается с синим пиджаком. Даже чувствует щекой мягкий кашемир, теплую ткань, запах табака и духи с кем-то убегающим по полю полыни. Он тут же осторожно, заботливо ловит ее за плечи, помогает удержать равновесие. Он нежно и бережно продолжает поддерживать двумя руками, когда она поднимает голову, чтобы улыбнуться. И выстрелом узнает его, тут же вся темнеет лицом, опадает спиной, каменеет фигурой. Чуть заметно подрагивает головой, хочет стряхнуть с себя и прогнать неожиданное и неуместное видение. Но видение не отступает, не отпускает. Он всё так же крепко держит ее за плечи. Помогает устоять на ногах. И весь вечер, весь ужин бесконечно длится в маленьком тесном аду, в невыносимых тисках, с ощущением его рук на плечах. Но сейчас, в начале, посреди веранды, он примирительно улыбается. Он смотрит на нее грустно и ласково. Ничего не говорит, только вглядывается ей прямо в глаза. А потом прикладывает палец к губам, заключая молчаливое соглашение. Очень тяжело и темно, но она продолжает дышать через силу. И вдруг неожиданно догадывается, о чем сегодня следует молчать, а о чем можно говорить.

5.

«Дорогу!» – звонко требует Соня. Она вливается на веранду в синем переднике, с большущим подносом в руках. Удерживая в равновесии звякающие бокалы, тоненькие фарфоровые тарелки, огромное блюдо с клубникой и сырами, она невольно разбивает объятие. Баронесса и Михаил расступаются в разные стороны, пропуская Соню к низкому стеклянному столику. Одно бесконечное мгновение Баронесса и Михаил смотрят друг на друга. Одно мгновение они вдвоем – на раскаленном острие булавки. Баронесса спешит скорее обвести тоненькой беличьей кисточкой его лицо. Лоб, рыжеватые брови, нос с едва заметной горбинкой, чуть выступающие скулы, узкие губы. У него теперь кустистая борода и небрежные усики. Она хочет всё это хорошенько заучить, еще раз снять слепок, выгравировать печатью в памяти. А он молчит и улыбается – теперь кажется, что отстраненно, бесцветно, возможно, даже вопросительно. И всматривается ей в глаза, не давая уклониться, не позволяя отвести взгляд и тем более без оглядки сбежать отсюда. Она вдруг улавливает в происходящем тень угрозы, какое-то предупреждение, тревожное предзнаменование. И тогда ей больше ничего не остается, как стать безоружной, задрожать всем телом и зажмуриться, чтобы слеза мед-

ленно текла по щеке, потом по шее. Она давно вот так не сдавалась, совсем забыла, что это такое – почувствовать себя настолько уязвимой, почти раненной.

Больше всего на свете ей хочется убежать. Она бы не задержалась в коридоре, не искала пиджак на вешалке, не надела туфли, а кинулась прямо так, босиком, по лестнице вниз. Она бы неслась без оглядки, на цыпочках, дрожа и всхлипывая, чувствуя себя голой. Но что-то ее не отпускает, не позволяет сбежать – скорее всего, любопытство. Хочется узнать, что же будет дальше, к чему приведет этот ужин. Она решает быть послушной, снова оказывается в плетеном кресле, прижатая к стене, надежно запертая в углу веранды столиком с сырами и клубникой. Весь вечер она чувствует оттиск его пальцев на плечах. Обжигающее клеймо его ладоней. Этот долгожданный, так много обещавший ужин, проходит в тисках, в неудобном аду недо-молвок, в театре изучающих взглядов Паши и скользких ухмылок Сони. Им-то кажется, что сейчас происходит примирение давних любовников. Соня, вероятно, развела, она точно знает, что Баронесса и Михаил познакомились в наркологической клинике. Куда Баронесса пришла анонимно лечиться по совету сестры Лиды. Где Михаил в то время работал научным сотрудником. Потом они около двух лет жили вместе. И очень скоро после разрыва Баронесса придумала повод переехать, поменяла квартиру на маленькую тесную студию с гардеробной, которую сразу же переделала в мастерскую. Паша и Соня, скорее всего, осведомлены, что после расставания Миша оскорбительно быстро увлекся общей подругой Аллой. И когда Баронесса об этом узнала, то сорвалась и поехала на машине в ночь, куда глаза глядят, мимо хмурых зимних лесов. Ехала почти сутки, не останавливаясь, пока машина не заглохла, потому что опустел бензобак. Скоро маленький «Фиат» и уснувшую внутри Баронессу занесло снегом, настоящим белым курганом. Это был предел их осведомленности. Наркологическая клиника, два бесшабашных года вдвоем, болезненное расставание, белые хлопья снега, летящие в рану из морозных февральских небес. Сейчас хозяева дома с интересом наблюдали спектакль нечаянной встречи. Их самодовольная слепота заслуживала усмешки, даже презрения. Вот почему Баронесса так много выпила в этот вечер, как никогда потеряла счет бокалам вина. Мясо царапало ей горло, она не смогла проглотить даже изнеженный кусочек пряного баклажана. Так и не заставила себя поест, загнанная в угол, скрывала дрожь, избегала встречаться с ним глазами. Была жеманной пьяной женщиной, которая несется сквозь этот вечер в тревожную неизвестность.

К чаю на веранде образовалась настороженная тишина без конца и края. Пауза. Пустота. Провисание. И тогда она почувствовала и признала себя бесконечно несчастной. Обреченной. Неудавшейся. Совсем отчаялась. С трудом сдерживала слезы, чтобы не пошли лишние разговоры среди общих знакомых. Хотя, ясное дело, они всё

равно будут куститься. Каждое слово, каждая улыбка этого вечера стоили ей неимоверных усилий, как если бы паук-птицеед оплел ее с ног до головы пушистой серой паутиной, шерстяным коконом, в котором она умудрялась через силу дышать, улыбаться Соне, рассказывать о своих представлениях.

Все произошло неожиданно, стремительно, необратимо. У Мики на коленях появился квадратный сверток. Непонятно, откуда он взялся. Довольно-таки большой сверток, старательно упакованный в крафтовую бумагу, перевязанный крест накрест бечевкой. Соня и Павел посчитали нужным разыграть просьбу на двоих. Мика молчал и наблюдал за ее лицом, пристально и грустно вглядывался в ее убегающие, влажные глаза. *Ну ты же реставратор. Это же всё равно от тебя никуда не делось. Мика хочет попросить именно тебя, только тебя...* – вежливо и примирительно объясняла Соня. Вмешался Павел, он посчитал нужным перебить и затрещал: *мы все хотим попросить, чтобы ты взглянула на картину... Миша купил ее на днях, у одного из наших агентов. Ну то есть мы хотим попросить тебя не просто взглянуть, а поработать с картиной... Мы когда обсуждали, кому бы поручить это дело, вдруг в один голос произнесли твое имя. Чтобы ты сделала всё, что сможешь. Почистила, обновила, покрыла лаком... Всё, что нужно для этой картины...* – так потом вспоминала Баронесса. Их слова не раз всплывали и звенели у нее в ушах, частично забытые, отчасти восстановленные в произвольном порядке. На самом-то деле всё было сказано настойчиво, прозвучало как приказ. Ей предложили заказ, дали неделю на работу, посоветовали не волноваться насчет гонорара. Она даже толком не смогла ничего возразить – не успела выдохнуть, как уже оказалась в такси, картина лежала у нее на коленях, на город обрушился ливень, машина покачивалась на волнах, медленно продвигаясь в хлещущих со всех сторон потоках. Улица была сизой, сумеречной. Она прикрыла ладонью брови, чтобы водитель не понял выражения ее лица в зеркале заднего вида. Всю дорогу дрожала. Потом бежала сквозь дворы до подъезда, успев вымокнуть до нитки и, наконец, дав волю слезам, которые перемешались с дождем. Внутри у нее было больно, горело – самый настоящий ожог. Она всё еще чувствовала на плечах его ладони и пальцы. Хмурое небо, стесненность этого вечера и этого ужина в аду казались ей незаслуженной, унижительной пыткой.

6.

Потом она, кажется, сидела на ступеньках между вторым и третьим этажами. Ливень, рухнувший на город, пробил в ней прорехи и теперь изливался по щекам. Она покачивалась из стороны в сторону и всё никак не могла успокоиться. Отчасти виноват был алкоголь: опять потеряла край и сорвалась. Потом она проснулась на софе, продрогшая, прогорклая, вся измятая. Из окна кухни на нее гля-

дела чернильная ночь. В квартире было темно и слишком тихо. Она наконец почувствовала себя в безопасности. Дома дышалось, воздух был сизым, прохладным, с мокрой сиренью. И тогда она вдруг вспомнила, кинулась в коридор. Входная дверь была заперта изнутри на ключ. А картина, где же картина, неужели сверток остался на лестнице? В одно мгновение она превратилась в обезумевшую птицу, билась и металась в западне своей тесной прихожей, похожей на старую табакерку.

Но нет, ох, картина стояла у стены, прямо на полу, за вешалкой. Вымокший квадрат крафтовой бумаги, аккуратно перевязанный бечевкой. Почему-то Баронесса не решилась, постеснялась подойти к картине вот так: растрепанной, заплаканной, в мятом балахоне. Ее мучила чернота внутри от лишнего вина, горечь и дрожь от ужина в аду. Если бы не картина, она, наверное, слегла бы, свернулась в клубок, проболела тоской неделю или даже две, как избитая, но недобитая кошка. Но картина возвращала к жизни, с картиной было связано любопытство и не совсем осознанный ужас. Поэтому за какие-нибудь пять минут она умылась, приняла душ, завернулась в домашнее платье. Поскорее высушила волосы, закрутила их узлом на затылке. Потом сосредоточенно пила сладкий чай, очень горячий, с каждым глоточком внутренне конденсируясь, собираясь из похмельной размытости, одушевляясь в себя – какой она была года три назад. Конечно, лучше было бы сейчас отдохнуть, хорошенько выспаться, а утром на свежую голову приступить к осмотру и знакомству с картиной. Но она не могла удержаться. Нетерпение дрожало у нее внутри, не давало больше ни о чем думать. К этому времени ливень утих, редкие капли звенели по карнизу, бряцали по водосточной трубе. Ледяные, увесистые, звонкие. Они врываются в тишину, тревожа ее раздумья. Не допив чай, рванулась в коридор, схватила сверток картины, понеслась в гардеробную-мастерскую. Включила свет и на секунду застыла в недоумении: в мастерской было пусто. Было чисто и прозрачно. Небольшой рабочий стол замер в ожидании. Она совсем забыла, что накануне в каком-то остервенелом отчаянии вдруг навела здесь порядок, выбросила все обрезки, бахрому и бумажные перья. И теперь произнесла вполголоса, примирительно обращаясь к нему: «Хорошо, давай посмотрим, ради чего ты явился и что ты мне принес».

Большими портняжными ножницами Баронесса разрежала бечевку, кинула ее под ноги, не смагывая – подождет, потом. Она сдернула и смяла один за другим три слоя оберточной бумаги. Увидела картину. Отпрянула. Вот уж чего не ожидала. Это был черный квадрат. Черный. Приблизительно метр на метр. Без подрамника, без полей. Она включила настенную лампу на гибком штативе, чтобы получше рассмотреть. При направленном ярком свете это был не совсем черный – скорее, кобальтовый, побуревший от времени квадрат ночи.

Она застыла и смотрела в темноту этого окна. Слишком хорошо помнила квадрат лобового стекла, когда неслась на машине сквозь зимнюю ночь. Темный, с буроватым отсветом фонарей, квадрат дороги. В любом другом случае она бы заподозрила розыгрыш, что ее испытывают или что над ней издеваются. Но сейчас, после невыносимого ужина, Баронесса вглядывалась в сине-черное пространство картины. Это было то самое окно в ночь. Его медленно осыпал снег, когда машина заглохла. И она всё еще сидела там внутри, на обочине, коченея под покровом снега. От холода забывались слова, притуплялась боль, оставалось только морозное онемение пальцев.

Ее спасла Алла. Огненная Алла, общая знакомая, с которой у Михаила всегда было запутанно. Но, кажется, ему именно это и было нужно. Ему нравилось, что Алла замужем, что она часто уезжала, жила, в основном, в Варшаве, что она всегда неожиданно возвращалась. Так было до новогоднего вечера в лаборатории, после которого по дороге домой он принял таблетку – после шампанского и ликера раскалывалась голова. А перед сном он проглотил еще одну или две таблетки снотворного. И потом уснул. Закрыв глаза, уснул и на этом всё закончилось. Остановка сердца. Баронесса была на похоронах вместе с сестрой Лидой. Зачем-то взяла с собой сестру. Не смогла представить, как придет на кладбище, а там столько общих знакомых. Его коллеги из лаборатории, ее бывший нарколог, его древняя начальница, профессор Чубар. Баронесса в то утро заехала за сестрой, расплакалась на пороге, закатила сцену с упреками, упросила поехать вдвоем. На кладбище она так и не подошла к Алле. Тот день превратился в похоронную суету, в ненавистный ей коллективный плач, в такую чуждую для Мики показную житейскую скорбь. Слезы в тот день смешались с кладбищенским песком, сапоги наглотались талой воды, следы родных и коллег, каблучки общих друзей расплзались по глинистой жиже заплаканной земли. На соседней могиле чернела облезлая елочка, на ней висел дрожащий новогодний шарик. Голубого цвета.

Вот почему после похорон, на следующий день она еще раз заехала на кладбище. Не могла поверить. Ее тянуло. Надо было еще раз пережить эту боль. Хотелось убедиться, хотелось до конца понять. Свежая могила показала вызывающе голой. Оскорбительный, необратимый холм песка и бледной земли, заваленный венками и ворохом цветов в хрустальной корочке снега, ничего ей не объяснил. На черной табличке она шепотом прочитала: «Михаил Везер, 1978–2018». Повторила еще раз. Ничего не поняла. Вдруг так сильно замерзла, до дрожи, до стука зубов. Его не было рядом, его предательски и жестоко снова не было в ее жизни. Он ранил ее, снова ранил и унизил этим своим отсутствием. Теперь уже окончательным молчанием. И безразличием. Это было невыносимо. Всё было поздно и ничего невозможно было выкрикнуть, выплакать ему. На этот раз

она убегала от него по тропинке среди черных кованых оград, похожих на заваленные снегом балконы. В тот день никто ее не держал, она бежала наутек от увядающих лилий, ломких гвоздик и поникших роз. Потом ехала всю ночь, глядя в темноту, не в силах сбежать от себя, по дороге, над которой увивался снег.

Сейчас она точно так же глядя в темноту в ночь этой темной картины. Снова чувствовала тиски его рук на своих плечах. Михаил поймал ее посреди веранды. И ее кожа стала, как у ошипанной чайки. Она и сейчас дрожала, не в силах вынести и понять. Перед ней лежал основной супрематистский элемент – черный квадрат. Конец и начало. Ничто. Пустота. Темнота. Отсутствие. Неизвестность. Черный потухший экран. Здесь, на ее рабочем столе, среди ночи на нее смотрела неопределенность. Беспредметность. Сама темнота. А во дворе изредка звенели одинокие капли вечернего ливня, каждый раз заставляя ее вздрогнуть.

Спохватившись, она, наконец, схватила самую большую лупу: инстинкт реставратора оказался сильнее всего остального. Трещин на картине не было. И под лупой тоже – ни одной. Холст оказался крепким, он был натянут на подрамник с крестовиной. Она тут же почувствовала нетерпение, не забытое, не утраченное, бешеное нетерпение, переходящее в невозможность думать ни о чем другом, жить ничем другим. Скорее выкатила из дальнего, завешенного старыми пальто угла мастерской жестяной ящик на колесах. Многоэтажный, тяжелый, он тут же с грохотом перегородил крошечную комнатку поперек. Все ее инструменты оказались на месте, разложенные на верхней полке, в идеальном порядке. Она вслепую, рукой нащупала клещи, медленно и сосредоточенно, одну за другой вытащила из картины все скобы, будто очищая раненого от пуль. Наконец высвободила холст от подрамника. Снятая с креста картина напоминала кусок сорванной кожи, распластанный, бездыханный. Теперь черный квадрат стал податливым, его можно было укрощать. Она поставила подрамник к стене. Теперь полотно нужно было хорошенько почистить. И лучше бы обработать картину двумя растворами, она так делала всегда: сначала очищала раствором щелочи, потом – раствором на масляной основе. Аккуратно и бережно, слой за слоем снимала потемневший от времени лак, а потом уже смотрела, что там под ним. И значит, нужно срочно купить реагенты. Поэтому сейчас она поморщилась, будто от приступа боли: как же не хочется снова одалживать. Сегодня, в ближайшие дни у нее не было сил звонить, оправдываться и объясняться, а потом снова ехать к сестре за деньгами – на трамвае, через весь город.

«Что мне делать? Что, скажи», – обратилась она к Михаилу, в ночную тишину пустой квартиры. И услышала тишину. Впервые в жизни она услышала молчание. И осеклась. И поскорее повернулась к ящику с инструментами, осмотрела полки, чтобы отвлечься, чтобы забыть это

бескрайнее молчание-ответ. И вдруг она обнаружила на нижней полке, в самой глубине, в углу три бутылки. Увесистые. Полные. Еще даже не вскрытые. Щелочной раствор. Масляный раствор. Лак для покрытия.

«Надо же. Ну, надо же! А, Баронесса?!»

Одну за другой внимательно изучила свои находки. Срок годности еще не вышел. Правда, у щелочи был впритык, но это ничего. Совсем забыла о них. Когда, где она их купила, теперь уже выветрилось, начисто стерлось из памяти. Может быть, она давным-давно запаслась. Взяла на будущее, когда были деньги. А потом увлеклась этими бумажными птицами. И скоро всё развеялось, всё растерялось из прежней жизни. Теперь она снова почувствовала трепет в плечах, ускользящее ощущение его рук, его пальцев. И эти три бутылки вдруг оказались неожиданным подарком, почти чудом.

«Спасибо, Мика! Если это твой подарок, то спасибо тебе! – с дрожью в голосе прошептала она. – Можно, я буду говорить с тобой? Буду тебе рассказывать, раз уж так получилось?»

7.

Она придирчиво осмотрела свои руки – с руслами вен, длинными пальцами и короткими квадратными ногтями. «Некогда, не на что, незачем делать маникюр», – как всегда, про себя выпалила обоймой оправданий. Поскорее выдвинула боковой ящик стола, наощупь выловила из глубины жестяную погремушку, прямоугольную коробочку из-под леденцов. И начала медленно, один за другим нанизывать перстни на тонкие пальцы. Как будто этими движениями вспоминала, обретала заново из небытия: указательный, средний, безымянный.

Руки истончились, стали строже и суше за это время. Теперь перстни плавают и повисают перезрелыми ягодами. Зато с каждым водворенным на место украшением ее спина распрямляется. Из растрепанной мятой женщины она постепенно преобразуется в даму в синем платье, ниспадающем к полу симфонией темных складок. Со стороны она себя, конечно, не видит, не может оценить превращения. Только чувствует вернувшиеся, уверенные, сильные руки. И пальцы, которые утратили невесомость, обрели свой маленький груз, противовес и за счет этого – точку опоры. Теперь она сможет сделать всё, что угодно. Уж точно справится. Она и сама находит невидимую ось, на которую нанизано всё ее существо. «Не считай, Баронесса. Не считай! Мы еще не проиграли, а до конца – далеко», – вдруг проносится в голове.

И вот у нее уже собранный и решительный вид. Все восемь перстней – на своих местах. Потемневшее за три года серебро или легковесное посеребренное олово, какая разница. Полудрагоценные камни: топаз, гранат, опал. Названия остальных Баронесса не помнит, может быть, и не знала их никогда. Камни-капли разноцветного меда, мерцающие изнутри. Камни-шепот ущелий. Камни-молчание под-

земных пещер. Она вглядывается в их затаенное сияние. И вдруг свет гаснет.

И вот Баронесса оказалась во мраке, неподвижная и настороженная, перед столом с черным квадратом, в кандалах своих массивных украшений. Избегая понимать, что такое с ней происходит. Отгоняя любые догадки, к чему это всё. Первым делом она вскочила и проверила выключатель. Подбежала к окну, выглянула на улицу. Черный ветер тут же умыл лицо холодной мокрой ладонью. Двор пронизывали запахи оплаканной ливнем земли и листвы. Издали доносился шум и шелест проспекта. Ни огонька, ни фонаря, ни луча – кажется, свет погас во всем квартале. Может быть, даже во всем городе. Темнота, непроглядная чернильная ночь повсюду вокруг. Баронесса осторожно прошла на кухню, наощупь отыскала в шкафчике над раковиной свечу в мельхиоровом подсвечнике. Она не собиралась отступать из-за какой-то там аварии, из-за того, что свет отключили, – была намерена начать сегодня, сейчас же.

Пламя вернуло крошечной мастерской трепещущий средневековый полумрак. Осветились углы, сколы и узоры трещин штукатурки на стенах. Проступили косые полосы теней. Она вцепилась, сморщилась, что есть силы крутанула крышечку, с пронзительным щелчком вскрыла щелочной раствор. Потом наклонила увесистую стропильную бутылку. Приложила к горлышку ватный кружок, отжала излишек жидкости, уловив знакомый, щекочущий, едкий запах. Свеча щелкала и чирикала на углу стола. Из-за этого казалось, что она не одна, что в комнатке есть кто-то еще: взволнованный, беспокойный. Пламя тянулось к потолку, ненасытно ловило сквозняки. Тревожилось. Мерцало. И тогда она осторожно коснулась ватным кружком угла картины, промокнула, стала бережно вытирать верхний слой лака. Привычными умелыми движениями, которые вдруг вспомнились, будто таились в руках всё это время. Очень медленно, чуть поглаживая, вытирала холст сантиметр за сантиметром. Покрывавший полотно лак скоро поддался, начал плавиться. Но вот что странно: покрытие было не совсем обычным. Этот лак сходил сажей, печным нагаром, траурной лентой, превращая ватные кружки, один за другим, в клочки черного бархата.

Освобождаясь от черноты, картина светлела, утрачивала тяжесть, начинала ненасытно дышать. Или так казалось при пляшущем беспокойном свете? Теплые закатные лучи, гречишный мед, топленое молоко освобождались из-под черного покрывала. Под лаком проступало бежево-коричневое полотно, лучистая сепия. В верхнем правом углу Баронесса вдруг различила листья. Она и сама встревожилась, зажглась, превратилась в свечу недоумения. И нетерпения. Это, и правда, были круглые бурые листочки. Тихий шелест-перешептывание на ветру. Под черным покровом, под серой мглой проступила ветвь. Слой за слоем, медленно, осторожно Баронесса сни-

мала лак тонкими пальцами с нанизанными на них перстнями. И вдруг ей навстречу из темноты высвободилась еще одна ветвь с дубовыми листьями, посреди которой из ночи возникла птица. Розовая горлица, смешливая голубка. Она вся переливалась перламутром. Рядом на дубовой ветви оказалась еще одна непоседливая птичка, ее оперение высвободилось из-под черного пепла ярко-синим лучом. Лазоревка. И тогда Баронесса поняла, что не сможет остановиться: будет работать всю ночь, до утра, до полудня, до позднего вечера – пока весь лак не сойдет. Пока поверхность картины не очистится от гари, не избавится от траурного покрывала. И она освобождала слой за слоем. Медленно, осторожно снимала черноту. Скоро кожа рук начала трескаться, пальцы привычно пощипывало – она знала эту боль, ничего не поделаешь, всегда избегала работать в перчатках. Не получалось, ей нужно было чувствовать холст, прикасаться, осязать полотно кончиками пальцев. В комнату незаметно изливалось голубоватое молоко рассвета. С грузным рывком вдруг тронулся лифт и неторопливо поплыл наверх. «Значит, свет наконец включили», – подумала она, ни на миг не прерывая работу. Потом задула огарок свечи. Звякнул домофон соседнего подъезда. Кто-то гулко откашлялся во дворе. А потом с грохотом хлопнула дверь подъезда.

Оживленная звуками снаружи, почувствовав новое утро и медленное пробуждение дома, она прошептала: «Миша, ты видишь, лазоревка. На картине, на твоей картине – птицы. Помнишь, мы с тобой ездили на экскурсию? На автобусе. Там был какой-то парк, а в глубине – костел из красного кирпича. И вдруг мы увидели лазоревку. Ты и я – одновременно. Она порхала вокруг кормушки. Такая маленькая. Ярко-синяя на фоне пасмурной шерсти нашего последнего ноября. Ты остановился. Схватил меня за руку, чтобы я тоже не двигалась. Мы стояли вместе с тобой там, в парке. Почти не дышали. И смотрели, как на чудо. Помнишь? Минуту? Пока лазоревка не улетела».

8.

Когда она вышла из мастерской, комнату заливало солнце. Ее ждал куб ослепительного света с запахом липовой пыльцы. Ноги затекли, она их почти не чувствовала, переставляла еле-еле. И спина болела, как если бы туда вернули несколько ржавых шурупов. Она вытирала ладони прямо о подол балахона. Кожа рук казалась выжженной в пустыне. Пощипывали трещинки и заусенцы на пальцах – обычная, щелочная, аскетическая боль после работы. Всю ночь, всё утро, почти целый день она не сомкнула глаз, не прервалась ни на минуту, ни разу не вышла глотнуть воды. За спиной на полу мастерской разметан ворох черных лепестков, облетевших клочков ночи. Траурные лохмотья – слой за слоем тщательно, бережно снятый лак.

Теперь она медленно прошла в ванную, как всегда, как раньше, – отмывать изъеденные растворами руки. Подставила ладони под струи теплой воды. Закрыла глаза, чуть задержала дыхание. «Как же

хорошо», – хотелось прошептать и выдохнуть. Хотелось почувствовать облегчение и радость завершения работы. Но сегодня ей было тяжело. Она вся была смятением. К тому же – голодной. Ткань домашнего балахона стрекалась статическим электричеством. Освобожденные от перстной пальцы снова стали неуверенными и усталыми.

Посреди мастерской, на деревянном мольберте еще времен ее художественной школы стояла натянутая на подрамник картина. Теперь она поблескивала и мерцала новым, прозрачным лаком. Работа была закончена. Негромкие бежевые тона. Теплое сияние, доверие и спокойствие. Невысокая коренастая фигура в коричневом, с капюшоном. Просторное одеяние до земли, подвязанное на поясе веревкой. Напротив него – раскидистый дуб с буро-зеленой листвой, неуловимо шепчущий на ветру. Синицы, зяблики, дрозды и голуби притаились у корней дерева. Святой Франциск протягивает к ним руки и говорит: «Мои сестрички птицы». Перед картиной она чувствовала лето. Ей было так легко, безбрежно, почти как раньше. Казалось, она может оттолкнуться от земли и снова лететь над городом. Она уже утратила и совсем забыла себя такую.

Сейчас Баронесса старательно отмывает пальцы, чистит жесткой щеточкой под ногтями, сожалея, что зеркало не заволокло паром. У нее растрепанные волосы, выбившиеся из пучка пряди рассыпаны по плечам. Слишком бледное лицо со впалыми щеками. Так похожее на скорбную обезличенную маску женщины в годах. Морщинки проступили тут и там, предательски обозначились именно сегодня – в уголках рта, в уголках носа, на лбу. А под глазами – лесные овраги, темные клочки ночи. Сейчас, в эту минуту, она не любит себя. Она выжжена и опустошена. Она всю себя отдала этой картине.

«Миша, вот ты задал загадку! Но я всё сделала. Справилась. Всё, что ты просил. Дальше разбирайся сам. Давай так: я – реставратор. Остальное меня не касается. И гонорар... я всё еще надеюсь на твой гонорар. Это не мелочь, просто хочу забыть, не задумываться о деньгах некоторое время», – бормотала она взволнованно и настойчиво, убеждая, скорее, саму себя.

Через два дня Баронесса снова вошла в мастерскую. Нужно было еще раз взглянуть. И тогда уж звонить Соне. Сообщить, что реставрация закончена. Она еще не решила, как расскажет о преобразении картины. Не знала, как уместнее это сделать. Сразу же по телефону сообщить, что случилось неожиданное, необъяснимое? Да что там – это можно считать чудом! Это и есть чудо. Или всё же разумнее будет умолчать и уже после, при встрече, показать, чтобы они сами убедились, увидели своими глазами?

Небольшой деревянный мольберт занимал почти всю комнатку. Она сразу, с первого взгляда уловила и застыла на месте: этого не

может быть! Это невозможно! Она осторожно коснулась пальцем нижнего края картины. Но как же так? Лак не застыл! Даже не схватился. Два дня прошло, этого вполне достаточно, но лак остался, каким и был сразу после нанесения. Липкий, мерцающий. Она качала головой и целую вечность беспомощно стояла перед картиной. Как будто от ее растерянного здесь присутствия могло что-нибудь измениться. Маленькие кружевные листочки – в них притаился ветер – он тоже притих, сдержал свои порывы до шепота. А на земле, у корней дерева собрались птицы, они внимали словам святого, вытянув шеи. Потом она опомнилась, сжала кулаки, кинулась расхаживать туда-сюда по комнате. Нищенка Нищета, ничего у тебя не получается. Ты всегда позади, ты замыкаешь любое шествие растрепанной скорбной фигурой. К чему ты ни прикоснешься, всё исходит трещинами, осыпается, распадается, превращается в лохмотья. В хлам. В лом. Так она причитала в нарастающем смятении, не в силах смириться. Раньше строго-настрого запрещала себе, наотрез отказывалась реставрировать иконы. Ей казалось, что с иконами должны работать особые люди. Она себя к подобным мастерам не причисляла, не считала вправе прикасаться к ликам и житиям. Вот этими тонкими длинными пальцами в массивных перстнях, привыкшими к ар-деко, к барокко. Теперь Баронесса металась по комнате, стараясь понять: где она ошиблась, что не так сделала. Последний раз покрывала картину лаком, кажется, в сентябре или в октябре, три года назад. До всей этой истории. До его похорон – впервые вот так, прямолинейно, безжалостно, уточнила она. Там был сельский осенний пейзаж, таинственное затишье, предвещающее перемены. И молчание природы перед поворотом судьбы. Три года прошло с тех пор, можно было что-нибудь важное упустить, перепутать, утратив навык после такого перерыва.

Она вернулась в мастерскую, обрушилась на стул и принялась припоминать, панически перебирать в памяти все свои действия с этой картиной. Сначала снимала лак и чистила поверхность двумя растворами. Она очень старалась. Всё было сделано безупречно. Освободившаяся картина потрясла ее. Некоторое время не могла пошевелиться, не могла насмотреться на проповедь птицам, окутанную теплым сиянием и летним ветром в дубовой листве. Из этой картины к ней возвращался дух. И давно забытое спокойствие. Безмятежность особого рода – ни на чем не основанная, непоколебимая, бескрайняя. А потом она сочла, что прошло достаточно времени, надо продолжать. И довольно быстро, умело и воодушевленно натянула холст на подрамник. После этого в ход пошла третья бутылка, которая казалась самой увесистой, в ней таилась жидкость с голубоватым отливом. Прозрачный лак ложился ровной сверкающей пленкой, придавая сцене сияние. И пронзительную ноту ясности. Под новым лаком происходящее становилось живым, не оставалось

сомнений, внутри нарастало ликование правды и радости. К этому моменту у нее уже возникла связь и близость с картиной. Она чувствовала себя не художником, но причастной к сюжету, ко всей этой сцене. К разноцветным фигуркам птиц, большим и малым, остроклювым, таким внимательным. Она покрывала их лаком с трепетом, как своих созданий, как своих сестричек. Теперь она придиричиво проверила, ворчливо перебрала в уме, до мелочей припомнила каждое действие. Всё было точно, бережно, осторожно. Ни единой оплошности. Строго, как всегда.

Она схватила бутылку, внутри осталось меньше половины тяжелой жидкости с голубоватым отливом. Срок годности истекал через полгода. Тем не менее этот лак даже не схватился. От горечи и бессилия она хлопнула ладонью по столу. Решила, раз так, придется набраться терпения и переждать еще день. Посмотреть, что будет завтра. Но на завтра ничего не изменилось. И послезавтра всё было по-прежнему. Лак не застыл, как если бы его нанесли час назад. Баронесса беспомощно и возмущенно металась из конца в конец комнаты, сжав кулаки, слыша сокрушительные удары сердца, будто кто-то барабанил в дверь, в запертые дубовые ставни. Задышалась от волнения, от нахлынувшего стыда. Где же, где она допустила ошибку? Потом снова опустилась на стул, сложила руки перед собой, сплела пальцы, пытаясь успокоиться и отдышаться. «Остудись, остынь», – так говорит в подобных случаях сестра Лида.

Еще она вдруг вспомнила: профессор, руководитель ее дипломной работы, любил повторять: «Доверяй зрению, смотри внимательно. Всё самое главное ты сможешь увидеть. Не нужно ничего накручивать или усложнять, достаточно просто разглядеть». И тогда она передвинула табуретку, уселась напротив картины и принялась разглядывать через большущую лупу: листву, ветви, птиц. Потом точно так же, внимательно, сосредоточенно изучила одеяние святого, каждую складку, веревку на поясе, широкий коричневый рукав, протянутую к птицам ладонь. Она обследовала края и углы картины. Ни даты, ни подписи, ни инициалов художника нигде не было. Она снова замороженно наблюдала теплое сияние. В листве дуба хозяйничал ветер. Вдаль поля вилась дорога, на горизонте угадывались очертания города: башни, шпили, колода крыш в черепичных рубашках. Она заметила на земле, в собрании птиц, синицу, трясогузку, стрижа. На следующий день всё было по-прежнему. Лак мерцал прилипчивой пленкой, превращая поверхность картины в липучку для мух. На всякий случай она захлопнула форточки и наглухо зашторила окна, чтобы в помещение не проникли насекомые. Только этого не хватало, сейчас любая нерадивая муха или какая-нибудь случайная оса могли бы испортить холст и всё перечеркнуть.

9.

Воздуха не хватало, стены давили, она больше не могла усидеть

дома, рядом с этой мучающей оплошностью. Не могла терпеть дня за днем бессилие, беспомощность любых попыток понять причину. Рывком накинула старый плащ, запихнула ноги в стоптанные лодочки. И выбежала вон. Сумрачная лестница, полосы теней и света, черная сетка чулка лифтовой камеры. Баронесса панически перебирает ногами по ступенькам: скорей, скорей!

Во дворе на этот раз ее ждал клубок ароматов: жареное мясо, перцы, бурлящие в пряной подливе, наваристый рыбный суп. У соседей намечался субботний семейный обед или изысканный ужин с друзьями. А она снова почувствовала себя безгранично одинокой и безгранично несчастной. Неприкаянной. Да еще утратившей мастерство. Нищенка Нищета, всё утекает у тебя меж пальцев. Ты всё выпускаешь их рук, ты всех упускаешь. Всё покидает тебя, убывает, рассеивается. Всё, что ты любишь, превращается в руины у тебя за спиной.

Запахнувшись в плащ, скользнула между особняком конторы и заброшенной трансформаторной будкой, нетерпеливо нырнула в арку, наконец вырвалась из дворов и зашагала по улочке в сторону дальнего парка. Сутулая. Растрепанная. Двигалась навстречу ветру. Но почему лак не застывает? Почему даже не схватывается, ведь столько дней прошло? Больше ни о чем не могла и не хотела думать. Нужно было срочно понять причину: шагать, куда глаза глядят, и пытаться найти ответ.

«Миша, что же я сделала не так, почему лак не застывает? Дай подсказку!»

Сжавшись, сгорбившись, спешила по улице, будто за ней гнались. Обособленная, изгнанная из неторопливого спокойствия этого полудня. Кидала себя вперед нетерпеливыми рывками – редкие в этот час прохожие с недоумением заглядывали ей в лицо. Непричастные особняки справа и слева смотрели вдаль сквозь прорези своих театральных масок. Склоненные кариатиды держали балконы на неутомимых плечах. Обшарпанная охра стен казалась ржавой под пасмурным небом, насупившим дождь. Но она сегодня ничего не замечала и никого не видела. Почему лак не застывает? Что я сделала не так? На перекрестке нетерпеливо и возмущенно ждала светофора, а мимо проносились бесконечные бессмысленные машины. Догадка вдруг поразила неожиданной фотовспышкой. И тогда на нее нахлынул и обрушился целый город. Она совсем утратила внутренний порядок. Перебежала через дорогу и заспешила дальше, мимо тусклых витрин и арок, уводящих в незнакомые дворы. Причина. Когда речь идет о проповеди птицам, причина может таиться совсем в другой плоскости. Ошибка могла закрасться в жизнь давным-давно. Как бывало в школьном уравнении по алгебре. Погрешность могла возникнуть и неуловимо сопровождать ее все эти годы. А теперь промах вдруг проявился, застиг ее врасплох развернутой математикой жизни. И тогда множество вопросов, которые она обычно устраняла и отгоняла, пронесли и закружили недобрым нерадостным вихрем. Вопросы и

сомнения, непреклонные, острые, на которые никогда не было точного ответа. Наверное, в каком-нибудь романчике ловкий автор приписал бы ей немедленное решение, вдруг случившееся прозрение, сегодня/сейчас, почему лак не застывает. Но она не могла ответить однозначно. Даже сегодня ее терзали сомнения и неразрешимость. Баронесса понимала, что любой ответ будет неточным, станет правдой только этой минуты, которая уже завтра изменится. В зависимости от настроения. Да что там! – В зависимости от того, как будет падать свет. Она ничего не знала наверняка, даже сегодня, даже опасаясь, что из-за ее сомнений лак никогда не застынет. И картина будет испорчена. Правильно ли она сделала, что всё же отпустила Мику? Правильно ли, что разжала пальцы, как только он пожелал уйти? Когда любишь, это значит, что надо изо всех сил обнимать, удерживать, цепляться – или правильнее будет отпустить, освободить, отдалиться? Есть ли ее вина в том, что он не проснулся в то утро? Неужели именно в этой ошибке, в давней ее оплошности притаилась истинная причина, почему лак до сих не застыл? И теперь она должна найти ответ, срочно, сейчас же. Но она по-прежнему не знает, как правильно, как надо.

Потому что она вся – неуверенность, колебание, неопределенность. Даже сегодня она не может сказать, существует ли на самом деле Бог. Она всегда была занята чем-нибудь земным, вещественным, осязаемым на ощупь. Кистями и шпателями, красками и растворителями, шарфами и выходными туфлями, а с некоторых пор – бумажными чайками, ласточками и сороками. Иногда она очень надеялась, что Бог все-таки существует. В другие дни ликовала, подозревая, что Бога на самом деле нет. Этот вопрос был для нее окутан слоями плотного целлофана. Она жила в теплице, под покровами своего незнания. Любой ответ был бы наигрышем, правдой сегодняшнего дня, за которую через неделю станет неловко. По-настоящему она верила только в птиц. Всегда знала, что они особенные. Непостижимые. Что любая птица – настоящее чудо. И тут Баронесса припомнила: у Мики, кажется, было какое-то свое собственное приобщение к птицам. Он часто замирал у окна и замороженно примечал голубей, воробьев, галок. Как-то раз проговорился, что умеет читать птиц. Но потом всегда отшучивался, не хотел объяснять, о чем, собственно, речь. Что такое любовь – она и тут сомневалась, не знала точно. Нищенка Нищета, ты ничего не знаешь наверняка. Ты во всем сомневаешься. Все твои истины хромают на обе ноги.

Она вернулась домой поздно вечером, усталая, замерзшая, вкопец измотанная этой прогулкой. Ничего не изменилось. Лак был по-прежнему липким. Ее вопросы и сомнения оказались беспомощны. Даже сегодня она ничего не нашла, ни одного ответа.

было душно, совсем нечем дышать. Она открыла глаза и вдруг поняла, что уже давно нерешительно топчется у шкафа. Свет фонаря освещал стену комнаты до середины, тусклым косым лучом, похожим на прожектор. Они почувствовали приближение хозяйки, своей госпожи. Оживились и зашуршали бахромой на бумажных хвостах и крыльях в сумраке комнаты. Тогда она наощупь повернула ключ, скорей распахнула дверцы шкафа, где всё это время таились взаперти ее бумажные птицы. Они тут же вырвались на волю – все сразу, всей стаей. Почему-то сегодня они вдруг оказались живыми, заполнили комнату шумным встревоженным вихрем. Они летали вокруг люстры, кружили под потолком, хлестали крыльями воздух и пели святому Франциску: «Братец наш, Франциск! Всяким своим появлением, каждым своим пером, любой песней мы славим Господа, нашего Создателя. Даже если его не существует на самом деле. Даже если он умер от разочарования миром, который создал. Даже если, не закончив своей работы, он иссяк и закончился – от старости, усталости или тоски. Мы славим его, мы делаем его возможным. Мы дарим надежду на то, что он когда-нибудь снова возникнет. Мы создаем Господа заново каждым своим пером!» Они кружили под потолком и пели, и щебетали, и свистели, и чирикали на все лады, пока она, наконец, не опомнилась. Бросилась в сумраке к окну. И скорее распахнула две громоздкие деревянные створки. А потом наблюдала, как птицы нетерпеливо вырываются из комнаты в сумерки. И разлетаются в разные стороны. Настоящие голуби, синицы, скворцы и дятлы. Они летели в небо – ненасытно и отчаянно. И она смотрела им вслед. Трясогузки, зяблики, дрозды, вьюрки рассыпались под облаками, мелькали при свете фонарей, потом постепенно исчезали – один за другим, унося свой ответ над крышами, антеннами и чердаками, в разные концы города. Под потолком всё еще кружилось чье-то невесомое перышко. На полу белели кляксы. Тут и там – на столе, на тумбочке – таились потерянные пушинки и пух.

Утром она вошла в мастерскую, точно зная – теперь всё хорошо. Даже не взглянув на картину, доверчиво приложила к ней ладонь. Крона дуба сегодня казалась зеленой ветвистой ладонью, доверчиво распахнутой ей навстречу: из прошлого, из настоящего, из всего, что только еще ждет впереди. Ее ладонь и дерево вдруг полностью совпали. Лак был прохладным, охватывал картину ровной прозрачной наледью, придававшей сцене умеренный блеск. Рука скользила по поверхности, картина под ней излучала тепло. Теперь Баронесса была довольна своей работой. Как всегда, как раньше, она тут же забыла все сомнения, все свои муки. Чувствовала только спокойствие и тихую радость завершения. Но прежде нужно было поставить точку. Она схватила телефон. И ждала. Долго и терпеливо ждала ответа. А дождавшись, почти выкрикнула, потом затараторила в трубку:

– Привет, милая Сося! Звоню сообщить, что картина закончена.

Я всё сделала. Всё, что вы просили. Теперь картину можно забрать. Сегодня я целый день буду дома – приезжайте. Или когда тебе будет удобно, приезжай. Знаешь, случилось кое-что, неожиданное, – и тут она запнулась, собираясь с духом. Только вот как лучше рассказать?

И тогда Соня вдруг сорвалась, взорвалась и тоже затрещала без умолку:

– Без сюрпризов не обошлось, это уж точно. Не знаю, о чем ты. О какой еще работе. Но для меня картина яснее некуда: ты потеряла край, дорогая. Ты пила вино и требовала, чтобы налили еще. Ты хлестала вино бокалами, напилась и плакала. Потом пустилась в пляс, пошла цыганочкой, упала на веранде. Мы с Пашей тебя поднимали, хорошо хоть дочка не видела, как тебя развезло. Мы тебе такси вызвали. Ой, я не о деньгах, забудь. Хорошо, что ты дома. Надеюсь, с тобой всё в порядке. Очень жалею, что купила вино. Совсем забыла, прости меня. Не надо было ставить бутылку на стол. Здесь я виновата. Я это признаю. И не осуждаю тебя. Мы обе хороши. Так что давай не будем к этому возвращаться. Забудем и всё.

– Подожди, постой, Соня! Соня! – воскликнула Баронесса. – Я ничего не понимаю. Что ты такое говоришь? Здесь какое-то недоразумение. Но вы же просили поработать с картиной. Я согласилась, хотя давно уже не занимаюсь реставрацией. И сегодня я всё закончила. Ты не представляешь... – настаивала Баронесса.

– Не знаю, о чем ты, дорогая. Но картина получилась не совсем красивая. Кстати, ты разбила три фарфоровые тарелки. А это ведь был подарок бабушке на свадьбу. Но пустяки, забудь, – Соня бормотала, чуть понизив голос. Она говорила устало, неохотно, но так настойчиво, что сомнений не оставалось – случился какой-то крах. В то же время в голосе Сони присутствовала мягкость. И доброта – такая, которую ни с чем не спутаешь. – Главное, что у тебя всё хорошо, – продолжала она. – Береги себя, постарайся даже не смотреть в сторону вина. Забудь. Обходи за километр эти отделы. Я тебя прошу, я тоже виновата. Совершенно забыла. Но и ты хороша. И теперь, пожалуйста, постарайся это преодолеть.

Разговор оборвался. Соня сразу оказалась вне сети. Баронесса долго сидела на табуретке рядом с картиной, уронив руки на измятый подол домашнего балахона. Больше всего на свете ей хотелось рыдать – из-за Сониного пронзительного великодушия. Она чувствовала шерстяной клубок слез в горле. Но слезы были далеко. А еще ей хотелось смеяться. Или даже плясать прямо посреди комнаты. Очень жаль, конечно, три фарфоровые тарелки из бабушкиного свадебного сервиза. Что бы там ни стряслось, на этом вечере, только вот картина-то здесь. Настоящая живая картина, сверкающая лаком, натянутая на подрамник – она здесь, на самом деле, в ее мастерской.

стену. Прямо над своим рабочим столом. Она решила никогда никому не показывать эту картину, чтобы история ее обретения осталась тайной. Она считала эту картину прощальным и примирительным подарком. Это и был поистине рыцарский дар. Это был ответ на любые сомнения и вопросы, так ей казалось. Это и был ответ. Она пообещала себе никогда ничего не разведывать, не узнавать и не догадываться о художнике, о времени создания, тем более о ценности и цене. Она по-прежнему, как и раньше, запирала мастерскую на ключ, когда уезжала на несколько дней. Но чаще оставляла дверь распахнутой, по рассеянности, потому что вечно раздумывала о чем-нибудь ускользающем. Окрыляющем. И совершенно неприложимым к бытовой жизни. Новые бумажные птицы, второпях вырезанные из остатков блокнота, вихрем шуршали вокруг Баронессы, когда она бежала по городу в стоптанных лодочках. Новые счета за электричество, за телефон, за газ приходили в конце месяца, каждый раз ошпаривая безжалостной непреклонностью цифр. За неуплату опять накручивали проценты, потом присылали письма с угрозами, что отключат свет и телефон, если она не поспешит срочно погасить задолженность. Несколько раз она действительно оказывалась без света, без телефона. Жила так с неделю-две – и ничего, как-то справлялась.

Игорь Гельбах

В мастерской художника

1.

Летний день подходил к концу вместе с самим летом, но было еще жарко, и к общему выцветшему и сероватому тону московских улиц был примешан желтоватый отблеск оконных стекол. Улицы в те годы были, в основном, пыльные и серые, и лишь в праздники на домах возникали красные пятна флагов и транспарантов, ну а в летние дни каждое появление поливальной машины и летящие вокруг и падающие на горячий асфальт и булыжники струи пены и воды становились праздником для прохожих.

В 1959 году мастерская Ламма располагалась в старом двухэтажном довольно обшарпанном доме на Садово-Каретной, в одной из комнат квартиры, где издавна проживало семейство инженера И.Н. Ламма и семья их бывшей домработницы Лукерьи Ильиничны, бабы Луши. Дом стоял поблизости от улицы, названной именем революционера-бомбометателя Ивана Каляева, и сада «Эрмитаж».

Два больших окна комнаты в квартире на первом этаже выходили на Садовую-Каретную. С улицы доносился гул машин. Летний свет из окон падал на огромный рабочий стол с бумагой и карандашами, скальпелями и рейсфедерами в глиняной кружке. Тут же на столе присутствовали кувшин с кистями, палитра и тюбики с красками в желтой деревянной коробке.

Несколько в стороне стоял высокий, массивный желтоватый мольберт с неоконченной работой. У правой стены – полки с книгами и папками графики. Слева от стола, на стене висело несколько работ, которые сразу же меня удивили и заинтриговали.

Хозяин мастерской оказался среднего роста, темноволосым, с бородкой, достаточно молодым мужчиной, несколько медлительным в движениях, с добрыми и веселыми зеленоватыми глазами.

Помимо пары его живописных работ с экспрессивно деформированным, до синего звона дрожащим будильником и металлических кастрюль, что, казалось, излучали озлобление собственным блеском, висели над диваном две обрамленные и помещенные под стекло репродукции: абсолютно спокойная геометрическая абстракция Мондриана, составленная из прямоугольников разного цвета, и одна из версий портрета м-ль Давид кисти Пикассо.

Так я их и запомнил, эти четыре работы на стене над большим старым и очень удобным диваном, косо перечеркнувшим стол у стены с окнами.

Был я тогда совсем еще молодым человеком, и в мастерскую Леонида Ламма приехал с Американской выставки в Сокольниках, где надолго задержался в павильоне с живописью. У работ шло множество оживленных дискуссий. Помню заявление одного из посетителей: «Мы с таким безобразием давно распрощались...», недоумение публики, разнообразные реплики из толпы и замечание одного из уставших американских гидов: «А почему же тогда ваше правительство не хочет продать нам всё, что лежит в запасниках Третьяковки и Русского музея?»

Оказавшись в мастерской Ламма, я увидел его работы, и для меня стало очевидным, что существовали какие-то общие корни у того, что выставлено в Сокольниках, и у того, что увидел в мастерской на Садовой-Каретной, в доме против Лихова переулка.

На следующий день я уехал в Ригу, где мне предстояло завершить учебу в последнем классе средней школы.

2.

Прошел год, и я снова оказался в Москве.

В кафе «Националь», куда Ламм привел меня сразу же после того, как я обнаружил свое имя в списках зачисленных в институт, он познакомил меня с завсегдатаем этого места и одним из своих друзей, искусствоведом Юрием Нолевым-Соболевым – художавым, в больших роговых очках, джинсах и черном свитере, – так довольно часто выглядели в ту пору московские интеллектуалы, каким Нолев-Соболев и был.

К нам присоединился плотный, очень динамичный коротко стриженный мужчина, скульптор Эрнст Неизвестный. Присутствовала за столом и «муза» Эрнста по имени Жанна, живая и зеленоглазая, тоже коротко стриженная актриса расположенного поблизости Ермоловского театра. Помню, через несколько минут Нолев заговорил о своих эстетических пристрастиях, коснулся Джотто и высокого Возрождения. Общий, завязавшийся за столом разговор сочетал темы совершенно, казалось, несовместные, но это, как я понял позднее, было вполне естественным свойством подобных разговоров в Москве того время, когда люди более или менее свободно вздохнули и теперь, сознательно или бессознательно, стремились расширить зону свободы во всех направлениях, отчего разговоры шли разом обо всем на свете.

«Националь», или «Дом», в честь парижского Café du Dôme, как называли его художники того круга, к которому принадлежал Ламм, известен был не только благодаря своим завсегдатаям и виду на Манежную площадь, но и рыбным ассорти, котлетами по-киевски, разнообразными солянками и классическим яблочным паем. Рассказывали, что столики прослушивались, впрочем, это казалось вполне естественным, так как в кафе с видами на улицу Горького, Манежную площадь и Кремль бывало немало иностранцев.

В тот день в зале, глядевшем на Манежную площадь, присутствовало несколько известных персонажей, на которых указал мне Ламм, из них запомнился темноволосый и грузный писатель и журналист Борис Полевой в мешковатом сером костюме, автор «Повести о настоящем человеке».

Из «Националя» мы вернулись на Садово-Каретную, завязался разговор, и получилось так, что я проговорил с художником о его работах и обстоятельствах их появления до глубокой ночи. Ламм был открыт, ироничен и добр и вовсе не пытался подчеркнуть нашу разницу в возрасте, опыте и кругозоре. Тогда я был вдвое его моложе.

Показал он мне и свою коллекцию репродукций, которую собирал еще с юности, с послевоенных лет. Хорошо помню, что более других заинтересовала меня репродукция работы Мориса Утрилло из музея им.А.С. Пушкина. Была в этом городском пейзаже с уходящей с пригорка за поворот улочкой искренность и пронзительная свежесть.

Подобного рода разговоры о живописи, совмещенные с разглядыванием репродукций, велись не один раз, и привели к тому, что в один из осенних дней, между репродукциями Мондриана и Пикассо, появился на стене большой белый лист бумаги с четко прорисованными контурами «обнаженки» или «Прекрасной Елены», как называл ее Ламм.

Помню, как, смеясь, записал он на бедре Елены текст короткой эротической поэмы, заканчивавшейся дерзким утверждением:

А Мондриана с Пикассо
Швыряю я тебе в ЛИЦО!

На вопросы появлявшихся в мастерской знакомых о том, что же это такое висит на стене, Ламм с гордостью и иронией отвечал:

– А это манифест, излагающий нашу программу!

В то время у меня уже начались лекции в институте на Семеновской, жизнь в общежитии на 7-ой Парковой и работа на заводе им. Лихачева, в цехе «Мотор», недалеко от станции метро Автозавод.

Появились у меня и первые товарищи с нашего курса: Саня Деменков, приехавший в Москву с Севера, Ника Гусаров из Подольска и Алексеев Владимир Петрович, он был постарше нас и увлекался мотоциклетным спортом.

Саня был стройный парень, старался хорошо одеваться, его интересовали спектакли и выставки, он любил посидеть в кафе, и ему нравилась московская жизнь. Он занимался тяжелой атлетикой; однажды, потянувшись, мечтательно сказал: «Вот бы в разврат окунуться!» Это была чистая душа, и он не скрывал своего намерения как-то зацепиться и остаться в Москве после окончания института.

В отличие от Сани, который посещал все лекции и вел конспек-

ты, Ника Гусаров относился ко всему на свете довольно легко. Он был отличный футболист, парень с душой нараспашку и как-то зимой решил познакомить меня с жизнью Подольска, где мы провели в деревянном двухэтажном доме несколько дней. Там, сидя у печки, прочитал я «Братьев Карамазовых». Ника был младшим из трех братьев, родители их, работавшие на ПМЗ, были люди серьезные и обстоятельные. Ну а Ника оказался шалопаем; он любил девушек, легкую жизнь и красивые рубашки.

– Игорек, одолжи мне эту рубашку, – говорил он, – я тут такую девушку встретил в кафе «Аэлита»!..

Однажды он появился у меня в Сухуми, куда я уехал на лето.

– Ты откуда? – спросил я, открыв дверь.

– Да вот ребята на мотоциклах ехали в Грузию, а я попросил их подвезти меня до Сухуми, – ответил он.

Володя Алексеев внешне напоминал Маяковского. Был постарше нас и на многое смотрел с усмешкой. Родом он из города Кимры и собирался вернуться домой по окончании вуза. Это был темноволосый и спокойный парень, с очень ясно очерченными чертами лица, никогда не возвышавший голоса. Он не пил, за плечами у него был срок, и его любила одна из студенток нашего вуза, которая уехала в Кимры раньше его. Позднее он перешел на заочное отделение и уехал к своей подруге в Кимры.

По театрам я начал ходить вскоре после начала первого учебного года, а первым театральным спектаклем, на котором побывал по совету Ламма, стал грандиозный «Гамлет» с Э. Марцевичем в заглавной роли, в театре Маяковского, поставленный Н. Охлопковым в 1954 году, вскоре после смерти Сталина.

Ламм, помню, рассказал мне не только о «Гамлете» в театре Маяковского, но и о «Голом короле» Е. Шварца в «Современнике», который в ту пору находился совсем неподалеку от Садовой-Каретной, на площади Маяковского.

За этим первым посещением театра последовали самые разные спектакли московских и немосковских театральных коллективов, приехавших в те годы в столицу из разных стран Европы. Притчей во языцех в те годы стал Брехт.

Память сохранила множество деталей, связанных с тем временем...

Известный своим исполнением роли Ленина в кино, актер театра Маяковского Максим Штраух поставил «Матушку Кураж» с Юлией Глизер в главной роли... Билеты на спектакль «Макбет», привезенный в Москву труппой театра Олд Вик из Лондона, я приобрел в театральной кассе на заводе Лихачева. А в проезде Художественного театра, в кафе «Артистическое» или «Артистик», как называл его Миша Зайцев, учившийся в школе-студии МХАТа, чашка черного кофе с рюмкой коньяка стоила всего 37 копеек. От Миши – с ним я познакомился в

военкомате, на призывном пункте, туда на комиссию пригоняли студентов со всех вузов – я впервые услышал о Булате Окуджава и его песнях.

Миша Зайцев, высокий и светловолосый, с мягкими и плавными чертами лица, несколько напоминавшего ожившую маску, учился на театрального художника, и я постоянно встречал его на ул. Горького у книжного магазина № 100 или в проезде Художественного театра. То были достаточно регулярные, но случайные встречи.

Жизнь складывалась, как упражнение в эклектике; она состояла из самых разнородных по смыслу и значению событий, порой весьма удаленных друг от друга в пространстве и времени. Познакомившись лет двадцать спустя с театральным художником Верой Зайцевой, я никак сначала не мог понять, кого она так сильно напоминает... Шел 1981 год, в Москве открылась выставка «Москва–Париж. 1900–1930», и Ламм познакомил меня со скульптором-авангардистом Л.Берлиным и его женой Верой. Она умела внимательно слушать собеседника, мастерски держала паузы, реплики ее были краткими и очень точными. Ей было знакомо чувство сострадания. Лишь позднее, узнав, что Вера преподает в школе-студии МХАТа, я понял, что Миша в молодости был очень похож на свою мать.

В институте я получал стипендию, кроме того родители ежемесячно присылали мне «вторую стипендию»; жил я в общежитии, питался в столовой, да еще и получал зарплату в цехе «Мотор». Работа была нелегкой, но всё это позволяло мне чувствовать себя достаточно независимым; я мог покупать книги, ходить на выставки, выступления поэтов в Лужниках, на концерты в Консерваторию и Зал Чайковского, или зайти в кафе с Майрой, черноволосой, тонкой и стройной девушкой из Алма-Аты, – она заканчивала учебу в историко-архивном, и я познакомился с ней на вечере, проходившем на Стромынке, где находилось гигантское студенческое общежитие.

Жили там студенты из самых разных вузов и самых разных краев, в том числе и приехавшие из-за рубежа. Немало студентов перебивались с хлеба на квас и месяцами не выезжали в город. Неподалеку находился парк «Сокольники», трамвайное депо и следственный изолятор «Матросская тишина». Бродя по коридорам Стромынки и беседуя с ее обитателями, можно было узнать и о том, как живут люди в Осетии, – меня пару раз принимали за осетина, «взгляд у тебя ясный и подозрительный», так объяснил мне причину этого один из моих осетинских приятелей; и даже узнать колоритные детали о том, как воевали вьетнамцы с французами, – эти рассказы дополняли впечатления от романа Г. Грина «Тихий американец». Представьте себе кокосовую пальму во дворе французского военного госпиталя и партизана Вьетконга, который ночью карабкается на нее с тем, чтобы метнуть нож в человека, лежащего на постели у открытого ночью окна...

Неделю мы учились как обычные студенты, неделю трудились как обычные рабочие на гигантском, в пятьдесят тысяч человек, предприятии. Рабочих рук в стране не хватало, и студентов технических вузов, следуя указаниям Хрущева, решили использовать на производстве. Работал цех «Мотор» в три смены, но я числился в «малолетках», мне еще не было восемнадцати, и я не мог работать ночью. Но иногда, случалось, ко мне подходил мастер или начальник участка и спрашивал, не выйду ли я в третью смену? Конечно, соглашался я. И иногда, случалось, приезжал на смену к 11.15 вечера в темном костюме, светлой сорочке и в галстуке, сразу после окончания концерта или театрального спектакля.

На работе я ходил по участку в промасленной одежде и управлялся с гигантским станком-полуавтоматом, растачивавшим поршневые кольца. Вокруг было много шума, эмульсии, металлической стружки и шлангов, а однажды я наткнулся на бочку с машинным маслом, на днище которой выбита была императорская корона.

По утрам в душе я слышал разговоры рабочих нашего участка о футбольной команде «Торпедо» и новых квартирах, женах, детях и т.п. По сию пору помню имена моих начальников: Арабов Виктор, Лосев Пантелеймон Христофорович, мастер Стрекалов Олег... где вы?..

Но даже несмотря на занятость и длинные переезды в метро по всей Москве, у меня, как это ни удивительно, оставалось немало свободного времени, и постепенно я втянулся в посещения мастерской Ламма, которую он в ту пору делил с Леней Мечниковым, художником, жизнь которого складывалась тяжело и неровно.

Поначалу Мечников собирался стать архитектором. Он учился и работал прорабом на стройке, и когда там рухнула стена и один из рабочих погиб, оказался в тюрьме. Выйдя на свободу и вернувшись в Москву, он зарабатывал оформлением книг и искал себя в живописи. У него была жена, рос сын.

Обычно я приезжал в мастерскую Ламма на Садово-Каретную из Измайлова. По дороге, выйдя из метро на площадь Свердлова, я шел к газетному киоску у старинного здания «Гранд-отель», где среди прочего можно было приобрести польские журналы, изданные на тонкой желтоватой бумаге и иллюстрированные черно-белыми фотографиями, и коммунистические «Morning Star» и «L'Humanité».

На другой стороне площади высилось прекрасное здание гостиницы «Метрополь», куда я позднее стал заходить посмотреть фильмы на английском в небольшом кинозале на втором этаже. Там, среди прочего, я посмотрел и «Room at the Top» с Симоной Синьоре, в советском прокате он назывался «Путь в высшее общество».

Дойдя до Садовой-Каретной, я поднимался по лестнице на первый этаж и стучал по темному пятну на стене рядом со старой и темной деревянной дверью. Потом слышны становились шаги, дверь открывалась, и я попадал в мастерскую Ламма.

3.

В доме на Садовой-Каретной Ламм жил с детства, в детстве же, по настоянию родителей, учился игре на скрипке. Музыкантом он не стал, через пару лет скрипка была забыта, а юноша увлекся изобразительным искусством, и первым учителем будущего художника стал друг его отца Яков Черников, в первые послевоенные годы преподававший в Архитектурном строительное черчение. Обритая наголо голова, глубоко посаженные темные глаза и нервная подвижность превращали его появления перед огромной черной доской в драматическое представление, а порой и в обращенные к аудитории проповеди, посвященные развитой им теории «динамики пространства». Черников приходил на занятия в сером костюме, с аккуратно повязанным черным галстуком под воротником заношенной, ветхой, но чистой белой рубахи. Однако на «проповеди» его никто не откликнулся. Он был окружен непроницаемым барьером почтительного молчания.

Происходило всё это после войны, во времена торжества «социалистического реализма» в архитектуре, литературе, изобразительном искусстве и музыке. Конструктивизм и другие направления русского авангарда начала века изгнаны были из жизни, и в конце 40-х годов творения Черникова, а он был еще и замечательным художником-графиком, жили только на бумаге...

В начале марта 1946 года, в день своего рождения, 18-летний студент Леонид Ламм получил в подарок от Черникова книгу с его графическими работами и через несколько дней после лекции подошел с вопросом к Черникову в коридоре института. Тот отвечал на ходу, и, проследовав за ним к выходу, а затем и на улицу, Ламм, в конце концов, оказался у Черникова в его квартире в доме на Масловке, где обитало много художников. Квартира служила архитектору и мастерской.

Соседом Черникова по дому был Владимир Татлин, автор проекта «Башни Третьего Интернационала», живописец, автор контррельефов и «Летатлина». Он занимал комнату, посреди которой стоял огромный бильярдный стол, на котором Татлин спал, работал, хранил свои пожитки и играл в бильярд.

В тот день Ламм стал свидетелем одной из дискуссий Черникова с Татлиным о путях и судьбах конструктивизма. Познакомил его Черников и с другим известным архитектором-башнетворцем, – Константином Мельниковым.

Рассказывая об этих встречах, Ламм вспоминал, как поразило его кричащее несоответствие между грандиозностью футуристических проектов и ущербностью существования их творцов, отодвинутых на обочину жизни.

Но уже в следующем, 1947 году ему пришлось прекратить встречи с Черниковым, так как Ламм был исключен из комсомола и вылетел с архитектурного отделения вскоре после ареста студентов

мехмата МГУ, создавших подпольную антисталинскую организацию «Нищие сибариты». Целью подпольной организации, созданной студентами мехмата, было заявлено свержение «деспотического режима». К этому «сибариты» призывали в листовках, подбрасываемых в почтовые ящики.

Леня Ламм дружил с одним из «сибаритов», Левой Малкиным, соседом по дому на Садовой-Каретной, тот жил этажом выше. Встречал он и его сотоварищей. Всё это были талантливые, неординарные молодые люди.

К счастью, следовательно, к которому Ламм попал на допрос, понял, что студент с архитектурного отделения ничего не знал ни о листовках, ни о тайном сообществе, – и его просто выгнали из института и из комсомола за потерю бдительности.

По окончании следствия «нищих сибаритов» осудили и отправили в Сибирь. А первый учитель Ламма, Черников, 9 мая 1951 года, поднимаясь по парадной лестнице Дома Архитекторов, потерял сознание, упал и умер от кровоизлияния в мозг.

– Похоже, – сказал Ламм, – что жизнь каждый раз создает новый переплет для каждого из нас.

4.

Через несколько лет, выучившись в Полиграфическом на художника книги, Ламм попал по распределению на работу в областное издательство в Саратове, старом и пыльном купеческом городе со множеством деревянных заборов на высоком, правом, холмистом берегу Волги. «В деревню, к тетке в глушь, в Саратов...», – вспоминал он реплику из комедии Грибоедова.

Вскоре навалилась на него тоска. Иногда казалось ему, что он обречен навсегда остаться в Саратове с его ветрами, налетавшими из заволжских степей, заборами, пылью и сонной артерией реки. Иногда он начинал раздумывать, наглотаться ли таблеток или просто утопиться, но вместо этого женился на подруге по московской Изостудии, где занимался рисунком, готовясь к поступлению в Полиграфический.

Подруга по Изостудии, Ляля, зеленоглазая, как гроздь винограда, родом была из Ростова, с Юга России. Двигалась она неспешно и плавно, как река подо льдом. Жили они в деревянном доме, и поначалу она выносила свой этюдник в сад – ей нравилось писать в саду, на пленэре, но вскоре пришла зима, она забросила свои занятия живописью и принялась писать акварелью натюрморты, занялась рисованием, а затем увлеклась шитьем. Потом она забеременела, бросила и рисование, и обычно ожидала возвращения Ламма с работы, сидя у окна и глядя на Волгу, он же продолжал работать в издательстве и однажды, разыскивая материалы для оформления книги по истории края, наткнулся на сохраненную в архиве коллекцию графических работ своего учителя. Как оказалось, большую папку с работами Черникова сохранил один из сотрудников издательства, Павел

Миловидов, друг Якова Чернихова по ВХУТЕМАСу. Однокашника Чернихова выслали в Саратов еще в начале 30-х годов. В тот день Ламм понял, что чувствует одинокий островитянин, обнаружив человеческий след на песке.

Леонид Ламм и Борис Миловидов встречались на работе почти каждый день. Творчество Чернихова, архитектора и визионера, одно-го из создателей русского конструктивизма, умершего в забвении, и судьба его работ и проектов были главными темами их бесед.

У Ламма увидел я и черно-белое фото того периода, запечатлевшее одетого в черное молодого художника. Он тянет руку к груди беломраморной Венеры, на плечи которой накинута темная шаль. На переднем плане – прикреплённая к небольшому мольберту одна из пространственных композиций Ламма из цикла «Исследование динамики пространства».

Работы того периода вдохновлены были его архитектурными штудиями, но в отличие от творений своего учителя Якова Чернихова, объекты Ламма парят в пространстве, скорее даже, в небесах, лишённые какой-либо опоры, и порой представляются мне составленными из живых, разноразмерных элементов саратовских деревянных строений и заборов, плотов и мостков на реке...

В этих выполненных акварелью и маслом работах, присутствует яркий, потешный, театральный элемент, а само пространство есть нечто вторичное, вытекающее из динамики взаимодействия и связей элементов создаваемой художником конструкции, в то время как цветовые решения работ этой серии демонстрируют целый спектр ассоциируемых с пространством эмоций, от глухого раздражения дурной бесконечностью заборов и амбаров до упоения элегантной сценичностью оснащения парусников.

Меня в его работах захватывало всё – и присутствие сценического элемента, и драматическая трактовка пространства, и бесконечная ирония художника... Читались они не только как пространственные построения, но и как высказывание, резкое и не вполне приличное, о судьбах конструктивизма в России, ведь не зря же говорят в этой стране, что забор – это доски, прибитые к матерным словам.

5.

В Москву Ламм вернулся после начала «оттепели», почти одновременно с «нищими сибаритами». Они заглядывали к нему домой, заходили в мастерскую. Приходили сами и с подругами, с вином или с книжками, изданными неведомо где, иногда застревая в мастерских на недели. «Сибариты» рассказывали о местах заключения, о Сибири, о лагерях, восстанавливались на мехмате и прислушивались к переменам, как и все остальные, в медленно оттаивавшей стране. Все они излучали талант, так или иначе совмещённый с угловатыми, неуживчивыми характерами, с примесью той или иной доли шарма,

эрудиции, блеска и всегда одержимости. При этом все они состояли в непростых отношениях, сочетавших дружбу-товарищество-соперничество и постоянные дискуссии на разные темы, начиная с узкопрофессиональных и заканчивая вопросами весьма общего характера. Ламм принадлежал по праву к этой талантливой и дерзкой плеяде послевоенной московской молодежи.

Вернувшись в Москву, он, как почти все художники, составившие позднее цвет Второго русского авангарда, продолжал заниматься книжной графикой и работал по заказам издательств, принимая участие в официальных выставках, обсуждениях и т.д. Отнюдь не простым был и процесс принятия работ в издательствах. Иногда редакторов что-то не устраивало в стилистике, иногда в деталях, – бывало, что обложку приходилось переделывать, она показалась кому-то чересчур смелой, чересчур авангардной, и с такого рода проблемами сталкивался не он один.

Книги, оформлением и иллюстрированием которых он занимался, были самые разные: роману «Вардананк», написанному на материале средневековой истории Армении, следовал роман Марты Додд о фашистской Германии; стихи Поля Элюара сменялись книгой для первоклашек; антифашистский роман Элио Витторини предшествовал книге слависта, историка культуры Ильи Николаевича Голенищева-Кутузова... и каждая из книг будила его любопытство и оставляла свой, определенный отпечаток на расширившейся сфере его познаний.

Но это была лишь одна сторона его жизни. Работая над оформлением книг, он не переставал заниматься тем, что следовало бы назвать «работой для себя», живописью и графикой; проблема «динамики пространства» не переставала волновать его – более того, в сознании и воображении его она постепенно приобрела статус «сверхценной идеи». При этом, в силу своего характера, Ламм всегда избегал каких-либо групп и, как мне казалось, тяготел к полету «поверх барьеров».

Возможно, что именно это присущее ему стремление увидеть события и явления в широком, и даже бытийном, онтологическом контексте было одной из тех сил, что определили его развитие как художника. Стремление это проявилось и в его неизменном интересе к весьма отдаленной от обыденной жизни концепции единого пространства-времени.

6.

Однажды, еще в самом начале нашего знакомства он подошел к старому, темного дерева книжному шкафу, содержавшему, среди прочего, и почитаемую им «Дхаммападу», и отыскал книгу А.Эйнштейна «Принцип относительности», 1924 года издания, с пожелтевшими от времени страницами. Он раскрыл книгу и показал мне рисунки с летящими в пространстве часами в движущихся относительно друг

друга системах координат. Каждые часы при этом показывали свое, отличное от других время...

– Эта книга сильно на меня подействовала, – сказал он.

Скорее всего, он имел в виду отказ новой физики от концепции абсолютного пространства и абсолютного, единого для всего пространства времени. Его действительно волновал образ летящих в пространстве часов, показывающих свое собственное время. Помоему, то было выражение сильнейшего желания разорвать все и всяческие оковы и узы ради того, чтобы взлететь...

Рассказы его и соображения о возможности полетов привели меня к тому, что я даже попытался написать стихотворение. Вот что у меня получилось:

Порвется рубаха по раннему утру,
Сырою землей голова закружится,
Зеленою тенью в окно упадет
И в ухо весну мне накаркает птица.

И я, пошатнувшийся дерево словно,
Взмахнув белизной своего оперенья,
Взлечу, у землян вызывая испуг
И оторопь дурного знаменья...

Он выслушал меня, кивнул и сказал:

– Ну, в общем, хорошо, конечно, что ты пишешь стихи...

– Нет, ты только подумай о том, что это всё означает, – сказал он мне вскоре после этого. – Ведь это освобождение! Так и искусство – оно должно вести к освобождению, а оттого должно включать в себя элемент провокации, да и вообще, искусство ведь и есть система провокаций... Как те новые хромовые сапоги Хулио Хуренито, в которых тот направился на Моховую площадь с тем, чтобы его там зарезали, ибо после того, как герой Эренбурга посетил Москву, он понял, что делать ему в жизни уже было больше нечего... И некое было провоцировать, ибо абсолютная провокация уже свершилась... Нет, ты понимаешь, что всё это значит? – спросил он.

Вопрос этот я слышал от него многократно. Желание докопаться до сути дела, с какого бы рода проблемой он ни сталкивался, не покидало его.

– А все-таки... – начинал он иногда, возвращаясь к какому-то из вопросов, в мире которых он жил.

Так однажды он зачитал мне фрагмент из книги все того же Эренбурга «Люди, годы, жизнь», посвященный особенностям политической и общественной жизни Византии, и, завершив чтение, спросил:

– Ведь это и про нас, не так ли?

7.

Конечно же, Москва тех времен сильно отличалась от Москвы эпохи Хулио Хуренито. В те годы, когда я пару раз в неделю приходил в мастерскую Ламма, ослепительно лысый Хрущев, похожий на смутно ожидаемых в ту пору инопланетян, провозглашал приближение коммунизма.

Из Мавзолея был вынесен один из двух содержавшихся в нем набальзамированных трупов, что должно было облегчить движение к светлому будущему. Так сбрасывают балласт с воздушного шара, теряющего подъемную силу.

– Ну-с, «шестикрылый серафим», что же ты там, на выставке, узрел? – спросил он, когда я пришел к нему, побывав на Французской выставке в Сокольниках.

Он, кстати, полагал, что «шестикрылый серафим» – образ абсолютно конструктивистский.

Тогда же я понял, что, несмотря на свою привычку иронизировать, он всерьез любит поэзию. В последующие годы он часто ставил меня в тупик неожиданными цитатами; иногда он цитировал Рубенса и Делакруа, с увлечением рассказывал о своих учителях, показывал мне строения времен расцвета «русского модерна» в центре Москвы и ездил со мной в Коломенское. А книжку Матисса, утверждавшего, что искусство должно быть своего рода удобным креслом, предложил прочитать.

– И учти, – добавил он, – тут не всё так просто, ведь Матисс приезжал в Москву в самом начале века и ездил в Новгород смотреть фрески и иконы....

Работал он не спеша, тщательно и аккуратно, с достоинством и основательностью мастера. Он уважал и ценил своих учителей. Иногда он рассказывал о выставках, которые я пропустил, ему нравились работы Рокотова и Боровиковского, а однажды мы вместе направились в Третьяковку смотреть иконы.

Как-то раз он вспомнил эпизод из увиденного в юности фильма о Рембрандте: уже старый, живущий в нищете художник очистил рукавом поверхность своей картины от пыли, и она словно воскресла, просветлела, засияла, а на лице старика появилась тень спокойной, исполненной мудрости улыбки...

– Это главное, – сказал тогда Ламм, – он прожил свою жизнь и знал, что кое-что сделал...

8.

Время от времени, а точнее, раз в месяц, направляясь к Ламму, я привозил ему свежий гляцевый номер журнала «Америка», где обычно содержалось немало интересного. Так, в одном из номеров я прочитал отрывок из «Великого Гэтсби» и запомнил имя его автора.

В те времена в этом журнале публиковали немало отличных фотографий и качественные репродукции работ художников XX века, французов и американцев.

Каждый месяц я покупал очередной номер журнала в киоске у заводской проходной, номер стоил один рубль, что было не всем по карману, и заранее отложенный продавцом номер всегда ожидал моего появления. Репродукции, статьи о жизни художников в Нью-Йорке, дизайн журнала и рассказы о галереях интересовали Ламма.

Часто заглядывали в мастерскую и его друзья: искусствовед Юрий Нолев-Соболев, тяжело прихрамывавший вследствие перенесенного в детстве полимиэлиита, проходивший по делу «Нищих сибаритов» математик Лев Малкин, художник-авангардист Юло Соостер и поэт Сема Виленский, записывавший строчки будущих стихов на папиросных коробках. Иногда Нолев-Соболев появлялся со своими приятельницами, и они неизменно были хороши собой.

Ну и постоянно появлялся в мастерской Леня Мечников. Иногда он бывал несколько отчужден, воображение уносило его в иные времена. Однажды я встретил его на органном концерте Гарри Гродберга в Зале Чайковского. Когда по окончании концерта мы оказались на улице, он заговорил об органной музыке и дольменах как демонстрация каких-то изначальных стремлений человека...

Друзья Ламма были люди со сложившимися уже взглядами, понятиями и идеями. Не раз встречал я у него в мастерской и его коллег-художников, литераторов, его подруг и даже одного огромного, как медведь, с седой короткой бородой агента по авторским правам. Звали его Яша Хинский, и однажды он угощал меня у себя дома приготовленной им рыбой под соусом бешамель. Вообще же, Яша увлекался литературой, ценил прозу Апулея, Петрония и роман Генри Мелвилла «Моби Дик». Из подруг Ламма я запомнил замечательную Лену Никитину, добрую и веселую художницу, красивую и привлекательную, которую за глаза называли «Помар», по имени таитянской королевы, воспетой Генрихом Гейне:

Рассыпает величаво
Милость вправо, благодать влево,
Вся – от бедер до ступней –
В каждом дюйме – королева!
(Перевод Л. Мея)

Позднее Лена уехала в Бразилию.

Иногда, направляясь в мастерские своих товарищей и коллег, Ламм звал меня с собой. Так в первый раз попал я к Володе Янкилевскому, в его мастерскую в Уланском переулке. Позднее я не раз заходил к эту мастерскую, где всегда царил спартанский порядок. В армии Володя служил в ВДВ, и это, пожалуй, оставило свой

отпечаток, он никогда не выглядел расслабленным, всегда был собран, внимателен и чуть ироничен. По отношению к Володе испытывал я чувство симпатии, мне нравилось его отношение к жизни, его стоицизм и горький, порою, смех.

Заходили мы и к Илье Кабакову, глядевшему на людей несколько отстраненно, почти мечтательно, его Ляня иногда в разговорах со мной называл «мальчиком из Бердянска».

Мастерская Кабакова, где часто звучала музыка Шостаковича и присутствовали весьма достоверные инсталляции, повествующие о прозе жизни коммунальных квартир, располагалась в одном из помещений на чердаке огромного старинного дома на Кировской, выстроенного когда-то акционерным обществом «Россия». Однажды Кабаков рассказал, как наткнулся на подшивку старых, 30-х годов, газет – в одной из них подводились итоги соревнования комсомольцев в количестве сожженных икон.

В соседнем чердачном помещении располагалась мастерская эстонца Юло Соостера, осевшего в Москве после возвращения из Сибири, где он сразу после войны отбывал срок в лагере.

Бывали мы и в мастерской живописца Эдика Штейнберга на Пушкинской, где часто разгорались дискуссии о судьбах искусства и страны, и время от времени появлялись иностранные журналисты. Эдик Штейнберг был классическим художником-нонконформистом, продолжавшим поиски художников русского авангарда. Отец его, поэт и переводчик Аркадий Штейнберг, перевел в свое время на русский «Потерянный рай» Д. Мильтона. Жизнь отца была чрезвычайно богата разного рода событиями, связанными с новыми течениями в изобразительном искусстве, участием в войне, первым и вторым заключениями и, наконец, уходом в литературную, переводческую деятельность. При этом отца и сына объединяла любовь к подмосковной природе и к к Тарусе, куда отец вернулся после лагеря ввиду невозможности поселиться в Москве и где в то время имели дачи или жили К. Паустовский, А. Цветаева-Эфрон, Н. Мандельштам, Н. Заболоцкий и другие литераторы, образовавшие своего рода группу представителей «неофициального искусства».

Как-то раз Ламм упомянул о том, что побывал в Переделкино, на даче у Председателя правления Союза Писателей СССР Константина Федина, к роману которого «Костер» он сделал иллюстрации, обложку и оформление, заказанные издательством «Советский писатель».

– Так вот, Федин – человек очень интеллигентный, старой закалки, – добавил Ламм. – И как он уцелел, совершенно непонятно, и даже не просто уцелел, а стал Председателем правления Союза... Абсурд, да и только, – с удовольствием сказал он, – нет, ты представляешь, какой это всё абсурд?

Из последовавшего рассказа я узнал, что именно это, преследовавшее Ламма ощущение абсурда привело к тому, что, указав на

изображение одного из персонажей романа, он обратился к немолодому уже писателю со словами:

– А вот это – Пастухов, писатель, герой вашего романа. Вы ведь помните его, Константин Александрович?

Из этого рассказа о его встрече и разговоре с Фединым я понял, что Ламм никогда не переставал задавать себе вопрос о том, кто он, зачем он живет и думает, и куда всё это ведет его.

9.

Каждое лето мы встречались в Сухуми, где в недавно выстроенном трехэтажном доме на площади у Морвокзала поселились мои родители. В соседнем подъезде того же дома жили родители Ламма.

Мои родители, брат и сестра вернулись в Сухуми за год то того, как я окончил школу в Риге. Примерно в то же время туда переехали из Москвы и родители Ламма, и он каждое лето приезжал к ним с женой, сыновьями и бабой Лушей.

Здесь, на море, летом не раз появлялись у Ламма и его друзья-художники. Помню появление Эрнста Неизвестного и его рассказы о Египте, куда он ездил после победы на конкурсе скульптуры для выстроенной на Ниле Ассуанской ГЭС, и рассказ его о встрече с Папой Римским. Рассказывал он свои истории эффектно, размашисто, со страстью, вращая глазами и поскрипывая зубами, цитировал Киплинга и Ленина, тепло вспоминал своего учителя М.Г. Манизера. Он был всегда переполнен энергией и прекрасно вписывался в южный, с пальмами и морем, пейзаж.

– Мы хотим научить людей видеть по-новому, – так ответил он на вопрос о цели нашумевшей выставки художников-авангардистов на Большой Коммунистической, в которой он участвовал.

Это был день открытия «нелегальной» выставки группы художников из студии Элия Белютина, а спросила его пришедшая вместе со мной Люда, студентка историко-архивного, с которой я познакомился незадолго до того.

В свое время выставка эта наделала много шума, а посетивший ее через пару дней после открытия Хрущев назвал художников из студии Элия Белютина «пидарасами» и плюнул в картину Лени Мечникова, изображавшую Голгофу. Присутствовавший при этом Эрнст схватил Хрущева за лацканы пиджака и сказал:

– Выслушайте меня, или я застрелюсь!

Было это за несколько лет до нашей встречи с Эрнстом на море, у Ламма.

10.

В те годы заглядывали в мастерские и торговцы живописью и иконами, старыми и новodelами. Иногда появлялись иностранцы, интересовавшиеся искусством Второго русского авангарда. Множество людей увлекались в те годы искусством иконописи, рабо-

тами старых мастеров и сохранившимися в самых разных уголках России церквами и монастырями, старыми архитектурными комплексами и рукописными книгами, эмалями, деревянными скульптурами Севера и предметами старинного быта. Всё было недорого в ту пору: гостиничные номера, железнодорожные билеты и даже обеды в при вокзальных ресторанах.

Итак, всё, казалось бы, шло неплохо, однако вскоре после начала третьего курса меня отстранили от учебы в вузе, и я перестал ходить на лекции.

Оказалось, что мастер Тихонов, высокий и медлительный светловолосый парень, который стал начальником участка поршневых колец цеха «Мотор» на ЗИЛе, написал мне отрицательную характеристику по итогам двухлетней производственной практики. Возможно, он просто невзлюбил меня; возможно, это было проявлением латентного антисемитизма, но ни с чем подобным я ранее не сталкивался.

Узнав об этом, я поехал на завод и получил положительные характеристики от предыдущих начальников участка – Лосева и Арабова. Получилось, что год и девять месяцев практики были закрыты положительными характеристиками, и лишь три последних месяца составляли проблему.

Я сдал вновь полученные характеристики в деканат. Через месяц примерно меня вызвали и сообщили: я должен направиться в штамповочный цех Московского завода малолитражных автомобилей, оформиться на работу, проработать там год и получить положительную характеристику, после чего смогу вернуться к учебе.

Я приехал на МЗМА и зашел в отдел кадров, где одна добрая душа объяснила мне, что штамповочный цех занимает первое место на заводе по травматизму и текучести кадров, после чего я направился в цех. Там было шумно, всё вокруг грохотало. Не умолкая ни на мгновение, работали штамповочные автоматы, гремели вылетающие из них заготовки, и именно под этот аккомпанимент я решил не устраиваться на завод и бросить институт.

11.

Так началось время, когда, продолжая жить в общежитии, я начал подрабатывать в массовках на «Мосфильме» и готовиться к поступлению на физфак МГУ, для чего посещал лекции для абитуриентов в здании университета на Моховой и сидел в Ленинке, решая задачи повышенной сложности из пособий для поступающих.

Почему именно на физический? В книжном магазине на Горького мне как-то раз попала книжка Нильса Бора «Атомная физика и человеческое познание», излагавшая его понимание принципа дополненности и содержание его дискуссий с Эйнштейном о квантовой механике. В книге этой я мало что понял, но именно она, наряду с

книгой Альберта Эйнштейна 1924 года издания, которую Ламм отыскал у себя в библиотеке, подтолкнули меня к этому решению.

Ламм, я помню, сказал мне:

– Наукой надо начинать заниматься смолоду, а ко всему остальному можно обратиться и попозже.

Но не только наука увлекала меня в ту пору: время от времени я выезжал из Москвы вместе с Людой. Она родилась в небольшом городе на Урале, прилично знала французский, увлекалась поэзией и интересовалась раскольниками. Идея поездок по городам и весям принадлежала ей, а мне эта идея показалась крайне интересной. Ездили мы в старинные русские города – Владимир, Суздаль, Псков, Новгород... Постепенно возникли у нас и довольно обширные планы поездок, мы собирались на Север, в Вологду, Петрозаводск, Архангельск и Кизи, названия эти пленяли...

Подошел Новый год, меня вызвали в деканат и сообщили, что ректор собирается принять решение о моем переводе в высшее военно-техническое училище, где из меня подготовят инженера для работы на атомных подводных лодках. Через неделю я оказался у него в кабинете. Это был крупный, с розовым лицом мужчина в сером костюме. Говорил он очень тихо. Незадолго до этого он вернулся из Китая, где руководил строительством крупного объекта. Выслушав его, я вернулся в общежитие и, игнорируя призывы из деканата, больше в институте не появлялся, продолжая регулярно посещать лекции для абитуриентов в аудиториях на Моховой.

12.

Через месяц в Москве появился мой отец, приехавший в командировку. В тот приезд в Москву отца, человека с армейским прошлым и любовью к порядку, особенно поразили мои длинные кудри, которые и решили, надо заметить, мою судьбу на «Мосфильме»: нас тогда выстроили на палубе фанерного броненосца, построенного в павильоне для съемок «Оптимистической трагедии», затем появился на палубе режиссер С. Самсонов, окинул нас взором, подошел ко мне и сказал: «В группу анархистов!»

Услышав, что я собираюсь заново поступать на физфак университета, отец спросил у меня, не лучше ли просто попробовать перевестись, ведь изучал же я какие-то сходные предметы два года, добавил он. Но на физфак МГУ меня не взяли даже и с потерей курса, не было свободных мест. Взамен мне предложили перевестись с потерей года на мехмат, но меня это предложение не вдохновило.

– Ну а как насчет того, чтобы поехать в Тбилиси? – спросил отец. – Может быть, там тебя примут на физический факультет? Есть у меня один знакомый в ЦК, думаю, он поможет. К тому же, ты будешь недалеко от нас.

Предложение это показалось мне интересным, я понимал, что предстоявшая мне в ту пору московская жизнь будет в той или иной

степени повторять уже пережитое, а тут передо мной открывалась возможность отъезда в Грузию, и какие-то еще неясные, но определенно новые горизонты... И, несмотря на то, что я никогда не бывал в Тбилиси, предстоящий переезд порождал немало ожиданий – я помнил описание Тифлиса из «Путешествия в Арзрум». Остальные познания мои о древней стране и ее столице, которой было чуть больше полутора тысячи лет, состояли из сведений, почерпнутых из прочитанного в юности романа К. Гамсахурдиа «Десница великого мастера» о жизни Грузии XII века, романов А. Белиашвили «Бесики» и А. Антоновской «Великий Моурави». Прочитал я в ранние сухумские годы и «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели в переводе Ш. Нуцубидзе.

13.

Моя мать была врач-педиатр, отец – инженер-механик, в недалеком прошлом – офицер-танкист, встретивший войну в Белоруссии 22 июня 41 года и закончивший ее в должности начальника танкового училища в Средней Азии, куда он был направлен после ранения, полученного в одном из танковых сражений под Москвой, на Калининском фронте.

Родной город моих родителей, Одесса, стоял после войны в развалинах, над которыми летали голуби... После демобилизации и недолгого пребывания в тесной полуразрушенной квартирке на Мясодедовской, мы переехали в Грузию, в Кутаиси, древнюю столицу Имеретинского царства, где отец мой нашел работу по специальности на механическом заводе.

Спустя три года мы уехали к морю, в Сухуми, столицу Абхазии, где в старейшей в городе школе им. А.С. Пушкина я, помимо всего прочего, выучил грузинский алфавит и научился читать на грузинском. Многие наши соседи по улице, носившей имя писателя Александра Казбеги, говорили по-грузински, и к тому, как звучит речь, я привык и даже научился различать знакомые слова и выражения.

К концу лета 54 года мы переехали в Ригу, где я закончил среднюю школу и изучил латышский язык, после чего поступил учиться в Москве, а мои родители, брат и сестра вернулись из Риги на юг, в Сухуми, там отцу предложили хорошую работу, и у нас появилась возможность приобрести квартиру на третьем этаже в первом построенном в городе кооперативном доме. Из одного окна видны были стоявшие у причала пароходы, остальные смотрели на город и горы. Рядом с домом находился морвокзал, уходивший в море причал и длинная, тянувшаяся вдоль залива набережная.

14.

Уезжая из Москвы в Грузию, я верил, что время от времени буду наезжать в столицу, ведь это всего-навсего два часа полета.

Итак, я забрал документы из вуза, отец съездил со мной в Тбилиси, и меня действительно приняли на физический факультет

Тбилисского университета, но с потерей одного года. При этом мне предстояло самому изучить и сдать экзамены и зачеты по ряду незнакомых мне курсов, проделать несколько циклов лабораторных работ и сдать экзамен на владение основами грузинского языка. На всё это мне давалось полгода.

Приезжая в Москву в «тбилисские» годы я всегда останавливался в мастерской у Ламма и возвращался в другую, не оставлявшую меня «московскую жизнь». Мастерские менялись, за мастерской на Садовой-Каретной последовала мастерская в Лиховом переулке, а затем мастерская на Белорусской....

Мы с Людой снова куда-то ездили, куда-то ходили, сидели в мастерской, а потом я провожал ее на Стромынку, в общежитие – оно соседствовало с трамвайным депо, столовая которого была открыта до утра... Потом я возвращался на Садово-Триумфальную, где продолжались наши с Ламмом обсуждения, казавшиеся самыми важными в те времена.

В студии Ламм работал один. Леня Мечников внезапно заболел и в две недели скончался, не достигнув тридцати восьми лет отроду и не успев реализовать свои планы.

15.

Между тем всё вокруг продолжало меняться, и очередной из моих приездов в Москву я заметил, что никто больше не читает стихи у памятника Маяковскому.

В начале 60-х я часто подходил к людям, слушавшим и читавшим стихи. Это было интересно и, казалось, так будет всегда. Люди разговаривали, обменивались мнениями, завязывались знакомства. Некоторые реплики совсем незнакомых мне собеседников запомнились надолго. Так запоминается порой мизансцена из спектакля.

– Да их всех разогнали, – объяснил мне Ламм, в то время его мастерская уже располагалась в полуподвале на Садовой-Триумфальной, – появилась милиция, дружинники, ну и сам понимаешь, всё закончилось...

Но стихи, поэзия по-прежнему оставались частью той жизни, что шла вокруг. Помню, однажды на остановке троллейбуса мы встретили Сему Виленского, он был небрит и потрепан в тот день. Схватив Ламма за рукав, он вдруг сказал:

– Сейчас я вам кое-что почитаю... – и, не обращая внимания на окружающих, начал увлеченно, с надрывом, читать стихотворение Ю. Домбровского:

Меня убить хотели эти суки,
 Но я принес с рабочего двора
 Два новых наостренных топора
 По всем законам лагерной науки...

– Да, – сказал мне Ламм позднее, – для него лагерь никогда и никуда не исчезнет.

В пору их молодости его друг был осужден за антисоветские стихи и провел десять лет на Колыме.

16.

Время шло, сыновья Ламма подросли, «оттепель» закончилась, а кое-кого из «нищих сибаритов» снова стали таскать на допросы в связи с их публикациями за рубежом. Изменилась и жизнь Ламма; он ушел из дому, расстался с женой и однажды холодной ночью, сидя в мастерской совсем неподалеку от площади Маяковского, нашел свое решение загадки пространства и перспективы.

Новые полотна и графические серии, пронзительно-экспрессивные ассамбляжи и, наконец, свободно паривший в пространстве и, одновременно, выплывавший из него «Шар», – вот главное, что ему удалось сделать в те годы.

17.

Весной 1965 года, я прилетел в Москву из Тбилиси и пришел в мастерскую Ламма на Садовой-Триумфальной, поблизости от площади с возвышавшимся посреди людского торжища серым и уродливым монументом. Никогда, пожалуй, и ничего подобного не смог бы вообразить даже и сам поэт-самоубийца, предлагавший когда-то выкрасить Большой театр в красный цвет.

Располагалась мастерская в подвальном помещении, в тесном соседстве с моргом Института судебно-медицинской экспертизы, отчего даже летом в мастерской не стоило открывать окон, запах формалина мгновенно заполнил бы пространство.

– А ведь ты меня спас, – сказал Ламм со смехом вскоре после того, как я появился на пороге.

В тот момент мы сидели в кафе, за завтраком.

– Да-да, – продолжал он, – я сидел в мастерской без копейки денег, думал, что делать? И вдруг пришел перевод от тебя из Тбилиси на сигары. Ты их получил?

– Ну конечно, – сказал я, – и уже подарил.

В Москве в ту пору полно было кубинских сигар, в Тбилиси их не было, и я действительно прислал Лене деньги с тем, чтобы он купил и переслал мне пару коробок сигар, одну из них я собирался подарить руководителю моей преддипломной практики,

В то время как-то совершенно неожиданно появился на экранах страны замечательный фильм И. Бергмана «Земляничная поляна», пожилой герой которого утверждал, что ничто так не стимулирует процесс мышления, как хорошая сигара.

В тот мой приезд я увидел в его мастерской на Садовой-Триумфальной «Шар» – работу, в которой Ламму удалось преодолеть

тиранию плоскости. Помню, как набросав на листе бумаги диаграммы, иллюстрировавшие развитие отображения пространства в живописи, Ламм рассказал мне, что работая над картиной, часто ощущал лежавший в кармане его блузы тяжелый металлический шар. Его ирония, критический анализ и чувство нестесняемой свободы полета объединились в этой строгой работе, напомнившей мне об иконе, — я говорю о предельной силе, минимализме и концентрации в передаче фундаментального утверждения. Эта аскетичная и строгая работа поражает сочетанием свободы и непроницаемости. Летящие в двух соединенных окном пространствах массивные непроницаемые шары объединены ощущением парадоксальной связи тяжести и свободы.

Присущая Ламму тяга к метафоричности помогла ему осмыслить пространство как стену, которую можно пробить, а вслед за этим присоединить к первому иллюзорному пространству второе, зеркально сопряженное первому. Я, помню, воспринял эту работу как «Валтасарову надпись», появившуюся на дотоле непреодолимой преграде плоскости. Работа эта завораживает и остается в памяти.

Стремление вернуться и заново разгадать ее никогда не покидало меня, и однажды, много лет спустя, разглядывая репродукцию этой работы, я припомнил фигурировавший в рассказе Ламма стол, на котором спал, работал, хранил свои пожитки и играл в бильярд Таглин.

18.

С годами, однако, ситуация в практическом театре социализма, построенного в отдельно взятой стране, становилась всё жестче; мастерские художников круга, к которому принадлежал Ламм, располагавшиеся в подвалах и на чердаках, постепенно превращались в настоящее «подполье» или «андерграунд».

Начиналась новая волна преследования диссидентов, и после процесса над Даниэлем и Синявским казалось порой, что время начинает медленно пятиться, и это создавало стойкое ощущение удушья, заставлявшее постоянно раздумывать о поисках тех или иных путей спасения...

Что до меня, то я продолжал учиться и прилетал в Москву, откуда мы с Людой уезжали в Ленинград, в Карелию и на Соловки. После того, как она побывала в Тбилиси, я не видел ее целый год, но мы продолжали переписываться.

В сущности, я продолжал жить в своем мире, мне было более чем достаточно тех проблем и впечатлений, что время от времени возникали в моей жизни, и я никогда не стремился к какого-либо рода общественной деятельности.

19.

Ламм, однако, переживал всё то, что происходило вокруг, и сильнее, и острее, чем я. Позднее он рассказал мне, что постепенно понял:

ему уже не хватает пространства мастерской, а хочется преобразовать всё пространство, частью которого она являлась. Пространство это включало и саму площадь Маяковского, обезображенную гостиницей «Пекин», и серого истукана, изображавшего поэта, стоящего на постаменте посреди площади, и здание зала Чайковского, в прошлом – Театра Революции. Реализовать его замысел удалось однажды ночью в конце лета шестьдесят седьмого года.

В ту пору я уже закончил университет и начал работать в тбилиском Институте кибернетики. Летом я ушел в свой первый отпуск и за пару дней до того вечера, о котором расскажу ниже, прилетел в Москву из Пскова, где после окончания института работала в местном архиве Люда. Из Пскова мы ездили в Святые Горы, побывали в Михайловском и Тригорском. В Москву я вернулся полный впечатлений от совершенно иного течения жизни в тех краях.

Луга и равнины, река Великая, старые башни с контрфорсами у реки, усадьбы, лошадь, запряженная в телегу, перевозившая старые доски, поля и скирды, залитые неярким светом невысокого северного солнца, – всё это я очень ясно помню и сегодня.

В тот день, встретившись с Ламмом, я узнал, что он успешно сдал книгу, после чего мы втроем – Ламм, Лена и я – направились отметить это событие на Петровку, в ресторан «Будапешт».

Ночью мы вернулись в мастерскую в состоянии подлинно футуристического пыла и сразу после того, как Лена отправилась спать, решили выпить кофе и обсудить текущую ситуацию. Мы выпили пятнадцать или семнадцать чашек кофе и, уже пребывая в состоянии полнейшей трезвости, плавно перешли к обсуждению возможностей осуществления «акта протеста», как называл его Ламм, и вот тогда форма предстоящей манифестации внезапно открылась нам...

Несколько раз выходили мы с Ламмом на площадь в течение ночи, но сложилось всё лишь к самому концу ее, ближе к рассвету, когда почти пустая площадь оказалась без освещения и мы устремились к глухому и темному ее центру...

Ламм нес в руке свой старый кожаный портфель. В нем были два больших стеклянных флакона с красной темперой, литолью.

Ночь была теплой, и на улице вспомнились строки: «Полночь в Москве Роскошно буддийское лето...»

Затем нам пришлось остановиться и обождать несколько мгновений, глаза должны были обжиться в темноте, а уж затем проложить мысленную траекторию следовавших один за другим бросков, вслед которым литой серый силуэт Маяковского дважды вздрогнул, вздохнул – и два гребня ослепляюще яростного колокольного звона и гула полетели над площадью, отражаясь от молчащих ампирических фасадов, в проход под одним из которых мы нырнули, уходя от появления людей, и то тут, то там вспыхивавшего в окнах света...

Пройдя сквозь облако формалина, мы вернулись в мастерскую, и

вот тут-то неодолимый смех облегчения охватил нас – мы это сделали, всё получилось так, как задумано, и мы могли спокойно глядеть в глаза друг другу.

И это небольшое, в сущности, происшествие стало для нас определенной точкой, от которой мы повели отсчет своего несогласия – как события, а не только как постоянно присутствовавшего отношения, в чем мы никогда не были одиноки. Так включенность «Черного квадрата» в историю своего времени отрывает его от технически несложной задачи оригинального выполнения, оставляя лишь эсхатологическую предугаданность в этой черно-белой иконе нового времени...

А пока мы были в прибежище нашей анонимной свободы, в мастерской, где хозяин ее мог изобретать сколь угодно изощренные системы перспективы, в подполье, возвращение куда всегда порождало ощущение пересечения границы оставленного позади торжища и погружения в иное течение времени...

Наутро, когда мы пришли на густо запруженную площадь, всё еще летний, яркий свет обволакивал плотную, почти неподвижную толпу, и фокус площади теперь составляло кровавое, красное пятно на бронзовой груди, замершей в момент максимального расширения в недостижимой для пешехода небесной высоте, притягивая взгляды поверх суежившихся у памятника милиционеров и серых персонажей в штатском.

На краю одной из серебристых лестниц, тянувшихся к памятнику от двух красных пожарных машин, терялась на фоне серого подбрюшья монумента маленькая фигура пожарного, и на мгновение Маяковский с кровавым пятном на груди и серебристыми лестницами, тянувшимися к нему над толпой, напомнил мне конструктивистские композиции двадцатых годов, наведя затем на ощущение театра абсурда.

Люди в толпе, окружившей памятник, стояли молча или негромко переговаривались, возможно, и не зная о дважды прозвучавшем ночном колокольном звоне. Странная это была картина, чуть сюрреальная – молчащая толпа, политая солнечным светом, серый монумент с кроваво-красным засохшим пятном на груди, серебристые лестницы, протянувшиеся к монументу с красных пожарных машин, и дергавшиеся внизу милицейские фуражки, – водоворот молчания посреди требовательно шумящей Москвы...

Вера Зубарева

* * *

Июль на исходе,
Июль на скончании,
Веселье в природе,
А лето в отчаянье –
А лето в отчаянье –
Ещё не закончены
Цветка сочетание
С пчелою всклокоченной,
Палитра небес из тонов серебристых
Для стай облаков, и в органном регистре
Грозы увертюра, кузнечиков свадьбы...
Так много осталось!
Успеть дописать бы...

* * *

Одуванчиков золотая рощица,
Как заполненные мёдом соты.
Душно. Пчёлам работать не хочется.
Чуть вибрируют в потоке стрёкота...
Скоро солнце за морем расплавится,
И наступит пора комариная.
Тёмно-бархатная красавица
Чуть прикрыла глаза картинно.
Блёстки влаги на булавочных усиках,
Рябью света крыло подсвечено...
Репетиция вечерней музыки –
Разнобой цикад и кузнечиков.
Долгий вечер, скудные известия,
Маета в уплотнённом воздухе,
Будто мир и не ходит по лезвию,
И лишь эхо грозы в дальнем отзвуке...

* * *

Вспыхнул бор по окоёму.
День был отдан суете,
А потом бродил по дому,
По недавнему, былому,
Безвозвратному, святому
В беспросветной темноте.

Полка книжная кряхтела,
 Как живое существо,
 И страница шелестела,
 Будто бабочкино тело,
 Что до дня не долетело...
 Догадаться бы, с чего...

Скоро всё пойдёт на убыль,
 Лето пустят с молотка.
 Доиграет этот дубль,
 Проиграет этот рубль,
 Ливнями напьётся в дупель
 И слиняет на века.

* * *

Она одинока.
 Окна дома её выходят на закат,
 И когда вечереет, отливают пурпурным стёкла.
 А ещё есть у неё сад,
 И однажды бабочка там от дождя промокла.

Поздней осенью в доме оживает камин
 И рассказывает разные дивные истории.
 Но никто – ни часы, ни стол и ни один
 Стул не верит в них, и их забывают вскоре.

Только зеркало смотрится всегда лишь в самоё себя,
 Никого не слушает, ни о чём не печалится.
 В нём больше, чем в комнате, – то блики, то тень воробья.
 И никто не понимает, как это у него получается.

А потом, а потом
 Наступает зима, как сейчас,
 И за окнами сказочно, и в это хочется верить,
 Потому что по-настоящему, без прикрас,
 Даже если ветка в снегу изогнулась, как лебедь,

Или храм просвечивает в сосульке, нанизанной на свет.
 ...И молчание дома длится на ноте всевышней,
 И хозяйка думает ему в ответ:
 Это лучшее время года.
 Или даже – жизни...

* * *

Иерусалим вырисовывается из поднебесных сфер.
На переходе счётчик тикает, как бомба,
В каждом окне взрывается кондиционер,
Луна до рассвета глядит в оба.

По ночам оглушителен каждый шаг.
Ходикам ритм Шостаковича мерещится.
Какое время, такой и тик-так.
Якову снится его лестница.

Сколько ступеней? Поди, сосчитай...
Яков считает во сне вполголоса.
Лестница – вихри ангельских стай.
Яков движется по лестнице Мёбиуса.

Мир по ночам – воспалённый мозг,
Котёл, где прошлое варится с будущим.
В неоновых лунах воскресает Босх,
Диву даваясь воплотившимся чудищам.

Босху снятся окаянные дни,
Когда кистью макал в ДНК мироздания.
Чудищам снится, что это не они.
Снится холсту темнота предсказания.

Лестнице снится дверной проем,
Черного моря звёздное зазеркалье,
Трещины, двор на развилке времён,
И возвращение к зыбучей горизонтали.

Владимир Торчилин

Собаки и люди

...Не лестница эволюции, а смешение живых существ.
А. Платонов. Из записных книжек. 1938-40 гг.

РЫБАЛКА

Как это обычно и бывает, вся история – если это вообще можно назвать историей – развернулась буквально из ничего. Знаете, как это бывает: услышишь в уличной толпе кем-то брошенное случайное слово, и к нему, в отличие от всех остальных, сказанных до и после, вдруг начинают из памяти прислоняться какие-то другие слова, потом из них вырастает целое предложение, и предложение это вдруг зазвучит в ушах, произнесенное, казалось бы, забытым, но таким знакомым голосом – а тут и сам обладатель голоса в голове всплывает, и начинают вспоминаться разные встречи и разговоры, так что вдруг застываешь посреди толпы и пытаешься понять, куда это твои мысли занесло. А началось-то всё с одного случайного слова. Что-то оно разбудило, поймало нечто затаившееся в глубине сознания, как ловят рыбку на крючок с наживкой. Или, скажем, заметишь в витрине антикварного магазина какую-то старую штучковину, и вдруг с невероятной скоростью начинает эта штучковина обрастать другими знакомыми предметами, так что не успеваешь и опомниться, как тебя уже окружают какие-то давно забытые, но из глубины памяти не исчезнувшие люди и вещи, о которых век не думал.

Вот и тут, проходя тихим июньским днем мимо заклеенной объявлениями рекламной доски, его взгляд вдруг остановился на больших синих буквах с изображением кораблика над ними и он почти помимо воли прочитал: «Экскурсионное агентство ‘Лето на Оке’ предлагает вам насладиться великолепными видами во время путешествия на теплоходе по Оке. Для детей и взрослых». Вот тут и ударило. Лето на Оке... Для них это были магические слова, которые они когда-то начинали повторять каждый год уже с января, когда до лета было еще ждать и ждать. Но эти слова – «ну что, опять проведем лето на Оке!» – мгновенно разгоняли холод и снег и переносили их с Лёнкой в июльскую жару, которая на речном берегу такой уж жаркой и не казалась. Конечно, «проведем лето» было известным преувеличением – просто по давней традиции, которую их жены и не помышляли нарушить, зная насколько это для них важно, уезжали

они на эту самую Оку дней на восемь-десять, чтобы пожить дикарем в палатке, покидать удочки или даже поставить перемёты, полюбоваться красотой пока ещё не обезображенных человеком берегов, посидеть вечером у костра под звездным небом или в палатке под мерный шум стучащих по брезентовому верху дождевых капель, но главное, наговориться друг с другом на целый год, поскольку хоть они и виделись часто, но обычно это было в компаниях, и даже когда встречались тихо, по-семейному, всё равно жены были рядом, а, значит, не всякий разговор можно было вести... или даже помолчать так, как можно помолчать только с лучшим другом, когда порой и слова не нужны. В общем, именно потому, что так эти дни для обоих были важны, они и начинали предвкушать их уже с начала года, когда воспоминания о предыдущем лете на Оке уже уходили в прошлое, открывая встречу следующего лета. Вот только последние годы он, уже без Леньки – тот умер совсем молодым, ну ладно, совсем еще не старым, за восемь лет до этого от какого-то подлого тромба ни с того ни с сего оторвавшегося где-то там от сосудистой стенки после ерундовой операции по ушиванию самой примитивной грыжи и застрявшего в Лёнькиной легочной артерии – про лето на Оке почти и не вспоминал, поначалу просто запрещая себе об этом думать, а потом и привыкнув без этих мыслей обходиться. А тут прямо в глаза – «лето на Оке!» И ведь как раз в эти дни они и начинали готовиться – проверять снасти, проветривать палатки, прикидывать, какая будет погода и что с собой брать, договариваться на работе, предупреждать жен и делать разные домашние дела, чтобы не оставлять семьям никакой мороки на время их отсутствия. Да и машины надо было проверить: когдатошные «Жигули» – не чета нынешним иномаркам, их надо было готовить заранее, чтобы в пути без проблем. Так пару недель и проходило до того, как тронуться в путь. А сейчас... Он с тех пор, как Лёньки не стало, не то что на Оку, а просто куда-нибудь порыбачить не ездил. Как отрезало...

Кто-то похлопал его по плечу и вполне дружелюбно сказал:

– Ну что, приятель, все объявления наизусть выучил? Или не можешь решить, что самому надо?

Поняв, что он уже бог весть сколько времени стоит, впад в ступор и загораживая собой доску, он смущенно проборомотал:

– Извините, задумался... – и отошел, уступая место перед объявлениями коренастому мужику с такой лысой головой, что даже подумать о наличии на ней волос было бы кощунством.

Но шутки шутками, а на него что-то нашло. Как будто придавила его тяжелая ноша памяти, от которой он пытался уйти, чтобы не бередить душу воспоминаниями о том, чего не вернуть. И пошла у него жизнь с этого момента какая-то желтенькая – всё никак не мог в себя прийти или даже толком понять, что же с ним такое происходит. Как ни старался не показывать свое состояние, но от жены-то не скроешь – она рядом всё время и знает его как облупленного.

– Что с тобой? – наконец не выдержала она – Ты уже который день сам не свой!

Он призадумался, хотел было соврать, что ничего с ним не происходит, всё в порядке, просто подустал, но вдруг понял, что его мучает:

– Понимаешь, – попробовал сформулировать он, рассказав жене и про это злостное объявление, и про то, как оно на него вдруг действовало. – Ты же знаешь, как у нас с Лёнькой было – столько лет вместе... И как его не стало, я постепенно запретил себе о нашем общем прошлом думать, тем более об этих днях на Оке – всё равно не вернуть. А видишь, как оно вышло-то – я старался не думать, чтобы себе душу не травить, а получилось, что как бы от него отрёкса, даже предал в каком-то смысле. Это объявление мне что-то и подсказало. Не об Оке память, а о нем... И вернуть нельзя, и забыть – никак. Ведь они с нами и *оттуда* как-то говорят, а я уши затыкал. Вот от этого, похоже, и мучаюсь. Сколько за эти годы переговорить могли бы, а не переговорили... А ведь эти разговоры и их как бы живыми держат, если ты понимаешь, о чем я...

Вроде и жене всё объяснил, и сам выговорился, а легче не стало. Через несколько дней, видя, как он мается, жена вдруг сказала:

– Послушай, а что бы тебе на денек не съездить туда, где вы обычно рыбачили. Как раз ваше время подходит. Я ведь тоже помню. Ну, не на весь срок, конечно, а именно хоть на денек. Может, на вашем месте тебе легче станет. Не знаю, как сказать, но вот чувствую...

Он задумался.

– А давай и съезжу! Действительно – чего там: от Москвы до Серпухова полтора часа, а там по местным дорогам – сохранились, ведь, наверное – еще час-полтора. И обратно столько же. Выеду не поздно, чтобы там засветло быть, оглядеться, палатку поставить и вообще... Утром порыбачу, а днем домой. На следующий день к вечеру буду. И душу развеять, и прошлое вспомнить. Умная ты у меня!

Даже от одной мысли об этой поездке ему как-то полегчало, так что собрался быстро. Чего там – удочки в чулане как стояли, так и стоят, он их за эти годы даже не трогал – а что с катушкой и леской случится может в тепле и сухости; палатка со спальником – там же, червей на наживку копать не надо – у него с тех пор искусственные наживки сохранились, машина – третий год у них, а хоть бы раз забрахла, – ну и привет!

Где-то дней через пять и поехал. И действительно, до Серпухова за полтора часа добрался, а там на заправку завернул бензином залиться, чтобы и обратно наверняка хватило. И странное дело: сколько раз за эти годы заправлялся – и ничего, самые разные мысли в голову приходили, пока бензин в бак лился, но никогда об их с Лёнькой путешествиях не вспоминал, а тут... как только бензином пахнуло – а от Лёньки всегда бензиновым духом отдавало, так много он со своей тачкой возился, да и ему часто помогал – так ему вдруг

показалось, что Лёнька прямо за плечом стоит, напоминает, что надо еще на всякий случай и в обе канистры бензин налить – вполне можно не на одну пустую заправку налететь, – и поторапливает. Так дальше как будто вдвоем и поехали.

Дорогу он помнил хорошо – за столько-то лет, а помнил. Она особо и не поменялась, правда, кое-где асфальт появился, зато старые ямы и колдобины еще больше стали. До той деревушки, близ которой они останавливались, доехал без приключений. Пока через деревушку ехал – она совсем небольшая, домов всего на пятнадцать – по сторонам смотрел и удивлялся, как жизнь затихла. В те годы, бывало, в каждом дворе кто-нибудь суетился, из-за каждого забора собаки голос подавали на проезжающую машину, а тут – как вымерло всё. В одном только дворе машину и заметил, а еще кто-то в огороде копался. Вот и вся жизнь. И даже собак не было. Тишина.

«В общем, ничего удивительного, – подумал он – Сейчас все в город перебираются. Если не в Москву, так хоть в Серпухов. А старики, что оставались, небось, все перемёрли. Вот и конец деревне. Зато, наверное, наши места нетронутые стоят.»

Так оно и оказалось. Он подъехал к тому месту, где они обычно оставляли машины, чтобы пройти со всем барахлом немного вниз и вправо, где поросший кустарником и деревьями песчаный мыс выдавался в реку – отличное место и для палаток и для рыбалки. Вытащил из багажника рюкзак с палаткой и складные удочки – все три с собой взял – и пошел по едва заметной тропинке к заветному месту. За эти годы кусты разрослись – еле пробирался. А вот деревья не поменялись – такие же большие, как он их помнил. И песчаный холмик, где они обычно ставили палатки, остался – как будто все эти годы только и ждал, пока они появятся. С незабытой сноровкой он быстро нарубил колышки, поставил палатку, подготовил место для костра и прошел чуть вперед – посмотреть на реку. Вот и река была всё той же – он помнил, что течение здесь сильное, что совершенно не ощущалось – река казалась удивительно спокойной, и в ее зеркально гладкой воде отражались стоявшие за спиной деревья. На противоположном берегу видна была всё та же березовая роща, которой они каждый раз не уставали любоваться – с их берега, издали, она выглядела как сплошная белая стена с зеленым верхом, – красота!

Хоть добрался он, как и планировал, засветло, но даже при всей сноровке разбить маленький лагерь заняло время, уже начало малость смеркаться. «Раз завтра вставать на утреннюю зорьку, надо бы пораньше в спальник залезть, – подумал он – а сейчас самое время перекусить.» Он развел костер, повесил над ним котелок с зачерпнутой из Оки водой и начал готовить себе на ужин пшеничную кашу.

«Раньше, – с некоторой грустью вспоминал он, – мы тут только уху и готовили из пойманной рыбы и никаких консервов, а тут... Но ничего, если с утра рыба будет, так он дома в Москве такую уху закатит, что жена удивится.»

Пока каша допревала, источая сытный аромат, а он подвешивал над костром чайник, сзади раздался какой-то шорох, и откуда-то из-за кустов неторопливо вышел крупный рыжий пес; дружелюбно вертя хвостом, он подошел поближе рассмотреть, чем это тут занимаются.

– Откуда ты взялся, приятель? – спросил он у собаки.

Услышав приветливый человеческий голос, пес еще сильнее завертел хвостом и, подойдя вплотную, вдруг потерял о его ногу.

– Бросил кто-то бедного пса, вот он один и мается, – подумал он. – Но выглядит вполне ухоженным и в нормальном теле. Или кто подкармливает, или сам охотиться научился. Небось, в лесу и живет круглый год – вон мех какой густой.

И он, чуть нагнувшись, погладил собаку по спине и потрепал за ухом. Пес, явно стосковавшийся по человеческой ласке, даже глаза зажмурил от удовольствия.

– Ну вот что, приятель, – заговорил он, – раз уж к ужину пожаловал, то устраивайся у костра. Каши я много наварил. И даже миска у меня вторая есть. Только подождать придется, пока остынет.

Пес, казалось, понял его слова и, отойдя на пару шагов, улегся, положив голову на вытянутые вперед передние лапы и внимательно глядя на миску, в которой остывала его порция.

Поужинали они плотно, и еще некоторое время неподвижно сидели у костра – точнее, он сидел, а пес лежал. О чем думал пес, он не знал, сам же он вспоминал, как вот так же молча сидели они с Лёнкой и сквозь не такие большие и густые, как сейчас, кусты смотрели на реку. Удивительная была река в спокойные вечера – особенно, когда не расплескивали ее пароходы или лодки. Ровная, матовая, даже как будто слегка выпуклая поверхность воды была расчерчена аккуратными красными и желтыми дорожками от бакенов, и, казалось, они специально расставлены так, что длины одной дорожки как раз хватает добежать до соседнего бакена и дать начало следующей. Сейчас кусты разрослись, и бакенов было не видно, да и река еле просматривалась, но он знал, что и река, и бакены на месте, и отчетливо видел их своей разбуженной памятью. Впервые за эти дни ему было покойно на душе...

– Ну что, брат, пора и на покой, – оповестил он пса и полез в палатку в спальник.

Пес улегся у входа в палатку, как будто это место было ему привычным. И тут он вспомнил, как одно лето с ними провела Лёнкина собака Чара, которую обычно тот оставлял дома, но его жене тоже понадобилось куда-то отъехать, а сын уже был в пионерском лагере, так что псину они взяли с собой – такая здоровая темно-коричневая животина, спокойная, добрая и исключительно прожорливая. Первая, если можно так это назвать, проблема возникла с ней в связи с выбором места для спанья. Поскольку собака была Лёнкина, то предполагалось, что она и будет спать в его палатке, точнее, под пологом у входа в палатку. Так первые пару дней и было. Потом, однако, умная псина

уяснила, что первым встает он – Лёнька любил поваляться в палатке подольше – и готовит на всех завтрак тоже он. Чтобы не пропустить момент, когда он начнет выкладывать еду в ее миску, Чара и перебралась к его палатке. Лёнька это, естественно, заметил и взревновал. Его же винить было не в чем; он сделал капитальное внушение четвероногому приятелю на предмет верности. Пси́на виновато покрутила хвостом и с исключительной хитростью на оставшиеся дни выработала следующую тактику: с вечера Чара преданно ложилась к Лёнькиной палатке, а услышав оттуда равномерное дыхание, она перебиралась к его ногам, разумно полагая, что когда Лёнька, наконец, встанет, она уже будет накормлена, так что тому и в голову не придет выяснять, где она провела большую часть ночи. Так до конца поездки и шло.

Впрочем, при всем своем мирном нраве и покладистости, один раз она их серьезно опозорила. Дело было так. В какой-то из пятничных вечеров, когда и сами местные жители выезжают на берега, чтобы провести выходные у костра, какая-то семья разбила свой лагерь недалеко от них. Хотя прямо на голову они и не сели, но слышно их было отчетливо. Когда утром он вылез из палатки, Лёнькиной собаки не было, что показалось ему довольно странным, поскольку при первом его шевелении Чара уже занимала своё место у костра и нетерпеливо смотрела за его руками, дожидаясь, когда они начнут своё главное дело – накладывание еды в её миску. Он начал ее звать, разбудив этим друга.

– Пошли искать – сказал Лёнька.

И они пошли, продираясь сквозь прибрежные кусты. Поскольку их палатки стояли на самом мысу, то, естественно, путь вел в сторону стоянки прибывших вчера вечером местных. И они увидели, что Чара стоит возле погасшего костра и старательно вылизывает составленные около него кастрюли и сковородки. Полог палатки чуть приоткрылся и несколько нервозный мужской голос произнес:

– Ребята, это ваша собака? А то мы побаиваемся выходить.

– Наша, наша, – успокаивающе произнес Лёнька – не бойтесь, она очень добрая и никого не тронет!

И он громко приказал:

– Чара, ко мне!

Собака с виноватым видом побрела к Лёньке, понимая, что поимана за недостойным занятием; полог палатки откинулся и оттуда вылезли невысокий мужик и парнишка лет десяти, который тут же спросил:

– А погладить её можно?

– Можно, можно – великоушно позволил Лёнька, – она это любит.

Шкет осторожно приблизился к так напугавшему его здоровенному зверю и погладил Чару по спине. Она блаженно зажмурилась и села, чтобы ему было удобнее ее гладить. Паренек запустил обе руки в ее густой мех и оба стали наслаждаться моментом. Успокоенный мужик слегка назидательным тоном сказал:

– Парни, добрая собака – не добрая, а кормить ее надо нормально. А то вон она у вас с голодухи к нам прибежала и давай вчерашние остатки жрать! Разве это дело?

– Да вы не верьте ей, – сказал смущенный Лёнька, – кормим мы ее от пуза. Просто это порода такая прожорливая – ей всё мало. Вот к вам и забрела.

– Ну-ну, – пробормотал мужик, явно не поверивший, и мы отправились к себе.

– И не совестно тебе, – отчитывал Чару Лёнька, – пред людьми нас опозорила. Они теперь думают, что мы плохие хозяева и тебя голодом мучаем. А ты жрешь за троих – вон как рожу разъела.

Чара, понимая, что выговаривают за дело, шла, потупившись и виновато виляя хвостом.

...И вспомнилась ему эта история так хорошо и живо, что он невольно улыбнулся. Так с улыбкой и заснул.

А утром они с собакой перекусиди остатками каши, слегка подогрев ее на костре, запив – он чаем, а пес – окской водой. И оба спустились к реке. Он нес одну из захваченных удочек – зачем только остальные взял, разве что по инерции, ведь ответственным за удочки всегда был он, и надо было иметь именно три: одну для себя, одну для Лёньки и запасную. Ну да ладно, остальные пусть в багажнике полежат.

Поплавок неподвижно стоял в тихой воде, а он сидел, поглаживая прикорнувшего рядом пса, и беседовал с Лёнькой:

– Прости, друг! Я вот себя берег от переживаний, поэтому и про нашу Оку старался не вспоминать, и с тобой не разговаривал. Как-то совсем упустил, что близкие люди еще долго с нами даже после смерти. Мы не перестаем думать о них, разговаривать, просить совета. Наша связь не прерывается, пока мы сами живы. А я так жалел, что мы больше не сможем вживую увидеться, что даже и мысленный разговор с тобой прекратил. Себя жалел, так мне плохо было. А надо было с тобой говорить. Сколько раз мне твой совет нужен был, сколько раз нужно было тебя о помощи попросить, а я всё боялся прошлое разбудить. А какое же оно прошлое, когда я вот сейчас с тобой разговариваю и верю, что и ты меня слышишь. Не может такого быть, чтобы мы друг друга навсегда потеряли. Не зря же люди всегда верили, что ушедшие нам разные знаки подают, чтобы мы знали, что вы нас слышите и всегда к разговору готовы. А знаки эти любыми могут быть. Многие верят, что друзья наши к нам птицами возвращаются – хоть синичкой, хоть голубем, хоть коршуном. А почему обязательно птицами? Вот пес этот – зачем он ко мне пришел и не уходит, как будто ждал меня и знал меня всегда? Вот ты ведь так собак любил... Может, и он от тебя? Сказать-то он сам, конечно, не скажет, но ведь думать-то так мне никто запретить не может...

И он еще раз погладил лежащего рядом пса, который, казалось, внимательно смотрел на поплавок и от его прикосновения даже не пошевелился.

А тут и поплавок под воду ушел, и после грамотной посечки первая вполне приличного размера плотва забила в его опущенной в воду сетке. И пошло, и пошло... А Лёнька сидел рядом и подшучивал над его азартом. Так они втроем и таскали плотву, пока солнце не поднялось довольно высоко и клев прекратился.

– Ну что, ребята, сворачиваемся, – громко сказал он и специально для Лёньки добавил: – А с тобой мы еще на обратной дороге поговорим, всё-таки часа три до Москвы. А на будущий год, даст бог, снова на рыбалку выберемся. Чувствуется, что наше место еще надолго ничьим не будет.

Пока он сворачивал спальник, паковал рюкзак и собирал палатку, пес неподвижно лежал около уже затушенного костра и следил за его сборами. Он потащил барахло к машине и стал укладывать его в багажник. Пес немного постоял рядом, разок потерся о его ногу, а потом повернулся и, шагнув в кусты, мгновенно исчез, как будто его и не было.

Упаковав тяжелую сетку с рыбой в большой пластиковый пакет и аккуратно пристроив этот пакет в багажник, он сел в машину и тронулся в обратный путь, думая, какая хорошая у них с Лёнькой получилась рыбалка и какую шикарную уху он приготовит жене сегодня на ужин.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СОБАКИ

Название этой истории мне самому не очень нравится. Почему, собственно – «одной»? Одной из многих? То есть типичной? Такой же, как многие другие, но оказавшейся у меня и именно поэтому попавшей в мою историю? Значит, можно было просто назвать «История моей собаки»? Но тогда получается, что акцент именно на том, что она моя. В какой-то мере верно – поскольку была бы не моя, совсем другая сложилась бы история, о которой вполне можно и не рассказывать. Конечно, можно было бы прямо назвать: «История Кармы», но, согласитесь, звучало бы как-то странно – словно о чьей-то судьбе рассказываешь, а о чьей именно – непонятно. Поэтому, хотя речь пойдет именно о моей собаке и именно о Карме, стоит, пожалуй, оставить название как есть. В конце концов, она ведь действительно собака. И к тому же, значительная часть ее истории ко мне непосредственного отношения не имеет. Знаете, как говорят про людей иногда: в его/ее судьбе отразились все перипетии нашего непростого времени... Так ведь и в собачьей судьбе отражаются! И еще как! Хотя, впрочем, справедливости ради, надо заметить, моя судьба в ее истории отразилась. Так сказать, карма у нас с Кармой была схожей...

Итак, эта «одна» собака Карма родилась в 1983-м (Москва, СССР), скончалась в 1998-м (Бостон, США). Порода – английский лабрадор. Масть – черная. Пол – женский (назвать «сукой» язык не поворачивается, кстати, она сукой и не была, она была дамой или даже

Дамой). Вес – 28,5 кг. Особые приметы – красавица! Родственников ее я знал только по женской линии – бабушку и маму. Вот с бабушки, собственно, всё и началось. И хотя начало это окутано легендами, но лучше легенда, чем вообще ничего. Вот что точно, так это то, что в начале 1970-х мой хороший товарищ женился на англичанке. На самой настоящей, работавшей в посольстве Великобритании. По тем временам ситуация исключительная и немедленно привлекающая к моему товарищу, как и ко всем, кто эту молодую семью навещал, внимание, так сказать, компетентных оранов. Всех, пришедших на свадьбу, практически открыто фотографировали какие-то ошивавшиеся у подъезда посторонние люди. Ну да бог с ними. Они к нашей истории не относятся.

А вот тот факт, что родители невесты, не очень представляя себе, что можно и нужно дарить молодым в далекой заснеженной России, подарили им щенка лабрадора, купленного (это уже в соответствии с легендой) на распродаже породистых щенков, которую пару раз в год устраивала королевская (sic!) псарня. Когда эта дареная лабрадорша по имени Сюзи подросла и не вошла еще даже в полную силу, я, регулярно общаясь с ней в доме у приятеля, ощутил в себе непреодолимое желание завести такую же собаку. Жена моя, хотя к собакам относилась с большой осторожностью и даже с опаской, мое желание не то, чтобы разделила, но поняла. Но вот вопрос – а где такую собаку взять? Не ехать же в Лондон на очередную распродажу!

Тут начинается легенда, относящаяся к мужской линии появившихся в Москве лабрадоров. Специалисты по истории породы, если таковые существуют, могут что-то оспорить, но прелесть легенд в том, что сколько их ни оспаривай, а они живут и жить будут! Где-то в 70-х то ли сам Брежнев, то ли еще кто-то из самых высоких начальников, побывал в Англии с визитом и в качестве одного из подарков от хозяев получил щенка-мальчика лабрадора – по-видимому, с той же «королевской» псарни. Разумеется, большому начальнику было не до собаки, и он подарил щенка – попробуй откажись! – своему то ли адъютанту, то ли охраннику, в общем, какому-то генералу. Если это действительно был сам Брежнев, то, похоже, пса от него получил запомнившийся мне по телепоказам брежневских визитов квадратный генерал-майор, который на всех церемониях стоял позади левого плеча Генсека и обычно принимал от того очки, которые прятал в свой (именно в свой!) нагрудный карман. Во всяком случае, как раз генерал дальше в нашей истории фигурирует. В общем, для щенка и для генерала дальнейшая судьба сложилась хорошо (во всяком случае, на известный нам период). Как можно догадаться – да и как могло быть иначе! – в своего мальчика-лабрадора новый хозяин и всё его семейство намертво влюбились и, по истечении некоторого времени, возжелали получить от него потомство – в первую очередь, чтобы осчастливить собственных друзей и родных, которые, посещая генеральский дом, тоже были очарованы необычной по

тогдашним московским временам такой милой собачкой. Значит, нужна была достойная девочка. Знакомые собачники ничем помочь не могли, но учитывая высокое положение хозяина, обратившегося к службам, надзирающим за разнообразными представителями общества, те довольно быстро доложили, что в Москве на данный момент есть только одна девочка-лабрадор с хорошей родословной, но принадлежит она семье политически подозрительной и неблагоданежной – молодой советский ученый, женатый на англичанке. По-видимому, политика в данном случае генерала не интересовала, потому у наших приятелей и появились необычные (или, в их ситуации, обычные) гости из надзорного ведомства с очень странным для этого ведомства предложением – не стучать на соседей, а предоставить свою собаку – лабрадора женского пола – для, говоря кинологически, вязки. Предполагаемый партнер в смысле происхождения ничем не уступает, да это и не так важно, поскольку выполнить эту просьбу всё равно придется, хотят они или не хотят. Особых возражений, учитывая ситуацию, не было, и, таким образом, в положенный природой срок молодая семья с собакой оказались в генеральской квартире, где эта самая вязка и произошла под бдительным присмотром ветеринара в военной форме. Именно так, в соответствии с легендой, была заложена первая линия московских (а может, даже и российских) лабрадоров.

В нужный срок Сюзю оценилась. Генерал взял положенного ему, как владельцу кобеля, щенка и заплатил, довольно скромно, за еще одного – для родни; остальные остались, так сказать, в семье. Но не надолго, многие из друзей тоже возжелали стать собачниками. Нам в ту пору собаку никак нельзя было завести, поскольку теснились мы с женой в одной комнате, только-только родилась наша дочка... Так что, стиснув зубы, мы смотрели на щенков завистливым взглядом – не выпуская из сферы своего внимания новоиспеченных владельцев, надеясь поживиться из следующего помета. Так оно и вышло. Через несколько лет мы встали на ноги, обзавелись своим жильем – и щенком от одной из дочерей Сюзю (что важно – похожей на Сюзю как две капли воды). Так в нашем доме появилась Карма. На самом деле, что отражено в сертификате о ее рождения, ее настоящее имя было во много раз длиннее – что-то вроде Остап-Сулейман-Берта-Мария, где слово Карма появлялось в самом конце этого многокомпонентного имени, непосредственно перед ее дворянской фамилией фон Донбаг. И своей благородной фамилии, и высокому происхождению, экстерьером и поведением она, как с полной очевидностью выяснилось с течением времени, полностью соответствовала. Довольно скоро – уже через несколько месяцев – обнаружилась одна ее особенность. Она практически не подавала голоса. То есть, даже если ей что-то было надо – она не лаяла. Она смотрела на нас таким взглядом, что всё становилось понятно и без её собачьих слов. При этом взгляд был с явной укоризной: дескать, почему это вы сами не собразили, что настало время для того-то и того-то, и я должна вам об этом напоми-

нать; Вы что, не понимаете, о ком вам выпала честь заботиться?! Словом, как в старом анекдоте о ребенке, который долго не заговаривал, поскольку особой нужды не было. Кстати, именно этот анекдот и натолкнул меня на девиз, под которым протекала вся дальнейшая Кармина жизнь, по крайней мере, в течение советского периода ее биографии. Услышав в очередной раз анекдот о долго молчавшем ребенке, я торжественно объявил, что если многие в этой стране живут, как собаки, то моя собака будет жить, как человек, так что пусть и дальше молчит или показывает неудовольствие нашей нерасторопностью своим выразительным взглядом.

И хотя росла Карма в обычной московской квартире, ее благородные гены давали о себе знать. Так, она ненавидела нашу малогабаритную кухню и каждый раз, когда наступало время приема пищи, она одаривала нас таким презрительным взглядом и – чтобы мы не сомневались, к чему презрение относится, – обводила возмущенным взглядом крошечную кухоньку – и нам действительно становилось стыдно за то, в каком помещении мы едим сами и кормим ее. Правда, в отношении еды она особой привередливости не проявляла и ела всё то же самое, что и мы. Однажды мне пришлось наблюдать, как моя жена чистила картошку, а сидящая рядом Карма жевала выползающую из-под ножа кожуру и жмурилась от удовольствия. В общем, пищевых отходов в доме больше не было, и ходить с мусорным ведром к мусоропроводу я стал куда реже.

Впрочем, пищевые привычки семьи вырабатывались не только нами. И если мы приучили Карму к нашему столу, то и она подарила нам кое-что новое. Поскольку постоянно кормить ее мясом, пусть даже и с разными овощными добавками, было дороговато, да и мясо купить в те годы в Москве стало известной проблемой, то по совету одного опытного собаководы, мы стали покупать ей ледяную рыбу. «Ледяная рыба» – именно так называлась эта замороженная белокровная щука, которая сегодня считается деликатесом класса «премиум», а тогда она стояла в самом низу пищевой пирамиды, хуже каких-нибудь путассу и минтая, да и цена была соответствующая, минимальная. Мы и стали ее покупать Карме, тем более что рыбу эту можно даже не чистить от костей – их мало, и они очень мягкие, не проблема и прожевать. Так что слегка отваривали и крошили в миску. Ей нравилось. А как-то, разламывая довольно длинную рыбку на кусочки, я так прельстился ее плотным белым мясом, практически без специфического рыбного запаха, что забросил кусочек себе в рот. Понравилось не меньше, чем Карме, и с того дня ледяная рыба стала важным компонентом нашего постоянного меню – дешевая, вкусная и готовить легко: чуть отварить в соленой воде – и вуаля!

Спала Карма, естественно, с нами в кровати. Поначалу мы попытались объяснить, что ее место – на подстилке, положенной нами в уголке коридора, но она одарила нас таким взглядом и так выразительно повернулась к подстилке задом, что нам стало стыдно за свое

поведение. И еще долго, проходя мимо этого уголка в коридоре, Карма не забывала послать нам укоризненный взор, напоминая о нашей бестактности. В целом, ее присутствие в кровати нас особенно не смущало, тем более что ее всегда можно было какое-то время подержать за дверью. Но вот необходимость постоянно чистить одеяло и простыни от ее шерсти серьезно раздражало. Интересно, что повышенная линючесть во всех кинологических источниках указывается как основной (если не единственный) недостаток лабрадоров, и мы это поняли на собственном опыте. Ее шерсть была везде. Когда мы открывали морозильник, чтобы достать давно положенную туда пачку сливочного масла, под оберткой мы находили прилипший к желтому бруску собачий волос... Впрочем, человек привыкает ко всему. И мы привыкли. Просто пылесосить стали чаще.

Вела себя Карма очень сдержанно и к так называемым собачьим ласкам относилась без восторга, хотя когда ее гладили, не возражала, – скорее, терпела из вежливости. Два ритуала, однако, соблюдались неукоснительно: когда кто-то из нас троих (я, жена и дочь) приходил домой после даже недолгого отсутствия, она выходила в переднюю и обнималась – вытягивалась во весь рост на задних лапах, положив передние на грудь вошедшему, коротко лизала в правую (именно в правую!) щеку, после чего возвращалась к своим делам. А когда ей самой хотелось, чтобы ей почесали живот (аристократка – не аристократка, но такие низменные желания ей были до некоторой степени не чужды) – она ложилась на спину «поперек дороги» – так что не обойти.

Естественно, Карма очень любила гулять. Особенно, когда мы отпускали ее побегать без поводка. Границы гуляния – у большого травянистого бугра, на котором собирались все окрестные собачники, – она усвоила быстро и никогда за пределы не выбегала. Резвилась с другими собаками, бегала за палкой или мячиком – всё как все, и мы ничего особенного не замечали, пока на это не обратили наше внимание другие собачники: оказалось, что когда у собак возникают конфликты, что вполне естественно, они лаются, даже слегка цапаются между собой, но никогда – с Кармой! Если даже кто и бежал к ней с какими-то претензиями, то, подбежав почти вплотную, приостанавливался, переставал гавкать и, постояв некоторое время, разворачивался и возвращался к своим играм. Да и Карма никогда не лаяла, а просто неподвижно застывала и внимательно смотрела на оппонента. В крайнем случае, откуда-то из самой глубины собачьего тела издавалось даже не рычание, а какой-то еще более низкий звук, действовавший на собак совершенно магнетически. Вот такие дела.

Когда Карма выросла – году на третьем – мы, в дополнение к нашим обычным визитам к ветеринару, – решили, на всякий случай, получить независимое мнение и после долгих переговоров и перезваниваний заполучили себе на дом самого знаменитого московского специалиста по собакам. Он долго осматривал и щупал Карму, кото-

рая переносила осмотр стоически, словно понимая (а, может, и на самом деле понимая), какие деньги за этот осмотр плачены. В процессе он долго разговаривал с Кармой, и, мы можем поклясться, она ему отвечала, так что ее взгляд на житьё-бытьё в нашем обществе он у нее выспросил. Потом он беседовал с нами – чем и как часто кормим, где и по сколько гуляем, играет ли она с другими собаками и всё такое прочее. Потом подвел вполне ожидаемый итог: отличная собака, здоровая, в хорошей форме – хоть на обложку собачьего журнала. Но что-то его все-таки смущало.

– Понимаете, – осторожно заговорил он, – у собак так устроено, что даже если они живут в семьях, все члены которых относятся к ним прекрасно, собака признает, выбирает или назначает, как хотите, главного, так сказать, вожака стаи, кого-то одного. И это всегда видно по ее поведению. У вас, однако, всё выглядит очень странно. Такое впечатление, что именно Карма в вашей семье главная, и она это осознает. Вас это не огорчает?

Нас это не огорчало. Мы объяснили доктору, что с ее происхождением мы другого и не ожидали, что ее главенство мы и сами замечали, и свою роль вожака она справляет с исключительным тактом и пониманием. Вот такая у нас странная стая.

– Как у волков, – вставила моя подростковая начитанная дочь, – у них тоже всегда волчица в стае главная!

– Ну, значит, я побывал в настоящей волчьей стае, – доктор посмеялся вместе с нами, но ушел несколько удивленный необычностью ситуации. А нас ситуация вполне устраивала, и стали мы жить-поживать дальше.

Однако, долгого спокойствия мы не получили. Дело в том, что к тому времени в Москве уже появилось некоторое количество лабрадоров, и восхищенные хозяева даже создали свою секцию в клубе собаководов – правда, присоединенную к секции ньюфаундлендов, которые каким-то образом приходились лабрадорам дальними родственниками (а, может, и близкими – уже запомнил). Через некую цепь общих знакомых выяснилось, что у нас есть прямой потомок знаменитой Сюзи, и нам стали названивать члены клуба, усиленно приглашая на разные клубные мероприятия и соревнования. Нам стало интересно и себя показать, и других посмотреть. Так что в итоге на какие-то показы мы записались. К большому огорчению клубных активистов скоро выяснилось, что наше присутствие самым драматичным образом лишило всех остальных претендентов первых мест и золотых медалей – Карма оказалась просто идеальным представителем породы. Например, рост дамы в стандарте породы мог варьировать от 54 до 59 см – у нас было ровно 56.5; вес мог быть от 25 до 32 кг – у нас было ровно 28.5, и так далее; это приносило нам золотые медали, но вызывало законное раздражение – в основном, у дам-владелиц бальзаковского и постбальзаковского возраста, составивших актив клуба. Помимо более или менее явного недоброжела-

тельства (один из наших знакомцев по собачьей секции, который владел ньюфаундлендом, а значит, поводов для ревности не имел, как-то в шутку, а может, и нет, даже посоветовал нам следить, чтобы Карма никаких пищевых подачек в клубе не принимала – отравят!), мы столкнулись еще и с целым валом всяких интриг и сплетен и были неприятно удивлены, никак не ожидая встретить такой итальянский двор среди лабрадоровладельцев. Еще вчера недовольно кривившаяся при виде нас с Кармой дама сегодня сообщила нам полушепотом, что, оказывается, вон у той, что в импортной дубленке, задние зубы недоразвиты (естественно, не у владелицы дубленки, а у ее собаки), а вон у того в синей «Волге» спина больше нормы провисает, и вообще, один в этой компании порядочный человек – вон тот в золотых очках, да и тот свинья... В общем, скучно не было. Впрочем, через некоторое время к недоброжелательности притерпелись, сплетни надоели, медалей наполучали достаточно, так что с клубными делами решили мы понемногу кончать.

Апофеозом нашей выставочной эпопеи стала забавная ситуация. На каких-то очередных то ли показах, то ли соревнованиях, называя пол собаки и имя владельца, во всеуслышание прозвучал хорошо поставленный голос ведущего: «А сейчас в ринг приглашается сука Торчилин». То ли он случайно произнес эти слова с какой-то особой интонацией, то ли они прозвучали как-то иначе, чем при других вызовах, но сомнений в том, что определение пола собаки прозвучало определением сущности ее хозяина, просто быть не могло. Все мои болельщики, а за ними и весь собачий бомонд, грохнули от смеха. Мы с Кармой, как и положено лицам нашего воспитания, хотя и были некоторым образом фраппированы, но сделали вид, что ничего не заметили, и гордо прошли в ринге (заработав очередную золотую медаль). Но после этого случая я категорически заявил, что медалей нам хватит – не Брежнева же обгонять по наградам – и что больше никаких выставок и показов. Завязываем! И завязали, к вящему удовольствию оставшихся членов клуба.

С другой стороны, понимая, насколько наша псина хороша, они были не против получить от нее потомство. И начали планомерную осаду. Нам звонили, писали, даже подсылали членов клуба, с которыми у нас были приязненные отношения... С течением времени к осаде добавили финансовые аргументы: поскольку, дескать, большая часть щенков достается хозяевам самки, то мы можем прилично заработать на продаже щенков. И еще давили на наши родительские чувства: если собака не рождает, то велик шанс рака матки. В конце концов, мытьём и катаньем, нас уговорили. Так что, дождавшись положенного срока, мы с Кармой оказались в квартире где-то в окраинном по тому времени Бирюлёве. По зимнему времени мы приткнули наш «Жигуленок» во дворе между сугробами и поднялись на пятый этаж без лифта.

И тут началась эпопея! То есть сначала знакомство и хозяев, и собак прошло гладко, но затем возникли серьезные проблемы. Как

оказалось, опыта вязки не было не только у нас, но и у хозяев кобелька. У нас в руках была лишь инструкция. Вот этим «Руководством» мы и руководствовались, пытаясь расставить собак в положенные позы. Не помогло. Карма категорически заупрямилась. Мы даже перенесли всю эту собачью возню с пола на диван – вовсе не для того, чтобы уподобиться семейству Борджиа, а исключительно в надежде, что спинка дивана помешает Карме в решающий момент снова увильнуть... Не помогло. Дело в том, что возле дивана стоял большой шкаф. И Карма со всей своей собачьей силой вырвалась из наших восьми рук и вспрыгнула с дивана на шкаф! Если вы видели, как запрыгивают на шкаф коты – Карма дала бы сто очков вперед любому коту! Это было настолько неожиданно, что мы оторопели. И тут Карма впервые подала голос. Это был не лай, а такое грозное и мощное рычание, и стало ясно: она нас на куски порвет, если мы продолжим.

– Ну что ж, – вздохнули хозяева – не вышло так не вышло! – И успокоили нас: – Вы хоть на вязке сэкономили. Денег с вас брать не за что.

Как же, сэкономили! Когда мы подошли к машине, то увидели, что нам еще долго с этого места сдвинуться не получится: местные гопники полностью «раздели» нашу машину, сняв колеса, зеркала и щетки стеклоочистителя. Машина стояла на заботливо подложенных под оси кирпичиках. Дело, в общем, по тем временам обычное на московских окраинах... Пришлось со всеми положенными извинениями подниматься обратно к кобелевым хозяевам, выслушивать поток сочувствий и прочно садиться на телефон (мобильников тогда еще не было) – обзванивать всех друзей, которые могли бы выручить хоть одним колесом (о зеркалах и щетках речи даже и не шло). История продолжалась чуть не до утра, пока мы не добрались до дома. В общем, попытка сделать Карму мамой обошлась нам в такую «копеечку», что даже несколько поколений щенков вряд ли окупили бы ее. Больше мы на девственность Кармы не покушались.

...Так мирно и шла бы ее собачья жизнь, если бы к концу восьмидесятых мы твердо не нацелились на эмиграцию. Естественно, о том, что делать с Кармой, мы думали, но особой проблемы не видели: дочь, которая к тому времени как раз вступила в несколько ранний по ее годам законный брак, была просто счастлива оставить Карму себе. Мы полагали, что расстаемся навсегда, – на то время Советский Союз еще существовал, его скорого распада никто не предвидел, и все дурацкие законы, правила и ограничения были в полной силе. Если с дочкой еще можно было общаться по телефону или даже встретиться где-нибудь за пределами Союза, как делали многие другие разделенные подлыми советскими правилами семьи, то уж с Кармой нам точно надо расставаться окончательно.

Короче, мы уехали, Уехали не вполне легальным образом, что привело к двум серьезным последствиям. В Союзе мы превратились в нарушителей закона, то есть практически в уголовников, и если бы

вздумали приехать, просто попали бы под суд; а в новой стране – в Штатах – мы оказались практически голыми, поскольку никакого барахла мы, естественно, с собой захватить не могли. Даже на звонки дочери поначалу денег не было. Но жизнь – штука быстрая, и уже через пару лет мы жили в совершенно другой реальности. Во-первых, нашли вполне достойные работы и зажили, как говорится, на широкую ногу (по нашим, естественно, еще московским малогабаритным меркам), а во-вторых, – кто бы мог подумать! – Союз распался, и мы не только перестали быть закононарушителями (о чем позаботилось сообщить мне российское посольство), но и получили возможность приезжать в Россию, – чем, стосковавшись по дочери и Карме, немедленно воспользовались. Правда, особого доверия к новым российским властям у нас не было, и мы решили, что поеду я один, а жена останется в Штатах, чтобы поднять шум, если меня в новой России все-таки зацапают. И опасения оказались напрасными – и границу пересек без проблем с белой карточкой временного американского резидента и почти просроченным российским паспортом, и до своего московского, а теперь уже дочкиного, дома добрался быстро. Я представлял себе, как левой рукой я буду обнимать открывшую мне дверь дочь, а правой – Карму, вытянувшуюся, чтобы привычно лизнуть мне правую щеку... Однако, если дочь, как и ожидалось, кинулась мне на шею, то правая рука повисла в воздухе: Карма не только не полезла лизаться, но при виде меня отвернулась и демонстративно ушла в комнату. Не надо и говорить, как я удивился и огорчился.

– Что это с ней? – спросил я, пораженный.

– Она на тебя очень обижена, – объяснила мне дочь – С самого начала. Она сразу почувствовала, что это не твоя короткая командировка; вы оба сразу исчезли. Вот и решила, что вы ее бросили. Мы не хотели по телефону об этом говорить, но тосковала она ужасно. Два дня ничего ела. Легла в коридоре и от двери глаз не отводила. Еле мы ее отвлекли. Да и потом все эти месяцы то и дело в коридоре садилась и на дверь смотрела. Вас ждала. А вас не было.

У меня сердце оборвалось. Я кинулся к Карме с объяснениями и извинениями. Она внимательно слушала и даже дала себя гладить, но при этом стояла совершенно неподвижно и смотрела в сторону. В общем, сколько у меня было свободного времени за десятидневное пребывание в Москве, столько я и тратил на беседы с Кармой, буквально не выпуская ее из рук, даже когда сидел за завтраком с дочерью и зятем всё в той же малогабаритной кухне, которую она так и не полюбила. И, надо сказать, подействовало. Последние дни у нас всё стало, как когда-то. Но на сердце было тяжело – ведь снова уезжать, бог знает насколько. Мысли о том, как Карма переживет мой новый отъезд, всерьез отравляли мое существование.

Примерно через год я снова оказался в Москве, еще в дороге разработав стратегию, как я буду вымаливать у Кармы прощение. Но вся подготовка оказалась ненужной: Карма встретила меня, как будто

вчера расстались! И обняла, и лизнула, и повела новые игрушки показывать. Никаких обид! И я понял ее собачью логику: если сначала она и правда думала, что я ее бросил, и простить мне этого не могла, то теперь поняла: просто я на время исчезаю, пусть даже надолго, но всегда к ней возвращаюсь, а значит, обижаться нечего, и ее преданной собачьей ласки я по-прежнему заслуживаю. Как гора с плеч!

А дальше всё завертелось, как при ускоренной перемотке. Дочь с зятем, блестяще сдав какие-то там экзамены при американском посольстве, получили в Штатах аспирантские стипендии, списались с несколькими университетами, выбрали Бостон, чтобы быть к нам поближе, и стали готовиться к срочному перебазированию в Штаты. Карму, естественно, брали с собой, чтобы вернуть ее нам с женой. Как потом рассказывала дочь, собрать все положенные для перевозки собаки справки и заключения оказалось хоть и не очень просто, но всё же быстрее, чем ожидали. Кстати, сильно помог собачий паспорт, свидетельствующий о ее аристократическом происхождении, и многочисленные золотые медали, специально ради такого случая прикрепленные к ее ошейнику. Так что в назначенный день они погрузились на самолет «Аэрофлота», чтобы лететь в Нью-Йорк, отправив Карму в специальной клетке в багажное отделение вместе со всем остальным своим барахлом.

Как выяснилось потом, при всей своей аристократической выдержке, попав в клетку, а в ней – в багажное отделение – и оказавшись в полном одиночестве, Карма наплевала на свой собственный обет немногословия и подняла такой вой, что он был отчетливо слышан в салоне, так что у пассажиров возникло необоснованное подозрение, и многие заволновались. Обалдевшие стюардессы не знали, что делать и, в конце концов, предложили нашему зятю перебраться в багажное отделение. Он так и сделал. При его появлении Карма немедленно замолчала, но как только он направился обратно к лестнице в салон, Карма завывала с новой силой. Так что пришлось бедному, но самоотверженному зятю, закутавшись в три одеяла, выданных ему вошедшими в положение стюардессами, провести полет, приткнувшись к собачьей клетке. На время посадки она его отпустила в салон, поняв, что он находится где-то рядом и она не брошена на произвол судьбы. Все положенные в Штатах для иностранной собаки церемонии и процедуры она прошла с полным спокойствием и даже некоторой надменностью. После чего ступила на американскую землю. На выходе в зал прилетов с нетерпением ее ждал я; Карма ринулась ко мне и, поднявшись на задние лапы, лизнула меня поочередно в обе (обе!) щеки. Потом передвинулась, чтобы лизнуть жену. Семья воссоединилась.

На обратном пути в Бостон мы, перебивая друг друга, делились подробностями нашего раздельного житья-бытья по обе стороны океана. Карма тактично помалкивала, а потом и задремала на заднем сиденье. Быстро темнело. Мы уже приближались к Бостону – и к проблемам, что ожидали нас там. Дело в том, что жили мы в съемной

квартире, где держать животных не разрешалось, а в свою новую, только что купленную в доме, где собаки дозволялись, нам можно было переехать только через четыре дня, – так что перед нами стояла нелегкая задача скрывать Карму от соседей и от комендантши. План, в общем-то, был с женой разработан. Учитывая Кармин спокойный нрав и необходимость выводить ее всего дважды в сутки, мы планировали делать это по темноте, чтобы минимизировать возможность столкновения с кем-либо из обитателей дома. Остановившись на минутку перед Бостоном, чтобы вывести Карму справиться свои дела, я вдруг сообразил:

– Народ! А попробуйте поставить себя сейчас на место Кармы: везли неведомо куда, засунули в машину с какими-то тюками и чемоданами, въехали в ночь, остановились посреди леса и теперь еще предлагаем выйти из машины. Ясное дело, чтобы бросить или того хуже – закопать где-нибудь в лесу, позабыв все семейные связи и привязанности. Я бы на ее месте не выходил!

И что бы вы думали? Не знаю, прочитала ли Карма мои мысли или сама думала точно так же, но когда мы предложили ей выйти, она категорически отказалась, а когда мы попытались ее вытащить, она цеплялась всеми четырьмя лапами и не слушала наших ласковых увещеваний. Даже пару раз угрожающе лягнула зубами, чего до сих пор вообще никогда не делала. Всё, что нам удалось, это вытащить из машины ее заднюю часть, передними лапами она цеплялась за борт машины. Именно в таком положении она торопливо сделала свои собачьи дела, после чего немедленно заскочила на заднее сиденье и забила в дальний от открытой двери угол. Ну, хоть так... Во всяком случае, в квартиру мы ее привели без проблем.

Проблемы начались на вторые сутки, когда к нам пожаловала комендантша. Как мы ни таились, появление Кармы незамеченным не оказалось, и, как и положено добропорядочным американским обывателям, они немедленно донесли начальству. Эта милая дама была полна сочувствия и понимания и предложила нам компромисс: так как она сама «собачница» и держит дома лабрадора (кстати, отметила Кармину красоту и посетовала на то, что у американских лабрадоров – мы об этом и понятия не имели – ноги тоньше, а морда – уже), то не будет возражать против пребывания Кармы, но если кто-нибудь из жильцов вновь пожалуется, она будет вынуждена просить нас сдать Карму в собачий приют, а если мы будем динамить ее, то придется привлечь полицию... Мы, естественно, согласились. И всё прошло гладко – никто из соседей не жаловался, при встречах с комендантшей мы мило друг другу улыбались, а через три дня вместе с Кармой уже обживали наше новое обиталище.

С этого момента начинается американский период бурной карминой жизни. И, как ни крути, период старения. Поскольку лабрадорам дают десять-двенадцать лет жизни, а в Штаты она приехала, будучи уже слегка за десять, здесь Карма и старела. Первые пару лет это было

незаметно, и она всю наслаждалась прелестями американской жизни – никогда не надоедавшим ей плаванием за мячиком в океане (этой плавательной компоненты лабрадорских привычек в России она была практически лишена – редко-редко мы выбирались с ней на воду) и беганьем за палкой по заснеженным гольфовым полям. Она выразила полное одобрение новой квартире, кухне и коридору настолько, что даже часть ночей проводила не с нами в одной кровати, а в коридоре на шикарном матрасике, купленном специально для нее. Карма быстро освоила английский и уже через пару месяцев после приезда стала настоящей двуязычной собакой, прекрасно понимая не только команды на двух языках, но и нередкие беседы на английском, в которые с ней вступали привлеченные ее внешним видом и не знавшие о ее происхождении аборигены. Потом начались болезни. Сначала, как и прощались нам когда-то московские клубные деятели, обнаружился рак матки, и доктор подтвердил, что у нерожавших собак это дело нередкое. И хотя операция прошла успешно (разве что пришлось Карме некоторое время походить в большом пластмассовом жабо, которое есть не мешало, но лизать рану не позволяло), ее даже такая временная неполноценность и, главное, невозможность принять свою обычную надменную позу, когда она была чем-то недовольна, явно смущала.

В один прекрасный день она вдруг отказалась подниматься по лестнице на второй этаж и при этом смотрела на нас такими виноватыми глазами, что жена, обняв ее, даже расплакалась, и мы стали как можно больше времени проводить внизу. Хорошо, что наша спальня тоже была на первом этаже и хотя со временем Карма уже не могла вспрыгивать к нам на кровать, она всегда могла лечь на полу рядом. Постепенно ей становилось всё хуже и хуже – она уже с трудом ходила и даже по всем своим надобностям от крыльца нашего таунхауса больше, чем на несколько шагов, не удалялась. Мы ухаживали за ней, как обычно ухаживают за лежачими больными, – убирали, протирали, подносили миску с едой или водой ко рту, гладили ее и говорили с ней, боясь, что не успеем наговориться, а она только иногда чуть подавала голос и смотрела на нас. Как будто извинялась за все причиненные хлопоты. Потом стала отказываться от пищи. Мы пригласили доктора узнать, что еще можно сделать, и он озадачил нас вопросом:

– А для кого вы так стараетесь продлить ей жизнь? Если для нее, то это зря. Ей пора умирать, и она это прекрасно понимает, тем более, что сейчас жизнь приносит ей только боль и мучения и никаких радостей, если она даже от еды отказывается. А если для себя, то не кажется ли вам, что это очень эгоистично – мучить животное для своего удовольствия? Привозите ее к нам в клинику на эвтаназию.

Мы поняли.

Повезла жена. Я только помог погрузить Карму в машину. Она даже лизнуть меня на дорогу не смогла. Присутствовать на эвтаназии моего мужества не хватило. И жена мне деталей рассказывать не стала. Сказала только, что всё произошло очень быстро.

После смерти Карма еще долго жила с нами, мы даже коврика ее не убирали. Много дней, возвращаясь откуда-нибудь домой и подходя к входной двери, я автоматически отводил правую руку в сторону, чтобы обнять Карму, когда она положит свои лапы мне на плечи и потянется языком к правой щеке. Ночами я то и дело спускал руку с кровати, чтобы погладить ее и в страхе просыпался, когда чувствовал, что под рукой никого нет. И еще долго во всякой черной тени на полу я видел прилегшую отдохнуть Карму. И готовя что-нибудь на кухне, жена часто звала Карму перехватить малость перед обедом и тоже пугалась пропажи, когда никто не появлялся. Отпускало медленно. Дочь отъединилась, вожак умер – распалась наша стая. Надо было создавать новую.

Следующую собаку мы взяли только через несколько лет. И тоже черного лабрадора. И тоже девочку. Очаровательную. И имя ей дали Чара. И жили с ней душа в душу. Но... как бы это сказать... где найти слова... Вот, нашел: у нас после Анны Австрийской (а, может, лучше сказать *после королевы-девственницы* – да и страна больше подходит, но уж как сказал...) поселилась Констанция Бонасье. И это уже совсем другая история. А потом у нас были еще и еще собаки... Но на моем письменном столе стоит только фотография Кармы. Точнее, одна из четырех фотографий – мама, жена, дочь и Карма. Как-то так.

Кстати, как я позже понял, именно Карма стала для меня поводом сделать то, чего я раньше никогда в жизни не делал – заняться поэтическим переводом. И не просто переводом, а переводом замечательного стихотворения Киплинга «Могущество собаки» (теперь я бы перевел название как «Власть собаки», но уж что сделано, то сделано). Как-то всё в этом стихе сошлось.

...Когда в существе, что дышало для вас,
Тот свет, что для вас лишь светился, погас,
Когда тот, кто был с вами и ночью, и днем,
Уйдет, куда все мы когда-то уйдем,
Вы вдруг поймете – вам долго страдать,
Раз сердце решили собаке отдать.

Печалей немало в нашей судьбе.
Мы близких теряем на горе себе.
Любовь нам дается не в дар, а взаймы,
По займу проценты всю жизнь платим мы.
Чем дольше лелеем мы этот заем,
Тем больше страдаем, когда отдаем.
Долгов никаких не дадут нам забыть,
Брать на день иль на год – равно нам платить...
Так почему ж – небесам только знать –
Мы сердце решаем собаке отдать...

Сергей Лейбград

* * *

так по совести будет в итоге
будет вьюга воздушной тревоги
надрывать над голой страной
над моей сумасшедшей женой
эти мягкие рваные ткани
этот бывший живым человек
не хватайся за небо руками
за железный нетающий снег

* * *

это совесть поёт на латыни
золотая дрожит стрекоза
что ты видишь зарывшись в ладони
сжав до боли глаза
это город зовущий обратно
это мертвые лица в строю
вижу родины трупные пятна
вижу нищую трусость свою
это ночь как печать на акриле
это дети в ночи ледяной
с рюкзаками завязанных крыльев
за спиной

* * *

пустое место некуда присесть
пропала сеть с отечеством в пакете
семнадцать мертвых раненых сто шесть
горят леса животные и дети
благая месть хроническая страсть
горят леса от плясок соловейских
в автобусах в троллейбусах на детских
площадках чтобы без вести пропасть
замкнулась цепь сиротства и родства
захлёбываясь нежностью и шерстью
последнего живого существа
которого коснулся перед смертью

* * *

похмельными злыми ночами
подушка в пуху как сова
болит разрываясь на части
кривая моя голова
от храпа от праха от хлама
от харь и обхарканных плит
от шуток плешивого хама
от чёрта хромого болит
всё сложно всё проще простого
забравшись в чужую кровать
из мести из места пустого
без счёта людей убивать
обмылки обрубки фрагменты
на эти плевать и на те
и тонкие интеллигенты
как спички хрустят в темноте
окурки гая керосином
крысиной ухмылке верна
россия кричу я
россия
глухая моя сторона

* * *

в три часа ночи репатриант
репу почёсывал не узнавая
собственной жизни другой вариант
некогда видел он в чреве трамвая
воздух морозный кусая как дым
кольца и петли считая над бездной
бросить всё к черту ничтожный калым
чтобы жениться на совести бедной
клекот удушья у липкой стены
над головою звезда в три карата
даже внутри коллективной вины
всё только личное подпись расплата
исчезновение по одному
плоть одиночество полое слово
и не поможешь уже никому
и оправдания нет никакого

* * *

теребя заусенцы сдирая облатки
зажимая глаза растирая виски
выходи из себя и беги без оглядки
от воздушной тревоги от смертной тоски
эта жизнь не твоя эта бездна отверста
этих мертвых детей всё трудней сосчитать
и опять до утра не найти себе места
и вернувшись в себя никого не застать

Ольга Вольпин

в угольном городе идет снег
форточку чтобы открыть нужно приподнять
балкон заклеен на зиму
между рамами вата

по бульвару идет человек
лица его отсюда мне не видать
но всё равно машу и кричу ему
«я не виновата»

он конечно не слышит
 меховая шапка-ушанка
припорошена белым
в руке портфель осанка простуженная

меня наказали мыши
я стащила у них буханку
 поступок не был смелым
наказание было заслуженным

есть очень хотелось
не смогла удержаться
а теперь сытая
и наказанная

мыши пришли – разревелась
как им не догадаться
вот и сижу у окна теперь
хвостом к батарее привязанная

НОЖИЧКИ

в космо-дамианской пустыни
на андрониковском пустыре
режутся пацаны в ножички
нарезают сектора на сухой как кора земле

нож с локтя и плеча летит вонзается
залихватски свистит плевков
территория отрезается
остается маленький островок

вот уже на носках стоять
 кому приходится у того щеки зарёй горят
 ить – всадили нож по саму рукоять
 снова ход чужой который раз подряд

ай люли едрёну мать твою
 старшие пацаны волосы откинув со лба
 не промахиваются не стесняются
 а мелкому шибко боязно дрожит рука слаба

как я здесь глаза зажмуривши
 прости господи меня мать
 простите кореша
 ну почему же мне
 попасть страшнее чем не попасть

* * *

когда ты ставишь сердце
 моим блок-постам
 я посылаю в него тысячу стрел
 в надежде что ты падешь
 как Троя или Александрия
 и от такой дерзости прячусь
 за свой извинительный падеж
 превращающий никого в ничто
 тайно рисуя на верхнем веке
 длинные стрелки
 подводящие
 к самому нежному месту
 пульсирующей венке на виске

* * *

этот человек кажется мне мертвым.
 этот человек кажется мне настолько мертвым, что бегут мурашки,
 потому что он, конечно же, жив.
 напротив, я уверена, что не кажусь ему мертвой,
 просто бесполезной.
 и это, конечно, тоже ошибка,
 потому что я-то как раз мертва.
 живы только мурашки.

* * *

на смазанном снимке
ты и я и сосна и камень
Коктебель? да нет
это слово вы выдумали
как и слова «жвачка»
«коллоквиум» и «союзпечать»
не надо себя обманывать

* * *

штат Мэн
штату Юта
включаю трансляцию
они уже готовы к обмену
остались считанные минуты
пронзительно дует с залива
на площади собираются
переговариваются торопливо
на абенаки*
выходят выводят
ждут когда подадут знак и

штат Юта
штату Мэн
выпал снег выпал снег
сегодня утром
и сразу по колено
я вышла на крыльцо
босая
и слышу цок-цок
а это птица
скворец
наверно он растает

штат Мэн
штату Юта
что-то случилось
они побежали
какая-то пена
слышу выстрелы
ветер с залива лютый
вырывает из рук
сейчас погоди секунду

штат Юта
штату Мэн
снег не поверишь повсюду
сколько хватает глаз
я записала нас
к семейному психотерапевту
но это не срочно
до весны терпит
жмурюсь от снега
так ярко
так солнечно
пока любимый
жаль что ты тут не был

* Группа диалектов северо-восточных индейцев

НА СМЕРТЬ ВАДИМА СЕМЕНОВИЧА ЖУКА

через небо что пока висит над нами
проложили уходящие дорогу
и теперь так ярко так прозрачно
так тактильно остро ясно видно
никакая там не банька с пауками
сплошь поющие тугие вербы
брызги волн хрустально-пенный воздух
белоснежные кресла-качалки
солнечных часов бегущих тени
и неспешный разговор любимых

– что, старик, ты видел мою книгу
новую последнего столетья?
– да, приятель, дивное издание
и особенно смешно про кошку

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

М.В. Винарский, Е.А. Анненкова

«Скучаю по вас... ХОТЬ НАПИШИТЕ...»

*Письма Надежды Мандельштам Александру Любичеву
и Ольге Орлицкой*

Два главных героя нашей публикации – биолог и философ Александр Александрович Любичев (1890–1972) и филолог, мемуарист, публицист Надежда Яковлевна Мандельштам (1899–1980) – сходны в том, что они прожили долгую и непростую жизнь, обладали яркой индивидуальностью и большим творческим потенциалом, который в иных обстоятельствах мог бы реализоваться в «публичном пространстве» русской культуры и науки уже в том возрасте, который древние греки называли возрастом акме. Но сложилось по-иному, и их известность начала складываться лишь под конец жизни и сперва – вполне неформальным путем, через частную переписку, личное общение с единомышленниками и (назовем их так) почитателями, а также через тексты, распространявшиеся «самиздатом» и «тамиздатом».

Если представить себе невозможное – что эта публикация могла осуществиться в Советском Союзе, скажем, году в 1977-м или 1980-м, то в предисловии нам пришлось бы уделить особое внимание Надежде Мандельштам, личности в то время почти не знакомой широкому читателю. Другое дело Александр Любичев. В 1974 г. уважаемый советский писатель Даниил Гранин выпустил посвященную ему повесть «Эта странная жизнь». Повесть, первоначально опубликованная журналом «Аврора», вскоре вышла отдельным изданием, а в 1979 г. была включена в один из выпусков «Роман-газеты» (тираж – почти два с половиной миллиона). Об Александре Александровиче писали популярный у советской интеллигенции журнал «Химия и жизнь», а также более академичный, но доступный для всех образованных читателей журнал «Природа» (его тираж в конце семидесятых годов достигал 85000).

Таким образом, с личностью провинциального чудаковатого биолога и его жизненными обстоятельствами читающая публика позднего СССР была неплохо знакома.

Максим Винарский – профессор Санкт-Петербургского государственного университета; ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова, РАН;

Елена Анненкова – старший научный сотрудник Санкт-Петербургского филиала Архива РАН.

Сегодня, по нашему впечатлению, ситуация обратная. Едва ли нужно объяснять в деталях, кто такая Надежда Мандельштам и в чем состоит ее заслуга перед русской культурой. Александр Любищев известен меньше, даже среди биологов и философов, не говоря уже о читателе, не связанном профессионально с указанными сферами.

«Эта странная жизнь» Гранина и его же «перестроечный» бестселлер 1987 г. «Зубр» образуют своего рода дилогию. Сюжет обоих повестей основан на биографиях двух отечественных биологов, один из которых (Н.В. Тимофеев-Ресовский, он же Зубр) уже в сравнительно молодом возрасте приобрел мировую известность как выдающийся ученый-генетик, а второй долгое время занимался по преимуществу вопросами борьбы с вредными насекомыми и преподаванием, и только выйдя на пенсию, смог отдаться целиком тем проблемам, которые считал для себя наиболее важными. Только в середине 1960-х гг. его оригинальные взгляды на эволюционную биологию, теорию классификации живых организмов, а также историю, литературу, этику, философию стали получать известность в среде советской интеллигенции. Любищев долго оставался мыслителем-теоретиком, живущим «в своем углу», и общался с многочисленными своими корреспондентами и единомышленниками путем рассылки отпечатанных на машинке писем, многие из которых по своему объему и содержанию были полноценными научными трактатами.

Этот нестандартно мыслящий биолог, открыто называвший себя антидарвинистом и идеалистом-платоником, был просто обречен на подпольное существование в советской системе, где единственной дозволенной философией являлся материализм в форме марксизма-ленинизма, а клясться именем Дарвина считали необходимым даже такие деятели, воззрения которых прямо противоречили дарвиновской теории естественного отбора (наиболее яркий пример – академик Трофим Лысенко, на словах называвший себя подлинным, «творческим» дарвинистом, но на деле резко разошедшийся по многим вопросам с великим англичанином).

Конечно, «подпольность» Любищева не следует преувеличивать. После выхода на пенсию, предоставленный сам себе, он продолжал участвовать в научных конференциях, вел активную переписку, а в последние годы жизни нередко получал приглашения сделать доклад на ту или иную тему в разных городах бывшего СССР. Среди его слушателей нередко преобладали не биологи, а люди других специальностей – математики, кибернетики, философы, специалисты по теории систем. Любищев получил возможность печатать свои «еретические» статьи, причем не только на родине, но и в зарубежных биологических журналах. Однако в печать пропускались почти исключительно те из его работ, что были посвящены вещам довольно «эзотерическим» для широкого читателя. Скажем, сочинения по проблемам теоретической морфологии животных или принципам построения «естественной» системы живых организмов. Или о применении математических мето-

дов для классификации насекомых. Объемные философские, социологические и исторические трактаты Любищева увидели свет только в конце 1990–2000-х гг. То же самое произошло и с его многолетним трудом «О монополии Лысенко в биологии», который он считал выражением своей гражданской позиции и затратил много усилий на его создание, хотя сам лично от нападок лысенкоистов почти не пострадал (более того, некоторые теоретические взгляды, которые он разделял, были близки к постулатам «мичуринской биологии» – но не потому, что Любищев прилежно читал труды «народного академика», а потому что происхождение этих взглядов гораздо более раннее; они значительно старше и Любищева, и Лысенко).

Этот трактат распространялся, глава за главой, не только среди биологов, физиков и математиков, включившихся в борьбу с лысенковщиной, но направлялся автором и куда повыше, например, в отдел сельского хозяйства ЦК КПСС. Любищев, неисправимый оптимист по натуре и рационалист по убеждению, верил в то, что критика «холодного ума» способна открыть глаза власть предержащим на те безобразия, что творятся в советской биологической и сельскохозяйственной науке. Однако «Монополия» была опубликована в полном виде только через 40 лет после его смерти¹, а лысенкоизм и по сей день продолжает давать метастазы в российской биологии².

Огромный по объему (около 4500 писем) и необычайно ценный в качестве исторического источника корпус переписки Любищева до сих пор изучен недостаточно и опубликован лишь частично, что называется, в извлечениях. Не менее значимы и письма его многочисленных корреспондентов, среди которых были люди как великие, так и малые, но все по-своему интересные.

«Феномен Любищева», о котором много писали в 1980-е гг., заключался в свободомыслии этого человека, его огромной эрудиции, разносторонности интересов и упрямом нежелании поступаться своими принципами, в том числе и в области узкоспециальной: свой юношеский антидарвинизм он пронес через всю жизнь и до конца дней продолжал настаивать на том, что эволюционный процесс не может быть объяснен принципом естественного отбора. Любищев в этом вопросе неуклонно шел против течения, что не могло не вызывать симпатий у многих ученых, тяготившихся казенностью советской науки, подчиненной диктату «единственно верного» учения и состоящей под опекой профессиональных борцов за чистоту марксистской веры (Любищев называл их «философскими нянюшками»). Как им было не восхититься – в стране «победившего социализма» отыскался чудак, смело называющий себя идеалистом и доказывающий, что Дарвин «был не прав». Дарвин, об учении которого с похвалами (хотя и не без критики) отзывались «классики» марксизма, в СССР был канонизирован, и антидарвинизм рассматривался как нечто родственное «мистицизму», «метафизике», «поповщине» и иным смертным идеологическим грехам.

Одна из самых восторженных похвал принадлежит генетику Раисе Берг, причислившей Александра Александровича к лику «высочайших умов, когда-либо существовавших»³.

Однако Любищев, хоть он и пользовался возможностями самиздата, диссидентом в политическом смысле не был и к действующей власти (по крайней мере послесталинской эпохи) относился скорее лояльно, пусть и без пиетета. Он верил в то, что возможность построения социализма и на его основе коммунизма «доказана научно», и в одном из своих антилысенковских сочинений даже назвал себя «беспартийным большевиком». Впрочем, Любищев тут же делал важные оговорки. Под «коммунизмом» он понимал тот идеальный социализм, о котором так много говорилось и писалось в СССР, то есть очень далекий от советской реальности⁴, а «научно доказанную» возможность его построения сравнивал с возможностью межзвездных полетов. Возможно, мол, но только в очень отдаленном будущем⁵. Его личным идеалом был не «прежний марксизм», а «социал-гуманизм, синтез марксизма и гандизма»⁶. Современную ему социальную действительность он критиковал во всех случаях, когда считал это необходимым. Среди этических императивов Любищева были пацифизм и резкое неприятие смертной казни (в чем, возможно, надо видеть влияние Льва Толстого).

Уроженец Петербурга, Любищев почти всю свою сознательную жизнь провел в провинции. Пермь, Киев, Фрунзе... наконец, после войны, периферийный Ульяновск, в котором он чувствовал себя вполне комфортно, не тяготился отрывом от больших библиотек и музеев, а недостаток личного общения с коллегами и единомышленниками, разбросанными по разным городам, восполнял интенсивной перепиской.

Так случилось, что послевоенный Ульяновск оказался городом, в котором сошлись судьбы нескольких выдающихся деятелей нашей культуры XX века. Он стал одним из пунктов долгого земного странствия Надежды Мандельштам, второй длительной остановкой в ее послевоенных перемещениях: Ташкент – Ульяновск – Чита – Чебоксары – Таруса – Псков – Москва. География эта определялась в основном наличием вакантных мест на вузовских кафедрах иностранного языка (обычно это были педагогические институты). С 1949-го по 1953 гг. она преподает в Ульяновске, где работал и Александр Любищев⁷. Еще одним незаурядным человеком, оказавшимся в Ульяновском пединституте не по своей воле, был Иосиф Давидович Амусин (1910–1984) – историк, гебраист, папиролог; в будущем – доктор исторических наук, сотрудник академического Института востоковедения.

Знакомство Александра Любищева и Надежды Мандельштам произошло, впрочем, случайно. Об этом Любищев сообщил еще одному своему частому корреспонденту – Борису Сергеевичу Кузину (1903–1973), такому же энтомологу, идеалисту и антидарвинисту, как

и он сам. Конечно, Александр Александрович хорошо знал, что Кузин в 1930 г. познакомился в Армении с четой Мандельштам и что со вдовой поэта его связывали многолетние и очень непростые отношения. Из письма Б.С. Кузину (14 апреля 1951 г.): «Кроме этих трех деловых пунктов, коснусь еще одного, крайне интересного для меня и Ольги Петровны и очень загадочного. Случайно Ольга Петровна должна была здесь стенографировать занятия Надежды Яковлевны Мандельштам, и тогда выяснилось, что это та самая Мандельштам, вдова поэта Мандельштама, о которой мы с Вами беседовали в Алмаата. Она у нас была, мы довольно много говорили между прочим (вернее, главным образом) о Вас...»⁸ Ольга Петровна Орлицкая – жена Любичева, с которой Надежда Яковлевна скоро заведет короткое знакомство.

После того, как обстоятельства вынудили Н. Мандельштам покинуть Ульяновск и перебраться далеко на восток, в сибирскую Читу⁹, ее общение с четой Любичевых продолжилось путем переписки. Темы этих писем чрезвычайно многообразны. Это вопросы классификации языков и живых организмов, проблемы педагогики и эстетики, текущий литературный процесс. В них нашли отражение такие события, как посмертная выставка художника Фалька в московском Манеже (конец 1962 г.) и ленинградский «процесс Бродского» (март 1965 г.). Много, разумеется, и бытовых подробностей. Есть автохарактеристики («Я именно учитель»), биографические детали, важные для понимания личности Н.Я. Мандельштам («Мне старая школа дала только латынь...»).

По оценке О.П. Орлицкой, данной в ее неопубликованных воспоминаниях «О дружбе, друзьях живых и друзьях, ушедших от нас навсегда», Надежда Мандельштам «...достойный оппонент во всякого рода спорах с А.А. [Любичевым]. Она образованная женщина, филолог. Я с ней очень подружилась, и мне сейчас очень жаль, что ее нет здесь [в Ульяновске]»¹⁰.

Письма Надежды Мандельштам А.А. Любичеву и О.П. Орлицкой относятся к части ее корреспонденции, что остается практически неопубликованной. Ольга Петровна была, по выражению самого Любичева, «равномерным другом»¹¹ его и Н.Я. Мандельштам, поэтому помещение писем к ней представляется вполне уместным.

Ниже мы приводим комментированные тексты писем Н.Я. Мандельштам, оригиналы которых хранятся в Санкт-Петербургском филиале Архива Российской Академии наук¹². Ранее в печати появлялись лишь сравнительно небольшие отрывки из этой корреспонденции¹³. Первый из них (без упоминания имени Н. Мандельштам) был опубликован Д. Граниным в повести «Эта странная жизнь» в 1974 году¹⁴. Мы даем более полную цитату из данного письма, сохранившуюся в бумагах О.П. Орлицкой. В 1991 г. несколько писем Н.Я. Мандельштам, датированные 1957 г., были в извлечениях опубликованы в

сборнике публицистики Любищева «В защиту науки»¹⁵. В фондах СПбФ АРАН подлинники этих писем не обнаружены и в нашу публикацию они не включены.

Два ранних по времени письма А. Любищеву известны в машинописных копиях (сделанных, возможно, О.П. Орлицкой) и дошли до нас не целиком. Остальные представляют собой рукописные оригиналы. Большая часть писем не датирована или же отправителем указано только число, но без года. Однако даты написания многих писем можно точно или предположительно установить, опираясь на упоминаемые в них события жизни самой Надежды Яковлевны (получение ею собственной квартиры в Москве, болезнь брата и пр.) или другие подробности (смерть Ахматовой, ссылка Бродского, похороны Эренбурга).

Письма публикуются в хронологическом порядке. Те из них, которые нам не удалось датировать даже предположительно, приводятся в том порядке, в каком они сохранились в архивном деле (этот порядок не обязательно соответствует хронологическому). Пунктуация и орфография приведены к современным нормам правописания, исправленные опечатки в эго-документах в публикации не отмечены.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Любищев, А.А. *О монополии Т.Д. Лысенко в биологии*. М.: Памятники исторической мысли, 2006.
2. Колчинский, Э.И. «'В бой идут одни старики', или О перспективах возрождения лысенкоизма в России». «Вопросы истории естествознания и техники». 2017. Т. 38, № 2. С. 365-384.
3. Берг, Р.Л. *Почему курица не ревнует? Эволюция и жизнь*. СПб.: Алетей, 2013. С. 170.
4. Ср. «В СССР, конечно, построен фундамент социализма, но на этом фундаменте выросли такие образования, которые ничего общего с социализмом не имеют – это уродливые образования <...> дикое мясо социализма» (Любищев, А.А. *О монополии...* С. 407).
5. Любищев, А.А. *О монополии...* С. 414.
6. Там же. С. 464.
7. Ульяновский период жизни Н. Мандельштам известен из ряда мемуарных свидетельств и исследований. Например, Кривошеина, Н. «Неожиданные встречи в Ульяновске (о А.А. Любищеве и Н.Я. Мандельштам)» «Звезда». 1999. № 10. С. 117-123; Рассадин, А. «Надежда Мандельштам в Ульяновске». В *«Посмотрим, кто кого переупрямит...»: Надежда Яковлевна Мандельштам в письмах, воспоминаниях, свидетельствах*. М.: АСТ, 2015. С. 164-181; Мурина, Е. «О том, что я помню про Н.Я. Мандельштам». Там же. С. 348-393.
8. Санкт-Петербургский филиал Архива РАН (СПбФ АРАН). Ф. 1033. Оп. 3. Д. 517. Л. 141.
9. О.П. Орлицкая писала Б.С. Кузину летом 1953 г.: «Хочу Вам сообщить, что Н.Я. от нас уехала в начале апреля. У нее всё это время были очень печальные дела, только в конце августа она (во многом благодаря заявлению А.А. в

министерство) уехала в Читгу. Не знаю, как ее встретят там, но она добилась того, что она переведена. Это ей стоило много нервов и здоровья, и мы очень за нее боялись. Еще письма с нового места я от нее не имею» (СПбФ АРАН. Ф. 1033. Оп. 2. Д. 500. Л. 227).

10. СПбФ АРАН. Ф. 1033. Оп. 2. Д. 114. Л. 13.

11. Письмо А.А. Любищева Б.С. Кузину. 20.05.1961 г. СПбФ АРАН. Ф. 1033. Оп. 2. Д. 521. Л. 60.

12. Письма Н.Я. Мандельштам А.А. Любищеву. СПбФ АРАН. Ф. 1033. Оп. 3. Д. 299. Письма Н.Я. Мандельштам О.П. Орлицкой. СПбФ АРАН. Ф. 1033. Оп. 3. Д. 544.

13. «Вестник РХД» (Париж, 1981. № 133. С. 177-185); Любищев, А.А. *В защиту науки*. Л.: Наука, 1991. С. 205-207; «Природа» (2006. № 6. С. 69-77).

14. Гранин, Д. *Эта странная жизнь*. М.: Советская Россия, 1974. С. 71.

15. Любищев, А.А. *В защиту науки*. С. 205-207.

ПИСЬМА Н.Я. МАНДЕЛЬШТАМ А.А. ЛЮБИЩЕВУ 1954–1968 гг.

1.

[1953]¹

Наш общий друг с Ал. Ал., одна очень умная женщина – филолог <...> писала в 1953 г.:

«...Я говорю свое ‘НЕ НАДО’ с других позиций. Самое серьезное и убедительное для меня в Вашем письме – это то, что Вы ощущаете свое молчание как болезнь, что оно, в сущности, и есть причина болезни. Это прекрасное мужское свойство, которое я не раз наблюдала. Я видела, что мужчины – очевидно люди с более глубокой социальной совестью, чем мы, бабье – всегда болели, а часто и умирали, если не могли говорить о своей науке или искусстве того, что им велела совесть. Но мне жаль многих тех, которые не вовремя начинали. В период марризма² было много тяжелого и немало людей болели и не выдерживали – кто не выдерживал молчания, кто травли, которую учиняли марристы.

Я абсолютно уверена, что наша наука и искусство всегда выйдут после шатаний на дорогу, не в эту минуту, так в следующую. Задержать движение можно, но остановить нельзя, потому что наука продолжалась и при Марре, но она не была официальной, признанной. Разве биологи сейчас не работают вопреки крику лысенковцев? Пожалуй, самое трудное – преподавание. Марристские программы появились у нас только накануне дискуссии. По ним ни разу не было прочитано курса. В курсах были только марристские украшения. И я очень поняла Виноградова, когда он сказал в своем выступлении в дискуссии, что с этим (т.е. с марристскими установками) нельзя идти в аудиторию, к студентам. Я думаю, что нельзя идти в биологии со

всеми существующими установками в поле... Что делать? Кому начать? Я не знаю, как быть. Вы считаете своим долгом первым заговорить. Я же хочу, чтобы первым заговорило молодое поколение. Я хочу, чтобы это страшное мужское сознание долго было менее социальным. Ведь есть у Вас долг перед наукой (в более глубоком смысле социальный), который заставляет Вас сидеть у микроскопа, писать статьи о науке (пусть сейчас лысенковцы не дают их печатать), собирать и накалывать на булавки новые материалы.

Есть два долга: один – наука, другой – ответственность за те формы, которые получает данная отрасль данной науки в настоящую историческую минуту. Я не уверена, что второй долг серьезнее первого. Решает ведь первое. Именно первое – открытие, событие, походка – сметает второе. Физика, очевидно, гигантски развивалась последние десятки лет... Она, наверное, именно первым путем сметала проблемы второго пути (несомненно, они тоже были). Я бы никогда не говорила 'не надо' о проблемах первого пути – от этого долга я бы никому не сказала, что можно уклониться. Но во втором я не уверена. Может, правы наши академические друзья, которые решают свои непосредственные задачи. Может, это и есть прямой путь. Я не знаю, что сказать. Но первый путь – самое главное. Что делать?»

1. Оригинал письма неизвестен. Текст печатается по неопубликованным воспоминаниям О.П. Орлицкой «К истории написания 'О монополии Лысенко в биологии'» (машинопись, СПбФ АРАН. Ф. 1033. Оп. 2. Д. 97. Л. 17-19). Отрывок из этого письма привел Д. Гранин в повести «Эта странная жизнь» (1974), без указания имени Н.Я. Мандельштам. Оно было восстановлено только в постсоветских переизданиях повести.

2. Марризм, или «новое учение о языке», или «яфетическая теория» – лингвистическая теория, созданная академиком Н.Я. Марром в 1923 г. и рассматривавшаяся в СССР как единственная, соответствующая диалектическому материализму. В 1950 г. марризм был осужден Сталиным в работе «Марксизм и вопросы языкознания» и выброшен из советской науки. (См. Алпатов, В.М. *История одного мифа: Марр и марризм*. М.: Едиториал УРСС, 2004).

2.

28.VII.54

г. Верея

...Между прочим, сейчас у нас гостит молодая женщина – дочка актрисы Пыж[о]вой¹, с которой работает Лена². Она учится в театральном институте – из нее готовят критика. Она мне объяснила, что будет помогать драматургам писать пьесы. Ей, конечно, хотелось бы помочь и Шекспиру, да тот уже дубу дал (Так. – М.В., Е.А.). Объяснить, что сначала драматургия, а потом критика, да еще обычно невпопад, невозможно. Я и не пробовала, а просто легла спать. Девочка эта – дочь Качалова³. Отец понимал больше...

...Мне не понравилась «Оттепель» Эренбурга⁴. И Симонов⁵, и Эренбург говорили на одном языке. Эренбург построил отвлеченную схему, заполнив ее фигурками, искусственными и смешными для того, чтобы протянуть свои, неполным голосом выраженные, мысли. На него за это обиделись. Вещь Ильи – акт дипломатический. Ответ – показ искусственных построений. Все дело в «положительных» и... «отрицательных» и в их распределении. Литература и жизнь связан[ы] гораздо глубже между собой, и это скольжение и шахматная игра (больше похоже даже на игру в солдатики – детскую) не делают подлинной литературы. Кроме того, в любой литературной вещи участвует личность автора. В «Оттепели» она очень сильно проявилась – такой он и есть. Назначил в отрицательные директора завода, в положительные – учителя, а художника, не получившего школы, назначил халтурщиком. Но те художники, которых не любит Илья (и я их не люблю), – вовсе себя халтурщиками не считают, кстати говоря. Симонов бы хотел другого распределения отрицательных и положительных, чтобы было полезно и роль надстройки осуществлялась полностью. Надстройка⁶ должна выполнять свои функции, а Илья щупает, не может ли она полиберальничать... Бог с ним...⁷

1. Ольга Ивановна Пыжова (1894–1972), актриса, педагог, художественный руководитель Московского Центрального детского театра (1948–1950), заслуженный деятель искусств РСФСР (1947), Татарской АССР (1949) и Таджикской ССР (1964), и ее дочь, Пыжова Ольга Васильевна (1928–), писатель, драматург, театральный критик.

2. Неизвестное лицо.

3. Василий Иванович Качалов (Шверубович) (1875–1948), актер, педагог; народный артист СССР (1936).

4. Илья Григорьевич Эренбург (1891–1967), писатель, поэт, переводчик, публицист, журналист. Повесть И.Г. Эренбурга «Оттепель» впервые опубликована в 1954 году. В 1950-е гг. Любимцев обменялся с Эренбургом письмами (См. Любимцев, А.А. *В защиту науки*. Л.: Наука, 1991. С. 190-204).

5. Константин Михайлович Симонов (1915–1979), писатель, поэт, драматург, киносценарист, журналист.

6. «Надстройка», наряду с «базисом», – одно из ключевых понятий марксизма в его сталинской трактовке. Ср.: «Для сталинского периода <...> было типично двойственное и в целом (за исключением ‘передового учения’) пренебрежительное отношение к сфере идей, сознания, к культуре. Все это объявлялось ‘надстройкой’, а ей, по канонам ‘Краткого курса’ следовало отражать базис» (Гордон, А.В. *Великая французская революция в советской историографии*. М., 2009. С. 198).

7. В письме Н.Я. Мандельштам от 28.06.1954 г. А.А. Любимцев упоминает «Эренбурга, совсем исхалтурившегося за последние годы и написавшего нелепую повесть ‘Оттепель’» (СПбФ АРАН. Ф. 1033. Оп. 2. Д. 30. Л. 7).

3.

27.III.55¹*Чума*

<...> Кстати, в газете «Медицинский работник» есть статья «К новому уставу вузов» о подготовке научных кадров. Против «инкубаторского способа» производства, о том, что нужны настоящие исследователи – одни, мол, быстро делаются, другие медленно, и о том, что нечего преклоняться перед званиями и т.д. Я сама ее еще не читала, но мои девочки уже много об этом говорят.

Кстати, о том, хороший я или плохой учитель. Я именно учитель. В противоположность Ал. Ал.², который воспитатель людей науки – он для этого создан. Поэтому он и уходит в отставку – в педвузах (сейчас, временно, это должно кончиться) этого не нужно. Слушая про статью в Медработнике, я подумала, что кадры в науке упираются в педвузы. Школа – «формалистические знания», т.к. не метод изучения, а заучивание фактов. (Та школа, в которой я училась, перегнула в другую сторону – это было упадком чересчур либеральных школ.) «Заучивание фактов» – зависит от качества учителей, которые выпускаются педвузами. Пока педвузы не станут вузами, так и будет. В Ульяновске были люди: Амусин³, хотя бы Сафрошкин⁴, Иван Яковлевич⁵. Об Ал.Ал. я не говорю, т.к. он единственный вузовский человек. Здесь, пожалуй, нет, хотя зам. директора бывший аспирант Виноградова⁶. (Кстати, метод «заучивания фактов» дает снобов. И. Виноградов – большой ученый – почему-то плодит снобов. Почему?)

Почему я вернулась к школе? Для меня это ясно. Я уверена, что наука не может существовать как верхушка, головка. Если нет школьников, школьных учителей, просто любителей – огромных кадров «читателей», судей, – а это они и есть судьи – головка отсохнет. Мы с Еленой Марковной⁷ когда-то в этом не сошлись. Она не понимала, зачем будущим учителям языка, которые будут учить – «это стол», «это кошка», – давать серьезные и по-настоящему основы языкознания. (Ведь им это не нужно.) Она знала, что литература «развивает» (я в этом не всегда уверена), – смотря кто учитель. А я убеждена, что даже учитель языка, если он идет в школу, должен быть «судей» науки. В старой школе «немец», «француз» – был дураком. Зато был латинист. (Это очень много. Мне старая школа дала только латынь; остальное дала, кажется, физика.) А сейчас – не зря это стоит в программе.

Так вот – Ал. Ал. хочет уйти в отставку, потому что школа ему не дала кадров учеников⁸; вузы и аспирантура не дали полноценных воспитателей будущих учителей. А может, потому что ему важнее обращаться сейчас [к] «головке», которая «наука». А мне – учительше – вполне место в Пединституте. Они узнают у меня, что языкознание – точная наука. Это что-то.

1. Адресат письма неизвестен. Возможно, оно направлено О.П. Орлицкой (так как А.А. Любичев упоминается в тексте в третьем лице).

2. А.А. Любищев.

3. Иосиф Давыдович Амусин (1910–1984), советский историк – семитолог, гебраист, кумрановед, основатель советской кумранистики. В 1928 г. был арестован и сослан за участие в молодежном сионистском кружке. В 1935–38 гг. студент истфака ЛГУ. В 1938-м вновь арестован, отправлен в лагерь. Работал на лесоповале. Освобожден в ноябре 1939 г. в рамках «малой амнистии». Закончил университет в 1941-м. В 1941–45 на фронте. В 1945–50 гг. преподавал в ЛГУ и ЛГПИ им. А. И. Герцена. В 1950-м во время кампании по «борьбе с космополитизмом» уехал в Ульяновск, до 1954 г. преподавал в Ульяновском пединституте. С 1955 г. научный сотрудник Института Азии, с 1960-го – Института востоковедения. Автор свыше 200 научных работ. Одним из первых выступил против мифологической школы в советском религиоведении, высказавшись в пользу историчности личности Иисуса Христа.

4. Заведующий кафедрой марксизма-ленинизма в Ульяновском пединституте.

5. Неустановленное лицо.

6. Иван Матвеевич Виноградов (1891–1983), математик, педагог; доктор физ.-мат. наук; академик АН СССР (1929); профессор Пермского, Томского, Ленинградского университетов, Ленинградского политехнического института; директор Физико-математического института АН СССР (1932–1934).

7. Возможно, речь идет о Юлии Марковне Живовой, ошибочно названной в письме Еленой. См. примечание к письму от 6 января 1963 года.

8. Сам А.А. Любищев рассматривал выход на пенсию как способ обрести полную свободу творчества. В начале 1955 г. он сообщил Б.С. Кузину: «...я намерен с осени уйти на пенсию, для того чтобы работать только по своему плану» (СПбФ АРАН. Ф. 1033. Оп. 2. Д. 518. Л. 171 об.), а много позже писал тому же адресату, что «я знаю, насколько более счастливым по сравнению с пребыванием на государственной службе является пенсионное состояние – самый продуктивный период моей жизни» (письмо от 13.02.1970 г. СПбФ АРАН. Ф. 1033. Оп. 2. Д. 514. Л. 248 об.).

4.

1955¹

<...> кто эти целители (Филатов?) и где они. Здесь буквально ничего не знают – слишком далеко. Она хорошо держится, но сама понимает, каково ей.

Не легенда ли этот Филатов?² Обычно в смежных науках такие вещи знают. Напишите мне, Александр Александрович, если Вы что-нибудь знаете о нем или если можете узнать – в этом и заключается моя просьба.

Очень хочется мне в Чебоксары. Так близко от Жени³ и от Вас. Я бы к вам заехала летом. Но это мечта. Я боюсь, что они обиделись, что я не приехала во втором семестре⁴. Но меня непустили – довольно твердо. А ведь раньше заместитель орал: «подавайте заявление об уходе» – я и нащупала место, куда меня брали.

Напишите мне о себе. Как ваш сын, Любочка⁵, есть ли письма? Кому из писателей написал Александр Александрович?⁶

Я никак не могу понять, почему интересно им писать, – я их так

хорошо знаю, что не могу себе этого представить. Я, например, горжусь, что знакома с А.А. Любичевым – ученым и человеком высшего нравственного качества. Я горжусь, что сумела уйти от них и ничего у них никогда не просила (после смерти Оси). (Илья не в счет – мы старые не литературные приятели с ним и с Любой⁷; у него я брала в долг 1.000 и вернула.)

А вдруг – вы – ими интересуетесь. Я думаю, что им следовало бы домогаться чести посмотреть на вас. Увы, что они могут сказать.

Помните письма своему московскому знакомому? Эти ответы были вполне писательскими. Илья отличается тем, что иногда улыбаётся с глубиной и душевностью. И умеет огорчаться. И не очень жаден. Что поест любит – это ничего. Нельзя ли забежать к вам выпить чаю? Поговорить? Хочется.

Н. М.

1. Начало письма утрачено.

2. Возможно – Владимир Петрович Филатов (1875–1956), советский врач-офтальмолог, член Академии медицинских наук СССР, долгое время работал в Одессе. В Одессе – имя легендарное; в одной одесской песне были такие строки: «Одесса мой единственный маяк, / Бывают драки с матом и без мата, / И если вам в Одессе вышибут глаз / То этот глаз оставит вам Филатов.»

3. Евгений Яковлевич Хазин (1893–1974), писатель; брат Н.Я. Мандельштам.

4. Речь идет о переезде в Чебоксары для работы в местном пединституте. Н.Я. Мандельштам преподавала там с сентября 1955-го по октябрь 1958 года.

5. Старшая сестра А. Любичева, проживавшая в Ульяновске в одной квартире с ним и О.П. Орлицкой.

6. Известно, что А.А. Любичев направлял письма писателям И.Г. Эренбургу, А.Е. Корнейчуку, В.В. Овечкину, а также в редакции «Литературной газеты» и ряда «толстых» журналов. Некоторые из них опубликованы в сборнике публицистики Любичева «В защиту науки».

7. Вероятно, И.Г. Эренбург и его вторая жена, Козинцова Любовь Михайловна (1899–1970), художница.

5.

10.X.57

Чебоксары

<...> Основное, в чем мы с вами расходимся, это вопрос о роли того, кто передает письмо. Я считаю, что в самом акте передачи есть момент солидаризации, если тот, кто передает, не простой посыльный. Это никакого отношения не имеет к науке, к уважению чужих взглядов в науке и т.п. ... Письмо Илье Григ¹ я передала как посыльный: позвонила секретарше, сказала, что получила на имя И.Г. письмо от... и переслала его ему через Варюшку².

О формализме. Я не понимаю, что это. Ося всегда говорил: «Мы –

смысловики». Слово это пущено Шкловским, который разбирал литературные приемы – механизм сюжета и фабулы, – и стало бранным. А как брань оно применяется к самым различным явлениям. Кстати, разбор «формалистический» Шкловского ни в какой степени не охватывает явления в целом или его существа и поэтому меня не удовлетворяет. Пример – книга Шкловского о Достоевском³. Она не лишена интереса, но если бы Достоевский укладывался в эти рамки, он не был бы сам собой. То, что нас ошеломляет в этом несравненном, неповторимом и диком писателе, остается за бортом. А в разбор попадают мелочи, которые можно обнаружить у любого автора хорошего детектива.

Что такое «искусство для искусства», я тоже не знаю. Быть может, когда время длится медленно и эпоха провинциально устойчива и лишена событий, люди уходят в сторону и выдумывают «чистое» искусство. Но это не гении эпохи, а что-то побочное.

По-моему, искусство – это наиболее сильный способ познания жизни и времени. Именно поэтому я называю его «пророческим» явлением, что, вписываясь в жизнь глубже, чем всё другое, и познавая и отображая время, оно отражает свою эпоху в ее динамике и, следовательно, предвидит дальнейшее движение и видит будущее. Помните, Достоевский назвал Пушкина «пророческим» явлением. В этой направленности в будущее и заключается, по-моему, секрет долговечности искусства, которое ничто иное как познание сущности текущего. Кстати, всё это не имеет отношения к теории прогресса, как мы понимали ее в детстве.

О понимании искусства российскими интеллигентами нашего поколения. Оно было очень раздробленным и, может, в этом была драма нашей культуры. Рационалистическое понимание, шедшее от вульгарной теории прогресса, игнорировало сущность искусства; символисты провели огромную пропагандистскую работу, разъясняющую какие-то глубинные стороны искусства, внедряя отдельные его стороны в сознание интеллигентов, но они игнорировали его общественную сторону. К 20-м годам потомки или ученики тех и других столкнулись лбами, и случилось то, что бывает, когда дерутся изюбри.

В вашем понимании искусства вы принадлежите к потомкам рационалистов, до которых дошли всплески символистической пропаганды⁴. Вы – по своей широте – готовы их принять. Органическое понимание этого явления не синтез этих двух взглядов, а тем более не их скрещение. Оно лежит вне обоих. Но, вероятно, кое-какая учеба у символистов нужна. Но я предпочитаю первоисточники – Гёте, Пушкина, Данте.

Люди действительно клали свою жизнь не за отдельного человека в науке и искусстве, а за явление, или, как вы говорите, «принцип», этот принцип, может, воплощался в человеке; с этой точки зрения я могла вас спросить о Фейхтвангере⁵. Судьба этого писателя сложилась

лась, в общем, довольно сносно, но еще не определяет его искусства. То же самое могло быть с любым журналистом.

1. И.Г. Эренбург.

2. Возможно, Варвара Викторовна Шкловская-Корди (род. 1927), физик; дочь писателя Виктора Борисовича Шкловского (1893–1984) и художницы Василисы Георгиевны Шкловской-Корди (1890–1977).

3. Шкловский, В.Б. *За и против: Заметки о Достоевском*. М.: Сов. писатель, 1957.

4. Эстетические взгляды Любищева нашли отражение в его переписке с Б.С. Кузиным (частично опубликована в сборнике: Любищев, А.А. *Наука и религия*. СПб.: Алетейя, 2000. С. 320–357).

5. Лион Фейхтвангер (1884–1958), немецкий писатель, драматург. Один из любимых писателей А.А. Любищева.

6.

Б/д [ноябрь-декабрь 1962]

Александр Александрович! О чем-то я думала, читая «Систематику и эволюцию»¹ и листочки о Тейяре де Шарден, мне хочется написать вам об этом, да не знаю, смогу ли. Попробую. Больше всего меня заинтересовало в вашем послании бегло брошенное замечание о том, что идея воплощения может быть хорошо «иллюстрирована рядом биологических фактов». Я бы очень хотела услышать об этом подробнее. Алексея же Константиновича Толстого² я тоже люблю, но не за его философию и теософию. Что же касается до меня, то в Тейяре мне ясно одно: занимаясь наукой, он увидел в ней подкрепление своих взглядов, а не удар по ним. Это очень существенно для нашего времени и очень типично для него. Позитивистская наука 19 века, в особенности в ее популярных и убедительных изложениях, вела к нищенским идеалам; сейчас научное знание приходит к многостороннему и глубинному пониманию мира, где уже нет проблемы о материи в том виде, как ее ставило недавнее (у нас сильно затянувшееся) прошлое. У Шардена мне еще интересен основной его вопрос: о целенаправленности эволюции; тут дело не в том, насколько он передовой ученый в смысле своих теорий эволюции. Насколько я понимаю, идею эволюции сейчас не отрицает никто, речь идет только о формах, в которых она протекала, и об отказе от примитивных схем. Так ли это? Мне кажется, что вопрос о целенаправленности решает всё и для сегодняшнего дня не менее важен, чем некогда изумившая людей целесообразность и гармония. Интересно, что новое время открыло и хаос (хаотичность движения в микромире хотя бы), из котор[ого] сделала идеологические выводы, прямо противоположные позитивизму.

Наиболее бедными мне кажутся выводы Шардена: его идеи коллективного человечества с ослаблением роли личности (другое дело –

соборность). (Я говорю о личности, а не об индивидуализме). Сыграло ли это роль в запрещении его книги? Ведь самое понятие личности принадлежит христианству и только ему; как идея истории, на которой создалась европейская культура, принадлежит иудейско-христианскому миру.

С интересом прочла я у вас, что вы разделяете упрек Шардену (стр. 2) в том, что он не отличает естественного от сверхъестественного. Мне почти стало завидно вам, потому что я до ужаса не понимаю этого деления. Это, очевидно, какой-то природный мой недостаток, преодолеть который я не могу, т. к. у меня нету соответствующего органа. Дело в том, что т. наз. «естественное» – мир, жизнь, так называемая материя, которая в моем понимании скорее форма, чем материя, человек и его деятельность, мысль, слово и речь в особенности, – всё это кажется мне столь невероятным чудом, т.е. сверхъестественным, что у меня нет потребности искать во всем этом отдельных проявлений «особого» сверхъестественного. В каком-то смысле целенаправленность эволюции с ее изворотами, тупиками и неожиданностями равна для меня воплоще[нию]. Видно, вы не так это понимаете, и мне очень хотелось бы узнать ваше мнение.

Упрек Тейяру относительно духа и материи вполне заслуженный. Формулировка эта исключительно неудачна, но она, в сущности, не вытекает из его учения. (Кстати, надо проверить в подлиннике). Здесь мы подходим к вопросу о дуализме, о котором у нас с вами уже однажды зашел разговор. (Кстати, что за Эллингтон? Не Эддингтон ли? «Астроном королевы»?)³ Это тот, который хочет чистым разумом построить основные понятия мира. Если вспомнить, что наши понятия – это части очередной модели, в которой использованы различного вида символы, то, конечно, можно. В постройке этих моделей великая сила человека.

Но вернемся к дуализму. Тут со мной опять происходит нечто мало обоснованное: я не хочу мириться с дуализмом (дух и материя, форма и содержание, добро и зло и т.д.). Может, просто эти пары примитивно соединены. В добре и зле, скажем, я вижу бытие (добро) и то, что бытие уничтожает (небытие, обреченное на самоуничтожение.) В них нет противопоставленности, а есть несовместимость. Совсем другого плана ряд «форма и содержание». Для Мандельштама это не скрещение двух начал, а нечто, содержащееся в другом (форма в содержании, наподобие воды в губке). Наконец, дух и материя не противостоят друг другу и не являются парой. (Форма не есть «материя».) Каким-то образом здесь маячит идея воплощения, но отнюдь не индуистского плана, т.е. не эманация (относящаяся к миру в целом), а творение. Вопрос для меня в другом: как мир соотносится с творцом, свобода с целенаправленностью, и как творческое начало проявляется во всем – и здесь я не могу найти слова – в живом? – в эволюционирующей жизни? – в потоке жизни?.. истории? То есть в акте творчества заложена потенция дальнейшего творческого процес-

са (а на какой-то стадии даже с выбором путей: смерть или жизнь). У Шардена есть нечто подобное: когда он говорит о тупике эволюции. Что ж, Шарден – еще одна модель, благородная и наивная.

Мне жаль, что вы уделяете слишком много внимания обскурантским теориям, потерявшим значение и, миролюбиво относясь к разным моделям, ничего почти не говорите о своей. Здесь еще есть проблема плюрализма, в частности, в биологии и для человека. Язык ничего для нее не даст. Во всяком случае, в историческом плане, так как палеонтология в языке не заходит глубже памятников, а построение, в крайнем случае (для более ясных языков), до позднейшего неолита. Интересны некоторые другие вещи: знаковые, сигнальные и символистические системы (не в Павловском, разумеется, смысле⁴). У человека весь этот набор действует. У всякого человека и на всякой стадии развития, но это еще не свидетельство об едином происхождении, а скорее, об едином замысле.

Сейчас я хочу подумать о вашей публикации чисто биологической («систематика и эволюция»). Что значит номогенез?⁵ И чья теория об ограниченности формообразования? Это очень важно... А насчет жизни на других планетах, в это я не собираюсь верить.

На днях еду в Ленинград на несколько дней. Очень устаю и не знаю, как мне быть. Хочу очень вас видеть. Еще больше хочу, чтобы вы сразу, не отвечая всерьез, написали мне два-три слова о том, полный ли идиотизм все мои размышления.

Целую дорогую Ольгу Петровну и Александра Александровича.
Н.М.

[Приписка вертикально на полях слева]:

У нас выставка Фалька – стоят огромные очереди⁶.

[Приписка на обороте предыдущего листа вертикально на полях слева]:

Поскольку до меня доходит Мендель⁷ – грандиозное явление. Надо отдать справедливость нашему чутью, мы умеем отмечать крупнейшие явления в искусстве и науке.

1. Статья А.А. Любищева, опубликована в сборнике «Внутривидовая изменчивость наземных позвоночных животных и микроэволюция». Свердловск, 1965.

2. Любищев неизменно называл А.К. Толстого в числе своих любимейших поэтов и часто цитировал в письмах строки его произведений.

3. Артур Стенли Эддингтон (1882–1944), английский физик и астроном, крупный специалист по теории относительности. В 1921–1923 гг. возглавлял Королевское астрономическое общество Великобритании, однако должность «королевского астронома» (Astronomer Royal) никогда не занимал.

4. Имеются в виду теории физиолога, лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине, Ивана Петровича Павлова (1849–1936).

5. Номогенез, или «эволюция на основе закономерности», антидарвинистская эволюционная теория, предложенная в 1922 г. русским биологом и географом Л.С. Бергом (1876–1950). В ее основе лежит отрицание концепции

естественного отбора как основанной на господстве чистого случая. Любищев всю жизнь считал себя сторонником этой теории.

6. Речь идет о посмертной выставке произведений художника Роберта Рафаиловича Фалька (1886–1958), проходившей в московском Манеже в конце 1962 года.

7. Грегор Иоганн Мендель (1822–1884), чешско-австрийский биолог-генетик, аббат; основоположник учения о наследственности. В эпоху господства в СССР лысенковщины Мендель, наряду с биологами А. Вейсманом и Т.Х. Морганом, был объявлен одним из реакционных генетиков-идеалистов, а менделизм на некоторое время оказался под прямым запретом.

7.

6 января [1963]

Дорогой Александр Александрович!

Никаких «замечаний» я вам писать, конечно, не могу. Но я могу сказать, что мне было интересно.

О мировоззрении Сент-Экзюпери – так себе. Дразнить Литературную газету не стоит. Сам автор мил, но о человеке многое сказано гораздо сильнее. Это сейчас одно из самых главных течений повсюду (христианская культура – человек), начиная с экзистенциализма. У нас – Достоевский, Герцен, Пастернак (слабее других, потому что у него «избранный человек» – поэт) и многие другие. Трубецкой, Бердяев и еще многие...

Спор о машине и человеке – ответ этому сибирскому академику¹. Я читала его статью, полную радостных надежд. По существу, вы совершенно правы, но доказательства можно было строить резче.

Очень интересно – ваша статья в сборник памяти Беклемишева². Я не могу вникнуть в сущность науки, потому что я не знаю ее, но многое понятно и вне этого.

Первое – как мировоззрение и мировоззренческие предпосылки влияют на развитие науки (торжество исторической морфологии в известный период). Для всех наук и областей деятельности человека интересны постулаты морфологии. Я думаю, так можно было бы построить постулаты литературоведения или даже самой литературы, и уж наверное философии. Об языковедении и говорить нечего, только преграды там иные.

Вы интересовались проблемами развития речи и слова. Я это понимаю; как будто всюду работают одинаковые (принципиально – формообразование идет по таинственно общим законам). И человек, пытаясь их понять (но в моих областях он скользит только по поверхности), находит критерии и постулаты, близкие во всех науках. (Это я про главу 5.) Недаром О.М. говорил о том, что литературоведение тогда сможет изучить литературное формообразование (это в «Разговоре о Данте» – его поэтике³), если оно возьмет методы и постулаты у точных наук, в частности у биологии.

С целым рядом явлений я сталкивалась в языкознании (конструктивные изменения, вызванные не историческим происхождением, а сходными потенциями, например). Это относится также и к литературе.

Очень интересно то, что вы рассказываете о тек[с]тологии и архитектонике (глава 14), которая занимается единым гармоническим целым.

Примеров уменьшения разнообразия по мере эволюции в языке множество.

Иначе говоря, я читала вашу статью взхлеб – аргументируя все положения не биологически, а языковедчески и литературно. Так[им] образом, любопытство мое было двух родов: 1) законы формообразования, таинственно близкие во всех областях, 2) история науки с ее поисками постулатов и критериев и, если хотите, стиля (например, историцизма). Я еще вернусь к этой статье в связи с кое-какой работой с формообразованием имыслеобразованием. Интересно было бы, если бы такая статья была обобщающей – т.е. чисто философской. Вот, так сказать, результат моего чтения.

Простите, если наговорила глупостей.

А теперь из другой области – и я уже обращаюсь к вам обоим – т.е. здравствуйте, Ольга Петровна!

Солженицын, конечно, не звезда на литературном поприще, а просто огромный общественное событие. Возможно, что он ничего больше не напишет – но в литературу он войдет. А стену мы все возводим – т.е. при любых обстоятельствах продолжаем думать и работать.

В Москве я не была. Новый год встречала с Амусиными (они приезжали) и приятельницей из Москвы (Юленькой Живовой⁴) – она бывала при вас в Тарусе. В Москве много событий, о которых мне пишут: концерт Шостаковича на слова Евтушенко (Бабий Яр и Женщины в очереди)⁵; толпа народу у выставки в Манеже; вечер Марины Цветаевой – триумфальный и т.д.

А как я отношусь к критике Фалька?⁶ Вероятно, так же, как вы. Неужели иначе?

Целую вас.

Н.М.

1. О ком идет речь, установить не удалось. Возможно, имеется в виду академик Михаил Алексеевич Лаврентьев (1900–1980), работавший в то время в новосибирском Академгородке.

2. Владимир Николаевич Беклемишев (1890–1962), зоолог, энтомолог, биоценолог. Профессор, действительный член АМН СССР (1945) и Польской АН (1949). Возможно, речь идет о статье: Любищев, А.А. «Понятие сравнительной анатомии». В *Вопросы общей зоологии и медицинской паразитологии*. М.: Биомедгиз, 1962. С. 189-214. Однако этот сборник был посвящен не памяти Беклемишева, а его 70-летию.

3. Эссе «Разговор о Данте» было написано Осипом Мандельштамом в 1933 г.,

в период его сближения с Борисом Кузиным и другими московскими биологами. Впервые опубликовано в 1967 году. Сходные мысли находим и в других текстах Мандельштама, в частности, в статье «Природа слова» (1922), где он мечтает о «создании органической поэтики, не законодательного, а биологического характера, уничтожающей канон во имя внутреннего сближения организма, обладающей всеми чертами биологической науки».

4. Юлия Марковна Живова (1925–2010), специалист по польской литературе, переводчица, редактор издательства «Художественная литература» (Гослитиздат; с 1948 г.).

5. Речь идет о 13-й симфонии Шостаковича, все пять частей которой написаны на слова стихотворений Е.А. Евтушенко: «Бабий Яр», «Юмор», «В магазине», «Страхи», «Карьера». Первое исполнение симфонии состоялось в Москве 18 декабря 1962 г., с 1966 г. на ее исполнение в СССР был наложен негласный запрет.

6. Выставку Фалька посетил Никита Хрущев, который прилюдно назвал «неприличной» и «мазней» картину «Обнаженная в кресле».

8.

23 ноября [1962 или 1963]

Дорогой Александр Александрович! Я прочла вашу статью на праздники, но только сейчас выкроила время, чтобы вам ответить. Хотя у меня всего 18 часов, но я страшно устаю. Трудно, кстати, волочить группу, которая упорно не хочет думать. Они считают, что это вредно. Раньше это было не так остро... Думать не хотят даже о том, что прочли секунду назад. Я работаю, вероятно, последний год. Слишком неудовлетворительное занятие, хотя языку кое-как научить можно. Теперь к статье...

Гуманизм, несомненно, ставит во главу угла человека, личность и ее развитие. Это понятие появилось в античности и было придано течению, старавшемуся противостоять схоластике и открывшему новую эру. С кем вы спорите – с автором предисловия или с Марло¹? Для Марло человеческая гигантомания была очень характерна. Не случайно он остался второстепенным писателем. Такие же шутики были свойственны и романтизму. Исторические знания Марло скромны – такова уж эпоха. Сам Марло с его страстью к разбухше-мощной личности – это, конечно, результат гуманистических течений... Автор предисловия перестарался, делая его антирелигиозником и всем прочим... Думаю, что удар направлен именно на него. Но стоило ли стараться? Назвать Макиавелли² гуманистом – немыслимо. Предчувствуя мощное государство, он обожествил его и тем самым нарушил основную линию гуманизма.

Меня заинтересовало ваше отношение к личности. Вы ставите в заслугу гуманистам, что они никогда не говорили о примате личности. Это естественно, что они об этом не говорили: чтобы понять ценность личности, надо было пройти 19 век и половину 20-го. Примат лично-

сти в обществе вовсе не означает насилия одной личности над другой. Речь идет об обществе, построенном для личности и не подавляющем ее, а стремящемся обеспечить этой личности всё, что ей требуется. У Марло с его Тамерланом обычная вещь – Великий Инквизитор, который обещает дать хлеба. (Я не помню ничего у Марло, кроме доктора Фауста.) Как Марло мог знать, что Великий Инквизитор даже хлеба не даст – обманет? Это заранее знал только Достоевский. У Марло очевидно стремление к совершенному обществу – справедливому и прочему, и надежды свои он возлагает на меч. В те жестокие времена сама мысль о совершенном обществе и о герое были мыслями гуманистическими. Это тоска по совершенству, для людей всегда очень вредная. Марло заслуживает снисхождения, а рецензент – нет.

В своей рецензии на Марло и его предисловщика вы сами иногда сбиваетесь со своих позиций. Например, вы говорите, что высокие цели требуют жертв. По-вашему, если хорошо отрегулировать количество жертв, то всегда будет правильно. Дело только в пропорциональности (стр. 3). Так ли это? Стоило ли жить в двадцатом веке, чтобы допустить снова эту плату за высокую цель? О количестве необходимых жертв мнения всегда могут разойтись. Ваше допущение опаснее, чем бедняга Марло с его сверхидеями. Уже Герцен и Достоевский решительно отказывались от такой предпосылки (Герцен в «Былом и думах»; Достоевский в «Бесах»). Как же можно после них делать такие допущения, как вы?

Не это ли отношение к цели определяет ваши взгляды на иезуитов?

В оценке Тамерлана – Наполеона и прочих я, безусловно, согласна с вами. Тот же девятнадцатый век, к которому я сейчас с интересом прислушиваюсь, переоценил Наполеона. Хотя постепенно он исчезал из виду и уменьшался. Это одно из противоречий 19 века, ставшее всем очень дорого. Согласна и насчет Петра. Бердяев считает, что Петровский период был необходим, и он в ужасе от Московского периода, на который делали ставку славянофилы³.

Кстати, для Марло Тамерлан был совсем недавним явлением. Что он о нем знал? Наверное, почти ничего...

Марло знает об езидах столько же, сколько о Тамерлане. Интересна пушкинская заметка⁴. Я ее не помнила. Езиды – дуалисты наивного толка. Сейчас это самые смиренные люди.

Знаете ли вы книгу об истории доктора Фауста⁵? Там собраны все документы, легенды, предания и т.д. ...Очень забавно.

Сердечный привет Ольге Петровне.

Очень я здесь скучаю.

Не забывайте меня.

Н.М.

А Марло, конечно, сатанист. Жаль, что его уничтожил[и]. Уничтожать нельзя никого.

1. Кристофер Марло (1564–1593), английский поэт, переводчик, драматург-

трагик. Вероятно, речь идет о сборнике пьес этого автора: Марло, К. *Сочинения*. М.: ГИХЛ, 1961.

2. Никколо ди Бернардо Макиавелли (Макиавелли) (1469–1527), итальянский мыслитель, политический деятель, философ, историк.

3. Бердяев писал об этом, в частности, в своей книге «Русская идея» (1946).

4. Во время путешествия в Закавказье А.С. Пушкин познакомился с езидским шейхом и в первой редакции «Путешествия в Арзрум» поместил (на французском языке) «Заметку о секте езидов».

5. Сборник «Легенда о докторе Фаусте», вышедший в 1958 г. в серии «Литературные памятники».

9.

Б/д [декабрь 1963]

Милые Ольга Петровна и Александр Александрович!

Что вы мне не пишете? Неужели вы на меня рассердились? Не надо... Откликнитесь.

27 декабря исполнилось 25 лет со смерти О.М. ...До печатанья еще дальше, чем раньше¹.

Я очень устала. Но я рада, что подросли люди – племя младое, незнакомое, – которые помнят не только его, но и меня. Это единственное утешение.

Очень трудно и не знаю, что буду делать дальше. В будущем году уже сюда не приеду. Буду в Тарусе. Целую. Н.М.

1. Сборник стихотворений Мандельштама был включен в план серии «Библиотека поэта» в 1959 году. Однако книга вышла в свет в самом конце 1973 года. Тексты поэта предваряло «трусливое и лживое предисловие Александра Дымшица» (Лекманов, О.А. *Осип Мандельштам: ворованный воздух*. М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2016. С. 425).

10.

21 марта [1964]

Дорогие Ольга Петровна и Александр Александрович!

Очень обрадовалась вашему письму. Прежде всего – мы, похоже, встретимся в конце мая в Москве. Было бы очень хорошо.

А теперь по рассуждениям А.А. о положении литературы и науки... Здесь можно ответить только двумя словами. То, что А.А. считает преимуществом литературы – т.е. массовое печатание, – это и есть несчастье, а не благо. Он ведь сам заметил, что печатают то, что лежит грудами на складах.

Молодые поэты и писатели должны были бы издавать первые книги за собственный счет. А потом – как читатель... Было бы много

ошибок – временных. Напр., Евтушенко бы раскупался. Но это не страшные ошибки и литературе в целом не повредят. А вот если напечатают одного, говоря вашим языком, Лысенко, тогда плохо.

Ленинградского поэта вытащили из сумасшедшего дома, судили и дали пять лет... А это вам нравится? Обвинение в туеядстве, потому что писал стихи¹. Он даже зарабатывал – переводил. Но мало – рублей 30 в месяц... Этого допустить не могли... На суде выступали филологи (серьезные), их пробрали в газете. Я от этого заболела. Работаю с трудом – лишь бы дотянуть до конца года.

Кажется, меня разрешили прописать в Москве. Это хорошо. Но зиму буду жить в Тарусе и топить чужие печи.

Устала. Ничего не поделаешь.

Целую вас крепко.

Н.М.

Надо ли показывать ваше письмо Фриде², когда для нее вполне ясно, что вы неправильно оцениваете положение в литературе?

[Приписка вертикально на полях слева]:

Кузина я не видела – зачем? С ним разговаривали мальчишки, которые занимаются О.М. ...А насчет писем – есть кодекс уважения к женщине. Сюда входят и письма. Хранение их против воли писавшей называется последним хамством³.

1. Речь идет об Иосифе Александровиче Бродском (1940–1996), который 13 февраля 1964 г. был арестован по обвинению в туеядстве. Приговор поэту вынесен 13 марта.

2. Фрида Абрамовна Вигдорова (1915–1965), журналистка, писатель, правозащитник.

3. Категорическое требование Борису Кузину уничтожить ее письма к нему Надежда Мандельштам неоднократно высказывала в апреле-мае 1939 года (см. Кузин, Б.С. *Воспоминания. Произведения. Переписка. Мандельштам Н.Я. 192 письма к Б. Кузину*. СПб.: ИНАПРЕСС, 1999. С. 579, 583, 588) и в будущем не раз заочно упрекала Кузина в том, что он не сделал этого. См. публикуемое ниже письмо к О.П. Орлицкой от 6 марта 1964 года.

11.

Б/д [не позднее марта 1964]

Дорогой Александр Александрович!

Ваше письмо я Фриде передам. Но неужели вы думаете, что освободившаяся бумага пойдет ученым? Если да, то вы несокрушимый оптимист. Откуда такой оптимизм?

К сожалению, я не буду в Москве ни в мае, ни в апреле. Вероятно, уеду из Пскова в середине июня. И уже не вернусь.

Вы предлагаете отменить писательские потиражные. Это тоже роли особой не сыграет, так как писателям (которые нужны) сумеют

вручить деньги на хорошую жизнь под любым соусом. Ограничьте вы только доходы тех писателей, которые нужны далеко не всем (вроде Солженицына). И, наконец, в бумаге ли дело? Насколько я знаю, говорят о бумаге только с теми, кто не особенно нужен в данный текущий момент. На то, что нужно, бумага найдется всегда и в неограниченном размере. Тут что-то не то... Вы не с того конца беретесь за эту скромную проблему, и эта скромная проблема иллюстрирует достаточно любопытные вещи, которые не разрешаются режимом бумажной экономии. Фрида не затрагивает этого вопроса, потому что он совсем другой... Мне очень хочется вас видеть. Я устала, больна, мрачна. Не верю, что выберусь живой из Пскова. Стремлюсь в Тарусу и ни о чем больше не думаю.

Н.М.

Дорогая Ольга Петровна! Я по вас очень соскучилась, но опять наши пути расходятся. Не совпадают сроки нашего приезда в Москву. Это очень жаль.

Я настолько устала, что уже просто живу и не живу. Поэта судили за стихи, а называлось это тунеядством. Т.е. суд шел о тунеядстве, и его оплачиваемая работа (переводы) во внимание принята не была. Тунеядец ли человек (ему 25 лет), который работает в литературе, но еще не проложил себе путь в печать? Это уже вопрос отдельный и принципиальный. Многие поэты и художники (часто очень крупные) получали признание только после смерти. А героически работали и жили очень плохо. Вот как бывает на этом свете...

Не забывайте меня. Пишите.

Н.М.

12.

14 апреля [1964]

Милые Ольга Петровна и Александр Александрович!

Что-то от вас нет отклика...

Понимает ли Ал. Ал., что в литературе печатают только лысенковцев (их много), а про остальных просто делают вид, что их нет (много ли вы читали о Платонове, Булгакове, Бабеле и многих других?), Солженицын – фантастическое исключение, ряд случайностей, о которых мы все знаем. Наоборот, в литературе всё острее. Юноша, о котором я вам писала, уже на севере¹.

У меня тяжелое время. В Псков я больше не поеду. Невмоготу. Не трудность работы, а просто не могу больше тратить времени впустую. Его слишком мало осталось.

Сейчас сделана была попытка прописать меня в Москве. Моссовет, кажется, разрешил, а дальше застопорилось. Единственная мысль – это сбежать к Поле и запереться. Иначе ничего не успеваю...

Когда будете в Москве? Хотелось бы встретиться...
Н.М.

1. В марте 1964 г. Иосиф Бродский прибыл в ссылку в Коношский район Архангельской области.

13.

23 [сентября или октября] 1964

Дорогой Александр Александрович!

Простите, что я не сразу ответила: лето было безумное, как всегда. В диком состоянии была моя невестка¹ – совсем больная и, главное, психика. Она бьется головой об стену и ревет. Из злоки сделалась доброй, и это ужасно.

В результате я устала и не могла работать. Сейчас отчаянно работаю. Дел у меня много.

Через два дня переезжаю к Гольшевой² (Садовая, 2). Хотя я и прописана в Москве, но буду зимовать здесь, потому что там негде жить. Обычно, приезжая, я – за кухней у Шкловских, но это хорошо на недельку.

Я не могу прислать вам ваших статей – мои книги разбросаны по крайней мере по 10 местам. Не забывайте, что я бездомная. И уже много лет. Если хотите, всю жизнь.

Хотелось бы встретиться. Не знаю, как сложится моя жизнь. Во всяком случае, трудно. Сейчас не могу сосредоточиться на чтении от работы и усталости. Перееду, прочту внимательно и напишу большое письмо. Целую обоих.

Н.М.

1. Имеется в виду жена брата Н.Я. Мандельштам, Евгения Яковлевича Хазина, Елена Михайловна Фрадкина, театральная художница.

2. Елена Михайловна Гольшева (1906–1984) – переводчица, лингвист, литератор; жила в Тарусе вместе с мужем, Поташинским Николаем Давидовичем (псевдоним Оттен; 1907–1983), кинодраматургом, переводчиком, сценаристом, критиком. Н.Я. Мандельштам жила у Гольшевой с октября 1964-го по июнь 1965 года.

14.

31 июля [1966]

Дорогой Александр Александрович!

Я очень обрадовалась, получив ваше письмо. Горжусь вашим мужеством и твердостью. Уверена, что вы скоро начнете работать с микроскопом и всё пойдет на лад.

Живу я в Верее¹. Это место чем-то приятнее Тарусы: скромнее и

доброкачественнее. Пейзаж более суровый. Отличные ключи, светлые ручьи в лесу. Но я главным образом по хозяйству. В свободное время стараюсь стучать на машинке. Кое-что делаю. О том, что такое свобода и необходимость в переводе на собственную жизнь. И еще о разных вещах. О трагедии (в искусстве) и о разном другом. В основном, вокруг поэзии и тех, кто ее делает.

Очень устаю и старею. Это даже не возраст, а груз прошлого. Слишком много фабульности было в моей жизни.

Мой брат очень болел зимой². Сейчас он в неплохом виде, но я боюсь сглазить.

Как всегда, думаю о разном, читаю газеты, слушаю радио и радуюсь многому, о многом печалюсь. Наверное, наши мысли совпадают.

Желаю вам здоровья и мужества. Очень вас люблю.

Н. Мандельштам

[Приписка, адресованная О.П. Орлицкой]:

Дорогая Ольга Петровна!

Как ваше здоровье? Не забывайте меня. Пишите.

До сентября буду в Верее.

(г. Верея Моск. обл., Наро-Фоминский р-н. Спартаковская 20. Шевелев[ым] для меня).

Целую вас.

Н. Мандельштам

1. Верея – город в Наро-Фоминском городском округе Московской области. С 1965-го по 1968 г. Н.Я. Мандельштам проводила там часть лета.

2. Вероятно, имеется в виду инфаркт у Е.А. Хазина и его последствия (ноябрь-декабрь 1965 г.). Письмо предположительно датируется, исходя из этого обстоятельства.

6 сентября 1966

Дорогой Александр Александрович!

К сожалению, Вы мне прислали только начало статьи о Шардене¹ (3 стр.), а она меня очень интересует. И вторая статья (методологическая) очень интересна². Я собираюсь подробно Вам на нее ответить, как только урву время. Сейчас мне трудно.

Схodu об языкознании. Устанавливать родство языков можно только там, где сохранились связи (большей частью видные в древних текстах); можно говорить о семье индоевропейских языков, тюркских, угро-финских, семитских... К этим языкам возможен исторический подход. Но сторонники исторического подхода вовсе не считают, что все языки произошли из одного (это относится только к тем группам, где это доказывается памятником, то есть в очень недав-

ную эпоху). Скажем, происхождение французского и итальянского из латыни, или всех индоевропейских из «пра-языка». Этот пра-язык – это язык позднего неолита и отнюдь не первичный. О первичных языках у нас нет никаких данных и языковедание отказывается заниматься этими вопросами.

В языковедении принято несколько типов классификации (синхронный³ и диахронный, структурный и пр.). С начала 19 века пришел исторический метод для индоевропейских языков (открытие санскрита), но никогда он не был единственным. Праязыком называют условно тот язык, из которого произошли индоевропейские; доказательством их общего происхождения служит не количество сходных моментов, а целый ряд структурных единств, которые не могут быть случайными и отчетливо видны на древнейших памятниках. Это так же ясно, как родство, скажем, русского и сербского или украинского, которые все претерпели фонетические изменения, прослеживаемые по памятникам. Или польский, где можно проследить появление шипящих, и т.д.

Т.е. наша классификация гораздо легче вашей. У нас в памятниках сохранились промежуточные формы, видимые простым глазом. И кроме того – это всё очень недавний слой. Древнейшие памятники – санскрит, хетт[ский]. Ведь это же историческая эпоха.

Очень хочется видеть вас обоих. Как Ольга Петровна?

Целую вас обоих.

Н. Мандельштам.

Мейе⁴ говорил только о праязыке, а не о «первичном» языке».

1. Пьер Тейяр де Шарден (1881–1955), французский философ, биолог и антрополог, иезуит. Вероятно, единственный католический теолог XX в., сочинения которого издавались в СССР.

2. Возможно, имеется в виду статья: Любищев, А.А. «Проблемы систематики». В: *Проблемы эволюции*. Новосибирск, 1968. Вып. 1. С. 7-29.

3. Приписка над словом «синхронный»: «Соссюр». Фердинанд де Соссюр (1857–1913), швейцарский лингвист.

4. Поль-Жюль-Антуан Мейе (1866–1936), французский лингвист.

16.

13 сентября 1966

Дорогие Ольга Петровна и Александр Александрович!

Пользуясь случаем написать вам словечко. Вам передаст его Мария Викторовна Ярцева¹, которую я знала еще по Воронежу – «в те баснословные года», которые, слава Богу, прошли². Она славная женщина и расскажет вам обо мне.

По обыкновению, сообщаю вам о книгах, в которые стоит заглянуть. Журнал «Простор» (Алма-Ата) напечатал очерк Поповского о Вавилоне³, где всё названо своими словами. Во-вторых, издали Шарде-

на (Teilhard de Chardin) «Феномен человека»⁴ в переводе «для научных библиотек»; это биолог, иезуит и очень интересный философ...

Ровно год как вы были здесь, у меня – в моем логове⁵. Впрочем, не год, а десять месяцев. Я уже по вас соскучилась. Будете ли вы в Москве? Приехали бы... пора...

Для меня тяжелым событием была смерть Анны Андреевны⁶ – ведь с ней мы прожили всю жизнь. Я и сейчас не могу оправиться.

Будьте милы с Марусей⁷ – она хорошая женщина.

Помните, что я скучаю по вас. Хоть напишите.

Надежда Мандельштам

1. Мария Викторовна Ярцева (1909–1996), геолог; воронежская знакомая О.Э. и Н.Я. Мандельштамов, внучатая племянница И.А. Бунина.

2. Речь идет о воронежской ссылке Осипа Мандельштама (1935–1937).

3. Марк Александрович Поповский (1922–2004), писатель, журналист. Речь идет о статье: Поповский, М.А. «Тысяча дней академика Вавилова». В: *Простор*. 1966. № 7, 8. Это была одна из первых в постсталинском СССР публикаций об академике Вавиллове.

4. «Феномен человека» (фр. *Le Phénomène humain*) – философское сочинение Пьера Тейяра де Шардена; написано в 1938–1940 гг., издано в 1955 г.; в переводе Н.А. Садовского опубликовано в СССР в 1965 году: Шарден, Пьер Тейяр де. *Феномен человека*. М.: Прогресс, 1965.

5. В ноябре 1965 г. Н.Я. Мандельштам переехала в однокомнатную квартиру в доме на Большой Черемушкинской улице в Москве.

6. Анна Андреевна Ахматова умерла 5 марта 1966 года.

7. Неустановленное лицо.

17.

28 ноября 1966

Дорогой Александр Александрович!

Ваше исключительно интересное письмо получила. С нетерпением жду «Проблемы систематики»¹ от Аренса², но боюсь, что он разделяет ненависть своей племянницы – Ирины Пуниной³ – ко мне и не пошлет вашей статьи. А Ирина претендовала на наследство Ахматовой; про меня же известно, что я всегда жалела и любила родного сына Анны Андреевны – Леву Гумилева⁴, нынешнего наследника. Об этой проблеме наследства мне не раз приходилось говорить с Анной Андреевной (проблема Иры как наследницы возникла, когда Лева был далеко, и речь шла только о том, как для него сохранить наследство). Ира завладела по соседству всеми рукописями Ахматовой и продает их в архивы; Анна Андреевна завещала их (безвозмездно) в Пушкинский Дом, на чем настаивает и Лева. Словом, идет чудовищная склока, и я рада, что все (включая Амосина) на стороне Левы. Старик мог не разобраться и разделить возмущение псевдонаследниц моим поведением. А статью я очень хочу прочесть.

Идея о пересекающихся мирах для меня мало представима, но очень интересна. А может и представима, но не в обычном нашем образном мышлении («и я выхожу из пространства в запущенный лес величин»⁵).

Очень скучаю по вас. Хотелось бы поговорить. Ваше письмо я хочу показать Гельфанду⁶ – математику. Он мне очень понравился; и вам бы тоже, если бы вы его увидели.

Крепко целую Ольгу Петровну.

Пора бы вам в Москву.

Н. М.

1. См. письмо от 6 октября 1966 года.

2. Лев Евгеньевич Аренс (1890–1967), биолог, педагог, поэт, литератор, художественный критик.

3. Ирина Николаевна Пунина (1921–2003), искусствовед, дочь Пунина Николая Николаевича (1888–1953), искусствоведа, третьего мужа Анны Андреевны Ахматовой.

4. Лев Николаевич Гумилев (1912–1992), археолог, востоковед, географ, историк, этнолог, философ, писатель и переводчик; доктор исторических наук (1961), сын А.А. Ахматовой и Н.С. Гумилева. История с тяжбой о наследстве Ахматовой изложена в книге: Беляков, С.С. *Гумилев, сын Гумилева*. М.: АСТ, 2013. С. 377–390. Альтернативная точка зрения: Каминская, А.Г. «О завещании А. Ахматовой». В: *Звезда*. 2005. № 5. С. 190–204.

5. Мандельштам, О.Э. «Восьмистишия». Процитировано неточно, в оригинале: «И я выхожу из пространства / В запущенный сад величин».

6. Израиль Моисеевич Гельфанд (1913–2009, США) – один из крупнейших математиков XX века, биолог, педагог.

18.

Б/д [не позднее июля 1967]

Дорогой Александр Александрович!

Нельзя судить о целом роде по его неудачным представителям: Лев Евгеньевич¹ прислал мне статью с престелным письмом. Старик он чудный, я его знаю.

Статья мне исключительно интересна. Я буду читать ее медленно. Попытаюсь понять.

Где же ваши письма на английском языке?

Н. М.

[Приписка, адресованная О.П. Орлицкой]:

Милая Ольга Петровна! Мы с Александром Александровичем заболтались о Шардене, а от вас ни полслова. Я по вас очень соскучилась и хочу вас видеть. Какие у вас планы? Махнули бы в Москву... У меня есть для друзей отличный диван.

Н.М.

1. Л.Е. Аренс.

19.

Б/д [1967]

...Ольга Петровна и Александр Александрович!¹

Я давно уже собираюсь написать вам. Очень хочется вас видеть. Последняя встреча была неудачной из-за меня. Во мне ворочалась вторая моя книга и сверлила мне мозг. Сейчас вроде легче, она в черновом виде написана². И я как-то мало смогла с вами поговорить.

Надеюсь, что в эту зиму мы повидаемся и я угощу вас Гельфандом... Хорошо?

Надежда Ман...

[Приписка вертикально на полях слева]:

Я в Верее (Верея Нарофоминского р-на Моск. обл. 1-я Спартак-овская 20, Шевелевым для меня).

[Приписка вертикально на полях справа]:

Я получила милое письмо от Жеки³. Решили встретиться зимой.

1. Левый верхний угол листа оторван.

2. Имеется в виду книга воспоминаний об Анне Ахматовой, над которой Н.Я. работала в 1966 г., ставшая первоначальным вариантом «Второй книги», начатой осенью 1967 года.

3. Евгения Александровна Равдель (1914–1999) – дочь А.А. Любичева от первого брака.

20.

20 мая [1968]

Дорогой Александр Александрович!

Вчера я получила открыточку от Ольги Петровны и узнала о вашей неприятности¹. В одном я уверена, что вы все преодолеете и будете работать, жить и думать. Пока голова светла – а у вас она светлее светлого – ничего не страшно. Поэтому с обычной темы о мужестве перехожу к еще более обычному нашему с вами разговору.

Получили ли вы письмо от Юлия²? Ему очень понравилось ваше письмо-статья на заданную мной тему. Тема эта волнует сейчас очень многих, и поэтому он забрал себе вашу статью и показывает молодым ученым – несколько другого круга, чем обычно у вас, – специалисты по машинам, языковеды, математики. Я думаю, что все почти пути приводят к одинаковому выводу. Если обдумать любую область жизни, всё рушится без нашей предпосылки. Отказавшись от нее, в XIX веке подкапали дерево под корень.

Сам Юлий к моменту, когда я ему дала ваше письмо-статью, уже

писал на сходную тему, но он не мог охватить ее с вашей глубиной и знаниями. У него статья глупо разбивается на две половины. В первой он пытается проанализировать постулаты к любой научной теории (аксиомы, гипотезы, теоремы, основания на аксиомах, выводы и последующие догматы). Но эту часть он не развил и, таким образом, не показал, что и наука строится на вере (хотя бы на приятии 1) объективности видного нам явления, 2) на объективности нашего восприятия и толкования опыта; а есть науки, где опытная часть отсутствует). Кстате, у нас одно слово, а в других языках два – «belief» и «faith». Во второй части вдруг вместо анализа того, как строится наука, он перешел на вопрос, как она воспринимается. (Люди не понимают, что каждая теория лишь «модель», и принимают ее как нечто абсолютное.) Статья получилась жидкая, и он, прекрасно сознавая, насколько глубже по своему методу ваш анализ, всё же от нее не отказывается. Единственное хорошо, что вас читают многие. Интересно ли вам он послал письмо? Он очень поверхностн[ой] наукой (программирование) [занимается] и наука сводится к ерунде (теория информации).

Со структурализмом вообще плохо. Всякая наука структурна. Искать добавочн[ой] структур[ы] значит придумывать проволочный каркас. Ваша работа в принципе исторична. Это анализ науки, как она сложилась исторически, и ст[р]уктура ее в том, что и наука живет тем, что я называю «faith» (это шире вашего *credo quia absurdum*³. Но оно очень важно).

Что же делать с папиросной бумагой? Глаза портятся и слабеют. Жду с нетерпением продолжения.

Н. Мандельштам

1. В 1968 г. А.А. Любичев перенес перелом шейки бедра и с тех пор передвигался на костылях. Вероятнее всего, это и есть та «неприятность», о которой сказано в письме.

2. Юлий Анатольевич Шрейдер (1927–1998), математик, кибернетик, философ, логик. Был знаком и переписывался с А.А. Любичевым с 1967 года.

3. *Credo quia absurdum* [est] (лат.) – «Верую, ибо абсурдно». Латинское выражение, восходящее к сочинениям римского богослова II–III вв. Квинта Септимия Тертуллиана.

29 мая [1968]

Дорогой Александр Александрович!

Как вы там? Скоро ли вы сможете отвечать на письма и доработать статью в ответ на мой основной вопрос? Я очень по вас скучаю и очень хочу вас видеть. Сама я работаю – с трудом и медленно. Вообще, я не быстрая, а тут еще приспела старость, не омрачившая,

впрочем, еще голову. Она, конечно, у меня не такая ясная, как у вас, но всё же еще держится.

Вчера у меня был Амусин с Лией¹. Мы много говорили о вас. Вы для нас всегда пример светлого ума и свободы духа. Мы гордимся вами.

Привет вам от Юлия. У него вчера родилась дочка, и он мне позвонил ночью, чтобы поделиться радостью. Звать ее будут Машкой, как козу. Я очень люблю это имя.

Юлий забрал у меня вашу статью. Ее широко сейчас читают главным образом математики и филологи. Она им очень нужна. Соединение математиков и филологов – нормально. Это вокруг теории информации. Что они делают, не пойму. Изредка они мне рассказывают и, когда я говорю: «не верю», останавливаются и переделывают... Они чересчур бойко обращаются с фактами языка. Мною пользуются для проверки. Как языковеды, они легкомысленны. А математическая школа – Гельфанда – очевидно, крепкая.

Целую вас крепко.

Желаю поскорее выздороветь и вернуться к работе.

Н. Мандельштам

1. Лия Менделевна Глускина (1914–1991), историк-антиковед, доктор исторических наук, профессор ЛГУ. Жена И.Д. Амусина.

22.

29 марта [без года]

Милый Александр Александрович!

Рада была получить ваше письмо.

Прекрасно, что сейчас диапазон вашей биологической работы расширился. Это очень хорошо. Присланная вами статья действительно не для меня.

Один вопрос: общее ли у нас в понимании развития или общности формообразования. Развитие предполагает линию. Формообразование не совсем то. Вот меня-то всегда и поражает, что у формообразования во всех областях единые законы. Но если даже оно течет во времени, оно все же не становится развитием. Думали ли вы об этом? То, что вы мне говорили о ваших насекомых, помогло мне понять это. Если это развитие в чистом виде, почему такое разнообразие?

Еще я вспоминаю ваши слова о том, что тогда всё (в сороковых) началось с литературы...¹ Помните? Хотя она вам чужда, вы это увидели.

Грустно. Устала.

Н.М.

[Приписка, адресованная О.П. Орлицкой]:

Милая Ольга Петровна!

Что-то я теряю мужество. Впрочем, я его давно потеряла. Устала.

Крепко вас целую.

Н.М.

О личности и ее самоценности – всё это началось с христианства. Это и есть основа той культуры, которая называется христианством.

1. Вероятно, речь идет о Постановлении ЦК ВКП(б) «О журналах ‘Звезда’ и ‘Ленинград’» (август 1946), открывшем целую серию идеологических «проработок» в разных сферах советской культуры.

23.

Б/д [не ранее 1967]

Дорогой Александр Александрович!

Я надеюсь, вы уже дома. Я уезжала на несколько дней и нашла открытку Ольги Петровны. Очень ей обрадовалась. Как вы сейчас? Очень хочу про вас всё знать.

Живу трудно, потому что работаю. Это и легко, и трудно психически. Рада, что выходит, устаю от напряжения, с гордостью вспоминаю вас, для которого жизнь и труд – синонимы.

Неужели вы не получили письма от Юлия Шрейдера по поводу вашей рукописи? Я говорю о последней вашей работе относительно гипотезы, которая кому-то была не нужна...¹ Как легко бросался XIX век нужнейшими гипотезами, если можно это так назвать.

Помните, как молодой физик, муж Вари Шкловской² (первый; второго мы с вами ей выбрали в Тарусе – помните?), обрадовался, узнав, что атомы у живого и неживого одинаковы. Вы спокойно встретили его нахальство, объяснив, что в молодости это бывает. Он сейчас умнее (работает у Гельфанда), но многие его товарищи остались на том же уровне. Лаборатория (биологическая) Гельфанда ищет сейчас отличительные черты живой материи (в отличие от неорганической). Один остроумец из лингвистов сказал по поводу определения частей речи, что человек отличает глагол от имени, как собака хлеб от куска глины. Это трудно только ученым. Особенно нашего века. С современным языкознанием (структуральным) мне скучно. За 30-40 лет своего существования оно бесконечно устарело. Ничего не подняло нового, но пересказало старое в псевдонаучной форме (научообразной). Всякая наука структурна. Накладывать на нее дополнительный каркас не стоит...

Очень целую вас и желаю вам как можно скорее поправиться.

Ваша Н. Мандельштам.

Был здесь Амусин. Я его очень люблю. Очень хорош.

1. Имеется в виду известный апокрифический диалог между Наполеоном и Пьером-Симоном Лапласом (1749–1827), выдающимся математиком и астрономом, «отцом небесной механики». Лаплас будто бы ответил императору, поинтересовавшемуся, какое место тот отводит Господу Богу в своей системе мира: «Сир, я не нуждался в этой гипотезе!»

2. Либерман Ефим Арсеньевич (1925–2011, Израиль), биофизик, физиолог, в рассматриваемый период работал в Институте проблем передачи информации АН СССР в Москве.

24.

Б/д [не ранее 1967]

Дорогие Ольга Петровна и Александр Александрович!

Спасибо за присыл и простите, что я не сразу ответила. Во-первых, болел (и болеет) Евг. Як.¹, во-вторых, Шкловские обменяли квартиру и переехали, поэтому я с задержкой получила вашу статью. Она очень интересна. Я ее уже прочла и скоро передам Юлию. У нас с Ал. Ал. несколько другая ориентация: моя гипотеза, без которой я не могу жить, гораздо примитивнее и традиционнее, гораздо ближе к той, от которой вы отказались еще в детстве.

Целую вас обоих крепко.

Я очумелая от гриппа – в Москве он свирепствует и даже мне попало, но не очень.

Н.М.

Радуюсь каждой весточке от вас.

1. Е.Я. Хазин.

25.

Б/д [не ранее 1967]

Дорогой Александр Александрович!

Простите, что я задержала ответ. Болеет мой брат, и я целыми днями у него. Сейчас он садится на 10–15 минут в кресло. Это огромное достижение. (У него с осени повторяются спазмы мозга.) Говорит он отлично. Думает, всё понимает. Но были тяжелые рвоты и т.п... Вылезает из спазма; не повезло и в том, что пережил воспаление легких с по-детски высокой температурой (40°). Это причина задержки ответа.

Я прочла вашу статью, и мне было очень интересно. Дам Юлию. Ему это очень нужно. Сама я еще держусь на ногах, но очень устала.

Жду продолжения.

Крепко целую вас и Ольгу Петровну.

Будьте молодцами и живите как живете... Как хорошо, что вы одни в квартире.

Предупредите меня, если соберетесь в Москву. Приготовлю вам Гельфанда.

Напоминаю телефон Евг. Як. (сейчас ему можно звонить: Б 94690). Туда я звоню каждые 2-3 часа, если я дома, но большей частью я там.

Н. Мандельштам.

26.

Б/д [не ранее 1967]

Дорогой Александр Александрович!

Я очень обрадовалась вашему письму; какой вы умница... Юлия я видела. Скоро он опять будет у меня. Он мне говорил про ваши статьи и письма.

Сама я очень измучена (зимой – болезнь брата, летом – трудная [дача]; сейчас – работа и боль в сердце). Всё же о чем-то думаю и что-то делаю. Вашей работоспособности у меня нет и никогда не было. Я могу перед ней только поклоняться.

Дружу из людей вам любопытных с Гельфандом. Он замечательный человек. И еще с другими [стоящими] людьми. Очень хочется вас видеть и поговорить. Может, еще выйдет...

Целую вас. Н.М.

[Приписка, адресованная О.П. Орлицкой]:

Дорогая Ольга Петровна!

Как ваше здоровье? Как вы?

Я вас догоняю во всех смыслах – даже на машинке стучу уже двумя пальцами, а не одним. Всё же я надеюсь, что мы повстречаемся.

Целую вас.

Н.М.

ПИСЬМА Н.Я. МАНДЕЛЬШТАМ О.П. ОРЛИЦКОЙ
[1950–1960-е гг.]

1.

22 июля [1954]

Дорогая Ольга Петровна!

Получила Ваше последнее письмо к Люле¹. Сейчас сижу на даче и думаю только о том, как достать билет в Читу². Из Москвы приехала 17 – там встретила с Анной³ и Мартой⁴. За Мартишку рада, что она осталась в Ульяновске, – ближе к Москве и более привычный климат. Климат вещь серьезная. Ни о какой обиде, разумеется речи быть не может, хотя мне грустно, что она не приедет в Читу.

О приезде в Ульяновск. Спасибо за приглашение, но я думаю, у вас уже есть толпы народа, которым вы раздаете деньги, и не стоит их тратить на меня, т.к. я сама раздаю. Во-вторых – отпуск из Читы короче отпуска из Ульяновска. Мне очень трудно без брата и невестки, и эти дни мы вместе за весь долгий год. Психологически Чита очень трудна, физически – очень хороша. Но у меня появилось острое чувство смерти (своей) – я думаю, из-за дали.

Как Н.А.⁵? Как ее муж?

Если говорить серьезно, я бы действительно переехала в Киргизию, и в любой город, чтобы жить с вами [в] одном городе. Но приедете ли вы? Ульяновск – уютный город, Старцева⁶ не будет, квартира хорошая. (Пересадок я боюсь...) Где нам видеться?

Обычно я со всеми не-москвичами встречаюсь в Москве. Мне очень жаль, что нельзя повидаться с вами. Но не забывайте меня...

О вашем письме в Литгазету. Зачем оно? Зачем вам герои – положительные и отрицательные? Есть ли они у Гоголя? В Пушкинском Борисе, в Пире, в Скупом рыцаре – кто положительный, кто отрицательный? У Фонвизина как будто есть, но при чем здесь фельетон Михалкова⁷? Мне кажется, что письмо в редакцию (или по другим общественным адресам) должно быть серьезным общественным выступлением (как письма А.А. о Лысенко – это дело его жизни), но вообще письма мне непонятны. В этом виде, в котором пошло ваше письмо в Литгазету, – это просто забава. Зачем? Кстати, я не понимаю и цели письма А.А. в Литгазету – это не по адресу. Не сердитесь – это мое мнение – и я вам его сообщаю.

О «главном». То, о чем вы говорите, – скажем, способ жизни некоторых академиков, их любовь сглаживать острые углы и всё прочее – это существует, и понятно. Виноградов⁸ тоже дипломат. Он успел признать Марра в последнюю минуту. А как было не признать? Но я не могу считать его в чем-либо виноватым.

Кстати, письма Ал. Ал. я не считаю брюзжанием старого учено-

го. Дело не в этом, а по существу. Я всё, всё, всё поняла. Пора поговорить. Может, в конце концов всё сведется к вопросу, что такое наука, – только поглубже.

Я вас люблю. Не сердитесь и на меня за «особое мнение». Напишите мне в Москву. Я дам телеграмму, когда выеду.

Н.М.

Я, конечно, гораздо старше А.А. Он молод, но у него нет ровесников.

[Приписка в правом нижнем углу]:

Я пробовала написать Марте, но она мне так нацарапала адрес, что я не верю, что письмо дойдет.

[Приписка вертикально на полях слева]:

Целую вас и Любочку. Н.М.

Александр Александрович, я рада, что вы молоды и веселы. Жму вам руку.

1. Е.М. Аренс.

2. С января 1953-го по август 1955 г. Н.Я. Мандельштам работала в Читинском педагогическом институте.

3. Возможно, А.А. Ахматова.

4. Вероятно, Марта Моисеевна Бикель (1920–1994), лингвист, коллега Н.Я. Мандельштам и А.А. Любищева по Ульяновскому пединституту.

5. Неустановленное лицо.

6. Старцев Виктор Степанович (1894–1973), географ, с августа 1952 г. исполнял обязанности директора Ульяновского пединститута и принимал участие в изгнании Н.Я. Мандельштам оттуда.

7. Михалков Сергей Владимирович (1913–2009), писатель, поэт, драматург, публицист, общественный деятель. Речь идет о его фельетоне «Паршивая овца» («Литературная газета», № 79, 3 июля 1954).

8. Виктор Владимирович Виноградов (1894–1969), академик АН СССР, лингвист, литературовед, в 1950–1954 гг. директор Института языкознания АН СССР.

2.

6 марта [1964]

Милая Ольга Петровна!

Я перед вами виновата: уезжала в Москву и задержала ответ на ваше милое письмо. В Москве был дикий шум, и я окончательно сошла с ума: никого не видела, ни с кем не говорила, только мелькали лица и шапки. Пришла, между прочим, Марта и подняла вой – что она одинока – вы дома, я нет... Вот истеричка! Была бы она человеком, давно бы нашла друзей. А если нет, то, значит, так и нужно. Мы все умели нести многое, включая и одиночество.

Есть много вещей, которые мне сейчас очень тяжелы. Во-первых, это история в Ленинграде с одним поэтом¹. Его судили за тунеладство, хотя у него были договора на переводы, и засудили пока в сумасшедший дом². Я от этого заболела. И не я одна. Это несмотря на письма, звонки, протесты и обещания Москвы прекратить это дело. Поэта зовут Осип. Так и говорят: Осип младший. Сумасшедший дом, конечно, прекрасное место по сравнению с судьбой старшего, но всё же. На этом сошла с ума и Фрида Вигдорова³. Она помчалась на суд и сейчас ревет белугой.

Вчера студенты спросили меня, что я думаю об Ахматовой. Я сказала, что она большой поэт. Мне врать лень. Они никогда ничего не читали – ни прозы, ни стихов. Зачем спрашивали?

Мне очень надоела работа. Сейчас много часов и трудно. Хочу к чертям на пенсию обратно.

Хотели меня в Москве прописать. Зашевелились. Ничего не вышло. Сейчас это просто равнодушие: заштатная старуха. Забавно, что поехал с письмом писателей о прописке Долматовский⁴. Мало того: он рвался приложить руку. Я ему не позвонила. И он волновался! Дожили...

Книги не печатают. Просто так. Журнал «Москва» хочет напечатать стихи. Но ничего не выйдет⁵. Я равнодушна. Смешно, что по редакции ходят какие-то мальчишки и носят рукописи О.М. – рекомендуют к печати... Это мило.

Что еще мило? Что мы стареем... Что жить трудно... Что мы устали...

Александр Александрович молодец: сохранил живую душу. Очень я это в нем ценю. Но в науке всё же легче, чем в искусстве, а в литературе труднее всего.

Видела знаменитый фильм «8½»⁶. Это он получил премию на фестивале в Москве. Мы упустили... О том, что рациональная и разумная постройка фильма не держится... Это тот постановщик, который ставил «Ночи Кабирии». Видели? И «Сладкую жизнь»⁷.

А для меня по-прежнему высшей точкой в кино остается Чаплин.

Будет ли премия Солженицыну? За это идет борьба. Об этом и говорили, когда у меня была Марта. Ей неинтересно...

Варька⁸ живет со своим толстым Николаем Панченко⁹, который так понравился Алекс. Алекс... Им хорошо. Он оказался чудным человеком.

Кто-то разговаривал с Борисом Сергеевичем¹⁰. Он брюзжит, вспоминая О.М., – забыл, как любил его. Кроме того, у него мои письма. Он их не уничтожил, как я требовала. Ну и представления же у мужчин! Ведь он считает себя порядочным человеком. Напрасно. Это самое последнее, что может сделать мужик. Как мы все в молодости легкомысленно дружили с людьми, не понимая, чего они стоят. Противно думать...

Ну, целую вас крепко. Очень хочется видеть вас обоих. Н.М.

[Приписка вертикально на полях слева]:

Как Жека¹¹ и внуки – девочка и мальчик? И как растет младший? Вы давно ни о ком не писали.

[Приписка вертикально на полях слева на обороте предыдущего листа]:

Какие у вас планы? Может, увидимся в Москве? Что сейчас делает Александр Александрович? Сердечный ему привет.

-
1. Пометка карандашом на полях слева: «Бродский».
 2. Судебный процесс над И.А. Бродским проходил в 1964 г.; приговор был вынесен 13 марта 1964 года.
 3. Ф.А. Вигдорова присутствовала на судебном процессе над И.А. Бродским и подробно документировала происходящее.
 4. Долматовский Евгений Аронович (1915–1994), поэт-песенник, сценарист.
 5. Подборка стихов О.Э. Мандельштама вышла в восьмом номере «Москвы» за 1964 год.
 6. «8 ½» – фильм Федерико Феллини (1963), вышел в прокат в СССР 18 июля 1963 года. В том же году удостоен Большого приза Московского международного кинофестиваля.
 7. «Ночи Кабирии» (1957), «Сладкая жизнь» (1960) – фильмы Федерико Феллини.
 8. Шкловская-Корди Варвара Викторовна. См. письмо от 10 октября 1957.
 9. Панченко Николай Васильевич (1924–2005), поэт, журналист, редактор; второй муж Варвары Викторовны Шкловской-Корди.
 10. Б.С. Кузин. См. Вступительную статью на с. 189.
 11. Равдель Евгения Александровна. См. письмо к А.А. Любичеву номер 19.

3.

1 сентября [1964]

Милая Ольга Петровна!

Рада весточке от вас. Лето прошло не так шумно, как обычно. Но болела невестка, и мне было трудно. Сейчас ей вроде лучше.

Я мрачна, как ночь. Какой еще могу быть? Возраст и всё прочее... Много читаю. Очевидно, это моя основная деятельность. Рада, что бросила Псков и работу. Думаю прожить зиму в Тарусе, хотя меня прописали в Москве в порядке чуда за месяц до полного запрета. Этому я очень рада. Это ведь мое право, в котором мне до сих пор не то что отказывали, но как-то стыдливо не замечали.

Вот, кажется, все мои новости. Рада буду узнать ваши.

Сердечный привет Александру Александровичу.

Н.М.

4.

[1964 или 1965]

Милая Ольга Петровна!

На какой же девушке он¹ женился? Видели вы ее? Ужасно забавно, а ведь должно было неизбежно случиться. Таким ребятам достаются либо дивные женщины, либо негодяйки. Среднего нет. Какая же досталась вашему Андрею?

Неужели вы поедете на север? Там кусается всякая мошка. А я буду в Тарусе. Здесь нет болот, как выяснил Ал. Ал., и нет комаров.

Большое горе – болезнь Вигдоровой. Она совсем молодая: еще нет и пятидесяти.

В Тарусе сейчас очень хорошо, но еще холода до 30° по ночам. Подумайте – по всем правилам: Сретенье. Вторая полоса сильных морозов.

Была у меня Марта. Гостила. Очень мило. Вообще-то, я здесь совсем одна. Оттены все в разъездах. Это пир одиночества, и я это люблю, но не на слишком долго. На днях дня на три поеду в Москву. Пока – до конца марта – пишите сюда. Мне тоже хотят купить квартиру. Это трудно: а) надо достать в Литфонде денег – Осю не печатают, так что мое наследство золота не приносит, б) надо прожить в Москве 10 лет, чтобы иметь право на кооператив. А я живу 5 месяцев.

Ну, целую вас и Ал. Ал. Пишите. Н. М.

[Приписка вертикально на полях слева, возможно, адресованная А.А. Любичеву]:

В языкознании сейчас применяется математика. Но это скользит по поверхности. В суть всё равно не влезешь. Хорошо только в фило-со[фии]. Как [у] вас с Платоном? Думаю, хорошо. Это ведь и есть – суть.

1. Возможно, сын О.П. Орлицкой от первого брака.

5.

[1964 или начало 1965]

Милая Ольга Петровна!

Давно не писала вам и давно не получала от вас писем. Я проси-дела два месяца в Москве, сейчас до весны в Тарусе. Трудный большой дом и печи отнимают много сил. Работаю. В жизни прежняя безобразная неопределенность. Так, видно, будет до самого конца.

Бедная Фрида Вигдорова... Сегодня ей делают операцию – рак поджелудочной железы. Она совсем молодая. Рак всё же нервная болезнь, или, вернее, его развитие стимулируется волнениями. Я это вижу на миллионах примеров. Фриду ужасно жаль¹.

Целую вас крепко.

Н. М.

Попробуйте достать алма-атинский журнал «Простор» за сентябрь. Там повесть Платонова «Джан» о людях, потерявших отчаяние.

Целую Ал. Ал.

1. Фрида Вигдорова скончалась от рака 7 августа 1965 года.

6.

[1964]

Милая Ольга Петровна!

Спасибо за письмецо.

В Тарусе и во всем мире не так-то просто устроиться, и лучше, чем в моем большом доме – нельзя.

Фриде сделали операцию, но ничего не вырезали... Достаем ей лекарство. Оно, даст Бог, продлит жизнь.

Волнения у Фриды были серьезные, и она действовала с огромной энергией. Это поразительный человек, и ей до всего есть дело.

Кстати, слышали ли вы о «деле Бродского»? Если нет, спросите у ваших ленинградцев. Алма-атинского журнала нет и у меня, а вот в «Новом мире» повесть Домбровского – «Хранитель древностей»¹ – читали?

По рукам ходит письмо о Лысенко – большой силы. Фамилия автора, кажется, Медведев². Дошло оно до вас?

Целую Алекс. Алекс.

Н.М.

У меня гостит Марта. Она кланяется.

1. Домбровский, Ю.О. «Хранитель древностей». Роман. *Новый мир*. 1964. № 8.

2. Рукопись книги «Биологическая наука и культ личности» советского биолога Жореса Александровича Медведева (1925–2018) распространялась по частям в «самиздате». Первые две части были написаны в 1961–1962 годах. Впервые издана за границей в 1969 г. под заглавием «The Rise and Fall of T.D. Lysenko». В России опубликована в 1993 году.

7.

[ноябрь-декабрь 1965]

Дорогая Ольга Петровна!

Никогда не было и тени того, что вы предположили: т.е. что я стала равнодушной и «потеряла интерес» к таким дорогим друзьям, как вы. Просто вы были в Москве в дни, когда я только въехала в

квартиру, устала, не успела устроиться (выглядело прилично чуть ли не с первого дня, а на самом деле был хаос), кроме того, шел поток людей, удивленных моей внезапной оседлостью, и, наконец, это был тягчайший приступ язвы желудка, и я всё время думала о своем животе. Поэтому я вам и показалась чужой. На самом деле этого не было и нет. Очень хочу видеть вас обоих. У меня только просьба: напишите заранее, когда вы будете в Москве, чтобы я была дома. Очень неприятно, вернувшись домой, найти в почтовом ящике записку, что у меня были люди, которых я хотела видеть, и не застали меня.

Целую вас крепко и надеюсь на встречу.

Над. Мандельштам

Милый Александр Александрович!

Я тоже очень обрадовалась, что Арэнс прислал мне записку с посылкой, показывающую, что никакого отношения к этой сумасшедшей торговке ахматовским архивом¹ он не имеет. Забавные вещи, которые вы получили из Новосибирска, я знаю. Очень мило... Н.М.

1. Речь идет о Пуниной Ирине Николаевне (1912–1992), дочери Пунина Николая Николаевича (1888–1953), третьего мужа Анны Андреевны Ахматовой.

8.

27 декабря [1965]

Милая Ольга Петровна!

Простите, что задержала ответ: меня уложили на 2-3 недели (сердце), но я, конечно, плохо лежу и курю (ничего не чувствую, но плохая кардиограмма).

Когда вы приедете? Буду рада вас видеть. Как мы с вами устроимся? Вдвоем со мной в комнате нельзя быть: я сплю при открытой фортке в любой мороз (сердце). Согласитесь ли вы быть на кухне на диване? Хоть мне очень неловко (гостю надо уступить кровать), но в кухне фортка слишком близко к дивану. Второе: не утомит ли вас толпа, которая рвется ко мне. Правда, я сейчас сильно сократила этот поток, заставив писать себе за неделю. Занятые москвичи не знают, что они будут делать через неделю, и веселый поток на моей кухне поредел. За исключением этих неудобств всё очень мило и уютно, и я рада приветствовать вас в своем логове. Ау! Приезжайте!

Н.М.

9.

[зима 1965]

Милая Ольга Петровна!

От Вас ничего нет. Здоровы ли вы? Как вы живете?

Я скриплю, еле двигаюсь. Трудно. Брат – болен. Очень хочу получить от вас весточку.

Н.М.

10.

[10 января 1966]

Когда вы приедете? Я хочу вас видеть и в ожидании даже прибрала на кухне и высосала (не ртом, а пылесосом) пыль из дивана.

Мне кажется свинством, что я зову вас на кухню, а не уступаю вам комнату... Что делать? Эгоизм заел.

Приезжайте скорее...

Надежда Мандельштам.

10 января.

С десятидневным Новым годом.

11.

[сентябрь 1967]

Милая Ольга Петровна!

Я очень обрадовалась вашему письму. Моя истерика в начале этой работы поразила не только вас, но и меня. Несколько недель меня била жесточайшая лихорадка. Перенести ее было более чем трудно. С первой вещью ничего подобного я не пере[носила]. У меня было ощущение, что я схожу с ума. Потом всё начисто прошло. Вы попали в первые дни этого безумия. Боже, Боже... Я даже понимала, что эта тряска проступает из всех суставов, но ничего поделать не могла. Это меня трясла Анна Андреевна¹. Я в этом уверена.

Мы раньше срока выехали с дачи из-за похорон Ильи Григорьевича². Он был моим другом пятидесятилетней давности. Его значение еще не понято за внешней мишурой, которую он очень ценил: поездки, шум, связи, мировая известность. Это шумиха. Роль он сыграл в нашей жизни – на протяжении всей своей деятельности. Особенно мемуарный период. Его задача – не выходя из берегов, смягчать нравы. Его основная тема – антифашизм. Интересно, что на похоронах у него была совсем другая толпа, чем у Ахматовой. Было много бывших военных. По возрасту провожавшие его люди старше ахматовских.

А теперь Александру Александровичу два слова: понадобилась ли вам та гипотеза, от которой так бодро отказался кто-то из ученых наполеоновской эпохи?³ Мне – да. Без нее ничего не строится. Без него рушится смысл жизни. И цель творения. Все ли биологи пантеистичны? Поэты – нет. Я – нет. Но я не антропоцентрична, хотя считаю, что всё дело в человеке. Что мне со всем этим делать? В старости надо всё это осмыслить и прежде всего свою жизнь.

Н. Мандельштам

[Приписка вертикально на полях слева:]

Я вас обоих очень люблю. По-настоящему. Чувствую связь с вами. Н.М.

-
1. Вероятно, речь идет о воспоминаниях об Анне Ахматовой, над которыми Н.Я. Мандельштам работала в 1966–1967 годах.
 2. И.Г. Эренбург умер 31 августа 1967 г. в Москве.
 3. См. выше: Примечание 1 к письму А.А. Любичеву, номер 23.

12.

Сентябрь, 16 [1967 г. или позднее]

Дорогая Ольга Петровна!

Я так долго не отвечала, потому что была на даче, а письма мирно дожидались меня в ящике. Потом была неделя ремонта. Лишь сейчас я убралась и, полуживая от усталости, после отдыха могу вам написать.

Устала я беспредельно. Летом (2½ месяца) лежала с закрытыми глазами и молчала. Сейчас – то же самое. Что это? Не болезнь. Усталость – и всё. Так бабки в деревне залезают на печку и ждут чего-то...

Я безмерно уважаю Ал. Ал. за его бесконечную энергию. У меня ничего подобного нет.

Жду событий. Каких – не знаю. Знаю только одно – устала.

Как вы?

Кругом все притихшие и усталые. В холеру никто не верит. Фрукты едим. Научились мыть руки (по распоряжению Гельфанда). Я рада, что Юлий Шрейдер верен Александру Александровичу. Он говорит о нем с любовью и уважением. Поцелуйте его от меня.

Целую вас.

Ваша Н.М.

Мой телефон 126–67–42.

13.

[1968]

Дорогая Ольга Петровна!

Получила вашу открытку и страшно за вас обоих огорчилась.

Такая тяжелая операция... Нелепая случайность, и из-за нее наш мужественный, прекрасный Александр Александрович столько претерпел. Просто меня резануло, как ножом по сердцу. Но я твердо верю, что он преодолет эту беду, и, если даже уменьшится его подвижность, у него останется прекрасный ум, и он будет знать, на что его использовать. Жизнь его всё равно будет полна, потому что человек с таким интеллектом никогда не перестает мыслить.

Боюсь очень за вас, как бы вы не переутомились. Сейчас вам надо беречь себя как никогда. Период, когда он будет на костылях, а это, кажется, неизбежно, весь будет зависеть от вас... И в больницу, наверное, не легко ездить. Но я знаю вашу силу и мужество, а потому уверена, что вы справитесь. Трудно нам – старикам. Ну уж как-нибудь...

Брат уехал в санаторий с женой, и я отдыхаю. Зима была трудной. Ничего не поделаешь – старость. Слава Богу, жив. Летом поедem в Верею. Я очень боюсь расстояния, хотела бы жить поближе, но ничего не сделаешь. Оба они больны, она – психически, и это очень трудно. Уговорить ее переменить место, не уезжать в такую даль – нельзя. Может, пронесет...

Целую вас крепко и желаю мужества и силы. Вы – лучший друг Ал. Ал. Подумайте, какое счастье, что вы нашли друг друга.

Н. Мандельштам

14.

[1968]

Милая Ольга Петровна!

Получали ли вы мое большое письмо Александру Александровичу и Вам?

Вчера у меня был Амусин, и мы говорили о вас обоих.

Как сейчас состояние Ал. Ал.? Я очень беспокоюсь, ведь вы оба мне очень дороги.

Черкните хоть слово.

Над. Манд.

Пишу ему легкую и чирикающую записку.

15.

Июль [1969]

Дорогая Ольга Петровна!

Приехала на день в Москву ([я] в Переделкине, брат болеет, невестка в ужасном виде) – и получила вашу открыточку. Публикацию Ал. Ал. еще раньше, – очень интересно, но прямых реакций у меня не вызывает, потому что Платон, номиналист, – это для меня не прямое

дело. Но очень любопытно, как строится система в науке – на какой глубоко отвлеченной базе.

Сейчас придет ко мне Гельфанд. Мы поедем вместе в Перedelкино. Я дам ему статью Ал. Ал., а потом еще раз прочту.

Очень вас целую обоим. Горжусь вами, что вы такие люди – сильные, несгибаемые. Еще имели силы переехать на новую квартиру!

Я в этом году праздную 70 лет. Уйду из дому на день рождения. Целую вас крепко.

Ваша Надежда Мандельштам.

Александр Александрович, спасибо за оттиск. Напишу [...].

16.

17 сентября [без года]

Дорогая Ольга Петровна!

Я ничего о вас не знаю и очень беспокоюсь. В Москву вернулась 7 сентября. Сегодня возвращаются Женя и Лена¹. Лето было трудное. Боюсь, и зима будет не легче.

Отзовитесь, ради Бога!

Надежда Мандельштам

1. Хазин Евгений Яковлевич (1893–1974) и Фрадкина Елена Михайловна (1901–1981), брат и невестка Н.Я. Мандельштам.

17.

Октябрь, 15 [без года]

Дорогая Ольга Петровна!

Я очень радуюсь письмам от вас.

Поцелуйте от меня нашего Александра Александровича, и пусть он будет таким, как всегда.

Не огорчайтесь старости. Я бы ни за что не поменяла ее на молодость, как не поменяла бы раньше молодость на старость. Я сейчас с особой остротой чувствую, что в каждом возрасте есть свой смысл. Я уверена, это знаете и вы, но беда с глазами – я понимаю, как это серьезно.

Как ваши внуки и дочь? Передайте тем, кто меня знает, привет.

Не забывают меня и пишите. Я вас очень люблю.

Н. Мандельштам.

Здесь Марта. Завтра она будет у меня.

Н.М.

18.

Октябрь, 24 [без года]

Дорогая Ольга Петровна!

Я была рада получить ваше чудесное письмо. Я хорошо знаю, как трудно вам живется, когда нужно делать все самой, а силы иссякают. В таком положении более [или] менее все мы – состарившиеся люди – в трудных и неприспособленных для старости условиях. Я-то живу в несравненно лучших условиях, чем всю жизнь, но и мне трудно. Еще труднее моей невестке с братом – он болен, слаб, требует ухода, а она на пределе. Трудно и Любе Эренбург¹. Вся наша жизнь прошла в сложных условиях, но молодость и зрелость сильны сами по себе, а на старости опустили руки и мы смертно устали. Именно поэтому я так ценю мужество и светлую голову Александра Александровича, что он работает, не сдаётся, мыслит, сохраняет ясную голову. Он замечательный и чистый человек. Лучший образец ученого и светлого мыслителя. Дай ему Бог трудиться и мыслить. И вам – его подруге и удаче – тоже пусть Бог даст силы и радости.

Целую вас крепко.

Н.М.

1. Л.М. Козинцова.

19.

Б/д

Милая Ольга Петровна!

Получила вашу открыточку.

Не хворайте, ради Бога, поберегите себя. И напишите, как вы сейчас себя чувствуете.

Я работала как идиотка и написала довольно много, но так устала, что не могу кончить.

Здесь разное делается. В общем, грустно. Сейчас мой брат и невестка в санатории. Я надеюсь за этот месяц тоже отдохнуть. Ко мне вернулся слух: оказалось, что это просто пробки – мне их вычистили.

Когда же мы теперь повидаемся?

Хоть пишите...

Н.М.

Ал.Ал. привет.

20.

Б/д

Дорогая Ольга Петровна!

Спасибо вам за письмецо. Я очень много о вас обоих думаю.

Ради Бога, берегитесь. Ведь давление сейчас хорошо снижают. Вы понимаете, что всё в женщине – и не в дочери, а в жене.

Я вас очень целую, и помните, что беспокоюсь и с нетерпением жду хоть два слова.

Ваша Н. Мандельштам.

21.

Б/д

Милая Ольга Петровна!

Нынче получила ваше письмо и очень огорчилась – здоровье ваше, зрение и толпа в квартире... Вот до чего доводит настоящая доброта!

Я лежу с воспалением легких. Если б я по глупости не позвала врача, то ходила бы, как человек, по улицам. Ничего страшного у меня не было. Так – чепуха с пышным названием. Трудновато одной, когда не хочешь висеть на своих знакомых. Но всё же выкручиваюсь. Главное, лень лежать. Я ставлю у кровати машинку и стучу. Усталость только большая...

Когда же уедут ваши соседи? Т.е. «гости» – как их назвать? А. А., конечно, ангел, что он это терпит. Но я всегда догадывалась, что он – он, т.е. ангел.

Поцелуйте его от меня, а он пусть поцелует вас – от меня.

Меня всю искололи шприцами, и я в панике...

Надежда Мандельштам.

Будьте молодцами – я вами горжусь.

*Публикация, подготовка текста и комментарий
М.В. Винарского и Е.А. Анненковой*

Виталий Шейнин

А.А. Шайкевич и его книга

ВВЕДЕНИЕ К КНИГЕ*. ОЛЬГА СПЕСИВЦЕВА

Она доставляла наслаждение сотням тысяч зрителей. Аплодисменты не смолкали долго после опускания занавеса. Везде, где бы она ни появлялась, рождались новые сонмы почитателей, часто домогавшихся личного знакомства. Ее талант высоко ценили не только рядовые любители балета, но и искушенные и маститые профессионалы, такие как С.Н. Худеков, А.Волынский, В.Я. Светлов, А.Я. Левинсон, М.М. Фокин, С.П. Дягилев, Энрико Чекетти, Дж. Баланчин и Серж Лифарь. Ее уважали и признавали совершенство ее искусства такие звезды русского балета, как А.Я. Ваганова, О.И. Преображенская, Л. Егорова, Е. Смирнова. Балетные критики и историки балета С.В. Бомонт, Мери Кларк и Клемент Крисп назвали ее величайшей балериной XX века.

Она танцевала на сценах Петербурга/Петрограда, Риги, Парижа, Лондона, Буэнос-Айреса, Италии, Монте-Карло и Австралии, где пользовалась большим успехом как исполнительница главных ролей в балетах «Жизель», «Эсмеральда», «Баядерка», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Пахита», «Корсар», «Призрак розы», «Шопениана», «Щелкунчик», «Пери» и др. Ее совершенный танец не знал случайностей: самые пылкие страсти были облачены в изысканную форму безупречных поз, романтическая патетика жестов никогда не выходила за установленные рамки, чистоту позиций не смазывала даже сценическая смерть ее героинь. В театрах Запада она воплощала принципы русского балетного искусства, «как танцевали у нас в Мариинке».

В чём же был секрет ее успеха? Талант? Несомненно. Но еще более – ее трудолюбие. Подобно Демосфену, упорным трудом преодолевшему заикание и другие недостатки своей речи и ставшему величайшим оратором, Спесивцева ежедневным трудом смогла побороть свои болезни и добиться совершенства в чарующем танце.

С ранней молодости она страдала туберкулезом легких, и к середине 20-х годов врачи даже не понимали, как она может оставаться в живых, да еще работать с полным напряжением.

С хрупким здоровьем, со слабыми от рождения ногами и особенно ослабевшая, перенесла трудные годы революции и Гражданской

* Schaikevitch, André. *Olga Spessivtzeva. Magicienne envoutée*. Paris: Librairie Les Lettres, 1954.

войны в Петрограде, Спесивцева добивалась улучшения своего физического состояния и совершенствовала технику танца путем ежедневных упражнений в течение всей творческой жизни (1913–1939). Эти упражнения впоследствии она описала в книге, предоставив возможность другим балеринам воспользоваться ими. Первый вариант этой книги, к сожалению, был утерян в 1943 году. В начале 1960-х ей удалось восстановить и опубликовать текст заново*.

А. Шайкевич пишет в начале Главы 17:

«Вне зависимости от обстоятельств день Спесивцевой начинался с тренировки, в начале которой была достаточно долгая серия упражнений у бара. Она работала по персональной программе – очень тяжелой, я бы сказал даже по программе, которая причиняла ей боль».

Шайкевич, однако, не конкретизирует, в чем же состояла эта работа. По счастливой случайности, у нас есть свидетельство очевидца ее тренировок. Композитор В. Богданов-Березовский, тогда еще студент консерватории, оказался свидетелем таких упражнений в течение трех недель в мае 1917 года, когда 22-летней балерине потребовался пианист-аккомпаниатор.

«...Впоследствии я узнал, что движение, с которого Спесивцева начала урок, называется *plié* (приседание), что это простейшая фигура, встречающаяся почти во всех танцевальных па, и что у большинства танцовщиц на эзерсисах она производит некрасивое, даже антиэстетическое впечатление. Фигура состоит из двух составных элементов – опускания к полу на сгибающихся и раздвигаемых коленях (собственно *plié*) с подъемом на носки или же с сохранением неподвижной пятки и выпрямления с возвращением ног в исходное положение (*relevé*). В этом, казалось бы, элементарном гимнастическом упражнении я уловил у Спесивцевой что-то, что заставило меня задуматься о музыке тела, заключенной во всей ее мускульной структуре и раскрываемой в движениях. Я смутно представлял себе, как из связной цепи движений может слагаться выразительная волнующая речь. Эта мысль мелькнула и исчезла, вытесненная настороженным вниманием, уделяемым точному согласованию своей игры с эволюциями у палки (бара. – В. Ш.)

...Стоя в профиль у зеркала, левой рукой опираясь о палку, а правую вытянув в сторону в полуогнутом положении, Спесивцева размеренно и грациозно скользила правой ногой по поверхности пола – вперед, в сторону, назад, – завершая движение остановкой ноги на самом острие носка. Нога была совершенно свободной от поддержки равновесия и потому свободно ‘говорящей’. Всей тяжестью корпус опирался на неподвижную, ‘безмолвную’, строго вытянутую левую ногу. Это был простой ‘выгнутый’ батман (*battement tendu*), как тут же по ходу движения разъяснила моя приветливая ‘партнёрша’.

Казалось, она не упражняется, а играет и наслаждается движением. Мое внимание всё больше дробилось между делом – старательным соблюдением неукоснительно устойчивого ритма – и эстетической радостью. Всё больше, всё чаще всматривался я в монотонный рисунок эзерсиса и всё сильнее

* Olga Spessivtzeva. *Technique for the Ballet Artiste*. London, 1967.

улавливал чуткую связь его характера, его выражения с нюансировкой музыки. Я играл чуть громче, чуть экспрессивнее, – и в движении вспыхивала эмоция. Я убавлял звучность – и скользящая нога послушно откликнулась на это.

Батманы разнообразились по характеру. Движущаяся нога то вскидывалась кверху и в «брошенном» батмане (*battement jeté*) описывала широкий полукруг в воздухе с наклоном всего корпуса сначала назад, затем вперед (большой 'качающийся' батман, *grand battement balancé*); порывисто ударялась один или два раза о неподвижную ногу устоя и рикошетом выносилась в сторону ('ударный' батман – *battement frappé*); отдавалась несколькими короткими и острыми толчками от пятки ноги устоя ('бьющий' батман – *battement battu*); плыла волнистой зыбкой линией носком вперед, сопровождаемая мягким полуприседанием ('тающий' батман – *battement fondu*); слегка приподнималась над полом и после плавного выноса вперед, сопровождаемого глубоким приседанием, возвращалась к исходному положению, варьируемому подъемом обеих ног на пальцы ('поддержанный', 'приподнятый' батман – *battement soutenu*).

Разнообразя танцевальное содержание урока, Спесивцева день ото дня придерживалась строгого повтора очередности исполняемых фигур и каждый раз называла мне их...»

Формальная биография нашей балерины довольно ординарна. Как ни значительны были исторические события и социальные перемены в России первой трети XX века, для Спесивцевой эти события и перемены были важны только в том аспекте, чтобы она и ее театр (Мариинский) могли продолжать функционировать, чтобы танцевальное искусство продолжало существовать и развиваться независимо от политического строя. Но даже с такими расплывчатыми взглядами и с ее готовностью сожительствовав с чиновниками нового режима она не могла выдержать жизнь в большевистской России дольше, чем она выдержала.

В. Богданов-Березовский предложил следующее объяснение «неподобающего» поведения Спесивцевой в личной жизни: «...всё это было сознательной жертвой, приносимой своему искусству, формой меценатства, на которое она, быть может, мучительно внутренне сопротивляясь, шла для получения условий, обеспечивающих полную, неограниченную свободу творчества, так же как Чайковский ради тех же высоких целей принимал морально тяготившую его многолетнюю материальную помощь фон Мекк». Всё-таки нам кажется, что между ситуациями Спесивцевой и Чайковского пролегал «дистанция огромного размера». Кажется, как это часто бывает в мире искусства, Спесивцева-художник и Спесивцева-человек не совпадали. Как художник, она была сильной личностью, знающей свои достоинства и границы своего мастерства. Как человек, однако же, она была слабой женщиной, нуждающейся в сильном покровителе. Вероятно, именно это раздвоение личности и привело впоследствии к психическому заболеванию Спесивцевой.

Ольга Александровна Спесивцева родилась 18 июля 1895 г. в Ростове-на-Дону; отец, Александр Романович, – провинциальный

оперный певец; мать, Устинья Марковна, – домохозяйка, по происхождению казачка. В семье было четверо детей: старшие – Анатолий и Зинаида, младшие – Ольга и Александр (Шура). Семья бедная, но пока был жив отец, хоть и с трудом, умудрялась сводить концы с концами. Беда пришла, когда отец в 1902 году умер от чахотки. Положение было отчаянное, но свет не без добрых людей: актеры, товарищи отца, собрали деньги и отправили семью в Санкт-Петербург, где незадолго до того открылся сиротский приют для детей актеров. Спесивцевы были приняты туда, а мать устроилась на работу при этом заведении. Второй раз помощь пришла в лице знаменитой актрисы М.Г. Савиной, которая помогла устроить Анатолия, Зинаиду и Ольгу на казенный кошт в Императорское Театральное училище, лучшую балетную школу России. Анатолий и Зинаида, окончив школу, некоторое время танцевали в кордебалете Мариинского театра, но без заметных успехов. Только Ольга, принятая в училище в 1906 г. на стипендию Российского Театрального общества (привилегия, неслыханная по тем временам), обнаружила истинное призвание к балетному искусству, и это было замечено уже в школе.

Ольга училась в младших классах у Н.Т. Рыхляковой, А.И. Чекрыгина, Веры Жуковой, потом у М. Фокина и, наконец, в классе К.М. Куличевской, сторонницы традиций русского классического балета Петербургской школы (школа Х.П. Иогансона – Н. Г. Легата), и эти традиции были приняты и усвоены молодой танцовщицей. В 1913 году, успешно закончив школу, она была принята в кордебалет Мариинского театра, но очень часто даже в течение первого года работы в театре танцевала как солистка в «Раймонде», «Дочери фараона» и других балетах.

В сезоне 1916–1917 гг. Ольга Спесивцева в возрасте 21–22 лет танцевала с «Русским балетом» С.П. Дягилева в США. Ее партнером в балетах «Сильфиды» и «Призрак розы» был В. Ф. Нижинский. С 1918 г. Ольга Спесивцева стала ведущей танцовщицей, а с 1920 г. прима-балериной Мариинского театра. В 1922-м Спесивцева снова танцевала с «Русским балетом Дягилева» в Лондоне, исполняя роль Авроры в «Спящей красавице». Она имела большой успех.

Вскоре после революции 1917 года она стала женой советского чиновника-управленца Бориса Гитмановича Каплуна, который не только подкармливал и обогревал ее, но и спас Мариинский театр от закрытия. Затем она ушла к директору «Севзапкино» Альберту Моисеевичу Сливкину. Когда Ольга с матерью решили эмигрировать, Борис Каплун помог ей добыть документы, необходимые для выезда из России как будто бы для лечения за границей, и они через Ригу уехали во Францию в 1923 году. В Риге она дала несколько концертов. В Парижской Опере она работала в течение 1924–1932 гг. с перерывом в 1926–1929-м, когда она танцевала в труппе Дягилева в Париже, Италии и Монте-Карло. Спесивцева стала ведущей приглашенной балериной Парижской Оперы.

В 1926 г. Ольга Спесивцева была приглашена участвовать в большом гала-концерте, который устраивал маршал Льюгэ в честь султана Марокко Юсуфа по случаю его визита во Францию. На этом концерте она поставила третий акт «Баядерки». Ее партнером был С. Перетти. Для гала-концерта она создала свою маленькую труппу с дальним прицелом использовать ее для постановки балета «Конёк-Горбунук», по поводу чего она вела переговоры с Лондонским Королевским театром. К сожалению, переговоры закончились ничем, и труппу пришлось распустить.

В 1925–1926 гг. проявляется и нарастает неудовлетворенность Спесивцевой репертуаром Парижской Оперы. Она любила старые классические балеты, а из них в репертуаре Парижской Оперы осталась одна «Жизель», да и ту давали редко. Спесивцева должна была танцевать в таких современных балетах, как «Сюита танцев» на музыку Ф. Шопена (балетм. И. Хлюстин), «Встречи» на музыку Ж. Ибера (балетм. Б. Нижинская), «Творения Прометея» на музыку Бетховена, «Вахх и Ариадна» А. Русселя (оба – балетм. С. Лифарь), и других. Она отличалась и в этих балетах, но как художник чувствовала недостаточность материала для воплощения балетными средствами.

С 1926 по 1929 гг. Спесивцева танцует в «Русском балете Дягилева», но и там моду диктовал модернизм. Балетмейстеры Л.Ф. Мясин, Дж. Баланчин и Б.Ф. Нижинская ставили такие современные балеты как «Кошка» Коре (Cogé), «Стальной скок» С. Прокофьева, «Лани» Ф. Пуленка. С этой труппой она появляется в Париже и Монте-Карло, Барселоне и Риме, Турине, Милане и Лондоне. Ее участие в «Русском балете» прекращается с неожиданной смертью Дягилева и распадом его труппы в 1929 году.

С 1932 г. Спесивцева гастролирует с труппой Фокина в Буэнос-Айресе, а в 1934 г. – в Австралии (Брисбейн и Сидней) с бывшей труппой Анны Павловой («Русский балет Левитова–Дандрé»). Стоит добавить, что где бы Спесивцева ни танцевала, она танцевала по-своему, и публика замечала это. Рассказывают, что один из самых богатых людей мира, нефтяной магнат и меценат Галуст Гюльбенкян (1869–1955), добивался ее дружбы, но напрасно.

С 1927 г. Спесивцева отдает себе отчет, что по состоянию здоровья не сможет долго продолжать балетную карьеру, и она пытается найти способную молодую танцовщицу, которой бы передала свой танцевальный опыт. Среди очень немногих ею были выбраны Нина Тихонова, Югетт Крапон и Мари-Луиз Дидион.

Уже во время австралийских гастролей с труппой Левитова-Дандре у Спесивцевой проявилось психическое заболевание, связанное с пропажей ориентирования и с потерей памяти. Во время этих гастролей она смогла дать последнее выступление 28 ноября 1934 г., хотя по контракту должна была танцевать еще два месяца. Ее заменила молодая сербская балерина Наташа Бойкович. Правда, тогда болезнь у Спесивцевой ограничилась коротким эпизодом.

Заключительное выступление Ольги Спесивцевой в Париже состоялось в 1937 г., последний раз в жини балерина танцевала в 1939 г. на сцене Teatro Colón в Буэнос-Айресе.

В Париже она с мужем, артистом балета Борисом Князевым, открыла небольшую студию и надеялась создать собственную балетную труппу, но через некоторое время они расстались; затем Ольга Александровна познакомилась в Лондоне с американским бизнесменом Леонардом Брауном и переехала с ним в США перед началом Второй мировой войны.

Еще при жизни Брауна заболевание Спесивцевой стало прогрессировать. К несчастью, Браун вскоре скончался от инфаркта, и Спесивцева осталась одна, окруженная лишь проблемами. В 1943 г. обострилось психическое заболевание, Ольга Александровна теряла память*.

После двадцати лет пребывания в психиатрической лечебнице (1943–1963) неожиданно для всех она восстановилась. Здесь прежде всего стоит упомянуть имя ее поклонника, американского танцовщика Дейла Ферна (Dale Edward Fern). Узнав, что Спесивцева находится в психиатрической лечебнице, он стал посещать ее, добился особого отношения в великой балерине со стороны медицинского персонала, а затем связался с ее друзьями и с бывшим партнером А. Долиным, с которым она танцевала у Дягилева и Фокина. Архив Дейла Ферна содержит более трех тысяч его писем к Спесивцевой, каждое из них заканчивается неизменным: «С любовью, друг мой Ольга». Ферн также писал знакомым и коллегам Спесивцевой с просьбами поздравить ее с Рождеством. Откликнулись очень многие: ей написали Стравинский, Долин, Лифарь, Карсавина, Бронислава Нижинская, Марго Фонтейн... Так наладилась связь Спесивцевой с внешним миром. Свою переписку Ольга Александровна вела до последних дней жизни.

Ферн же привел к ней православного священника, добился, чтобы ей позволили в скромной палате держать православные иконы. И вот после двадцатилетнего мрака просветлел ее дух, Спесивцева с Божьей помощью победила болезнь. В нужное время Ферн узнал о Толстовской ферме – туда из больницы и приехала Спесивцева. Там она и скончалась 16 сентября 1991 года. Ольга Александровна Спесивцева

* Несколько лет назад три итальянских психиатра, доктора Н. Брондино, П. Полити и Э.Эмануэле, из университета Павии, Италия, проанализировали историю болезни Ольги Александровны. Результаты были опубликованы в *American Journal of Psychiatry*. Доктора пришли к заключению, что Спесивцева страдала сложным посттравматическим синдромом (PTSD) с диссоциативным расстройством. Ее жизнь вызвала широкий спектр осложнений, не исключая и развитие шизофрении. Среди списка возможных причин, вызвавших болезнь, был назван и тот факт, что будучи замужем за Б. Каплуном, работавшим в Петросовете и отвечающим за национализацию кладбищ, Спесивцева присутствовала при открытии первого советского крематория, где должна была выбрать труп для сожжения. (*American Journal of Psychiatry*. Vol. 106, # 6, June, 2012, С. 576.)

похоронена на Мемориальном Русском кладбище в г. Nanuet, штат Нью-Йорк.

ОБ АВТОРЕ КНИГИ

Андрей Анатольевич Шайкевич (далее А.А.Ш.) родился в семье промышленника и театрального деятеля Анатолия Ефимовича Шайкевича и Варвары Васильевны Зубковой в Петербурге 19 октября 1903 года. Анатолий Ефимович, по словам его приемной дочери Нины Тикановой, «был прекрасно образован, любил философию, знал толк в балете и собирал картины старых мастеров». Однако в 1906 году родители расстались. Андрей с трехлетнего возраста жил преимущественно с матерью, бывшей во втором браке замужем за писателем А. Н. Тихоновым. А.А.Ш. был братом балерины и мемуаристки Нины Александровны Тихоновой (1910–1995), внебрачной дочери писателя А.М. Горького (на Западе известна как Нина Тиканова).

С 1912 года Андрей учился в школе Карла Мая. В юности он играл на виолончели, редактировал вместе с Ю. Одарченко и В. Смоленским альманах «Орион», писал статьи об искусстве.

В 1917 г. Андрей отправился с сестрой и бабушкой в Екатеринбург к родственникам из-за голода в столице. Жили рядом с домом Ипатьева, где была заключена царская семья. Вскоре Андрей сблизился с коммуной анархистов. После занятия города большевиками был арестован, но освобожден. Когда Гражданская война докатилась до Екатеринбурга, бабушка приняла решение вернуться в Петроград. После сложного двухнедельного переезда осенью 1918 года семья возвратилась в столицу и поселилась в доме отца Андрея, рядом с особняком балерины М. Ф. Кшесинской. Сам Анатолий Ефимович уже покинул страну к тому времени.

Подобно отцу, А.А.Ш. с ранних лет любил искусство, причем «все виды искусства были ему дороги, он их проникновенно чувствовал, в музыке всему предпочитал Баха и Моцарта...»¹

В Петрограде он подружился с М. Кузьминым, принадлежал к богеме, о чем свидетельствует и его мемуарный очерк «Петербургская богема (М.А. Кузьмин)»: «Мой ужин был обильен, и я не ленился подливать вина в бокалы. Нортонские часы мои играли курантами, рокотовская Екатерина как бы являлась дополнением к только что отзвучавшей моцартовской симфонии, а петровская люстра убаюкивающе звенела своими хрусталиками»...

Андрей окончил трудовую школу, в 1921 году блестяще сдал экзамен на аттестат зрелости. Мать Андрея и Нины настаивала на необходимости эмигрировать из страны. Бабушка поддержала ее. А.М. Горький помог получить необходимые документы. Сначала, летом 1921 года, в Берлин уехали бабушка с Андреем – через Ригу, а 16 октября А.М. Горький проводил Варвару Васильевну и Нину до

Финляндии, затем через Швецию они добрались до Берлина. С лета 1921 г. Андрей жил в Берлине, где учился в местном политехникуме. В 1923 году он переехал в Париж, поступил в Сорбонну, где и получил высшее техническое образование. В 1925 г. остальные члены семьи также переехали в Париж. Дополнительным поводом к переезду послужило то, что учительница Нины, балерина О.И. Преображенская, со своей школой переехала в Париж. По всей видимости, личное знакомство Андрея с Ольгой Спесивцевой относится к 1926 г., когда она, прима-балерина Гранд-Опера, пригласила 16-летнюю Нину Тихонову в труппу.

В 1932-м Андрей работал простым рабочим на железнодорожной стройке около города Тур. Там он тяжело заболел туберкулезом, бросил работу и переехал в Париж, где и жил в 1932–1934 годах, периодически уезжая для лечения в деревню. В это же время он служит инженером общественных работ, затем до самой войны работает на фабрике «Феролит».

В 1932 году по рекомендации художника, масона Арнольда (Аарона) Лаховского, сооснователя Ложи «Свободная Россия» (Париж, 1931), был принят в члены Ложи, впоследствии исполнял обязанности секретаря. Был также приглашен А.М. Ремизовым в члены Обезьяньей палаты (Кавалер Обезьяньего знака).

В 1940 году после оккупации Парижа А.А.Ш. бежал вместе с сестрой Ниной через Шартр в Тулузу. Жить пришлось в По, Жюрансоне, Монте-Карло... Во время Второй мировой войны А.А.Ш. тяжело болел: воспаление глазных нервов, туберкулез. Из-за туберкулеза он вернулся в Париж. Работал для заработка как электромонтер, периодически ездил в Нормандию за продуктами, которые трудно было добыть в Париже.

После войны он работает инженером-советником в промышленной фирме «Вестингауз». И всерьез увлечен балетом. А вскоре уже выступает профессионально в печати как исследователь и критик балета. Его перу принадлежит много монографий о балетном искусстве.

А.А.Ш. дружил с Н. С. Гончаровой, С. Лифарем, Ж. Кокто. С художником М.Ф. Ларионовым он сблизился во время войны, а после кончины Ларионова стал хранителем его архива.

Нина Тихонова так описывает в своих мемуарах знакомство и дружбу брата с С. Лифарем:

«Познакомившись с братом по его статьям о балете в ‘Русских новостях’ и по его книге об Ольге Спесивцевой, он [Лифарь] стал искать с ним сближения, всё чаще и чаще заходить к нам и вел с Андрюшей длинные беседы о балете и философии. Не скрывая глубокого уважения к брату, его уму, культуре и художественной чуткости, очень считался с его мнением, выраженным без обиняков, и называл его Мудрецом». (*Девушка в синем*. С. 275)

С 1946 года А.А.Ш. сотрудничал в «Русских новостях», где вел рубрику «Театр – музыка – кинематограф». Участвовал в работе Общества друзей русского искусства и литературы (1948), Общества «Танец и культура» (1950-е), Общества охранения русских культурных ценностей (1960-е), Университета танца и др., выступал с докладами. Выпустил в Париже монографии «Spessivtzeva Olga. Magicienne envoûtée» («Ольга Спесивцева. Околдованная волшебница», 1954) – с посвящением сестре Нине, и «Serge Lifar et le destin du ballet de L'Opéra» («Серж Лифарь и судьба балета в Опере», 1971). В 1962 году А.А.Ш. награжден Ежегодной премией Университета танца как балетный критик. Вместе с С. Лифарем он курировал сбор материалов и документов по истории балета для «Золотой книги русской эмиграции» (1966). К сожалению, хотя материалы были собраны и отредактированы, весь проект развалился, и издания не случилось. В 1997 г. была сделана попытка восстановить этот проект и книгу все-таки сделали².

В 1967 году А.А.Ш. был одним из организаторов, вместе с С. Лифарем и Жаном Дорси, чествования балерины и педагога Л.Н. Егоровой³. В 1967-м А.А.Ш. входил в жюри экзаменационного спектакля балетного класса Русской консерватории; в 1968-м выступал с докладом в Университете танца и Хореографическом институте в ходе цикла лекций «Академические танцевальные школы Франции и мира», организованного С. Лифарем.

А.А.Ш. внимательно следил за хореографическим искусством СССР, живо откликался на крупнейшие события балетной жизни, вел переписку с балетоведами Н. П. Рославлевой и Ю. И. Слонимским. Провел в Париже большую поисковую работу и сбор материалов для издания книги о Мариусе Петипа⁴.

Идеалом балерины для А.А.Ш. всегда оставалась О.А. Спесивцева, которую он знал лично и о которой написал монографию. Лучшим балетмейстером А.А.Ш. считал Б.Ф. Нижинскую, ценил искусство А.Н. Бенуа, Л.С. Бакста, Л.Ф. Мясина, Дж. Балачина, Дж. Роббинса, С.М. Лифаря, творчеству которого также посвятил книгу.

Последние годы жизни А.А.Ш. много болел; каждое лето уезжал с сестрой на юг. Всю жизнь брат и сестра прожили бок о бок. Им не удалось создать свои семьи. После кончины А.А.Ш. остался значительных размеров архив. В 1983 году Нина передала его в Национальную Библиотеку Франции в Париже. К сожалению, архив до сего дня не разобран и не описан, а значит, не доступен исследователям. Будем надеяться, что найдется энтузиаст, который опишет архив Шайкевича, – и содержащиеся там уникальные материалы будут открыты широкому читателю.

А.А.Ш. умер в Париже 29 июня 1972 г., похоронен рядом с матерью Варварой Васильевной Зубковой на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Нужно отметить, что объем знаний А.А.Ш. о балете, как о рус-

ском, так и о западноевропейском, был феноменальным. Он дал глубокую и точную оценку личности Спесивцевой как художника, творца: «Вся ее жизнь заключалась в восторженном поклонении танцу, высокому Искусству танца, и ради права служить ему она была готова к высшей жертве, посвятив этому служению свою душу, сердце и разум». «Может быть, книга Андрея Шайкевича содержит какие-то неточности, зато он превознес искусство Спесивцевой до небес», – писала Нина Тихонова (*Девушка в синем*. С. 108). Да и сама Нина души не чаяла в Спесивцевой. В своих мемуарах она называет Спесивцеву «мое божество» (*Девушка в синем*. С. 107).

Хотелось бы сделать несколько критических замечаний по поводу представленной ниже монографии «Olga Spessivtzeva. Magicienne envoûtée» («Ольга Спесивцева. Околдованная волшебница». 1954). Эта книга не претендует быть сколько-нибудь полной биографией Спесивцевой. Это, скорее, мемуар, где помимо личных воспоминаний о балерине используется целый ряд дополнительных источников, частично опубликованных в печати, частично почерпнутых из устных сообщений. В высказанном Шайкевичем много субъективного и, возможно, даже предвзятого. Например, оценка Спесивцевой соотношений классических и реформаторских балетных традиций, как она описана Шайкевичем. Он приводит часто цитируемый разговор юной Спесивцевой с М. Фокиным:

«Она была еще совсем юной дебютанткой, когда Фокин предложил ей исполнить важную роль в одном из его балетов.

‘Я не понимаю вашего стиля’, – ответила она.

Эта реплика повлекла за собой строгую отповедь молодого балетмейстера и упреки некоторых ее коллег. Однако она была совершенно искренна».

Такой эпизод вполне мог случиться и, по-видимому, действительно имел место быть, однако трудно принять объяснение самого Шайкевича:

«Ей всегда не хватало универсальности, которая могла бы ей помочь понять не только Фокина, но также и других мастеров балетного модернизма, чьи роли она никогда не могла по-настоящему интерпретировать. Этот недостаток восприятия резко ограничивал ее талант».

– И далее: «...Спесивцева не была и не могла стать универсальной в ее искусстве». Эти размышления противоречат и дальнейшему изложению самого Шайкевича, где он рассказывает об успехах Спесивцевой у Дягилева, Фокина, Мясина, Лифаря, Баланчина и других мастеров балетного модернизма. Действительно, воспитанная на сугубо классических традициях и увлеченная идеями Акимы Вольинского, Спесивцева считала классический балет идеалом чистоты и красоты танца и была противницей искусственных приемов и эффектов, но это отнюдь не «отсутствие универсальности». Да и сам

Шайкевич упоминает, что Спесивцева проявляла живой интерес к новаторским усилиям, скажем, Касьяна Голейзовского⁵.

Однако нам придется принять, что автор уверен в своей правоте, и он легко отмечает слова самой Спесивцевой, когда они противоречат его трактовке. Например, такое утверждение:

«Трудно сказать, до какой степени была искренна Спесивцева, которая была должна танцевать главную женскую роль, когда она сказала молодым артисткам из ее окружения, что она сожалеет [о своей приверженности] к старой школе, опасавшейся модернистских направлений, где движения казались им [приверженцам старой школы] безобразными и странными, в то время как на самом деле они были очень красивы и полны подъема. Как бы там ни было, если она сказала это, ее слова слетели с языка, а не из сердца».

Похожее утверждение можно найти и у Нины Тихоновой (*Девушка в синем*. С. 105):

«Спесивцева не знала и не хотела знать никаких ролей, кроме чисто классических, но их она преображала в невиданное и в них остается непревзойденной».

И чем категоричнее высказывается Шайкевич, тем большая неправота звучит в его словах: «...она (Спесивцева) не могла идти в ногу с новыми требованиями модернистских направлений хореографического искусства». Такое заключение может напомнить упреки в адрес А.Я. Вагановой⁶ на небезызвестном собрании в Мариинском театре в советские времена. Нет смысла задерживаться на этих словах. С одной стороны, ясно, что Шайкевич принадлежал к лагерю модернистов, с другой, сам он не видел альтернативы модернизму.

В книге легко почувствовать и личную неприязнь Шайкевича к Акиму Волынскому⁷, скрываемую за иронией. Важно только отметить, что общая образованность Волынского с уклоном в историю искусства очевидна из его статей 1920-х годов, а уж его знание балета и понимание мельчайших деталей танца не подлежат сомнению. Кстати, уже немолодым человеком Волынский прошел практический курс у балетного бара с Н.Г. Легатом. Можно процитировать и такого авторитета, как балетмейстер Федор Лопухов, о «Книге ликований» Волынского: «Вчера перечитал 'Книгу ликований' Волынского. Как все-таки он чертовски тонко понимал и ощущал специфику нашего искусства»⁸. Влияние Волынского на Спесивцеву, особенно в ранний период, было велико, чего не понял Шайкевич. Кстати, и Нина Тихонова высказывает странную мысль о том же: «Даже я, девчонка, воображала, что, видимо, она [Спесивцева] не вполне усвоила теории близкого ей Волынского» (*Девушка в синем*. С. 107). Но гениальность Спесивцевой была не в том, чтобы успешно перенять и воплотить чужие теории в танце, а в ее врожденном умении выбрать элементы, которые соответствовали бы ее стилю, ее вкусу, ее творческой задаче.

Нужно отдать должное проницательности А.А.Ш, когда он, размышляя над причинами ухода Спесивцевой из Парижской Оперы в 1932 году, все-таки приводит отрывки из книги С. Лифаря с описанием его реформ, направленных на выдвигание мужского танца на первый план в ущерб солисткам и кордебалету. Однако далее Шайкевич, безусловный сторонник Лифаря, добавляет, что Спесивцева была просто не способна принять и одобрить эти нововведения.

Эти просчеты книги Шайкевича о Спесивцевой легко объяснить: его личные контакты с балериной были кратковременны и не близки, а при ее замкнутой натуре она не склонна была делиться своими сокровенными, почти религиозными, мыслями о балете с малознакомым человеком; помимо этого, у Шайкевича не было доступа к архиву Спесивцевой, чтобы использовать для своей работы ее записные книжки или хотя бы ее речь на юбилее Волынского в 1923 году, которую приводит Ю. Слонимский⁹ в своей книге о балете. Эти материалы позволяют существенно изменить представление об облике нашей героини, причем в ее пользу, и по достоинству оценить не только ее танец, но и мастерское владение языком, способность четко формулировать мысли и интеллектуальный творческий поиск.

Эта книга стремится заполнить лагуну в литературе о русском классическом балете. К тому же ценность книги А. Шайкевича, русского эмигранта из Франции, издавшего свое произведение на французском языке мизерным тиражом в 300 экземпляров, не только и не столько в том, что он был знатоком и любителем балета, сколько в его личном знакомстве со Спесивцевой и в его доступе к информации из первоисточников: пресса тех лет, театральные афиши, архивные документы, устные сообщения знакомых. Он был рядом с балериной как ментор, друг и свидетель ее неизменных успехов в театрах Парижа, Монте-Карло, Лондона, Буэнос Айреса и других городов мира.

Идея перевода книги А. Шайкевича принадлежит С.Беленькому¹⁰, энтузиазм и любовь которого к русскому балету побудили меня взяться за это нелегкое дело. Нужно отметить, что С. Беленький был настолько заинтересован в этом проекте, что читал и поправлял черновой вариант моего перевода. Я благодарю его за эти труды, как и за экземпляр французского оригинала и за вспомогательные материалы, любезно предоставленные им в мое распоряжение.

К сожалению, Ольга Спесивцева, великая русская балерина, героиня этой книги, сегодня мало известна. Долгое время имя Спесивцевой пребывало в забвении и на ее родине. После восторженных статей в журналах по искусству 1923 года ее имя в России появляется только в конце 1960-х. Кроме журнальных и энциклопедических статей да глав в мемуарной литературе, очень трудно было найти что-либо дельное о Спесивцевой. Относительно недавно (в 2006 и 2009 гг.) появились две монографии о ней, а также выпущен альбом фотографий.

Этим переводом мы постараемся хоть немного нарушить информационный вакуум, продолжающий окружать эту великую балерину.

Книга насыщена богатыми сведениями об отношениях Ольги Спесивцевой с выдающимися хореографами и балетмейстерами, балеринами и деятелями театра, русскими и зарубежными. Автор также дает некоторое представление о внутреннем мире великой балерины и о трагедии ее жизни.

Хотя я и привожу примечания с объяснением событий, лиц, дат, цитируемых изданий и некоторых биографических и исторических деталей, а также даю ссылки на специальную литературу, мои объяснения минимальны и служат только для прояснения текста. Книга включает глоссарий упомянутых иностранных слов и балетных терминов.

*Валли Фордж, Пенсильвания, США.
Сентябрь 2019*

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Тихонова, Нина. *Девушка в синем*. М.: Изд-во «Артист. Режиссер. Театр» Издательский комплекс «Культура». 1992. 311 с.
2. *Русское Зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть XX века*. [Ред. Шелохаев, В. В.]. М.: РОССПЭН, 1997. 748 с.
3. Любовь Егорова (фр. *Lioubov Egorova*; по первому мужу – Мамонтова, по второму – кн. Трубецкая; 1880–1972, Париж), русская балерина, балетный педагог, оказавшая значительное влияние на французскую балетную школу XX века.
4. *Маркус Петина. Материалы, воспоминания, статьи*. Ленинград: Изд-во «Искусство», 1971.
5. Касьян Голейзовский (1892–1970), советский артист балета, хореограф, балетмейстер.
6. Агриппина Ваганова (1879–1951), советская балерина, балетмейстер, педагог; создатель «Системы Вагановой» – особого метода подготовки балетных танцоров; основательница Ленинградской школы балета; в 1931–37 гг. – художественный руководитель балетной труппы Ленинградского академического театра оперы и балета.
7. Аким Волынский (1861–1926), литературный критик, искусствовед, балетовед; один из идеологов русского модернизма.
8. Богданов-Березовский, В. *Встречи*. М.: Искусство, 1967, С. 259.
9. Слонимский, Ю. *Чудесное было рядом с нами. Заметки о петроградском балете*. Л.: Советский композитор, 1984. С. 99–128.
10. Сергей Беленький, специалист по русскому балету, знаток искусства О.А. Спесивцевой. Перевод сделан с его экземпляра книги André Schaikevitch. *Olga Spessivtzeva. Magicienne envoutée*. 1954, который он любезно предоставил в мое распоряжение. (В.Ш.)

Андрей Шайкевич

Ольга Спесивцева. Околдованная волшебница

*Главы из книги**

ОЛЬГА СПЕСИВЦЕВА И АКИМ ВОЛЫНСКИЙ

По окончании школы Спесивцева по установленной традиции была принята в кордебалет Мариинского театра. Ей было определено жалование в 600 рублей в год – обычная ставка для низшего уровня балетной иерархии. Назначение в кордебалет было чистой формальностью, потому что с первых своих выступлений она получала роли значительно более высокого уровня, при случае даже подменяя ведущих солисток.

Так она дебютировала 1 сентября, в первый день открытия нового сезона, танцуя соло во втором акте балета «Раймонда», где также принимали участие девица Петрова и г-н Обухов. Чуть позже вместе с Вилль и Семёновой она танцует в «Дочери фараона». Следующий год приносит ей повышение с увеличением жалования до 900 рублей в год.

Именно в это время Худеков¹ пишет свою главу о Спесивцевой. Четвертый том его труда должен был появиться в 1916 году. К сожалению, он так никогда и не увидел свет. Еще перед тем, как книга была сброшюрована, в начале революции почти весь тираж был уничтожен при пожаре. Чудесным образом удалось спасти рукопись и два или три печатных экземпляра. Рукопись находится в России в Театральной библиотеке, спасенные страницы печатных экземпляров стали библиографическим раритетом.

Говоря о Спесивцевой, автор отмечает в ее танце некоторую робость и отсутствие уверенности. Он признает, что она покорила всех своими физическими достоинствами, своей стройной фигурой, лебединым силуэтом и совершенной формой ног, но, в то же время, ее манера танцевать раздражает Худекова. Он находит ее слабо организованной. Он пишет: «...она создала собственную манеру танца. Она танцует как будто поневоле, как будто исполняет обязанность, всегда с лицом, искаженным от боли». Всё это вызывает неудовольствие Худекова, как и ажиотаж публики после выступлений молодой

* Schaikevitch, André. *Olga Spessivtzeva. Magicienne envoutée*. Paris: Librairie Les Lettres, 1954. Перевод с французского – В. Шейнин. © Hayim Y. Sheynin. 2019.

танцовщицы. Реакции зрителей, по его мнению, недостаточно, чтобы признать артиста, даже если зрители полны энтузиазма. Он, конечно, не отрицает таланта Спесивцевой, но критикует ее слишком строго. Если задуматься, его суждение обнаруживает полную неспособность понять эту юную, но столь щедро одаренную натуру. Он совсем не принимает в расчет, что у девушки еще очень мало сценического опыта. Сам факт, что ее выделяют среди других, уже доказывает ее индивидуальность и значимость творческих поисков, может быть несколько наивных, но, тем не менее, ценных и многообещающих. К счастью, другие критики были более проникательны, и эта так называемая *ленность*, эта намеренная небрежность «спесивцевской» манеры танца решительно покорили такого знатока, как Аким Волынский², в свою очередь, открывшего в ней великую артистку. И основная причина восхищения и интереса, которые он никогда не переставал к ней проявлять, была связана с особым феноменом: ее тело в замедленном движении, казалось, следовало за порывом души.

Странный облик этого странного человека, страстного, даже одержимого, с изнуренным лицом аскета, бледность которого еще более подчеркивал черный шейный платок, навсегда врезался в память тех, кто хоть раз имел случай повстречать Волынского. Автор двух великолепных книг о Достоевском и знаменитого трактата о Леонардо да Винчи, за который он удостоился звания почетного гражданина города Милана, Волынский публиковал весьма оригинальные критические статьи по искусству, малопонятные для непосвященных, но обладающие высокой и бесспорной ценностью. Очарованный искусством танца, он с головой окунулся в эту сферу и вскоре уже яростно ниспровергал всех тех, кто, по его мнению, не понимал истинного искусства либо посмел отклониться от освященного веками академического стиля.

Заклятый враг Фокина, Волынский начал с отрицания самой идеи изменений. Чтобы лучше разбираться в балетных постановках, он не колеблясь идет в обучение к одному из ведущих преподавателей того времени, и вскоре в своих статьях он становится способен проанализировать мельчайшие подробности в технике того или иного исполнения.

Нет ничего удивительного в том, что он проявил огромный интерес к Спесивцевой. Он провожал ее в театр, на репетиции, высказывал свои замечания, давал советы, которые она выслушивала, не вникая. Он приходил к ней домой и проводил там долгие вечера, часто задерживаясь до глубокой ночи, к вящему неудовольствию ее матери, не понимавшей причину его интереса к дочери и находившей тому объяснения весьма банальные и для него далеко не лестные.

О чем они могли говорить? Он, должно быть, обсуждал историю танца в древней Греции, идеи Достоевского или Леонардо да Винчи. Наверняка рассказывал ей о философах, о русских и иностранных просветителях. А также речь могла идти об искусстве, равно как о религии и мистике. И всё только для того, чтобы вернуться к его любви

мому коньку – к идее танца, которая в свободном изложении звучала так: «Перед тем, как делать бросок тела, делай бросок твоей душой».

Возможно даже, что он осмеливался излагать ей свои теории вибрации пятки танцовщицы при исполнении арабески или внушал ей какие-то другие художественные концепции в том же духе, которые тогда были предметом посмешища среди артистов. Эти последние дошли в издательствах над ним до того, что прозвали его «похоронных дел мастером» из-за его странной, всегда мрачной физиономии.

Она должна была выслушивать его со вниманием. Возможно завтра она повторит его слова в своем окружении, рассказывая, как древние греки танцевали на пуантах, и цитируя примеры барельефов и живописных картинок на античных вазах. Но всё это воспринималось абсолютно поверхностно и никак не меняло ничего существенного в ней или для нее, по крайней мере, никак не влияло на ее танцевальное искусство.

Что касается Волынского, он не понимал, что молодая балерина привлекала его прежде всего тем, что ее душу пожирало пламя: она была, как и он, одержима танцем.

Однако было бы несправедливо думать, что роль Волынского в жизни артистки сводилась только к более или менее бесплодным попыткам расширить ее интеллектуальный кругозор.

Само собой, он не раз должен был почувствовать, что она не может понять его до конца. Тем не менее, подсознательно она ценила его присутствие и выражала если и не понимание, то хотя бы живой интерес к философии и мистицизму.

Неосознанное, но потенциально смертельно опасное воздействие Волынского могло привести ее к самоубийству. Следуя за его мыслью, Спесивцева преувеличивала боль духовного страдания, будучи абсолютно неспособной превозмочь ее или даже сфокусироваться на какой-то определенной цели. Она стала послушницей теоретиков мистицизма и на пути к посвящению должна была преодолеть много препятствий. Чем ближе она приближалась к этому, тем более ощущала себя отделенной от светского мира. Свернуть с этой дороги, к несчастью, невозможно для того, у кого не хватает воли продолжать путь вперед. Неофит был обречен навсегда остаться в этих тесных рамках, блуждая по жаркой пустыне без всякой надежды утолить жажду.

ПЕРВЫЕ ШАГИ К МИРОВОЙ СЛАВЕ

В то же время* Дягилев организовывал большое турне по Соединенным Штатам Америки. Он предложил Карсавиной принять участие в нем. Она отказалась. Как она сама ему сказала, *в ее волшебной книге* не было планов покинуть Россию. Из Швейцарии, где он тогда находился, Дягилев попросил Григорьева попытаться ангажировать

* Лето–осень 1915 года. (В.Ш.)

Спесивцеву. Григорьев немедленно связался с молодой артисткой и предложил ей подписать контракт. Американское турне должно было продолжаться два сезона: весной 1916 года и в период с октября 1916-го до 10 февраля 1917 года.

Это предложение было очень соблазнительным для Спесивцевой. Она уже совсем было собиралась принять его, как в последнюю минуту всё расстроилось яростным вмешательством Волынского. Он не желал ничего знать ни о Дягилеве, ни о его компании, и заставил ее отказаться от этих планов.

Раздраженный Григорьев ангажировал Маклецову. Но Дягилев, разочаровавшись в ней после первого американского сезона, настаивал на Спесивцевой – на сей раз действуя под большим секретом. Поддавшись желанию ехать за границу, она, в конце концов, подписала контракт на второй сезон в Соединенных Штатах. Она отправилась вместе с матерью и молодой танцовщицей Московского театра девицей Фроман.

Однако с начала турне Дягилев отдает главные роли другой балерине высокого уровня – Лидии Лопуховой. Сам по себе этот факт не был чем-то необычным. Ведь компания таким образом приобретала и удерживала ценные кадры. Увы! Интриги способствовали тому, что в результате обе молодые артистки были отодвинуты, оттеснены на второй план. Если мы посмотрим на афиши Метрополитэн Опера тех лет, мы сможем увидеть только четыре имени: А. Больм, Л. Лопухова, В. Нижинский и Ф. Реваль...

Но вернемся к Спесивцевой. Трепеща, преисполненная чувств, она сходит с парохода в Нью-Йорке.

Этот сезон оказался ей очень утомительным, так как она не привыкла к такой интенсивной работе. Но когда дело касалось искусства, она была способна выложиться до конца. Теперь она переживала подъем вдохновения, танцует с Нижинским в «Видении Розы» («Призрак Розы», *Le Spectre de la rose*). Здесь стоит остановиться на этой очаровательной хореографической поэме, которая предназначена специально для танцовщика, в то время как роль балерины в ней чисто второстепенная. Однако нам кажется, что это, в лучшем случае, неточно. Женская роль по своей утонченности, по своим выразительным жестам, по поэтичности, что должна перевоплотить артистку, ни в чем не уступает роли самого главного героя «Видения». В этой роли блистала Карсавина. Оба партнера дополняют друг друга. В них можно даже разглядеть идеальную пару, состоящую из очень мужественного танцора, почти атлета, и балерины, исполняющей несколько простых, едва намеченных па, предельно проникнутых завораживающей грацией и женственностью. Порт-де-бра (ports de bras), линия тела, па-де-бурре (les pas de bourrée)* производили такое впечатление,

* пор-де-бра (ports de bras) – «движение рук». В балете это включает в себя не только движение рук, но и всего корпуса, головы и ног. Па-де-бурре (les pas de bourrée) – чеканный танцевальный шаг, переступания с небольшим продвижением.

что говорить о неудачном исполнении становится никак невозможно.

Задача Спесивцевой оказалась не из легких. Она должна была заменить одну из самых красивых и самых блестящих артисток целой эпохи, саму создательницу этой роли.

Когда Спесивцева появлялась на сцене, держа розу в руках, и направлялась к креслу, думая об избраннике сердца, – как только могут думать молодые девушки по возвращении с бала, – публика в зале застывала как замороженная. Красота артистки, ее прозрачный силуэт, походка, ее простые движения приковывали к ней взгляды зрителей.

Она очаровывает – ее склоненная длинная шея, детская головка, прильнувшая к спинке кресла... ее руки вытягиваются как будто онемевшие от холода, но в то же время ее живые, длинные пальцы разжимаются, роняя цветок, – и он падает к ее ногам.

И вдруг как демон, как ураган, Нижинский в прыжке появляется за открытым окном, останавливается на какой-то момент – будто спустившись с небес. Затем он приземляется и останавливается как вкопанный, застывший в движении, как порывистая статуя Мирона.

Гляди, гляди, я призрак розы,
Тобою сорванной на бал.

(Перевод И. Лихачёва)

Они танцевали вместе, и трудно сказать, кто из них более приковывал восхищенные взгляды: он – страстный, легкий, демонический, – или она, которая, как всегда в создаваемых ею образах, находилась на высоте ирреального, сверхчеловеческого, что излучала бессознательно, уверенно, и, определенно, без какой-либо возможности хоть как-то объяснить это. Страстная, но в то же время девственная вспышка, эротическая, но абсолютно непорочная мечта... всё это выражено с волнующими простотой и наивностью.

Между тем новости из России становились всё хуже день ото дня. Мать и дочь Спесивцевы смогли вздохнуть более-менее свободно, только когда они ступили на родную землю. Но надежды на нормальную и спокойную жизнь не оправдались. К концу года (1917) ожесточенная Гражданская война развернулась в масштабах всей страны.

ОЛЬГА СПЕСИВЦЕВА И С.П. ДЯГИЛЕВ

Окрыленная новыми обещаниями, хотя и обуреваемая сомнениями, даже с тревогой в душе, Спесивцева присоединяется к труппе Дягилева. В конце года она пересекает итальянскую границу. Труппа должна была выступать в Турине с 24 декабря по 26 января и в

миланском «Ла Скала» 10, 12 и 16 января 1927 года. Спесивцева исполняла весь классический репертуар.

Поездка оказалась тяжелой. Кроме репетиций и почти ежедневных спектаклей она должна была следовать чересчур строгим требованиям Мясина³ и вдобавок репетировать и по ночам, после спектаклей, т. к. Мясин стремился как можно скорее увидеть на сцене свой очередной балет «Зефир и Флора».

В Турине случился известный инцидент с Ингельбрехтом. Он дирижировал оркестром в каком-то почти фантастическом темпе, который ему указал один из членов труппы⁴. Результат был достоин сожаления. Несмотря ни на что, пресса хвалила артистку. Чтобы понять, о чем идет речь, цитирую отрывок из «Газеты народа» (*La Gazzetta del Popolo*): «Триумфатором была Ольга Спесивцева, которая изумила тонкую и элегантную публику и которая получила как свидетельство преклонения великолепные букеты цветов. Она действительно наилучшая артистка в этом жанре искусства».

В миланском «Ла Скала» она танцевала в «Жар-птице», «Лебедином озере» и «Свадьбе Авроры»⁵.

Вспоминала ли она всё то, что слышала от духовного ментора ее юности – Волынского, выходя на сцену этого знаменитого театра? Думала ли она о нем, прогуливаясь по улицам этого города, почетным гражданином которого он был избран? Конечно. И даже часто. Но кому она могла поведать это? Никто не принимал ее всерьез. И когда она говорила, она говорила так, что ее было трудно понять. Поэтому она предпочитала молчать.

Покидая Италию, Спесивцева среди наиболее лучезарных воспоминаний увозила с собой приятную улыбку Чекетти, который обожал ее и у которого она снова смогла взять несколько бесценных уроков.

17 января* труппа была уже в Монте-Карло. Месяцы февраль и март были посвящены репетициям, так как в это время в театре шли оперы. Между этим балет гастролировал в Марселе и в Каннах. Два новых балета были поставлены в конце апреля: «Кошка» (*La Chatte*) и «Стальной скок» (*Le Pas d'Acier*)⁶. Коре⁷, сочинивший музыку к «Кошке», был тогда совсем молодым человеком. Он испытывал благоговейное восхищение Спесивцевой и упросил Дягилева поручить ей роль Кошки. Дягилев вначале колебался (впрочем, может быть, это Коре только казалось), но потом согласился.

Сколько такта, терпения и выдумки должен был потратить Дягилев на уговоры Спесивцевой, пока она не согласилась на эту роль! Во всём, что касалось танца, Спесивцева была совершенно целомудренна. Укороченные костюмы и слишком откровенные позы модернистской хореографии были для нее немыслимы. Это было одной из основных причин ее отчуждения от Фокина. Но, вопреки всему, что об их отношениях могли бы подумать, она, хотя и находясь под влиянием

* Должно быть 27 января. (В.Ш.)

Волынского в этой области, все-таки вполне могла работать с ним. В Италии во время репетиций с Мясиным она поддалась его влиянию.

Как она ни упорствовала, Дягилев не отступал. Ему удалось ее переубедить, он чувствовал себя победителем: она приняла роль. Работа началась сразу же. Репетировали без остановки, так что дни проходили между репетиционным залом и ресторанами, где во время обеденного перерыва Дягилев беседовал с Баланчиным по-русски к вящему неудовольствию Коре, который, разумеется, не понимал ни слова.

Спесивцева тоже присутствовала там, к ней прислушивались, и она пыталась говорить по-французски, на очаровательной, но трудной для понимания тарабарщине. Работа оказалась весьма напряженной и продуктивной. Баланчин имел замечательный успех. Он сумел завоевать доверие артистки. Он знал, как заинтересовать ее без подталкивания и не выказывая нетерпения. Иногда он отводил ее в сторону и тихим голосом делал замечание. Она на лету схватывала, подтверждала кивком головы и тут же исполняла очень странные, на ее взгляд, па. Несомненно, их знакомство, которое состоялось когда-то в России, играло большую роль в их слаженной работе.

Дягилев казался довольным, но, верный своим привычкам, он часто проявлял свой тиранический нрав по отношению к сотрудникам. Однажды молодой Коре разнервничался и разразился истерикой по поводу какого-то пустяка. Этот инцидент грозил перерасти в настоящую потасовку. Ситуация была спасена в последнюю минуту Спесивцевой. Подчиняясь чисто женскому инстинкту, она бросилась на шею Коре, обняла его и заставила успокоиться. Бедняга покраснел, потупил глаза и успокоился.

К концу репетиций прибыли костюмы. Они были очень красивые, весьма оригинальные, но было замечено, что тонкая пластмасса, из которой они сделаны, шуршала во время танца странным образом. Дягилев вышел из себя, повернулся к Коре и спросил, не шокирует ли его этот шум; крайне сконфуженный Коре ответил: «Это не было предусмотрено в партитуре!»

Впервые «Кошка» была представлена 30 апреля в Опере Монте-Карло. Успех был огромный. Балет оказался на удивление удачным. Спесивцева вошла в роль и буквально перевоплотилась в кошку, ничего не преувеличивая, без ненужной наигранности. Баланчин создал эту роль для нее – это было очевидно.

Она казалась неуловимой. В тот момент, когда Лифарь поднимал ее и нес от одного до другого конца сцены, она казалась совершенно невесомой. Ее движения были настолько мягки и приятны, что некоторые говорили, что она потеряла весь свой остов. То был, пожалуй, первый раз, когда совсем забыли о привлекательности ее лица и вместо этого любовались исключительно гибкостью и выразительностью ее тела.

Сезон продолжался до 6 мая. На следующий день труппа отправилась в Барселону, а 24-го того же месяца прибыла в Париж.

Предпремьерный показ состоялся 27 мая в театре Сары Бернар. В прессе разразилась настоящая рекламная кампания, и за день до спектакля, т.е. 26 мая, газета «Фигаро» опубликовала статью самого Дягилева, которая была озаглавлена: «Ольга Спессива». Эта статья обрела популярность, она много раз цитировалась и перепечатывалась полностью, среди других – Леандром Вейя и Сержем Лифарем. Статья представляет собой столь важное свидетельство, что я не вижу никакой возможности опустить ее здесь:

«Завтра на премьере Русского балета в Париже будет 'дебютировать' новая танцовщица, Ольга Спессива. Это правда, что в течение двух сезонов в Опере танцевала балерина, имя которой было почти то же, но судьба захотела, чтобы, по той или другой причине, Спессивцева из Оперы не была 'понята' самой чуткой публикой в мире – публикой Парижа.

Я всегда думал, что в жизни одного человека есть предел радостей, что одному поколению позволено восхищаться только одной-единственной Тальони или слышать одну-единственную Патти. Увидя Павлову, в ее и моей молодости, я был уверен в том, что она 'Тальони моей жизни'. Мое удивление потому было безгранично, когда я встретил Спессиву, создание более тонкое и более чистое, чем Павлова.

Это говорит о многом. Наш великий учитель танца Чекетти, который создал Нижинского, Карсавину и многих других, сказал еще этой зимой во время его уроков в миланском 'Ла Скала': 'В мире родилось яблоко, его разрезали надвое, одна половина стала Анной Павловой, другая – Ольгой Спессивой'. Я добавил: 'Для меня Спессива – та сторона яблока, которая обращена к солнцу'.

Мне позволительно говорить так после двадцати лет работы в театральной атмосфере.

Я счастлив видеть, что после этого продолжительного периода, в течение которого сотни танцовщиков прошли предо мною, я еще могу представить Парижу таких артистов как Мясин, Баланчин, Войцеховский, Данилова, Чернышева и Соколова. Моя радость еще более велика потому, что, начав двадцать лет тому назад с Павловой и Нижинским, я дохожу до Спессивы и Лифаря. Первые уже стали мифом, вторые, очень отличающиеся от их предшественников, находятся перед вами и ожидают стать легендой. Эта прекрасная легенда является очень лестной для славы Русских балетов».

Эта статья, кажется, была искренней. Увы! Почему же случилось, что во время одной из последних репетиций Дягилев вышел из себя, раздраженный каким-то пустяком в аттитюде Спессивцевой? Какая-то деталь макияжа? Невольное опоздание на несколько минут? Или «пренебрежение фиксации», когда у нее болело колено? Он был раздражен каким-то пустяком и бесконтрольно и резко выразил свое мнение и закончил так: «Вы только исполнительница, не воображайте, что вы артистка».

Не говоря ни слова, Спессивцева прекратила репетицию и ушла;

потом она дала знать, что не сможет танцевать из-за ноги, которую растянула.

Это произвело эффект взорвавшейся бомбы. Теперь даже во сне никто из труппы не видел возможности представить «Кошку». В конце концов, делегировали Коре на Бульвар Сен-Жак, на квартиру Спесивцевой, полагаясь на их добрые и дружеские отношения. Он пришел к ней с великолепным букетом цветов. Каково же было его удивление, когда она сама открыла ему дверь, свежая, пританцовывающая, как будто ничего не случилось. Она впустила его, усадила и стала угощать весьма дружески и с большим расположением к нему.

Но Коре не говорил по-русски, а она не всегда могла выразить свои мысли по-французски так, чтобы было понятно. Они объяснялись как в пантомиме, и как только он заговаривал о том, чтобы она танцевала, она делала страшные гримасы и показывала, что она не может из-за растяжения ноги. Все усилия Коре оказались тщетны. Она стояла на своем.

Назавтра она осталась в постели. Когда Дягилев и Кохно⁸ пришли к ней, она отказалась их принять.

ТРАГЕДИЯ В АВСТРАЛИИ

Смерть Павловой⁹, унесенной за считанные часы простым воспалением легких (ведь пенициллин еще не был открыт тогда), нанесла ее мужу В. Дандре¹⁰ и импресарию А. Левитову¹¹ такой удар, что потребовалось целых два года, чтобы прийти в себя.

По истечении времени жизнь взяла свое, и они приняли решение создать новую компанию, которую окрестили Русский Классический балет («Русский балет Левитова-Дандре»). В ней было занято 48 артистов, двое из которых были балетмейстерами: Петров¹², бывший танцовщик Мариинского театра выпуска 1900 г. и балетмейстер в революцию 1917 г., и Фёдорова, свояченица Фокина¹³. Их танцовщицей-этуаль была Вера Немчинова¹⁴, одна из знаменитостей, созданных С. Дягилевым; за ней следовали Наталия Бошкович¹⁵, танцовщица-этуаль Национального театра Белграда, и Эльвира Роне¹⁶, в то время как танцовщиком-этуаль был Анатолий Обухов. Репертуар, глядя со стороны, состоял из достаточно разнообразного набора старых классических балетов, таких как «Лебединое озеро» (только 2-й акт), «Тщетная предосторожность», «Очарованная флейта», а также балетов Фокина «Карнавал», «Сильфиды» («Шопениана»), «Половецкие пляски» и т.д.

По правде сказать, хотя Фокин физически и находился в Париже, где он ставил балеты для труппы Иды Рубинштейн, он согласился, хотя и очень неохотно, руководить восстановлением его балетов.

Турне проходило по разным городам Австралии¹⁷ и обещало быть весьма успешным. Дирекцией артистам были предложены новые контракты, но ни Немчинова, ни Обухов, связанные долговре-

менными обязательствами с Национальным театром Литвы, не смогли принять предложение.

Тогда решили позвать Спесивцеву – особенно потому, что в Австралии ее страстно желали увидеть, как Павлову. Вильтзак¹⁸ должен был занять место Обухова.

Спесивцева сильно колебалась. С одной стороны, искушение было велико: отправиться в путешествие, забыть обманы последних лет, которые она претерпела в Опере, отогнать мучительные воспоминания, выбросить из головы всё прошлое, иметь возможность танцевать очень интересный репертуар, а также иметь партнером старого товарища. Наконец, и вопрос денежного вознаграждения был тоже немаловажен. В конце концов она приняла предложение.

Она очень хорошо знала Петрова, балетмейстера труппы, который был свидетелем ее быстрого восхождения в Петербурге; после того, как он эмигрировал в 1924 году, он мог, в свою очередь, следить за движением ее карьеры. Она была совершенно уверена, что сможет всецело довериться ему, но, верная своему обыкновению стараться делать всё как можно лучше, она настояла на том, чтобы устроить многократные репетиции в Париже в присутствии самого Фокина – репетиции, во время которых она заботливо и по многу раз отработывала мельчайшие детали ролей, которые должна исполнять¹⁹.

Она села на паром в один из осенних дней 1934 года²⁰, не скрывая своей взволнованности. Она путешествовала не одна. Ее сопровождал ее близкий друг, некто господин Б.²¹ Перед тем как покинуть свою квартиру, она задумалась на какой-то момент. Ее рот нервно искривился при воспоминании о матери – о матери, которая так любила ее и так горячо приняла к сердцу жизнь и карьеру Оленьки. Но жизнь со своей обычной жестокостью оборвала их духовные связи и обрекла на неизбежную разлуку. Ольга сделала всё возможное, чтобы получить для матери разрешение возвратиться на родину.

Она погрузила с минутку, понимая, что у нее нет времени погружаться в морализирование. Права на слезы у нее также не было.

Придя в себя, она решительно шагнула через порог.

Мы жили еще в те счастливые времена, когда авиация только зарождалась, поэтому были нужны недели, чтобы из Парижа добраться до Явы. Жизнь на борту роскошного лайнера, когда ты питаешь большие надежды, когда ощущаешь себя вполне здоровой, в отличной форме, когда ты окружена ожидаемым обожанием, долгое путешествие наполняется очарованием и становится очень приятным. И Спесивцева выглядела счастливой. Ее ежедневные тренировки прекратились, она позволила себе понежиться в спокойном безделье.

Время проходит тем быстрее, чем меньше внимания на него обращают. И вот настал тот очень жаркий день (114° по Фаренгейту), когда

она прибыла на Яву, где ее ожидали с нетерпением. Первые дни ушли на знакомства с артистами и на наблюдение за репетициями. Затем мало-помалу она втянулась в работу. Точнее сказать, она проводила за работой по 6-7 часов в день. Рабочая атмосфера была превосходна, ничто не предвещало печального исхода. Кто бы осмелился занять ее место? Волшебство ее красоты, стиля, ее мастерства было неотразимо, так же как и очарование ее лица, светящегося детской радостью, когда, например, она падала в экстазе перед крошечными вишенками, пришитыми к ее костюму в «Карнавале». Она смеялась, играя с ними, и все принимали ее за трогательную маленькую девочку, которой было нужно так мало, чтобы получить удовольствие.

Спектакль обычно состоял из двух балетов и одного дивертисмента, составленного из довольно разнообразных номеров. Среди больших балетов следует назвать «Карнавал», второй акт «Лебединого озера», «Сильфиды» и «Раймонда», последний – в постановке Петрова.

Спесивцева была должна участвовать во всём репертуаре в течение пяти недель. Вначале она делила его с Наташей Бошкович и Эльвирой Роне.

Успех был невероятный. Взбодороженная публика вызывала ее без конца. Из номеров дивертисмента она очень любила танцевать павану, которую Фокин поставил специально для нее во время ее недавних гастролей в Америке. В великолепном костюме, сшитом по макету Гончаровой, она иногда скрещивала руки над головой с пальцами в кольцах, украшенных крупными многоцветными драгоценными камнями, и торжественная красота ее лица наводила на мысль о какой-то неизвестной мне таинственной коронации.

Подбодренная своими успехами на Яве, полная энергии и уверенная в себе, Спесивцева, кажется, была очень оптимистично настроена на предстоящее турне по Австралии.

Однако перед ней стояла весьма трудная задача, ибо она должна была покорить публику из знатоков, которым очень трудно угодить. Особенно в Сиднее, где был свой балетный театр, который сумел завоевать любовь местных жителей и где благоговейная память о Павловой была еще свежа настолько, что места для прихода кого-то нового не осталось. Конечно, умело направленная пресса делала свое дело. Все большие города приготовились к приезду «Русских балетов» и легендарной Спесивцевой, о которой любители знали из иностранной прессы, отслеживая все события в международном танцевальном искусстве. Они, очевидно, были наслышаны о чуде Спесивцевой, но ожидали с опасением эту новую звезду, которая должна занять место *их Павловой*. Реклама настойчиво разрушала пределы допустимого: «Величайшая танцовщица всех времен. Несравненная балерина Спесивцева, кумир Европы. Престиж бессмертной Павловой перешел к ней и покоится на ее плечах. В утонченном и источающем радость выражении чувств в ее искусстве живет дух танца...»

Какой бы впечатлительной Спесивцева ни была, она прекрасно

понимала, что успех всецело зависит от ее первого появления на сцене. По мере того как приближался день премьеры, она всё больше нервничала. Иногда ее руки начинали дрожать, когда она разговаривала, и как бы ни пытались ее успокоить, получался абсолютно противоположный результат.

И вот только несколько дней осталось до премьеры. Спектакли должны были начаться 27 октября в Королевском театре. Спесивцева использовала каждую возможность репетировать – и не только с Вильтзаком, а и со всей труппой. Она работала непрерывно, с пылом, почти с яростью.

Может быть, она должна была экономить свои силы? Отдыхала она урывками, ведя себя как ребенок, – правда, и это случалось довольно редко...

Наконец прозвучал третий звонок. Занавес поднялся.

Целую вечность Виктор Дандре и Александр Левитов стояли, застыв подобно мраморным статуям, с бледными от волнения лицами. Потом вдруг румянец оживил их, они издали вздох облегчения и даже заулыбались. Спесивцева победила! Продолжительное почти-тельное молчание зала тому свидетель. Публика была загипнотизирована выступлением. Эти слабые, как бы отмирающие, руки, это трепетное тело, наделенное пламенным сердцем танцовщицы, эти на редкость красивые ноги, которые своими малейшими движениями, сверхчеловеческим умением были способны передавать самые сокровенные чувства. Публика не видела артистку. В таинственном перевоплощении ее тело выражало духовную красоту лебедя, поющего в экстазе.

Занавес опустился. Это был не просто успех или триумф – это было что-то сродни белой горячке. Зал ревел от восторга. Уже устали считать, сколько раз поднимался и опускался занавес. Не менее семнадцати! Затем последовал короткий номер дивертисмента.

В гостинице она дурачилась перед зеркалом: «Австралия салютует Вам!» Она смотрела на свое отражение в зеркале и улыбалась. Это то, в чем она понимает...

Все праздновали в театре. На улицах с наступлением вечера под мерцающими неоновыми огнями собирались балетоманы посудачить о триумфе новой звезды.

Несколько дней спустя Спесивцева, сидя в холле гостиницы, описывала происходящее в письме к своим друзьям Гончаровой и Ларионову. Она рассказывала со страстью, но сухо, ужасно сухо для нее. Количество спектаклей, считая и дневные представления, достигало десяти в неделю. Это правда, что у нее два незанятых дня, когда она может отдыхать. Чтобы рассеяться, она занималась живописью. В конверт с этим письмом она вложила маленькую любительскую фотографию, на которой была снята работающей за мольбертом.

Более двух недель пролетело с неизменным успехом.

И затем совершенно неожиданно всё рухнуло.

Во время одной из дневных репетиций Спесивцева вдруг, не говоря ни слова, покинула зал. Она знала свою роль в совершенстве с давних времен, и на этот поступок, банальный сам по себе, никто бы не обратил внимания, если бы он случился не с ней. Это могло произойти с кем угодно, но уж не со Спесивцевой, этим эталоном дисциплины и примером неукоснимой тщательности в работе. Но, тем не менее, это произошло с нею. Такое поведение нельзя было пропустить незамеченным. Все были озабочены, почувствовав неладное.

Через полчаса Левитов встретил ее в холле гостиницы, где жила вся труппа. Ее глаза были глазами дикого животного, руки всё время находились в бесконтрольном движении. Казалось, она не узнаёт его.

«Господи! Что с Вами случилось, мадам?» – спросил он и заставил ее присесть. Она автоматически послушалась, но не села, а рухнула в кресло, заливаясь слезами и всхлипывая. Она через силу пыталась говорить, но едва могла выдать несколько слов. Это случилось, по ее словам, из-за интриг, в которых она обвиняла всю труппу целиком.

Был ли этот срыв последствием изнурительной работы? Результатом перенапряжения? Или виной тому то, что называют «жизнь»?.. Напрасно Левитов старался ее успокоить. Она то говорила с ним, как ребенок, то пыталась доказать, как обожали ее все вокруг. Она совсем не слушала его. Затем, не закончив фразы, она встала и бросилась к лифту.

Завтракая вдвоем с Дандре, Левитов рассказал ему о своем разговоре с артисткой, не скрывая озабоченности. Но его собеседник отнесся к произошедшему гораздо спокойнее.

«Это всё нервы от переутомления», – сказал он. Казалось, он прав. Этим вечером она танцевала, как будто ничего не случилось. Но как только занавес опустился, всё началось сначала.

Реагируя на ее срочный призыв, Левитов нашел ее в номере всю в слезах. На этот раз она жаловалась не только на интриги, но также на то, что кто-то шпионит за ней, вплоть до того, что следят за ее малейшими движениями, мельчайшими жестами.

«Вы должны принять меры против этого безобразия, против злобы этих людей. Я Вам говорю, они позволяют себе отдавать цветы, предназначавшиеся мне, другим танцовщицам.»

Она настояла, чтобы ей сменили номер. Немедленно всё было сделано по ее желанию, и она, получив другой номер, немного успокоилась, – по крайней мере, так казалось.

Следующим утром она не явилась на репетицию.

Левитов покинул зал последним. Медленно идя по улице, он заметил ее издали и поспешил навстречу.

«Куда Вы направляетесь?» – спросил он после приветствия.

Казалось, этот вопрос ее удивил.

«Ну разумеется, на репетицию.»

«Она уже закончилась, я иду оттуда!» – воскликнул он.

Она посмотрела на него с недоверием и сказала, что раз так, она будет заниматься сама. Левитов покорно последовал за ней.

Переодевшись, она начала свою ежедневную работу, упражнения у бара, – работу, которую он наблюдал часто и которой он наслаждался. Но на этот раз вместо гармоничных и таких поэтичных в ее исполнении движений он увидел что-то несуразное и безобразно неслаженное.

Весь день Левитов оставался в напряжении и издал вздох облегчения только на вечернем представлении, при первых звуках оркестра.

Он вернулся к себе в кабинет и занялся своей работой. У него было много дел – подготовка к приему журналистов, разговор с Дандре о некоторых решениях, которые предстояло принять, и т.д. Он настолько погрузился в дела, что потерял счет времени. Вдруг в его дверь постучали. Это был посыльный от Спесивцевой, которая срочно вызывала его. И хотя Левитов всё еще был занят, он немедленно побежал к ней. Он застал артистку в состоянии, которое трудно описать. Она высказала ему всё, что он слышал раньше, добавив жалобы на свою персональную костюмершу. Она была возбуждена до предела, и было невозможно заставить ее мыслить логически. Левитов в отчаянии обратился к Дандре. Спесивцева очень уважала того как старшего по возрасту и полного достоинства человека – да и вообще, воспринимала его прежде всего как мужа Павловой, перед которой она благоговела.

И действительно, разговаривая с ней спокойно и неторопливо и апеллируя к ее чувству долга и дисциплины, Дандре быстро успокоил ее.

Она вышла на сцену в последнюю минуту – и танцевала. Конечно, если можно назвать это исполнение танцем. Без всякой эмоции, без выразительности и почти как автомат, она не успевала в *pas de deux* – разве что ее партнер Вильтзак спасал положение. Но публика, тем не менее, аплодировала. Вероятно, по привычке. В первый раз Спесивцева получила аплодисменты за ее прошлые заслуги.

Грустный выход из театра.

Дандре и Левитов, каждый по-своему скрывая озабоченность, видели, как в дурном сне, что ситуация становится безнадежной.

Четыре часа утра. В гостинице царит тишина. Холл, как и коридоры, освещен ночным светом.

Дандре всё еще не мог заснуть. Он встал, накинул халат и начал ходить по комнате взад вперед, от одной стены к другой. Он перестал видеть в поведении Спесивцевой простой нервный припадок истерического характера. Впервые его охватил страх.

Вдруг стучат в дверь. Он открывает. Это она. Она входит неуверенными шагами, резко оглядываясь назад, как будто в опасении, что за ней кто-то гонится, затем, как в обмороке, падает в кресло. Оставаясь всё время на чеку, она говорит, что боится войти в свой номер, т.к. ее хотят задушить. Поэтому она просит приютить ее на эту ночь. Завтра утром она как-нибудь справится и устроит всё так, что будет вне опасности.

Вновь, действуя с большим тактом и ангельским терпением, Дандре удалось ее успокоить, и уже поздним утром он проводил ее в комнату; она бросилась на кровать и погрузилась в глубокий и мучительный сон.

Начиная с этого момента все жили в настоящем кошмаре. Никто не знал, будет ли она танцевать и каково будет качество ее танца – не таким ли, как в последний раз? Всё осложнялось еще тем, что она категорически отказывалась от визита к врачу. Наконец, удалось ее убедить. Диагноз был неопределенный, не предполагающий какое-то лечение.

Невозможно было даже мечтать заменить Спесивцеву кем-нибудь, кого можно было бы найти на месте или даже в Европе, не говоря уже о том, что по тем временам такое путешествие занимало от 36 до 40 дней. Однако нужно было во что бы то ни стало продержаться еще десять недель турне в Сиднее и обеспечить открытие сезона в Мельбурне, втором городе Австралии – как по взъискательности, так и по количеству зрителей. Для того, чтобы облегчить работу артистки, было решено значительно снизить ее нагрузку, заменяя ее в некоторых постановках танцовщицами Наташей Бошкович и Эльвирой Роне.

Так они сумели выдержать еще два дня.

Два дня перед окончательным актом трагедии.

Робкая и закрытая по характеру, Спесивцева не умела и не хотела заводить друзей или знакомых из местного населения. Поэтому все были сначала чрезвычайно удивлены, а потом и очень обеспокоены, узнав назавтра, что она ушла из гостиницы и скрылась в неизвестном направлении. Искали ее и в гостинице, и в театре, искали везде, но тщетно. Спесивцева исчезла. Приближался вечер... просто ужас! Нужно было срочно принимать решение. Кроме того, нужно было во что бы ни стало найти несчастную артистку. В театре ее заменила Бошкович. Что же касается исчезнувшей...

Около восьми часов вечера в нескольких километрах от Сиднея некий мужчина ехал в город на автомобиле по почти пустой дороге. С сигаретой во рту и в хорошем настроении, он уже почти доехал до дома и предвкушал приятный отдых позднего вечера. Вдруг он был вынужден резко затормозить. По середине шоссе навстречу ему шла женщина, шатаясь – вот-вот упадет. К его безграничному удивлению, женщина была элегантно одета, явно не пьяная, но, тем не менее, абсолютно не понимала, где она и что находится перед нею. Он

окликнул ее. Она остановилась, застенчиво улыбнулась и произнесла несколько невразумительных слов. Не пытаясь выяснить что-либо и не пускаясь в долгие объяснения, водитель вышел из машины, предупредительно взял ее за руки и учтиво предложил подвезти. В тот самый момент его осенило: да ведь это та самая знаменитая балерина, которой он аплодировал за ее обворожительный танец незадолго до этого.

Понял ли этот добрый человек, что она в беде, смог ли он внушить ей доверие? Или она настолько выбилась из сил, изнуренная до предела, с бобью в ногах? Во всяком случае, она приняла его предложение подбросить обратно в город.

После этого ей потребовалось несколько недель отдыха, прежде чем врач дал ей, наконец, разрешение вернуться в Европу.

Тем временем труппа, связанная обязательствами по контрактам, отправилась в Мельбурн и закончила сезон своими собственными силами.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Худков Сергей Николаевич (1837–1928), драматург, беллетрист, либреттист и историк балета, редактор-издатель «Петербургской газеты» (1871–1918). Среди его балетных либретто самое успешное – для «Баядерки», которая ставится именно по его либретто до сих пор во многих театрах мира. В 1913–1918 гг. Худков издал свою четырехтомную «Историю танцев». В четвертом томе, где он описывает балет в России, он оценивает танец молодой О.А. Спесивцевой.
2. Волынский Аким Львович (псевд. Хаима Лейбовича Флексера, 1863–1926), литературный критик, искусствовед, теоретик балета. В последний период жизни занимался исключительно балетом, написал «Книгу ликований» о балете и даже основал свою балетную школу. Он рано заметил талант Ольги Спесивцевой, опубликовал несколько статей о ней и оказал на нее большое творческое влияние. Незадолго до революции он стал гражданским мужем молодой Спесивцевой, но прожили они вместе недолго; после революционного переворота в Петрограде Ольга ушла от Волынского к Б.Г. Каплуну (племяннику Моисея Урицкого, председателя ЧК в Петрограде), который занимал важный пост в Петросовете и занимался проектом национализации кладбищ.
3. Мясин Леонид Федорович (1896–1979), русский танцовщик и балетмейстер. Работал у Дягилева, в Русском балете Монте-Карло и в кинотеатре «Рокси» в Нью-Йорке, США; автор более 70 балетов.
4. Об этом и других скандалах с дирижером Эмилио Дезире Ингельбрехтом см. гл. 24 в кн.: Чернышова-Мельник, Н.Д. *Дягилев: опередивший время*. М.: Молодая гвардия, 2011. Член труппы, давший ошибочные указания о темпе, был Л.Ф. Мясин. О том же писал С. Лифарь в кн. *Les Trois Grâces*.
5. «Жар-птица» (фр. *L'Oiseau de feu*) – одноактный балет в 2-х картинах Игоря Стравинского в хореографии Михаила Фокина. Создан в 1910 г. по заказу Дягилева; возобн. в 1926-м. «Свадьба Авроры» (фр. *Le Mariage d'Aurore*) – одноактный балет, созданный в 1922 г. на основе отрывка из 3-го акта балета П.И. Чайковского «Спящая красавица».

6. «Стальной скок» (фр. *Le Pas d'Acier*) – одноактный балет в двух картинах. Композитор С.С. Прокофьев, либретто Прокофьева и Г.Б. Якулова; балетмейстер Л.Ф. Мясин, исполнители – Мясин, Л.П. Чернышева, А.Д. Данилова, С.Лифарь, Л. Вуйциковский.
7. Анри Коре (Core, 1901–1989), французский композитор, ученик и последователь Эрика Сати. Оркестровать музыку к балету «Кошка» ему помог В. Риеги. Нина Тихонова пишет о Коре как об одном из крупнейших деятелей французской музыки и культуры («Девушка в синем». С. 255).
8. Борис Кохно (1904–1990), балетный критик, автор либретто балета «Кошка» (*La Chatte*), под псевдонимом Собака, на основе басни Эзопа «Венера и кошка». В 1922–1929 гг. – секретарь и близкий друг С.П. Дягилева. В 1932–1936 гг. – один из руководителей Русского балета Монте-Карло. Согласно Нине Тихоновой, Спесивцеву в это время навещали Кохно и Лифарь («Девушка в синем». С. 107). Лифарь в его книге *Les Trois Grâces* оспаривает некоторые детали этого происшествия.
9. Анна Павлова умерла в Гааге в ночь с 22-го на 23 января 1931 года; согласно мнению экспертов, от острого заражения крови, занесенного недостаточно продезинфицированной дренажной трубкой, через которую доктор Залевский откачивал жидкость из плевры и легких Павловой. По поводу пенициллина нужно сказать, что этот препарат был открыт в 1928-м, но для лечения заражения крови до 1942-го не применялся.
10. Виктор Эмильевич Дандре (1870–1944), барон, потомок старинного русско-французского рода, горный инженер по профессии. В России был коллежским советником, чиновником Сената, в эмиграции – импресарио Анны Павловой. Красавец и умница, Виктор Дандре знал иностранные языки и прекрасно разбирался в моде и в балете. Дандре был страстным игроком.
11. Александр Левитов (1891–1957), импресарио Анны Павловой, вместе с Виктором Дандре – организатор балетной группы Дандре-Левитов, с которой О.А. Спесивцева гастролировала в Австралии в 1934–1935 годах.
12. Павел Николаевич Петров (1881/1882 – 1973), артист балета, балетмейстер, педагог. После окончания Петербургского театрального училища в 1900 г. – солист и балетмейстер Воронежского оперного театра (1920–1921), где осуществил постановки танцев в оперных спектаклях. Танцевал и ставил спектакли и номера в Марининском театре до 1924 года, в Михайловском театре и Петроградском театре миниатюр. С 1925 года жил за границей.
13. Софья Васильевна Федорова (артистический псевдоним Федорова, 1879–1963), артистка балета Императорского Большого театра в 1899–1922 гг., впоследствии балетмейстер. Ее стихией были пантомима и характерные танцы. В 1909–1913 гг. Федорова принимала участие в «Русских сезонах Дягилева» в Париже. Поставила там несколько балетов в хореографии М.М. Фокина. В 1922 г. навсегда оставила Россию. В 1925–1926 гг. работала в труппе Анны Павловой. В 1928 г. С.П. Дягилев снова пригласил ее танцевать в его в труппе. С.В. Федорова была старшей сестрой жены Александра Фокина, брата М.М. Фокина, и таким образом приходилась свояченицей великому балетмейстеру.
14. Вера Немчинова (1899–1984), русская танцовщица и педагог. Окончила частную балетную школу Л.Р. Нелидовой в Москве. С 1915 г. жила за границей. В 1916–1926 гг. выступала в труппе Русского балета С. П. Дягилева. Неоднократно организовывала собственные балетные труппы в компании с А.Долиным, с Н.М. Зверевым. Танцевала в труппах Русского балета Монте-Карло и Русского балета В. де Базиля. С 1947 г. преподавала в Нью-Йорке.

15. Наташа Бошкович (1901–1973), артистка балета, хореограф, балетмейстер, педагог Национального театра Белграда. Прима-балерина с 1926/27 г. Начала учебу в Петрограде в 1915 г. в Школе русского балета А.Л. Волынского в классе Агриппины Вагановой. В 1921 г. в Белграде занималась в школе К.Л. Исаченко, а с 1 октября 1922 г. училась у Е.Д. Поляковой, показав замечательные успехи. В 1925–1930 гг. совершенствовалась под руководством многих русских балерин, прежде всего О.И. Преображенской в Париже. После турне с труппой Дандре-Левитова вернулась в Белград. С 1937 г. начала преподавать в Музыкальной академии. В Белградском балете оставалась до 15 ноября 1943 г., уйдя по болезни. Потом работала хореографом. В 1950 г. уехала в США, была педагогом в различных частных школах Северной Америки и Канады, работала балетмейстером. Умерла в Нью-Йорке.

16. Эльвира Роне (1902–1990), артистка балета, хореограф, балетмейстер, педагог. В 1934–1935 гг. выступала в составе труппы Дандре-Левитова. Одно время в 30-х годах танцевала в «Польском балете», в Париже, в театре «Этуаль». Автор книги об О.И. Преображенской (1978) и статей о балете. Преподавала в Риге. В Риге во время немецкой оккупации укрывала евреев, среди которых был отец скрипача Гидона Кремера.

17. Здесь автор не совсем точен. Во-первых, турне было не только по Австралии, а также по многим странам Азии и Океании, а во-вторых, в Австралию отправилась не вся труппа Дандре-Левитова, а только 36 артистов из 48. Анатолий Обухов с Верой Немчиновой и десятью другими артистами и с С.В. Фёдоровой в качестве балетмейстера отправились в Кейптаун и затем в Египет.

18. Вильзак (Вильтзак), Анатолий Иосифович (1896–1998), артист балета, педагог. В 1921 г. покинул Россию. Работал в «Русском балете Дягилева» с (1921–1925), в труппе И.Л. Рубинштейн (1928–1929), «Русском балете Монте-Карло» (1930–1932), Американском балете (1936–1937). С 1940 г. вместе с женой Л. Ф. Шоллар вел педагогическую деятельность в Нью-Йорке. Умер в Сан-Франциско, Калифорния.

19. По воспоминаниям Анны Норткот (Northcote, Северской), которая участвовала и в этих репетициях, и в самом турне, репетиции проходили в Париже в июне и первой половине июля 1934 г. в присутствии М.М. Фокина и С.В. Федоровой.

20. Согласно документам, относящимся к этому турне (М. Поттер), Спесивцева была должна выехать не позднее 20 июля 1934 г., чтобы быть в Батавии (Джакарта) не позднее 15 августа. Ее контракт вступал в силу 15 августа и был рассчитан на 20 недель, до 2 января 1935 года. Контракт предусматривал ее выступления на Яве и в Австралии. По болезни Спесивцева не смогла выполнить контракт полностью. Ее последнее выступление прошло в Сиднее 28 ноября 1934 года. Она вернулась в Европу на британском судне «Орама», отплывшем из Сиднея 22 декабря. Месячный заработок Спесивцевой по контракту был 15000 франков, дни болезни и неявки не оплачивались.

21. Имеется в виду американский бизнесмен Леонард Браун, с которым Спесивцева познакомилась в Англии и с которым она жила вплоть до его смерти в Америке.

*Перевод с французского – Виталий Шейнин
Публикация, примечания – Виталий Шейнин*

Павел Глушаков, Мария Мишуровская

Булгаковская статья Ефима Эткинда

Ефим Григорьевич Эткинд (1918–1999) – известный филолог, автор многочисленных исследований по русской и романо-германской литературе, а также по проблемам перевода. В 1974 году его, признанного авторитета в своей области, профессора с европейским именем, изгнали из СССР, лишив всех научных степеней и ученых званий. Это был еще один пример неприятия честной и свободной позиции ученого и гражданина, который вступался за диссидентов, дружил с А. Солженицыным, открыто выступал в поддержку И.Бродского. В эмиграции Е. Эткинд много работал, жил во Франции, преподавал в университетах всего мира. Известны его «Записки незаговорщика» (1977), «Материя стиха» (1978) и многие другие книги, написанные уже в Западной Европе.

В архиве Ефима Григорьевича Эткинда отложилась машинопись статьи «Новый чорт Булгакова», опубликованной по-немецки в мюнхенском журнале «Akzente»¹. Статья, явившаяся откликом на публикацию романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», была написана в 1967 году: таким образом, перед нами один из первых синхронных отзывов об этом произведении².

Эссе Е. Эткинда дает краткое обозрение творчества М. Булгакова – писателя, всё еще малоизвестного для европейского читателя. Несколько упрощая и схематизируя жизненный и творческий путь автора «Мастера и Маргариты», автор статьи «Новый чорт Булгакова» (в немецкой версии названной «Рукописи не горят») всё же сообщает некоторые важные сведения о «возвращенном» прозаике и драматурге. При этом перед Эткиндом стоит сложная задача объяснить причину подобной четвертьвековой «задержки» с публикацией не только романа «Мастер и Маргарита»³, но и основного корпуса произведений Булгакова⁴.

Советский литературовед (до эмиграции Эткинда остается еще семь лет) выстраивает довольно любопытную и не лишённую остроумия концепцию: на Булгакова-сатирика, согласно точке зрения Эткинда, «обиделись» высмеиваемые им бюрократы (так сказать, начальники «среднего звена»), тогда как «высший правитель» (Сталин) многократно был на мхатовских «Днях Турбиных» и любил это булгаковское произведение.

Иными словами, ответ Булгакова на сакраментальный вопрос «С

кем вы, 'мастера культуры'?)» был, по мнению Эткинда, «не всегда ясен». И только в последнее время, *наконец*, проснулся.

В такой «сочувствующей» к господствовавшей идеологии⁵ концепции не было бы ничего особенно оригинального и интересного, если бы в своем эссе Эткинд настойчиво не использовал мотив «вечного зла», а это значит, что даже сейчас (в ситуации, казалось бы, благоприятной для наследия писателя) всё не окончательно и полностью не определено. Подчеркнув (и вполне искренне, как представляется) «позитивные» изменения, произошедшие в советском обществе, Эткинд всё же ограничивает эстетический и этический потенциал булгаковского творчества. Для литературоведа Булгаков – сатирик, автор «пьес, новелл, сатир». Архаизованное наименование литературного жанра упомянуто тут Эткиндром неслучайно: он как бы намекает на *вечное* для русской культуры противостояние «художник и власть», «разумное и бессмысленное», «просвещенное и варварское», восходящее к сатирам Кантемира и Сумарокова (этим, возможно, определено «старое» по орфографии написание слова «чорт»⁶). Время *полного* Булгакова еще не настало, так что упоминание о больших «резервах» советской литературы выглядит несколько двусмысленно. В этих «резервуарах» были погребены многие произведения, а их авторы не дожили до счастливой минуты опубликования своих творений.

По словам Ефима Эткинда, Михаил Булгаков «внезапно стал знаменитым прозаиком», и эта внезапность требовала своего осмысления. И один из первых, пусть небольших и скромных, шагов в этом направлении сделал автор эссе «Новый чорт Булгакова». В том числе и благодаря этому тексту о Булгакове узнала западногерманская (и шире – немецкоязычная) интеллектуальная публика. В большом «пространстве культуры» это был как бы оммаж самому булгаковскому роману, в первой же главе которого появился, как известно, тот самый «чорт»: «Пройдя мимо скамьи, на которой помещались редактор и поэт, иностранец покосился на них, остановился и вдруг уселся на соседней скамейке, в двух шагах от приятелей. “Немец”, – подумал Берлиоз»⁷.

Текст статьи Е.Г. Эткинда печатается (с любезного разрешения супруги ученого Elke Liebs-Etkind) по оригиналу (машинопись), хранящемуся в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки (СПб)⁸. Благодарим А.П. Дмитриева за помощь в подготовке публикации.

1. Manuskriptebrennennicht. *Akzente*. 1968, № 4. S. 320–324. Е.Г. Эткинд выступал в 1967 году на телевидении с рассказом о творчестве Булгакова (конспект этого выступления есть в фонде ученого в РНБ). Творчеству писателя Эткинд посвятит еще одну статью, опубликованную уже в эмиграции: Эткинд, Е.Г. «Сумеречный мир доктора Бомгарда: [‘Записки юного врача’

М. Булгакова]». *Время и мы*. 1984, № 81. С. 120-131. Также, с изм.: Эткинд, Е.Г. «Об эфемерном и вечном в поэтике Булгакова ('Записки юного врача')». *Atti del convegno «Michail Bulgakov» (Gargnano del Garda, 17-22 settembre 1984)*. A cura di Bazzarelli E. e Kresalkovà J. Milano, Istituto di Lingue e Letterature dell'Europa Orientale – Università degli Studi di Milano, 1985. P. 151-164.

2. Первыми откликами можно считать статьи: Скобелев, В. «В пятом измерении». *Подъем*. 1967, № 6; Михайлов, О. «Проза Булгакова». *Сибирские огни*. 1967, № 9; Берзер, А. «Возвращение Мастера». *Новый мир*. 1967, № 9. В 1967 году о романе писали эмигрантские критики: Я.Н. Горбов («Возрождение». № 190), В.Н. Ильин («Вестник РСХД», № 86), О.Н. Можайская («Русская мысль», № 2662), Ю.К. Терапиано («Русская мысль», № 2561), а также Завалишин, Вяч. [Рец. на кн.: Булгаков, М. *Мастер и Маргарита*. Париж, 1967], НЖ, 1968, № 90. С. 296-299; Ржевский, Л. «Пилатов грех: О тайнописи в романе М. Булгакова 'Мастер и Маргарита'. Посмертный спор». НЖ. 1968, № 90. С. 60-80.

3. Годом позже ведущий критик «Нового мира» давал такую версию «возвращения» романа Булгакова: «Теперь, глядя из шестидесятых годов, мы лучше, чем когда-либо, сознаем, что коммунизм не только не гнушается моралью, но она есть необходимое условие его конечной победы, поскольку речь идет о победе новых начал в сознании каждого из людей, составляющих наше общество. Общественная нравственность неотделима от личной. Ведь и сама социальная справедливость в конечном счете не что иное, как переведенное в масштаб всего общества чувство личной справедливости, морального идеала. Вот почему написанная в тридцатые годы книга Булгакова оказалась удивительно ко двору в литературе шестидесятых годов, когда обычному для наших писателей вниманию к социальным проблемам стал сопутствовать особенно острый интерес к вопросу морального выбора, личной нравственности» (Лакшин, В.Я. «Роман М. Булгакова 'Мастер и Маргарита'». *Новый мир*. 1968, № 6. С. 310).

4. См. наиболее радикальную точку зрения на эту проблему: «Неизвестно даже, стоит ли сожалеть, что с выходом роман задержался. Ясно, во-первых, что он мог и подождать, пропустив вперед тех, кто торопился; во-вторых, на расстоянии, может быть, лучше видно, о чем он написан» (Палиевский, П.В. «Последняя книга М. Булгакова». В: Палиевский, П.В. *Литература и теория*. М.: Сов. Россия, 1979. С. 263; первая публ. статьи: «Наш современник». 1969. № 3. С. 116-119).

5. Благодаря такого рода «реверансам», по-видимому, была санкционирована публикация советского ученого в иностранной печати.

6. В заглавии и в самом тексте эссе Эткинда Воланд называется исключительно «чортом». Автор эссе не видит в этом персонаже нечто монументальное и величественное – что в дальнейшем позволит критикам и литературоведам даже как-то почтительно именовать Воланда «сатаной», «повелителем зла» и т.д.

7. Булгаков, М. «Мастер и Маргарита». *Москва*. 1966, № 11. С. 9-10.

8. ОР РНБ. Ф. 1317. Оп. 1. № 212. Л. 1-5.

Е.Г. Эткинд

Новый чорт Булгакова

Недавно, в конце 1966 г., в древнем литовском городе Каунасе умер старый художник Жмуйджинавичус¹, который оставил в высшей степени примечательную коллекцию. Сегодня дом его осматривают туристы: из застекленных витрин на посетителя таращат глаза бесчисленные деревянные и каменные, черные, белые и коричневые, ухмыляющиеся и скалящие зубы, веселые и наводящие ужас черти. «Музей чертей» – так называется теперь дом старого художника. Большею частью это образы народной фантазии – в фигурах с рогами, бычьим хвостом и длинными когтями литовские крестьяне в течение многих веков воплощали злое и страшное, жуткое и роковое. Вот стоит маленький чертик, который откровенно смеется над нами, – он знает, что ждет нас впереди и глумится над нашими напрасными стараниями. Рядом еще один – он тащит двух несчастных грешников в преисподнюю. Третий показывает нам узкий острый язык. Четвертый сидит на крутом утесе и размышляет, упершись в колени заросшим подбородком. Это скорее Мефистофель, философ зла, некогда сказавший доктору Фаусту: «Ты похож не на меня, а на духа, которого постигаешь». Он – непостижимое, в нем воплотилось всё, чего не может понять мысль.

Скольких дьяволов знает мировая поэзия! То это Мефистофель, имя которого означает «Ненавидящий свет» и который готов открыть человеку все тайны природы в обмен на его бессмертную душу; то – лукавый Асмодей, который у Лесажа беспощадно высмеивает общественный порядок и все его проявления; то – одинокий и угрюмый титан, Демон Лермонтова и Врубеля, восставший против бога и всего божественного и всё же павший жертвой любви к смертной женщине; то – черт Достоевского, жестокий и всеотрицающий спутник Ивана Карамазова.

И вот появился еще один бес, зовут его Воланд. Он обладает свойством всевозможнейших чертей. Он дух-подстрекатель, который подбивает людей на неожиданные и роковые решения, он и новый Асмодей, вскрывающий социальные непорядки, он и философ зла, рассматривающий зло как тень добра: ведь без теней мир был бы нереальным миром призраков, в котором предметы и тела лишены измерений. Он озлобленный мститель – ему так хотелось бы всё справедливое и прекрасное обречь каре и даже уничтожить. Но он и вечный народный шут, который забавляется за счет простодушных смертных. Наконец надо сказать и еще одно о нем – он современный

бес, он принадлежит нашему веку. Воланд и его подручные – черный кот, Азazelло и Коровьев – делают свое дело в мире радио, телеграфа, газет, водопровода, общественных учреждений нового типа. Им приходится иметь дело не с доктором Фаустом, а с критиком Берлиозом и со множеством мелких служащих, которые совершенно уверены в том, что они всё понимают, что для них нет и не может быть ничего загадочного и уж конечно ничего непознаваемого.

Мир, однако, вовсе не так прост, как это кажется, – говорит Михаил Булгаков. Есть еще многое, что на основе повседневного опыта не так уж легко объяснить. Человек уничтожает свою рукопись. Нельзя ли ее еще спасти? Черт Воланд изрекает нечто совершенно загадочное и даже мистическое: «Рукописи не горят». И в самом деле – книга Мастера тут как тут, она продолжает жить. Разве черт не прав? Может быть, рукописи и вправду не горят? Сколько раз мы имели случай убедиться в ошибочности нашей мнимой логики! Костюм, внутри которого нет человека, костюм читает бумаги и накладывает на них резолюции... Фантастично? Да, но в некотором смысле реальнее, чем поверхностная правда повседневности. Гоголь более ста лет назад создал рассказ «Нос», в котором эта часть лица дослужилась до высокого чина и ей, этой части, оказывали те же почести, что и целому человеку, тайному советнику или генералу. Выходит, достаточно быть носом – мозг и сердце вообще ни к чему. Униформа и портфель с успехом заменяют сердце и душу.

Скоросшиватели бегают бойко,
У них человеческие черты.
С недоумением смотришь ты
И сам себе говоришь: – Постой-ка!
Что это – явь или страшный сон?
Или музей восковых персон?
.....

А вот привиденье – ни кожи, ни рожи,
На чем только держится пояс брюк?
Лицо его серое с гвоздиком схожее,
На котором повешен черный сюртук.²

Таким Эрх Вайнерт видел парламент в 1927 г. Если вокруг бегают скоросшиватели с человеческими чертами, если черные сюртуки висят на гвоздиках серых лиц, почему же пустой костюм не может налагать резолюции?

Писателю, создавшему нового Мефистофеля, Михаилу Булгакову, выпала на долю короткая жизнь: он умер перед началом войны, в 1940 г. в возрасте 48 лет. Подобно Чехову, он был врачом, и после окончания Киевского университета полтора года³ занимался медицинской практикой. Первый его рассказ был напечатан в газете⁴,

и с тех пор он до последнего дня бесперерывно писал прозу и пьесы. Литературное наследие Булгакова включает несколько романов, много пьес, новелл, сатир. Многие из этих произведений были еще в свое время известны и даже знамениты – так, например, драма «Дни Турбиных» (1926), в которой описывалось крушение Белой армии, или, точнее, всей «белой идеи». Эта пьеса много лет подряд исполнялась в Московском Художественном Театре, и Сталин, которому она нравилась, согласно официальным данным⁵, смотрел ее пятнадцать раз. С другими драмами и комедиями дело обстояло хуже: в 30-е годы они не отвечали вкусу некоторых официальных лиц. Они были слишком сатиричны и остры – те бюрократы, против которых они были направлены, смертельно обиделись и стали считать Булгакова своим личным врагом. Булгаков нападал на бюрократию и мещанство; чиновники и мещане защищались хитроумным способом: они отождествили себя с государством, с правительством и партией и заявили, что Булгаков направляет свои отравленные стрелы против социализма. Таким образом остались неопубликованными и непоставленными на сцене лучшие сатирические произведения Булгакова: «Театральный роман» (1936–1937), «Багровый остров»⁶ (1927–1928) и многое другое. Его большой роман «Белая гвардия», принадлежащий к лучшим произведениям советской литературы, был опубликован в 20-е годы в журнале⁷, но не полностью, и лишь спустя сорок лет, в 1966-м, появился на свет в сборнике булгаковской прозы⁸. Сегодня советская критика единодушна в высокой оценке этого реалистического произведения; Булгакову удалось так сплавить частную жизнь своих героев с ходом истории, что оба процесса становятся неразделимыми. Он создал роман, в котором юмор и трагедия, реальность и фантазия создают единое целое и в своем взаимодействии неопровержимо доказывают обреченность белой идеологии. Какими бы благородными, добрыми, смелыми, честными, справедливыми ни были люди, представляющие эту идеологию, дело, которое они представляют и защищают, обречено на гибель, и они неизбежно становятся одновременно и трагическими и комическими персонажами исторической трагедии. Критики тех лет не могли этого понять: как же отрицательные персонажи могут быть положительными? Здесь что-то не так, решили критики и сочли за лучшее подвергнуть отрицанию самого автора.

«Мастер и Маргарита» – произведение, над которым автор работал многие годы: с 1928 по 1940 – в сущности, это дело всей жизни Булгакова. Книга долго ждала опубликования: лишь через 26 лет после смерти Булгакова она увидела свет в журнале «Москва» и привлекла всеобщее внимание. Почему она не могла появиться до сих пор? Потому что мысль автора не всегда до конца ясна. Потому что реальность и фантазия вступают в небывалые соотношения. Но особенно потому, что в свое время она не была опубликована, а в последующие десятилетия исчезла и уже не казалась актуальной. Как бы

то ни было, сегодня она лежит перед читателем, и теперь уже нельзя представить историю советской литературы без «Мастера и Маргариты».

Роман Булгакова развивается во многих плоскостях, которые на первый взгляд кажутся лишь внешне связанными друг с другом. Это история Понтия Пилата, казни Иешуа Га-Ноцри и предательства, которое совершил по отношению к нему Иуда. Это вторая история – история поэта Ивана Бездомного, который в качестве душевнобольного попал в больницу, а в конце стал профессором философии⁹. Это третья история Мастера, его романа об Иешуа, история любви Мастера и Маргариты. Есть еще и другие, но перечисленные, по-видимому, главные. Как они связаны друг с другом? Речь идет о роли поэта в окружающем его мире. В одном случае история комическая – Иван Бездомный, в другом трагическая – Мастер, в третьем – символическая: Га-Ноцри в сущности не поэт, а тот, кто хотел сказать людям правду об их жизни. Он погиб из-за Иуды и Пилата, которые, однако же, не могли действовать иначе, чем требовала от них их общественная функция, и Мастера тоже губят люди, которые его не понимают, не хотят и не могут понять. Воланд не многое изменяет в закономерности событий, он лишь помогает сделать всё ясным и понятным. Маргарита, которая становится ведьмой, мстит критику, который оклеветал книгу Мастера; но самое важное для развития событий – это положение критика¹⁰ и судьба книги.

Фантастическое у Булгакова ничего не навязывает действительности, оно служит лишь для того, чтобы реальная действительность могла выступить более отчетливо. Вот почему можно назвать такую фантастику реалистической и сказать, что роман Булгакова принадлежит к произведениям реализма¹¹. Он кишит чертями, ведьмами, чудесами, волшебными котами и всё же в нем правдиво отражается реальная жизнь 30-х годов. Разумеется, это только часть действительности, но эта часть изображена таким образом, что произвол и фантазмагория не заменяют и не искажают законов общественной жизни¹².

Михаил Булгаков внезапно стал знаменитым прозаиком. К сожалению, это произошло лишь через 26 лет после его смерти, но второе рождение блестящего сатирика и эпика свидетельствует о больших резервах русской советской литературы, а также об изменениях в понимании искусства и реализма, которые за последнее время произошли в советском обществе.

«Рукописи не горят» – новый булгаковский черт был прав.

1967

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Антанас Жмуйдзинявичус (1876–1966) – литовский художник. В его дом-музее в Каунасе хранится коллекция масок и малой пластики, изображающей чертей.

2. Орывок из стихотворения немецкого поэта Э. Вайнерта (1890–1953) «Парламент» (1927) в переводе Е. Эткинда. См.: Вайнерт, Э. *Избранное*. М.: Прогресс, 1965. С. 55-56.
3. Булгаков, получив 15 мая 1915 года удостоверение об обучении на пятом курсе медицинского факультета Киевского университета, работает врачом в госпиталях Красного Креста. Затем, окончив университет, он продолжит работу по профессии вплоть до 15 февраля 1920 года.
4. Первый текст Булгакова, напечатанный в газете и известный исследователям его биографии – статья «Грядущие перспективы», опубликованная в 1919 году в газете «Грозный». Первая публикация его малой прозы состоялась в 1920-м – в «Кавказской газете» вышел фельетон «В кафэ».
5. Такие «официальные сведения» неизвестны. Ср. с мнением Владимира Лакшина, утверждавшего, что Сталин приезжал «на этот спектакль не менее 15 раз (цифра, зафиксированная в театральных протоколах, но не исчерпывающая – ведь иногда он приезжал в середине или к концу спектакля, и это могло быть не отмечено)» (Лакшин, В.Я. *Открытая дверь: Воспоминания и портреты*. М: Моск. рабочий, 1989. С. 429).
6. Пьеса была поставлена в Камерном театре режиссером А.Я. Таировым (премьера 11 декабря 1928; спектакль снят со сцены в июне 1929-го).
7. Публикация первых тринадцати глав была осуществлена в журнале «Россия» (1924, № 4; 1925, №5). Однако отдельные фрагменты из романа печатались в 1922–1924 годах.
8. См.: Булгаков, М.А. *Белая гвардия*. Роман. В: Булгаков, М. *Избранная проза*. М.: Художественная литература, 1966.
9. В эпилоге романа этот персонаж становится сотрудником института истории и философии, «красным профессором».
10. Так в тексте.
11. Эти настоячивые «заклинания» верности реализму были данью официальной идеологии. Ср. с настойчивым «привязыванием» Булгакова к реализму во вступительной заметке К. Симонова: «В щедром булгаковском таланте на протяжении, пожалуй, всей литературной деятельности писателя как бы соседствовали, оспаривая друг у друга пальму первенства, целых три разных таланта – талант сатирика, талант фантаста и талант реалиста, склонного к строгому и точному психологическому анализу. <...> В романе есть страницы, представляющие собой вершину булгаковской сатиры, и вершину булгаковской фантастики, и вершину булгаковской строгой реалистической прозы» (Симонов, К. [Предисловие к роману «Мастер и Маргарита»]. *Москва*. 1966, № 11. С. 6).
12. Рассуждения Эткинда о том, что «произвол и фантазмагория» не замечают и не искажают законов общественной жизни, отчасти и парадоксальным образом (невольно) пересекаются с размышлениями о булгаковском романе философа-эмигранта В.Н. Ильина, отметившего, что скучная и серая советская действительность – это ад гораздо более адский, «чем Сатана с его элементами» (Ильин, В.Н. «Ведьмы и коты в сапогах и без сапогов». *Возрождение*. 1968, № 193 (январь). С. 77).

Публикация, комментарий – Павел Глушаков, Мария Мишуrowsкая

Марина Адамович

К юбилею Леонида Ржевского (1905–1986)

У известного американского художника, академика искусств Сергея Голлербаха (1923–2021) есть небольшая книжка эссе «Размышления недоовоотившегося человека». Прожив долгую и нелегкую жизнь, пройдя путь талантливого подростка из семьи «бывших» в стране победившего сталинизма, через немецкие и дипийские лагеря, до американского академика, Сергей Львович сетовал, что, сложись его судьба иначе – в какой-нибудь иной стране в иные времена, – он сумел бы воплотиться таковым, каковым чувствовал и осознавал себя сам. Но судьба играла с ним по своим правилам, и выбор был отягчен предложенными ею обстоятельствами.

Тому же поколению второй, послевоенной, волны русской эмиграции, к дипийцам, принадлежал и известный писатель Русского Зарубежья Леонид Ржевский. И хотя Леонид Денисович был почти на двадцать лет старше своего друга-художника, ему была хорошо знакома эта игра с судьбой – лишь в еще более жестких правилах. Он родился в 1905 году (энциклопедии иногда помечают 1903-й – это возможно, такое «омоложение» в контексте жизни Ржевского было бы объяснимо, ибо по дипийским квотам на эмиграцию в Северную Америку предпочтение отдавалось молодым и сильным и два года играли роль для получения визы...). Принадлежал он к аристократическому роду Суражевских (якобы состоящих в родстве с Людовиком XVI, но точно – в родстве с писательницей Нелидовой, приятельницей Тургенева, внучатым племянником которой Леонид Денисович был). Несмотря на «понижение в правах» его семьи при советской власти, Леонид все-таки окончил Московский государственный педагогический институт и преподавал русский язык и литературу в Туле, Орехово-Зуево, Ленинграде. С началом войны он был призван в Красную армию, попал в окружение – как сотни тысяч других – и раненным был взят в плен. Военнопленный Суражевский не имел ни одного шанса остаться в живых: не подписавший международной конвенции о защите прав военнопленных, Советский Союз обрек их на мучительную голодную смерть; открытая форма туберкулеза обоих легких, горловая чашотка и язва желудка должны были завершить свое дело. Невероятно – но он выжил, тому помогла Агния Шишкова, верная спутница до самой смерти, чудом нашедшая его, умирающего... – ну, и провидение помогло.

Как писала о нем поэтесса второй волны эмиграции Валентина Синкевич, он «жил в четырех... взаимоисключающих друг друга мирах: старая Россия, в которой прошло его детство, Советский Союз... военное время (для него это фронт, лагерь и больница) и, наконец, современный Запад... где впервые появилось в печати имя Л. Ржевского». О таких судьбах поэт Николай Моршен, тоже дипиец, друг Ржевского, сказал: «Он прожил мало: только сорок лет. / В таких словах ни слова правды нет. / Он прожил две войны. Переворот, / Три голода, четыре смены власти, / Шесть государств, две настоящих страсти. / Считать на годы – будет лет пятьсот».

После войны Суражевский отказался вернуться в Советский Союз, с 1953 года жил и работал в Швеции (преподавал в Лундском университете лекции по литературе и истории русского языка), в шестидесятых годах оказался в США. Как большинство эмигрантов второй волны, опасаясь насильственной депортации в СССР (согласно единодушному решению стран антигитлеровской коалиции на Ялтинской конференции 1944 года), Суражевский взял псевдоним и навсегда стал Ржевским. В 1952-55 гг. он был редактором журнала «Грани». Затем преподавал историю русской литературы в Оклахомском университете в США, а с 1964 года – на кафедре славянских литератур в Университете Нью-Йорка (NYU). Преподавал и в известной Русской летней школе Норвича (Вермонт), созданной русскими эмигрантами и славящейся, в том числе, своими научными конференциями по литературе. В 1975-76 гг. Ржевский входил в редакционный совет «Нового Журнала».

В свое время профессор Ржевский был известен среди американских и европейских славистов – сегодня, увы, его имя забыто даже специалистами, в редчайших случаях достаивающих его сноски петитом... Тогда как его исследования по русской литературе и по теории литературы, его статьи о романах Булгакова, Пастернака, Солженицына, о современной русской литературе, о творчестве Пушкина, о поэтах и прозаиках русской эмиграции, некогда изучавшиеся американскими студентами, могли бы и в наши дни обогатить эти девственные души и легкие умы.

На его первую повесть «Девушка из бункера» («Грани», № 8, 1950; № 9, 1950; № 11, 1951) отозвался Иван Бунин, приветствуя появление нового талантливого писателя. Тем не менее надо признать, что о новом имени в русской литературе на его родине не узнали до 1990-х годов прошлого века – а в веке нынешнем уже благополучно забыли, закрыв на замок вторую эмиграцию в старом каземате для «предателей родины» и энергично лишая ее ранее выданных индульгенций – хрущевской реабилитации 1950-х (хотя – *а судьи кто?* кто нынче отпускает грехи на «одной шестой суши»?..). Такова литературная судьба большинства писателей второй волны – звездный млечный путь Николая Моршена, Ольги Анстей, Валентины Синкевич, Бориса Филиппова, Олега Ильинского, Ивана Елагина,

Сергея Максимова, Николая Ульянова и многих-многих иных. Литература второй волны оформлялась в тяжелейших условиях сознательного замалчивания со стороны Советского Союза и равнодушия – как к любой этнической литературе – со стороны своих европейских и американских коллег. При жизни на прозу Ржевского появилась лишь одна рецензия американского исследователя Joachim Baer «Some Observation on the Prose of Leonid Rzevsky» (1984), в которой автор сразу сравнил русского писателя с Иваном Буниным. И когда сегодня мы говорим о том, что эта волна русской эмиграции не дала столь же ярких имен, как литературная эмиграция первой волны, мы должны понимать, что, возможно, мы просто не знаем о них ничего. Сегодня мы не можем оценить, что в действительности было дано литераторам-диппийцам и сколько среди них было недовольных толстых, Достоевских и Бунинных. Однако в истории не бывает сослагательного наклонения, с этим приходится считаться. Поэтому сегодня мы в праве говорить лишь о том, что в этой литературе ясно прослеживаются основные черты классической русской литературы в ее эстетических поисках и высотах, в ее свободном полете; ее философичность и гуманизм.

Одно наверняка: мы выделяем как типичную черту литературы второй волны ее автобиографичность. Эта связь художественного текста с биографией писателя и его поколения лежит на поверхности. Этим определяется, кстати, и предельная исповедальность этой прозы; говоря современным языком, можно было бы сказать, что они работали в жанре автофикшн, однако я бы предпочла отнести эту прозу к *эго-роману* – дабы отместить все аналогии с модными нынче низкопробными «исповедями» в современной русской литературе.

Собственно, им и не дали высказаться вне художественного текста. А ведь общая трагедия Ди-Пи в реальности составлена из множества частных: это были и трагедии угнанных в Германию подростков и женщин, трагедии военнопленных, трагедии диссидентов 1920-30-х гг., не принявших советский режим, – в конце концов, продолжение трагедии Гражданской войны, ведь многие участники Белого движения и так называемые бывшие, вроде Леонида Суражевского, Даниила Андреева или Анны Ахматовой, остались в Советской России, уйдя во внутреннюю оппозицию. Вот эти частные трагедии и попытались передать выжившие литераторы второй волны – передать чисто художественными средствами.

В этом исповедальном мемуарном ряду стоят и романы Ржевского, что отмечали все его немногочисленные, но именитые исследователи: Валентина Синкевич, Joachim Baer, Георгий Адамович, Роман Гуль, Федор Степун, российский исследователь Владимир Агеносов. Валентина Синкевич писала: то были «беседы с совестью». И если мы вдумаемся в это определение, то вспомним, что в русской традиции понятия совести и – исповеди – были сопряжены с религиозным мироощущением. Дело даже не в том, что сам Суражевский

был верующим человеком, хотя он был им. Дело в том, что творчество писателя Ржевского стоит в ряду классической русской литературы, с ее особым отношением к человеку, к его метафизической природе, как и с отношением к слову как особому слову-откровению, слову, наделенному имманентной свободой; с признанием нравственного очищающего значения художественного текста, с установкой на катарсис. В этом ряду мы должны говорить не о реализме прозы Ржевского, а о «высшем реализме» в духе прозы Достоевского. Не случайно практически все крупные произведения Ржевского не просто описывают трагедию Ди-Пи, а в разной степени затрагивают вполне религиозные понятия *жертвы* и *греха*. Собственно говоря, это и есть основные темы прозы Леонида Ржевского.

Тема Пилатова греха исследована Ржевским-литературоведом в его статье под тем же названием, посвященной творчеству Михаила Булгакова. Сама по себе – это блестящая литературоведческая работа, полная тонких наблюдений. Однако в контексте нашей сегодняшней темы мы говорим лишь об одном ее аспекте: о грехе Пилата. «Грех Пилата – структурный фокус авторской тайнописной темы. Тяжкий грех предательства, попустительства Злу из трусости, в страхе за личное благополучие. Две тысячи лет тому назад в древнем Ершалаиме был совершен этот грех, вдохновленный царем тьмы, в вечной и неисповедимой борьбе тьмы со светом. Две тысячи лет спустя грех этот повторился воплощением в другом, уже современном, огромном городе. И привел с собою страшное хозяйничание зла среди людей: истребление совести, насилие, кровь и ложь. Спасение – в раскаянии, в преодолении страха произнести преступлению ‘нет!’, в обращении к Небу, в защите каждым всех и всеми – каждого...» Ржевский ставит многоточие. К его монологу легко подключить слова многих очевидцев советских – да и постсоветских – лет. Размышления о Пилатовом грехе находим мы и в рассказе «Горячее дыхание», одном из наиболее «бунинских» у Ржевского, лиризм прозы которого отмечали все исследователи (в частности, Г. Адамович). Штрихом обозначена в тексте Финская война – «нескладная, масштаба комнатной кражи со взломом»; включает сюжет и неизменного персонажа тех лет – работника НКВД, который мягко и недвусмысленно направляет всё развитие истории в необходимое ему русло. И естественно, логично, совсем не по-бунински (или – по Бунину, в «Окаянных днях»), рассказчик восклицает: «...будь проклято время, сделавшее ложь правом, а людей – вольными либо невольными участниками этой лжи, отступниками от человеческой совести и пособниками нечеловеческих преступлений. Будь проклят и тот, кто захотел бы дать этому времени отпущение грехов!.. Раскаяние, отпущение грехов нужны только отдельному человеку. И прощение ошибок... Да, человеку необходимо отпущение ошибок!»

Об отпущении ошибок, прощении Пилатова греха страха, толкающего на сделку с совестью, просит и герой «Сентиментальной

повести» Ржевского – молчанием предавший учителя и не прощенный любимой женщиной. Писатель художественно переосмысливает это вполне реальное молчание русского двадцатого века. Он вводит в свой словарь особое определение: «маленький язык». «Маленький язык» – это язык полуправды, намек, умолчания: и не ложь, кажется, но и не опасная правда... «Маленьким языком» выражается позиция самоустранения, это язык Пилата.

Ржевский настаивает на *тайнописи* художественного произведения: «Тайнописна апология человеческой души и права ее на обращенность к Небу и творческое самовыражение».

Так что же такое язык, слово персонажа в «тайнописи» собственного художественного текста Ржевского? Язык для Ржевского – это озвученная совесть. «Чтобы загнать в щель миллионы, нужно повыветрить, а то и вовсе отменить совесть», – замечает литератор Батулин, один из героев повести «За околицей». Человек большого таланта, он не сумел состояться, ибо предпочел «маленький язык» Божьему дару, которым был наделен. За эту – метафизическую, религиозную – измену, а не за измену советскому строю в военное время, он и наказан: личность его разрушается, и он гибнет, ничтожный, без любви, без языка. Этому герою Ржевский отказывает и в любви: человек, знакомый с грехом Пилата, не может бродить по бунинским аллеям любви: «Отдушины... – наш рок: все нормальные народы и поколения дышат свободной грудью, а наш дых – только в отдушину». Это уже – подпольный человек Достоевского. И Ржевский продолжает: «Ведь если добровольно-принудительно отказался от одной ценности, самой, может, значительной, к чему цепляться за другие?.. 'Все равно' выходит вроде как бы и логичнее».

Замечу, по Ржевскому, человек – глубоко этичен, эта этичность закреплена в нем верой и проверена историей. Иначе бы он не понимал, что есть грех. Безнравственна социальная система социализма, советское общество в целом, которое и ломает личность. Его герой – жертва, агнец безвинный перед закланием. «Человеческая смерть? Разве вас там *просто* лишат жизни? Там истерзают ваше тело, измозжат волю, наплюют в душу, заставят оболгать себя, предать и продать друзей, родных, самых близких, кровных своих... Превратят тебя в слякоть кровоточащую, слезоточивую, дрожащую, безвольную... и *тогда* пожертвуют тебе в затылок пулю и ночью закопают в какой-нибудь подлой яме, как закапывают падаль...» – и как выбор: «маленький язык» и жизнь. Агнец – герой не греческой трагедии, а ветхозаветной; спасения для него нет, нет и величия. Кстати, не случайно именно мотиву жалости у Достоевского посвящена еще одна работа Ржевского. Мотив жалости он выделяет как один из самых близких Достоевскому мотивов и как один из самых функциональных в его поэтике. Не «жестокый талант», а «христианский талант», возражает Ржевский Михайловскому. Жалость как активный компонент в поэтике Достоевского (князь Мышкин: и в облике, и в психо-

логии его, жалость – основная характеристика) увлекает Ржевского. И он использует этот элемент поэтики Достоевского в своей собственной – создавая образ лагерного священника, который жертвует собой во спасение пленных солдат. Перед смертью священник передает герою Евангелие, заложенное на странице с цитатой: «Больше сия любви никто не имат, аще кто душу свою положит за други своя» (Гл. 15 от Иоанна, стих 13). «Жалость как, может быть, единственный закон бытия для всего человечества», – повторяет Ржевский слова своего предшественника.

С этим выводом герой Ржевского и вступает в третий период своей художественной биографии – войны и плена. Как человек, сам переживший трагедию плена, унижения, оставленности, реальность смерти, Ржевский-писатель милосерден и мудр. Его герой – всё та же жертва, агнец, независимо от того, кем он был до плена, – идеалистом или подлецом: «Надо самому пережить всё на собственной шкуре, чтобы иметь потом право в кого-нибудь из несчастных людей бросать камень», – замечает один из персонажей романа «Между двух звезд». В этом романе, составленном из самостоятельных, отдельных повестей, связанных лишь общими героями, Ржевский не столько автобиографичен, сколько *эпичен*; в его руках оказывается материал, пригодный для новой «Войны и мира» середины XX века: война и общество, оторванное от мирной жизни и брошенное в мясорубку военного Молоха. Однако Ржевский не пытается идти по следу Толстого. Он, скорее, продолжатель традиции Достоевского и стоит в ряду с Шаламовым (но – раньше того. Литература эмиграции подняла тему ГУЛАГА на полвека раньше, чем советская бесцензурная литература. Пока в Советском Союзе еще «сидели», эмиграция уже взывала к миру о помощи репрессированным). Общество, описываемое Ржевским, вышло из трагедии советского плена-диктатуры и пленавойны, оно уже испытало на себе всю проблематику экзистенциализма, да и война для героев Ржевского – не напряжение боя, а всё та же шаламовская экзистенциальная трагедия лагеря (такова реальная история реальных прототипов Ржевского). Словом, из лагеря в лагерь. Поэтому, кстати, и вопрос о мужестве и чести ставится Ржевским совершенно отлично от постановки, принятой в советской литературе: «Я в Белой армии трусом не был... – говорит его герой. – Мысль умереть за Сталина, за сохранение проклятого режима убивала всякий намек на отвагу, всякое желание подвига». Честь, свобода и совесть – как основные составляющие личности – остались для Суражевского-Ржевского там, на поле брани Гражданской. Вся остальная жизнь в СССР была погружена в Пилатов грех. Эта мысль, кстати, параллельно Ржевскому, прозвучит у философа, писателя Даниила Андреева, когда в начале Отечественной войны он воскликнет: родина отмыкается руками врага! В этом и состояла реальная трагедия поколения Андреева (г.р. 1906) и Суражевского (г.р. 1905).

Тем не менее романы Ржевского существуют не в эпической тра-

диции, а в традиции экзистенциальной прозы. Вообще, развитие традиции подсознательного в прозе Русского Зарубежья – тема особая, она неизбежно относит исследователя к словам Георгия Адамовича о том, что толстовский императив оказался не по плечу реальному человеку XX века и что любить человека следует таким, каков он есть. Эта мысль оказывается близка и Ржевскому. Он использует бунинский фрейдизм – и порождает тот необыкновенный лиризм, который потрясал его современников. Однако в романной форме цель Ржевского – определить философско-религиозную составляющую трагического XX века. «Между двух звезд» (New York, 1953) – один из его основных романов. Именно здесь проявляется вся сложность «тайнописи» художественного слова Ржевского.

Одна звезда – красная, советская, она несет духовную смерть героям Ржевского в мирной жизни, физическую смерть – в военный и послевоенный период. Вторая звезда – белая, звезда Запада. Первоначально она видится как звезда спасения и надежды. Но судьба агнца быть закланным. Белая звезда тоже смертоносна: напомню еще раз, по договору ялтинской конференции советские граждане, оказавшиеся в союзнических зонах, должны были быть переданы в руки советских властей: «Людей, виновных только в том, что они не пожелали защищать самый кровавый в истории режим и пошли против него, за свой народ, за свою родину... сдавшихся на милость свободолюбивейшей нации мира – американцам, выдают на расправу палачам, лютым врагам христианской цивилизации! И это – человечность?» Позже белая звезда станет для Ржевского символом еще и духовной смерти его героя-эмигранта: «Проблема Востока и Запада – это проблема души. Восток, сохранив основы гармонического духа, должен одухотворить Запад, который их утратил», «мир придет к страшному кризису, к столкновению двух систем: коммунизма и демократии... Мы, как ничейные по своей беспризорности, окажемся между двух звезд... Между пятиконечной *белой* и пятиконечной же *красной*...» Это прозвучит в поздних рассказах Ржевского. Образ – типичен для литературы второй эмиграции. Достаточно вспомнить сборник «Тяжелые звезды» Ивана Елагина; для этого поэта образ звезды-судьбы был особенно характерен. Вот и герою Ржевского некуда вырваться, нет спасения на земле. Так возникает звездное небо над головой – то самое кантовское небо как апология человеческой души и ее готовности к Откровению.

Образ неба – как чистоты, истины, спасения – постоянно возникает в прозе Ржевского. Это один из основных элементов его «тайнописи». То серенькое ситцевое московское небо – как отдушина, то холодное небо над лагерем, то синее, фисташковое, до горизонта, небо любви и свободы... И на небе – яркие звезды. Судьба не позволяет героям Ржевского жить и выжить в своем времени, кантовское «звездное небо над головой» оставляет им единственную надежду. Характерно, что одна из повестей Ржевского называется: «...показав-

шему нам свет» (Frankfurt/M., 1961). Ф. Степун писал о ней: «Казалось бы, стилистика Ржевского, явно чуждая эпическому началу, не могла бы осилить того жуткого содержания, которым исполнена его повесть. Но... она это содержание осилила и с таким совершенством, что как-то не представляешь себе другой формы».

Ржевский дает нам особый тип экзистенциальной прозы, в которой биографическое начало носит служебный характер, оно становится дорогой героев по кругам ада. В этом страшном путешествии писатель открывает перед нами метафизические глубины человеческого духа. В очерке «Про самого себя» Ржевский признавался: «Я вдруг ощутил эту великолепную, ни с чем не сравнимую *свободу* поступать по собственному хотению, думать, беседовать с совестью...» Как тут не вспомнить другого крупного представителя русской эмиграции Романа Гуля, с его гимном человеческой свободе в мемуарной трилогии «Апология эмиграции»: «...родина без свободы уже не родина, а свобода без родины, хоть и очень тяжела, м.б. даже страшна, но все-таки – *моя свобода*». Имманентная свобода, считает Ржевский, есть необходимое условие для создания подлинного художественного языка, для тайнописи текста, для беседы с совестью.

Публикуемая сегодня статья Л.Д. Ржевского имеет принципиальное значение в его творчестве. Здесь литературовед соединяется с писателем и коротко дает основные, опорные для Ржевского понятия, определяет, что есть «Русский текст», из которого вырастает русская литература. Статья написана в 1968 году, сразу же после выхода в свет романа Булгакова в Париже. Ржевский одним из первых в диаспоре и среди славистов откликнулся на книгу, четко и точно определив основные особенности творческой манеры Булгакова. В своем тексте литературовед отталкивается – во всех смыслах этого слова – от журнальной публикации романа (ж. «Москва», № 11, 1966; № 1, 1967), открывая перед читателем «кухню» советской издательской цензуры. Ржевский исследует оба текста – книжный и журнальный – и в мельчайших подробностях описывает «мастерство профессиональной цензуры». Парадоксально, но спустя 60 лет после той журнальной публикации наблюдения Ржевского вновь актуальны – стоит их поместить в июльский контекст 2025 года с печально известной статьей М. Швыдкова, бывшего министра РФ по культуре (2000–2004), спецпредставителя нынешнего президента РФ по международному культурному сотрудничеству. Вспоминая советские времена, г-н Швыдкой пишет: «Было бы честнее вернуться к цензуре, которой бы занимались профессионалы», «возрождение института цензуры – недешевое удовольствие, требующее не сотен, но тысяч просвещенных слуг государства, но, пожалуй, только оно может сохранить здоровую обстановку в творческой среде» («Российская газета», 1 июля, 2025). *Чудны дела Твои, Господи...* «Маленький язык» этой маленькой статьи в поддержку введения института цензуры в современной РФ поразительно подтверждает наблюдения Ржевского, знакомого с «государевыми

слугами» и «пилатовщиной» не понаслышке – и шестьдесят лет назад он уже ответил на вопрос, что есть профессиональная цензура, «маленький язык», «пилатов грех» – и творческая свобода, в которой только и создается подлинная культура.

В этом году мы могли бы отметить 120-летие Леонида Денисовича Ржевского (как и другую, печальную, дату – сорокалетие со дня смерти). Но такая уж у писателя судьба, что вспоминаем мы его в связи с иным именем и иными событиями – почти 60 лет тому назад в годы оттепели в советском журнале «Москва» был опубликован роман Михаила Булгакова, судьбу которого мог бы повторить и Леонид Суражевский, если бы не череда трагических обстоятельств, парадоксально подаривших ему свободу жить и писать.

ИЗБРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Л.Д. Ржевский:

«Девушка из бункера». *Грани*, № 8, 1950; № 9, 1950; № 11, 1951.

Между двух звезд. НЙ: Изд-во им. Чехова. 1954. Переиздание: Москва: Терра-Спорт, 2000.

Сентиментальная повесть. «Грани», № 21, 1954.

...показавшему нам свет. Изд-во «Посев», 1960.

Через пролив. Повести и рассказы. Мюнхен: «Товарищество зарубежных писателей», 1966. См.: Горячее дыхание.

Язык и тоталитаризм. Изд-во Института по изучению СССР. Мюнхен. 1960.

«Спутница. Записки художника». *Мосты*, № 13-14, 1968, № 15, 1970.

Прочтение творческого слова. Литературоведческие проблемы и анализы. NY University Press, 1970. См.: «Пилатов грех (о тайнописи в романе М.Булгакова «Мастер и Маргарита»)».

Три темы по Достоевскому. Нью-Йорк, 1972.

Творец и подвиг. Очерки о творчестве Александра Солженицына. Frankfurt/M., 1975.

Две строчки времени. Frankfurt/M., 1976.

Бунт подсолнечника. Ann Arbor, 1981.

Звездопад. Московские повести. Ann Arbor, 1984.

За околицей. NY: Tenafly, 1987.

К вершинам творческого слова. Norwich University Press. 1990.

О нем:

Роман Гуль. [Рецензия на *Между двух звезд*]. *Новый Журнал*, 1953, № 4.

Георгий Адамович. «Повести Л. Ржевского». *Новое русское слово*. 1961, 4 апр.

Федор Степун. [Рецензия на «...показавшему нам свет»]. *Мосты*, 1961, № 7.

Роман Гуль. «О прозе Л. Ржевского». В: *Одвуконь*. НЙ, 1973.

В. Агеносов. «Леонид Ржевский: две строчки времени». В: *Литература русского зарубежья*. М.: Терра-Спорт, 1998.

Валентина Синкевич. «...с благодарностью: были». М., 2002.

Joachim Baer. «Some Observation on the Prose of Leonid D. Rzevskij». In: *Russian Language Journal*, 1984, #XXXVIII.

Леонид Ржевский

Пилатов грех

О тайнописи в романе М.Булгакова «Мастер и Маргарита». Посмертный спор

В году 1930-ом Михаил Булгаков заявлял в письме к советскому правительству: «Борьба с цензурой <...> – мой писательский долг, так же, как и призывы к свободе печати». Воистину творческая душа большого писателя смерти не знает: четверть века спустя после своей кончины Булгаков продолжает бороться против заглушения творческого слова. Роман «Мастер и Маргарита», напечатанный в журнале «Москва» в конце 1966 и начале 1967 года, несет на себе жестокие следы этой борьбы, посмертного спора. Из 450 страниц авторского манускрипта советский цензор вырезал 60.¹ Это была очень тонкая и целеустремленная работа цензурного компрачикоса – облик романа утратил первоначальную композиционную гармонию, стало не всегда отчетливым соотношение его структурно-тематических пластов: тема бесовской бригады Воланда, например, с трудом поддавалась толкованию читателя. Между тем, эта тема – одна из главных в творческом замысле автора.

В том же письме к правительству Булгаков писал: «И лично я, своими руками, бросил в печку черновик романа о дьяволе». Не бросил, оказывается, или вытащил недогоревшим: потому что еще целых 10 лет над этим романом трудился. И, как можно судить по полному тексту романа, тема эта стала второй – после Достоевского – творческой темой о социально-бытовом воплощении сатанинства.

Полностью раскрывается эта тема, однако, Булгаковым в форме иносказания, тайнописи, почти притчи. Знакомство с цензурными вырезками и их «тенденцией» – непременное условие прочтения этой тайнописи: проясняются расставленные автором акценты, выступает *первозначность* для него внутреннего, философского плана романа – темы высшего борения Света и Тьмы. Смута, устроенная на Москве чудящими Воланда, перестает казаться лишь фантастическим компонентом сюжета; смута не оканчивается с отлетом их в их сатанинское «восвояси» – полушутя-полусерьезно читатель может предположить, что кто-нибудь из воландовой свиты мог и задержаться в Москве... Для работы, например, по цензурной части в редакции какого-нибудь

1. По общему подсчету выброшенных строк, считая по 30 строк на странице. (Л.Р.)

из московских журналов. Но перейдем к прочтению тайнописного в романе.

МОСКВА – БЫТ – БЕСОВСКАЯ БРИГАДА

В структуре романа «Мастер и Маргарита» два основных сюжетно-композиционных пласта, различимых по времени и месту действия: Москва конца двадцатых и середины тридцатых годов и древний город Ершалаим начала нашей эры.

Москва. Город, где и откуда осуществлялась диктатура – контроль над творчеством, полицейский сыск, террор; город трудного быта: многосемейные квартиры, нужда, нехватка во всем.

Сюжетное вторжение в этот быт бесов Воланда – прием, прежде всего, освещения безотрадной действительности, и недаром цензоры ножницы поработали здесь усердней всего.

В главе, например, где изображается сеанс черной магии, устроенный в театре «Варьете», авторский акцент – не на фантастическом, происходящем на сцене, а на поведении зрителей: в реплике, которую выпустил цензор, Воланд интересуется: «Изменились ли эти граждане внутренне?» И вот из-под купола театра «начали падать в зал белые бумажки» – червонцы! На сцене открылся дамский магазин, в котором бесплатно обменивались старые дамские платья и обувь на новые, парижских моделей. Следует разговор, вырезанный цензором, вероятно, из-за слишком живой экспрессии:

«В бельэтаже послышался голос:

– Ты чего хватаешь? Это моя, ко мне летела!

И другой голос:

– Да ты не толкайся, я тебя сам так толкану!

И вдруг послышалась плюха. Тотчас в бельэтаже появился шлем милиционера, из бельэтажа кого-то повели...» (стр. 82)²

И еще один абзац, тоже выброшенный:

«Неимоверная суета поднялась на сцене. Женщины наскоро, без всякой примерки хватали туфли. Одна, как буря, ворвалась за занавеску, сбросила там свой костюм и овладела первым, что подвернулось, – шелковым, в громадных букетах халатом и, кроме того, успела подцепить два футляра духов». (стр. 84)

Яркое освещение быта дано в главе «Сон Никанора Ивановича».

2. Страницы указаны здесь и дальше по изданию: Михаил Булгаков. *Мастер и Маргарита*. YMCA-PRESS, Париж, 1967. (Л.Р.) Далее история переизданий такова: в 1969 году издательство «Посев» (Франкфурт-на-Майне) выпустило книгу, соединив публикацию в журнале «Москва» и текст «Купюр из романа 'Мастер и Маргарита' (1929–1940)», подготовленных вдовой писателя, Е.С. Булгаковой, выделив при этом цензурные изыятия курсивом. В СССР книжный вариант без купюр (ред. А. Саакянц) вышел в 1973-м, а в 2014 году был опубликован полный текст романа в составе текстологической монографии (собрание черновиков), основанной на архивных материалах. (Ред.)

Никанора Ивановича Босого, председателя жилтоварищества в доме, который становится позже пристанищем бесов, арестовывают: один из бесов подsunул ему взятку – пачку американских долларов. Советским гражданам запрещалось иметь валюту, и, как знают специалисты по экономике СССР, в двадцатых годах советское правительство, которое нуждалось в средствах для восстановления промышленности и содержания зарубежных своих эмиссаров, практиковало персональное изъятие ценностей у граждан полицейским путем. И вот Никанор Иванович, полуобезумевший от допросов, попадает в психиатрическую клинику. Там он засыпает. Следует сон его – одиннадцать вырезанных цензором страниц – искусно замаскированное изображение «добычи» ценностей у арестованных. Происходит массовый допрос. Никанору Ивановичу видится как бы театр, но люди сидят на полу. Вот небольшой отрывок:

«Лампы погасли, некоторое время была тьма и издали в ней слышался нервный тенор, который пел:

‘Там груды золота лежат
И мне они принадлежат’...

– Ну чего ты, например, засел здесь, отец? – обратился непосредственно к Никанору Ивановичу толстый с малиновой шейей повар, протягивая ему миску, в которой в жидкости одиноко плавал капустный лист.

– Нету! Нету! Нету у меня! – страшным голосом прокричал Никанор Иванович, – понимаешь, нету!

– Нету? – грозным басом взревел повар, – нету? – женским голосом спросил он, – нету, нету, – успокоительно забормотал он, превращаясь в фельдшерницу Прасковью Федоровну».

Оставшийся обрезок главы в полторы страницы цензор озаглавил «Никанор Иванович».³

И третий крупный бытовой эпизод – изображение торгсина. Булгаков сближает здесь два различные по времени способа государственного вымогательства у населения ценностей – торгсин был способом более поздним и либеральным: люди, которых прежде арестовывали и ссылали за владение валютой, драгоценными камнями либо золотыми монетами, теперь могли свободно сдавать их государству в обмен на дефицитные товары и съестные продукты. Нужда оказалась сильнее полицейской угрозы – обыватели валом несли в торгсин золотые запонки и серебряные ложки. Мастер сатирического парадокса, Булгаков заставляет одного из воландовых бесов возмутиться цинизмом этого рода в экономической политике:

«– Граждане! – вибрирующим тонким голосом прокричал он (Коровьев. –

3. Расправа со «сном» потребовала выпуска еще 29 строк на странице 216, где об этом сне упоминалось. (Л.Р.)

Л. Р.), – что же это делается? Ась? Позвольте вас об этом спросить! ... бедный человек целый день починает примуса. Он проголодался... а откуда же ему взять валюту? ... – Откуда? – задаю я всем вопрос! Он истомлен голодом и жаждой, ему жарко! Ну, взял на пробу горемыка мандарин. И вся-то цена этому мандарину три копейки. И вот они уже свистят, как соловьи весной в лесу, тревожат милицию... А ему можно, а? – и тут Коровьев указал на сиреневого толстяка. (иностранца. – *Л. Р.*)

– Кто он такой? А? Откуда приехал? Зачем? Скучали мы, что ли, без него? ... он, видите ли, в парадном сиреновом костюме, от лососины весь распух, он весь набит валютой, а нашему-то, нашему-то?!... Горько мне! Горько, горько, – завыл Коровьев, как шафер на старинной свадьбе.

Вся эта глупейшая, бестактная и, вероятно, политически вредная речь (добавляет Булгаков. – *Л. Р.*) заставила гневно содрогнуться Павла Иосифовича (директора Торгсина. – *Л. Р.*), но, как ни странно, по глазам столпившейся публики видно было, что в очень многих людях она вызывала сочувствие».

Эпизод с торгсином содержит 6 страниц и выкинут цензором от слова до слова (упоминание о нем выброшено и дальше, со страницы 202).

«ПЕРЕЛЫГИНО»

В главе 5-ой – описание литературного объединения МАССОЛИТ, размещенного в писательском «Доме Грибоедова». Надписи на дверях: «Однодневные творческие путевки. Обращаться к М.В. Подложной». Другая надпись: «Перелыгино» с аллегорической нагрузкой на значение корня «лыг» – лгать. Перелыгино – Переделкино, писательский поселок под Москвой.

Тема несвободы творческого слова, фарисейства и лжи – проходит через весь роман. Двое из воландовых бесов, стоя у решетки писательского дома, рассуждают о «бездне талантов», которые вызревают под его кровлей, «как ананасы в оранжереях»: «Ты представляешь себе (спрашивает Коровьев. – *Л. Р.*), какой поднимется шум, когда кто-нибудь из них для начала преподнесет читающей публике ‘Ревизора’ или, на самый худой конец, ‘Евгения Онегина’!»

Последующие строки цензор выбрасывает. Там стоит: «– Да, – продолжал Коровьев и озабоченно поднял палец, – но! Но, говорю я и повторяю это ‘но’! Если на эти нежные растения не нападет какой-нибудь микроорганизм, не подточит их в корне, если они не загниют! А это бывает с ананасами! Ой-ой-ой, как бывает!» (стр. 198)

Очутившийся в психиатрической клинике поэт Иван Бездомный говорит про другого, «благополучного», поэта Рюхина (курсивом даются вычеркнутые цензором слова):

«– Посмотрите на его постную физиономию и сличите с теми звучными стихами, которые он сочинил *к первому числу*. Хе-хе-хе... ‘Взвейтесь’ да ‘развейтесь!’ А загляните к нему внутрь, что он там думает... вы ахнете!» (стр. 49)

Заглянуть «внутрь» Рюхина цензор, однако, читателю не дает и

через страницу вычеркивает из внутреннего монолога Рюхина заключительную строку: «– не верю я ни во что из того, что пишу!» (стр. 52)

Тема закрепощения творческого слова становится композиционно центральной в истории мастера, заплатившего свободой за свой роман. Интересна выброшенная цензором характеристика критики, которая отравляла мастеру жизнь: «Что-то на редкость фальшивое и неуверенное (говорит мастер. – *Л. Р.*) чувствовалось буквально в каждой строчке этих статей, несмотря на их грозный и уверенный тон. Мне всё казалось, – я не мог от этого отделаться, – что авторы этих статей говорят не то, что они хотят сказать, и что их ярость вызывается именно этим» (стр. 94).

Критика этого рода, фальшь и доносительство разоблачаются в двух эпизодах «мести» Маргариты, привлечших особое внимание цензора. Став ведьмой, Маргарита подлетает к дому, над дверьми которого написано «Драмлит». Что такое «Драмлит», она не знает, но вот видит на стене громадную черную доску с перечнем жильцов дома. Тогда – следует выкинутая цензором фраза – «Венчающая список надпись ‘Дом драматурга и литератора’ заставила Маргариту испустить хищный задушенный вопль». Она находит квартиру критика Латунского, погубившего мастера, и устраивает в этой квартире разгром. Вот строки из описания этого разгрома, которые цензор выпустил, чтобы, вероятно, уменьшить выразительность картины, – «Нагая и невидимая летунья» расправляется с роялем Латунского:

«Со звуком револьверного выстрела лопнула под ударом молотка верхняя полированная дека. Тяжело дыша, Маргарита рвала и мяла молотком струны. <...> Она била вазоны с фикусами в той комнате, где был рояль. Не dokonчив этого, возвращалась в спальню и кухонным ножом резала простыни, била застекленные фотографии. Усталости она не чувствовала, и только пот тек по ней ручьями». (стр. 143)

Цензор старался смягчить места, выдающие целеустремленность этого разгрома – ненависть Маргариты к лживому перу критика. Поэтому, например, после слов: «Маргарита ведрами носила из кухни воду в кабинет критика» – цензор ставит точку, отрезая окончание: «и выливала ее в ящики письменного стола». Чуть ниже выкинуто также: «Полную чернильницу, захваченную в кабинете, она вылила в пышно взбитую двухспальную кровать». (стр. 143)

Вторую расправу Маргариты, мстящей за мастера, цензор выкинул целиком. В главе 24-ой («Извлечение мастера») по мановению Воланда обрушивается в комнату некий гражданин Алоизий Магарыч.

«– Это вы, прочитав статью Латунского о романе этого человека, написали на него жалобу? – спросил Азазелло.» Также и здесь цензор отрезает конец вопроса, превращающий осторожное «жалобу» в «донос»; в подлиннике было: «жалобу, с сообщением о том, что он хра-

нит у себя нелегальную литературу» (стр. 167). Далее выброшен весь эпизод мести:

«Шипенье разъяренной кошки послышалось в комнате, и Маргарита, завывая: ‘Знай ведьму, знай!’ – вцепилась в лицо Алоизия Могарыча ногтями.

– Что ты делаешь? – страдальчески закричал мастер. – Марго, не позорь себя.

– Протестую! Это не позор! – орал кот.

Маргариту оттащил Коровьев.» (стр. 167)

«КЛИНИКА» – «ПОДВАЛ» – «БАЛ У САТАНЫ»

Обильные цензурные вырезки в главе «Извлечение мастера» стремятся притушить аллегорию: психиатрическая клиника Стравинского – лагерь принудительных работ, откуда собственно извлечение и происходит. Еще в самом начале второй части романа, когда Маргарита мысленно разговаривает с исчезнувшим возлюбленным: «*Если ты сослан*, то почему не даешь знать о себе?» (стр. 134), слова «Если ты сослан» цензор вычеркивает. Купюр такого рода в этой главе множество: «Не слушайте его, мессир, – говорит Маргарита Воланду о мастере. – *Он слишком замучен*» (стр. 169); последние три слова цензор тоже выбрасывает, как и примечательную реплику Воланда, разглядывающего мастера: «*...его хорошо отделали*» (стр. 165). Выброшены наиболее многозначительные фрагменты из разных диалогов. Мастера с Коровьевым, например:

«...Нет документа, нет и человека, – удовлетворенно говорил Коровьев.

– Вы правильно сказали, – говорил мастер, – ...что раз нет документа, нету и человека. Вот именно меня-то и нет». (к стр. 167)

Мастера с Воландом:

«– А кто же будет писать! А мечтания, вдохновение?

– У меня нет больше никаких мечтаний и вдохновения тоже нет, – ответил мастер, – ничего меня вокруг не интересует, кроме нее... меня сломали...» (стр. 169)

Мастера с Маргаритой (30-ая глава):

«– Я ничего не боюсь, Марго. – Не боюсь, потому что я уже всё испытал. Меня слишком пугали и ничем больше испугать не могут.

– ...Они опустошили тебе душу!» (стр. 204)

Ножницы цензора выхватывают из текста всё, воспроизводящее атмосферу полицейского надзора и сыска, в которой ощущали себя москвичи. Сцена встречи Маргариты с рыжим посланником Воланда Аззелло в Александровском саду у кремлевской стены «отредактирована» следующим образом (курсивом выделены выброшенные слова):

«– ...как вы могли узнать мои мысли? Скажите мне, кто вы такой? *Из какого вы учреждения?* – Вот скука-то – проворчал рыжий и заговорил громко, – простите, ведь я сказал вам, что не из какого я не из учреждения».

И дальше выброшено полностью:

«– ‘Вы меня хотите арестовать? – Ничего подобного! – воскликнул рыжий, – что это такое: раз заговорил, так уж непременно арестовать!’» (стр. 136)

Тревожит цензора и само упоминание о свободе как антитезе поднадзорного существования. «Невидима и свободна! Невидима и свободна!» – восклицает Маргарита, когда Азazelло дарит ей метлу для полета и способность стать невидимкой. Слово *свободна* цензор вычеркивает из журнального варианта. Выпуски заглушевают связь между стремлением к свободе и сотрудничеством с бесами, защищающим от местного произвола. «Душенька, Маргарита Николаевна, ...упросите их..., чтобы меня ведьмой оставили!» – молит домработница Наташа; повторение этой мольбы выброшено цензором со стр. 168. И так многозначительна тоже вычеркнутая реплика мастера Маргарите: «– Когда люди совершенно ограблены, как мы с тобой, они ищут спасения у потусторонней силы». (стр. 204)

* * *

Наряду с «клиникой доктора Стравинского», иносказателен и подвал, в котором жил мастер до своего исчезновения и избавление от которого дарит ему «потусторонняя сила».

«Кони роют землю, содрогается маленький сад. Прощайтесь с подвалом, прощайтесь скорей!» – торопит мастера и Маргариту бес Азazelло. Слова «с подвалом» цензор выбрасывает, как и следующую реплику Азazelло в ответ на догадку мастера «мы мертвы»: «Разве для того, чтобы считать себя живым, нужно непременно сидеть в подвале, имея на себе рубашку и больничные кальсоны?» (стр. 206)

Вычеркивает цензор и возгласы обоих, когда Азazelло поджигает подвал:

«Гори, гори, прежняя жизнь! – Гори, страдание!» (стр. 206)

В предпоследней главе, прощаясь с Воландом, мастер спрашивает: куда идти? и оглядывается на город «с монастырскими пряничными башнями», – «...что делать вам в подвальчике?» – отвечает ему Воланд.

* * *

Аллегорична в этом первом, московском, плане булгаковского романа сама экспозиция «потусторонней силы» – Воланда и его бесов. Гротеск-фантастика причудливо переплетается здесь с диалогами вполне реалистической темы и остроты. Вот, например, Воланд в его мефистофелевом обличье в разговоре с мастером: «Неужели вы

не хотите, подобно Фаусту, сидеть над ретортой в надежде, что вам удастся вылепить нового гомункула?» (стр. 212). Или (курсивом выделено то, что выбросил цензор):

– «Роман о Понтии Пилате, – сказал мастер. – О чем, о чем? О ком? – заговорил Воланд, перестав смеяться. – *Вот теперь?* Это потрясающе! *И вы не могли найти другой темы?*» (стр. 166)

Но тот же Воланд в главе «Великий бал у сатаны» пьет кровь из чаши – черепа председателя правления МАССОЛИТА Берлиоза. Именно в этой главе иносказание, по-видимому, – главное в творческом замысле автора: слишком «довлеет себе» композиционные изображения сатанинского шабаша, слишком ощутимы расставленные там и здесь экспрессивные акценты. Мотив крови, например. Мотив этот проходит через весь роман – цвет крови то и дело вспыхивает на его страницах. Но в главе «Великий бал у сатаны» кровь – зримый фон происходящего. Маргариту вводят в самоцветный бассейн и окатывают кровью – она чувствует «солёный вкус на губах». Когда она утомляется, ее снова влекут под кровавый душ. Ее поят кровью некоего не угодившего бесам и ставшего им почему-то подозрительным барона, зарезанного у нее на глазах. Сцену этого убийства страшно читать – такие реальные вызывает она ассоциации:

«– Да, кстати, барон, – вдруг интимно понизив голос, проговорил Воланд, – разнеслись слухи о чрезвычайной вашей любознательности. Говорят, что она, в соединении с вашей не менее развитой разговорчивостью, стала привлекать общее внимание. И более того, есть предположение, что это приведет вас к печальному концу не далее, чем через месяц. Так вот, чтобы избавить вас от этого томительного ожидания, мы решили придти к вам на помощь, воспользовавшись тем обстоятельством, что вы напросились ко мне в гости именно с целью подсмотреть всё, что можно.

...В тот же момент что-то сверкнуло огнем в руках Азazelло, что-то негромко хлопнуло, как в ладоши, барон стал падать навзничь, алая кровь брызнула у него из груди и залила крахмальную рубашку и жилет. Коровьев подставил чашу под бьющуюся струю и передал переполнившуюся чашу Воланду». (стр. 159-160)

Не менее знаменательно упоминание о меткости бесов в стрельбе по человеческой цели (28 строк об этом выброшено со стр. 162).

Маргарита в качестве королевы бала принимает гостей голой – они прикладываются к ее коленке. Нагота – лейтмотив ее образной характеристики, а среди длинного перечня профессий и положений гостей названы также «тюремщики», «палачи», «доносчики» и «сыщики»... «Все их имена спутались в голове и только одно мучительно сидело в памяти лицо, окаймленное действительно огненной бородой лицо Малюты Скуратова» (стр. 157). В выкинутых цензором строчках Маргарита называет этих гостей «висельниками».

Упоение властью, жестокость, разврат!.. Москвичи старшего

поколения хорошо помнят ходившие по Москве конца 20-х и начала 30-х годов слухи об оргиях типа «афинских ночей», устраиваемых в обстановке величайшей конспирации кое-кем из новых хозяев жизни. Также – и о наказаниях сверху за «бытовое разложение». И вполне реальным комментарием к картине страшного бала звучит вырезанный цензором разговор Маргариты с одним из бесов:

«– Вот что мне непонятно, – говорила Маргарита, и золотые искры от хрустала прыгали у нее в глазах, – неужели снаружи не было слышно музыки и вообще грохота этого бала? – Конечно, не было слышно, королева, – объяснял Коровьев, – это надо делать так, чтобы не было слышно, это поаккуратнее надо делать». (стр. 161)⁴

ПРОТИВ «ТРУСОСТИ»

И второй план романа: древний город Ершалаим. Понтий Пилат! Имя, открывающее уже вторую и заключающее последнюю главу романа, образуя главную его структурную тему, по отношению к которой романическая история о мастере и Маргарите – только внешний повествовательный фон. Эта структурная тема романа – тема пилатова преступления. Раскаяние в совершенном начинает терзать прокуратора уже при самом провозглашении несправедливого приговора, когда он боится встретиться взглядом с осужденным Иешуа. Позже, смятенный и нетерпеливый, с воспаленными глазами, Пилат расспрашивает начальника тайной полиции, как протекала казнь: «– Он сказал, что ... благодарит и не винит за то, что у него отняли жизнь. – Кого? – глухо спросил Пилат».

«Внешность прокуратора, – читаем в главе 26-ой – резко изменилась. Он как будто на глазах постарел, сгорбился и, кроме того, стал тревожен». Дальше, на стр. 178, цензор выбрасывает целый абзац, где описывается душевная смута Пилата. Пилата мучит бессонница. Когда же, наконец, овладевает им сон, ему представляется широкая голубая дорога, ведущая вверх, к луне.

«Он шел в сопровождении Банги, а рядом с ним шел бродячий философ ... Само собой разумеется, (размышляет Пилат. – Л. Р.), что сегодняшняя казнь оказалась чистейшим недоразумением: ведь вот же философ, выдумавший столь невероятно нелепую вещь вроде того, что все люди добрые, – шел рядом, следовательно, он был жив. И, конечно, (это продолжение размышлений Пилата цензор выбрасывает. – Л. Р.) ужасно было даже помыслить о том, что такого человека можно казнить. Казни не было!» (стр. 184)

4. В напечатанном в журнале «Москва» варианте романа многие цензурные вырезки стремятся предупредить возникновение при чтении реальных аналогий. Так, например, в описании следствия по делу Воланда в главе «Конец квартиры № 50» после фразы: «Но в это время, то есть на рассвете субботы, не спал целый этаж в одном из московских учреждений» цензор ставит точку. В оригинале фраза продолжена так: «...и окна в нем, выходящие на залитую асфальтом большую площадь, которую специальные машины, медленно разезжая с гудением, чистили щетками, светились полным светом, прорезавшим свет восходящего солнца» (стр. 189). Площадь с выходящими на нее окнами здания внутренней тюрьмы НКВД (бывшего страхового общества «Россия») – Лубянская площадь. (Л.Р.)

Идя во сне по голубой дороге вместе с Иешуа, Пилат ведет род внутреннего диалога с самим собой, в котором раскрывается главный его стыд, причина душевного смятения и тоски – трусость! –

«трусость, несомненно один из самых страшных пороков. Так говорил Иешуа На-Гоцри. Нет, философ, я тебе возражаю: это самый страшный порок! Вот, например, не трусил же теперешний прокуратор Иудеи, и бывший трибун в Долине Дев, когда яростные германцы чуть не загрызли Крысобоя-Великана. Но, помилуйте меня, философ! Неужели вы, при вашем уме, допускаете мысль, что из-за человека, совершившего преступление против кесаря, погубит свою карьеру прокуратор Иудеи?»

Цензор снова пускает в ход ножницы, выбрасывая ответ:

«Разумеется, погубит. Утром бы еще не погубил, а теперь, ночью, взвесив всё, согласен погубить. Он пойдет на всё, чтобы спасти от казни решительно ни в чем не виноватого безумного мечтателя и врача». (к стр. 184)

Но казнь свершилась.

И трусость становится лейтмотивом пилатова преступления. Трусость помешать несправедливости, бесчеловечности, пролитию крови невинного. И цензор настойчиво вычеркивает упоминание о трусости со страниц романа. Вычеркивает, например, строчки из расспросов Пилата о казни, без которых приведенная выше ссылка на слова Иешуа о трусости повисает в воздухе:

«– Не пытался ли он проповедовать что-либо в присутствии солдат? (спрашивает Пилат гостя, начальника тайной полиции. – *Л. Р.*) – Нет, игемон ... Единственное, что он сказал, это – что в числе человеческих пороков одним из главных он считает трусость. – К чему это было сказано? – услышал гость внезапно треснувший голос. – Этого нельзя было понять...» (стр. 176)

Сокращает соответствующим образом цензор и разговор прокуратора с Левием Матвеем, который снимал тело Иешуа с креста и у которого прокуратор потребовал хартию, где записаны слова осужденного (вычеркнутое напечатано курсивом):

«...Гримасничая от напряжения, Пилат шурился, читал: ‘Мы увидим чистую реку жизни... Человечество будет смотреть на солнце сквозь прозрачный кристал’ ... *Тут Пилат вздрогнул. В последних строчках пергамента он различил слова: ‘...большого порока... трусость...’*» (стр. 188)

Пример этой необыкновенной бдительности в отношении понятия «трусость» можно найти и в бытовом плане романа. Полураздетый и полубезумный поэт Иван Бездомный врывается в ресторан МАССОЛИТА, и заведующий обрушивается на швейцара: зачем пустил? Ответ швейцара у Булгакова читается так: «– Да ведь, Арчибальд Арчибальдович, – трус я – отвечал швейцар, – как же я могу их не допустить, если они члены МАССОЛИТА?»

Цензор делает ничтожное, казалось бы, исправление: соединяет слова «трус» и «я». Фраза принимает такой вид: «Да ведь, Арчибальд Арчибальдович, – труся отвечал швейцар, – как же я могу» и т.д. Трусость «экзистенциальная», типичная для времени, о котором идет речь, превращается таким образом просто в робость перед начальством.

ЛУННАЯ ДОРОГА

Тема преступления Пилата тем не менее сохраняет свою структурную выразительность. Именно она создает ярчайшие страницы романа, образную систему наибольшей пластичности, экспрессии и глубины.

Это прежде всего образ самого Пилата, сложных контуров облик Иешуа Га-Ноцри-Христа, образы начальника тайной полиции Афрания, Иуды из Кириафа и сборщика податей Левия Матвея. Это сжатость и выразительность диалогической речи, внутренние монологи-дискуссии Пилата; это удивительные по строгости и внутреннему движению сцены распятия, погребения и сцена казни Иуды. Это, наконец, пейзаж – как торжественный аккомпанимент и, вместе, символ свершающегося. Два структурных типа пейзажа преобладают в романе: грозовой и лунный.

Теме зла сопутствует грозовая тьма.

Лунный свет – теме Неба. Злодейство покарано рукой породившего его. Луна освещает труп Иуды в Гефсиманском саду: «...левая ступня попала в лунное пятно, так что отчетливо виден каждый ремешок сандалии. Весь Гефсиманский сад в это время гремел соловьиным пением» (стр. 183). Луна сопровождает бессонные терзания Пилата.

«Около двух тысяч лет (говорит Воланд) сидит он на этой площадке и спит, но когда приходит полная луна, ... его терзает бессонница. ... а когда спит, то видит одно и то же: лунную дорогу, и хочет пойти по ней и разговаривать с арестантом Га-Ноцри». (стр. 211)

Луна совершает метаморфозу бесов в их обратном полете-исчезновении: «Тот, кто был котом, потешающим князя тьмы, теперь оказался худеньким юношей, демоном-пажем ... притих и он и летел беззвучно, подставив свое молодое лицо под свет, льющийся от луны» (стр. 210). В видениях профессора Ивана Николаевича, бывшего поэта Ивана Бездомного, совершаются последние знаменательные встречи, собранные в свете весеннего полнолуния, как в фокусе таинственной, едва приоткрывающейся нам сути булгаковского повествования:

«Луна властвует и играет, луна танцует и шалит. Тогда в потоке складывается непомерной красоты женщина и выводит к Ивану пугливо озирающегося, обросшего бородой человека...»

И встреча другая в том же видении:

«От постели к окну протягивается широкая лунная дорога, и на эту дорогу поднимается человек в белом плаще с кровавым подбоем и начинает идти к луне. Рядом с ним идет какой-то молодой человек в разорванном хитоне и с обезображенным лицом.

– Боги, боги! – говорит, обращая надменное лицо к своему спутнику, тот человек в плаще. – Какая пошлая казнь! Но ты мне, пожалуйста, скажи, ... ведь ее не было! Моллю тебя, скажи, не было?»

Есть ли это мольба о прощении? Вероятно. Потому что когда спутник Пилата, улыбаясь глазами, клянется, что казни не было, –

«– Больше мне ничего не нужно! – сорванным голосом вскрикивает человек в плаще и поднимается выше к луне, увлекая своего спутника». (стр. 218-219)

Сюжетно мотив милосердия повторяется дважды. В награду за то, что провела голой бал князя тьмы, Маргарита просит у него прощения Фриде, задушившей платком своего новорожденного ребенка. Она же просит и за Пилата, мучимого вечно бессонницей раскаяния. «Вам не надо просить за него, Маргарита, – отвечает Воланд, – потому что за него уже попросил тот, с кем он так стремится разговаривать».

«Тот» – это Иешуа-Христос.

* * *

Первое упоминание о Христе – уже на второй⁵ странице романа: поэт Бездомный в заказанной ему антирелигиозной поэме очертил Христа «очень черными красками», но редактору хотелось доказать поэту, что Христа просто-напросто не было. Эпизод заканчивается тем, что Воланд, поманив к себе обоих – редактора и поэта, – шепчет им: «– Имейте в виду, что Иисус существовал». – Так начато знаменательнейшее в романе переплетение темы Христа и темы Духа зла. Света и тьмы.

Творческое решение темы Христа (немислимо ведь забывать о подконтрольности творческого процесса) в композиционном отношении очень сложно и очень тонко. Опровержение того, что Иисус – вымысел, сделанное в самом начале романа, повторяется в конце его на одной из страниц подлинного варианта, вырезанной цензором. Повторение как бы замыкает тему в «кольцо» утверждения о реальном существовании Христа. Вот эти строки:

«– Я ничего не боюсь, Марго, – вдруг ответил ей мастер и поднял голову и показался ей таким, каким был, когда сочинил то, чего никогда не видел, но *о чем наверно знал, что оно было...*»

В орбите этого утверждения рассказана история бродячего философа из Галилеи – Иешуа Га-Ноцри. Цензурные вторжения – купюры,

5. По журнальному варианту – 12-ой. (Л.Р.)

часть которых (слова Иешуа на кресте) уже приводились выше, имеют, видимо, целью уменьшить возможность религиозного характера ассоциаций. Так, например, из разговора прокуратора с первосвященником Каифой выброшено такое (выделенное курсивом) продолжение фразы: «Вспомнишь ты тогда спасенного Вар-Раванна и *пожалеешь, что послал на смерть философа с его мирной проповедью*» (стр. 31). Слово «философа» вычеркивает цензор и в некоторых других местах. Во фразе «...сходились две дороги: южная, ведущая в *Вифлеем*, и северо-западная – в Яффу» – вместо «Вифлеем» поставлено «Виффагию», хотя географическое «Яффа» оставлено на месте.

Натурализм манеры, в которой выписан облик Иешуа Га-Ноцри, достигает предела экспрессии в сцене казни, – кто знает! может быть, слегка целеустремленной экспрессии автора, желающего увидеть свое произведение в печати. Здесь перед нами гольбейновская трактовка крестных страданий, как на поразившей когда-то Достоевского картине базельского художника:

«Он впал в забытье, повесив голову в размотавшейся чалме. Мухи и слепни поэтому совершенно облепили его, так что лицо его исчезло под черной шевелящейся массой. В паху, и на животе, и под мышками сидели жирные слепни и сосали желтое обнаженное тело». (стр. 109-110)

И та же образная экспрессия – в картине грозы, выполненной по евангельскому свидетельству («И сделалась тьма по всей земле ... И померкло солнце»). От Луки, 23. 44-45):

«Солнце исчезло, не дойдя до моря, в котором тонуло ежевечерне. Поглотив его, по небу с запада поднималась грозно и неуклонно грозовая туча. Края ее уже вскипали белой пеной, черное дымное брюхо отсвечивало желтым. Туча ворчала, и из нее, время от времени, вываливались огненного цвета нити». (стр. 109)

Но вот в конце романа перед читателем как-то удивительно подготовлено и незаметно возникает другая ипостась казенного – безлика, обозначаемая только «Он», «Тот»; «Он» повторено четырежды в разговоре Левия Матвея с Воландом в главе 29-ой: «– Он прислал меня. – Что же *он* велел передать тебе, раб?» И на странице 212 в обращении Воланда к мастеру: «Тот, кого так жаждет видеть выдуманый вами герой, ... прочел ваш роман»...

В самом имени Иешуа Га-Ноцри – слияние двух, человеческой и божеской, ипостасей образа. «Спаситель из Назарета» значит это имя на древнееврейском языке; древнееврейское ХА (из) передано как ГА. Три заглавных буквы имени – И, Г, Н – могут предположительно прочитываться и так: – «Иисус Господь Наш»...

«ТЪМА»

Два плана булгаковского романа – современный, московский, и

древний ершалаимский – связаны композиционно приемами сцеплений, повторов и параллелей различной степени внятности.

О «сцеплениях»: в конце первой же главы романа («Никогда не разговаривайте с неизвестными») Воланд, представший двум литераторам в облике профессора-иностранца, неожиданно произносит:

«– Всё просто: в белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана...»

И этими же словами – «В белом плаще с кровавым подбоем» и т.д. открывается следующая глава – «Понтий Пилат». Глава 15-ая кончается видением Никанора Ивановича, которому снится, что «солнце уже снижалось над лысой горой (Голгофой. – *Л.Р.*), и была эта гора оцеплена двойным оцеплением». – Тою же фразой начинается и очередная глава. Прием повторен в романе четыре раза.

«Кровавый подбой» в первом из приведенных выше примеров – внутренняя, видимо, параллель к теме крови в главе «Великий бал у сатаны». Вино, которым отравляет Азazelло мастера и Маргариту (глава 30), по его словам, «то же самое вино, которое пил прокуратор Иудеи», и когда он разливает это вино по бокалам, «*всё окрашивается в цвет крови*» (выделенное курсивом выброшено цензором). «Переключка» двух планов осуществляется также в снах. Интересна и скрытая параллель: римский кесарь – московский диктатор, встречающаяся на стр. 175 и уничтоженная цензором. Пилат, поднимая чашу, провозглашает:

«– За нас, за тебя, кесарь, отец римлян, *самый дорогой и лучший из людей!*»

Выделенные курсивом слова цензор вычеркивает.

Но что прежде всего связывает оба плана романа – это образ тьмы. Грозовая тьма – спутник Зла. Символ Зла. Образ тьмы, поглощающей свет, проходит через весь роман ведущим в смысле тайнописной нагрузки повтором. В главе 19-ой Маргарита, держа на коленях испорченную огнем тетрадь с романом мастера, читает:

«... Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли всякие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней, спустилась с неба бездна и залила крылатых богов над ипподромом, Хасмонейский дворец с бойницами, базары, караван-сарай, переулки, пруды... Пропал Ершалаим, великий город, как будто не существовал на свете» (стр. 133).

Цитата повторяется в главе еще раз: поднимаясь, чтобы выйти из Александровского сада, Маргарита слышит за спиной голос Азazelло, произносящего те же строки о тьме. Окончание главы 24-ой включает в себя первую строку из этой же цитаты, снова прочитываемую

Маргаритой; оно таково: «– Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город... *Да, тьма...*»

Начало следующей – 25-ой главы – повторяет, образуя сцепление, эту цитату полностью. Добавлено еще одно предложение: «Всё пожрала тьма, напугавшая всё живое в Ершалаиме и его окрестностях». Настойчивость повтора пугает, видимо, цензора – он вычеркивает из приведенного выше окончания слова «Да, тьма...» Выбрасывает цензор и еще один пассаж о тьме – самый значительный и тайнописный из повторов этого мотива в романе. Это – окончание главы 29-ой – «Судьба мастера и Маргариты определена», – события которой происходят «на каменной террасе одного из самых красивых зданий в Москве». В исправленном цензором варианте оно читается так: «На террасе посвежело. Еще через некоторое время стало темно» (стр. 203).

Выброшенный цензором авторский конец главы повторял – слегка переиначенно – всё тот же, что и в главах 19-ой и 25-ой образ тьмы, перенесенный теперь из плана ершалаимского в план современный:

«Эта тьма, пришедшая с запада, накрыла громадный город. Исчезли мосты, дворцы. Всё пропало, как будто этого никогда не было на свете. Через всё небо пробежала одна огненная нитка. Потом город потряс удар. Воланд перестал быть виден во мгле».

Этот город, который, как когда-то древний Ершалаим, поглощается тьмой, – Москва!

ЧТО ЖЕ И КАК СКАЗАНО?

Со сложностью замысла (повествование-иносказ, повествование-притча) связано стилистическое «не-единство» булгаковского романа. Как это обычно случается в произведениях криптографического ключа⁶, в нем легко различаются стилистические ряды большей и меньшей творческой концентрации. Первые относятся к внутренней и центральной для автора метафизической теме утверждения в мире зла. Вторые – образуют повествовательный фон.

Среди этих вторых ярче всего выступают стили бытовой сатиры.

Интересно, быть может, отметить общность булгаковской стилевой манеры этого типа с манерой других сатириков того времени, относимых обычно к так называемой южной группе, – Ильфа и Петрова прежде всего. Вот, например, редактор Берлиоз и поэт Бездомный, мучимые жаждой, подходят к киоску с напитками:

«– Дайте нарзану, – попросил Берлиоз. – Нарзану нету, – ответила женщина в будочке и почему-то обиделась. – Пиво есть? – сиплым голосом осведомился Бездомный. – Пиво привезут к вечеру, – ответила

6. Например, в пастернаковском «Докторе Живаго», с которым булгаковский роман связывает приглушенная по цензурным соображениям тема Христа. (Л.Р.)

женщина. – А что есть? – спросил Берлиоз. – Абрикосовая, только теплая, – сказала женщина. – Ну, давайте, давайте, давайте!.. Абрикосовая дала обильную желтую пену, и в воздухе запахло парикмахерской. Напившись, литераторы немедленно начали икать...» (стр. 12)

К манере южной группы относятся эпитеты-находки, определяющие *голос* говорящего: «Товарищ Бездомный», – заговорило это лицо *юбилейным* голосом, – успокойтесь!» (стр. 47). Относится и авторская усмешка в таком, например, описании: «На дверях первой же комнаты в этом верхнем этаже виднелась крупная надпись ‘Рыбно-дачная секция’, и тут же был изображен карась, попавшийся на уд» (стр. 41). На стр. 127 Воланд говорит совершенно языком Остапа Бендера. Речь идет о том, что буфетчик, у которого припрятаны золотые монеты, не воспользуется ими, так как вскоре умрет. «Вы когда умрете? – спрашивает его Воланд. – Это никому не известно и никого не касается.» – *«Подумаешь, бином Ньютона! Умрет он через девять месяцев от рака печени»* (стр. 127).

Стили повествовательного «фона» включают и довольно случайное по отношению к стилевой структуре целого введение авторского повествовательного «я» вроде: «автор этих правдивейших строк» (стр. 42), «пишущий эти правдивейшие строки сам лично... слышал...» (стр. 213). В какой-то мере к этим же второстепенного плана стилям можно отнести элементы фантастического гротеска, иногда почти лубочного, выполняющего, вероятно, камуфляжную по отношению к центральной теме функцию.

Таков, например, в главе «Полет» эпизод о том, как летящую на метле Маргариту догоняет Наташа, ее домработница:

«Она, совершенно нагая, с летящими по воздуху растрепанными волосами, летела верхом на толстом борове, зажимавшем в передних копытах портфель, а задними ожесточенно молотящем воздух... Хорошенько всмотревшись, Маргарита узнала в борове Николая Ивановича, и тогда ее хохот загремел над лесом, смешавшись с хохотом Наташи... – Принцесса! – плаксиво проорал боров, галопом неся всадницу». (стр. 145)

Для стилей наибольшей творческой концентрации характерны, как отчасти уже отмечалось, пластичность и экспрессия образного отбора. В том числе и лирическая экспрессия гоголевской эмоциональной окраски и символики. Например:

«Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотами! Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землей, неся на себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший...» (стр. 209)

Гоголевское иной раз звучит и в ритмико-синтаксическом строе повествования (что, впрочем, опять-таки свойственно манере прозаиков южной группы, – Бабеля, например):

«Ночь начала накрывать черным платком леса и луга, ночь зажигала печальные огонечки где-то далеко внизу... Ночь обгоняла кавалькаду, сеялась на нее сверху и выбрасывала то там, то тут в загрустевшее небо белые пятнышки звезд...»⁷

И конечно же, от южных «орнаменталистов» такая, например, гущенность образной экспрессии:

«Пилат задрал голову и уткнул ее прямо в солнце. Под веками у него вспыхнул зеленый огонь, от огня загорелся мозг, и над толпою полетели хриплые арамейские слова». (стр. 32)

Примеры эти не исчерпывают, разумеется, всех «как?», относящихся к мастерству в булгаковском романе; может быть, только намечают пути подробного исследования, которого это мастерство заслуживает. Равным образом и вопрос о «тайнописном» в этом вполне необыкновенном романе требует дополнительной, более тщательной работы над текстом, новых раскрытий и толкований авторского замысла. Но, тем не менее, *что* же в нем сказано в свете сделанных выше первых прочтений?

Вот – если собрать мысли и впечатления в два-три кратких абзаца:

Грех Пилата – структурный фокус авторской тайнописной темы. Тяжкий грех предательства, попустительства Злу и страхе за личное благополучие.⁸

Две тысячи лет тому назад в древнем Ершалаиме был совершен этот грех, вдохновленный царем тьмы, в вечной и неисповедимой борьбе тьмы со светом.

Две тысячи лет спустя грех этот повторился воплощением в другом, уже современном, огромном городе. И привел с собою страшное хозяйничание бесов среди людей: истребление совести, насилие, кровь и ложь.

Спасение – в раскаянии, в преодолении страха произнести преступлению «нет!», в обращении к Небу, в защите каждым всех и всеми – каждого. Прощение и возрождение – у Христа.

Л. Ржевский, НЖ, № 90, 1968

7. Ср. у Бабеля: «Ночь летела ко мне на розовых лошадях» («Иваны»). (Л.Р.)

8. В романе есть термин «пилатчина» в значении религиозной контрабанды в печати. Употреблен этот термин, однако, в таком остранным контексте («проклятое слово!» «неслыханное слово». стр. 94), что кажется «подброшенным» автором для обозначения трусости и предательства, распространенных среди людей в стране полицейского надзора и сыска. (Л.Р.)

ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА. ЛИТЕРАТУРА

Лариса Вульфина

Художник Федор Рожанковский*

ФРАНЦИЯ. 1925–1935

В Париж Рожанковский прибыл в серый дождливый день поздней осени 1925 года. Поезд пришел на Восточный вокзал (Gare de l'Est) ранним утром, когда город только начинал пробуждаться. Выйдя на привокзальную площадь с двумя большими фибровыми чемоданами в руках, в которых были аккуратно сложены краски, кисти и любимые книги, он зашел в первое попавшееся кафе на углу. Там заказал кофе и свежий круассан. Уютно устроившись за крошечным столиком, он с любопытством стал разглядывать прохожих. Подумать только: он в городе, на улицах которого можно встретить Пикассо!

Здесь, в кафе, вдруг вспомнился ему сокурсник по МУЖВЗ – Федя Черноусов. Он уехал до войны учиться в Париж, затем отправился добровольцем на французский фронт и вскоре погиб.

Расплатившись с гарсоном, Рожанковский попросил водителя таксомотора отвезти его на rue de Vaugirard** в отель Molière. В самом сердце Латинского квартала его ждала комната, которую ему помог недорого снять приятель из Познани, переехавший во Францию незадолго до него.

Столица встретила Рожанковского радушно. Карман художника был наполнен стодолларовыми банкнотами, которые он получил в Польше перед отъездом за свою последнюю работу. Каждая купюра стоила четыре сотни франков (сто франков ежемесячно уходило на оплату отеля). Но уже через год деньги закончились, и Рожанковскому пришлось перебраться на окраину города в крошечный отель без отопления, где освещением служила лишь керосиновая лампа, стоявшая в темной комнатухе на столе (тратиться на керосин не всегда было возможным). Началась жизнь впроголодь, но возвращаться он не спешил. Ему хотелось большего, чем обычной сытой жизни. В ответ на предостережения Вагнера, польских друзей и коллег, которые пугали голодом и советовали вернуться, он отвечал: «Голод можно

* Продолжаем публикацию глав из новой книги Л. Вульффиной, американского исследователя истории культуры эмиграции, о Ф.С. Рожанковском (1891–1970), известном франко-американском художнике, русском эмигранте.

** rue de Vaugirard самая длинная улица Парижа.

вылечить куском хлеба, и на этот кусок я заработаю. Болезни от сытости лечатся труднее». Желание быть принятым городом, который влюбил в себя с первого дня, выталкивало его каждый день из отеля-клоповника на поиски старых друзей, новых знакомств, возможностей заработка. «Пустой желудок вопил – руку за ложку не протянешь, сама не придет», – так напишет Рожанковский, вспоминая тот первый год в Париже.

Среди старых друзей он встретит Льва Шульца¹, с которым был знаком еще с дореволюционной Украины. В то время, когда Рожанковский оказался в Париже, Шульц учился на скульптора в частной художественной Académie de la Grande Chaumière и одновременно изучал живопись в Академии Р. Жулиана (Académie Julian).

Первую «хлебную» работу – помощника в оформлении декораций и костюмов на съемках фильма режиссера Александра Волкова «Casanova» – ему предложил в 1926 году художник Борис Билинский², наслышанный о театральном опыте работы Рожанковского в Познани. Они были знакомы еще по Берлину, где Билинский работал в театре-кабаре «Синяя птица».

Другой счастливой случайностью в том же году стала неожиданная, можно сказать, судьбоносная встреча Рожанковского в Париже с его давним знакомым – поэтом, прозаиком, бывшим сатириконец Сашей Черным³. Именно с этой встречи начнется его карьера детского иллюстратора во Франции. Много раз помогавший друзьям в трудных ситуациях, писатель предложил Рожанковскому проиллюстрировать его «Живую Азбуку».

Интересна издательская судьба этой книги: первая «Азбука» Саши Черного вышла еще в царской России, в 1914 году, в издательстве «Шиповник», с рисунками замечательного графика В. Фалилеева⁴. Это был уже третий совместный проект художника и автора. «Азбуку», оформленную Фалилеевым и наполненную множеством цветных, выразительных крупных рисунков, понятных и привлекательных для маленького читателя, тогда почему-то несправедливо холодно приняли критики. Книгу с «отборными словечками и нескладными рифмами» рецензенты не рекомендовали для детского чтения⁵. Затем она была дополнена и переиздана в Берлине (издательство «Огоньки», 1922) с иллюстрациями Михаила Дризо⁶. Вот как мастерски тонко автор объяснит маленькому читателю черно-белый формат берлинской «Азбуки», предложив, по сути, новую модель детского издания – книжку-раскраску:

«В красках? Нет...» – вздохнул издатель. –
 «Краски страшно вздорожали!»
 И художник и писатель
 Пожелтели от печали.
 Что подумают детишки?
 Это очень странно даже,

Что в такой веселой книжке
Все цветы и звери в саже...

Но издательская дочка
Вдруг посыпала словами,
Как горохом из мешочка:
«Пусть раскрашивают сами!
Так занято все картинки
Расцветить в четыре краски:
Желтой – пусть покрасят спинки,
Красной – все цветы и губы,
Синей – небо, воду, глазки...
А зеленой – мох и ели...»

И в ответ ей грубым басом
Все сказали: «В самом деле!»

В 1926 году в Париже появится новое издание с рисунками Рожанковского. А еще через три года в Харбине будет повторено берлинское издание (изд-во М.В. Зайцева, 1929). Оно выйдет с теми же иллюстрациями художника Дризо, но обложка будет иной – впервые на ней были изображены не животные (как во всех предыдущих изданиях), а хоровод с танцующими детьми.

Но вернемся к парижскому периоду «Азбуки». Важной задачей для Саши Черного тогда была забота о детях соотечественников – оказавшись во Франции, они быстро вращались в другую культуру и очень скоро забывали родную речь. Вот почему поэт решил подарить детям новое переиздание «Азбуки», теперь уже с рисунками Рожанковского. Книга вышла в Париже в типографии Н. Карбасникова в 1926 году и была положительно принята как читателями, так и современными рецензентами.

«Каждая буква в этом букваре сопровождается соответствующим рисунком. ‘Слон ужасно заболел. Сливу с косточкою съел.’ Наивность рисунка вполне соответствует тексту. Слон с завязанным животом беспомощно лежит на спине и, видимо, очень страдает, бедняга. Я не сомневаюсь, что эта книга Саши Черного будет иметь большой успех. Она стоит того. По такой книге и весело, и приятно учиться грамоте. Рисунки г. Рожанковского превосходны», –

– писал один из ведущих сотрудников эмигрантской газеты «Возрождение»⁷.

Успех «Азбуки» был изначально заложен в необыкновенно удачном союзе писателя и художника: не имея собственных детей (Черному тогда было 46, Рожанковскому – 35), оба понимали детвору и умели легко развеселить и удивить «человечков», оба любили животных и с радостью переносили их в свои стихотворения и рисунки

ки. В книге с ярко-цветной обложкой и виртуозными черно-белыми рисунками художник *оживил* воспоминания из своего детства – здесь легко узнаются слон, верблюд, тигр и шимпанзе с рыночной площади Ревеля. Однажды увиденные в далеком детстве, их образы крепко запали ему в память. Завершает книгу изображение тех самых карандашей «Карнац», подаренных Рожанковскому, когда он был примерно в возрасте читателей «Азбуки». И на одной из страниц, где ребенку предстоит знакомство с буквой «М», художник *впишет* акварель с «Мороженщиком» – рисунком, который был опубликован в том же году на обложке журнала «Иллюстрированная Россия».

В библиотеке Рожанковского сохранился парижский экземпляр «Живой азбуки» с автографом на авантитуле неизвестному:

«Приехав в Париж и истратив все свои деньги, я случайно встретил Сашу Черного (который, по-моему, должен был быть в Риме). Он попросил меня сделать иллюстрации к своей азбуке. Я был спасен! Мой капитал стал расти и привел меня к Вам в Америку. Вот история, закончившаяся преподнесением этой первой моей книжки <...> Ф. Рожанковский. 1944»⁸.

Для Рожанковского это был первый профессиональный опыт в области детской книги во Франции. Во время работы над двумя последующими изданиями Саши Черного – «Дневником Фокса Микки» (1927) и «Кошачьей санатории» (1928) – раскроется особый дар художника: умение *очеловечивать* на книжных страницах всё живое, передавать движения животных, вселять в предметы жизнь. Стиль его мгновенно узнавался – легкая, лаконичная линия, чаще всего веселая и бегущая, как будто подстегиваемая нетерпеливой фантазией художника. Рожанковский всегда был крепко заряжен творчеством, никогда не изменял своей привычке делать всё «на рысях», а главное – ему удавалось сохранять детский взгляд на мир. Тем же редким талантом «заражаться ребячьими чувствами, начисто отрешась от психики взрослого» был одарен и Саша Черный⁹. Их обоих роднила одна общая черта – детскость. Еще одной важной составляющей успеха было то, что в основе этого удивительного тандема автора и художника был заложен юмор.

Вот почему «Дневник Фокса Микки», написанный по замыслу Черного от лица маленького фокстерьера (первой собаки мира, умеющей не только писать, но и думать!) и адресованный как детям, так и взрослым, получил признание нескольких поколений. Впервые цикл из двенадцати рассказов был опубликован отдельными главами в парижском еженедельнике «Иллюстрированная Россия» (в 1924–1925 гг. Саша Черный был штатным сотрудником этого еженедельника и вел постоянную рубрику «Страничка для детей»). Первое отдельное издание с иллюстрациями Рожанковского, напечатанное тиражом всего лишь в двести экземпляров, считается одним из лучших произведений эмигрантского периода Саши Черного и сегодня

представляет большую редкость. «Книга издана – мало сказать пре-восходно, но, несомненно, с большой любовью и знанием дела», – такую оценку художественного оформления «Дневника» дал писатель и критик В.Н. Ладыженский¹⁰.

Спустя годы, на форзаце первого советского издания стихов Саши Черного (1962), художник оставит свое посвящение поэту:

«Дорогой Александр Михайлович, спасибо Вам за дружбу, радушие и работу, так выручившую меня в голодные месяцы моего *sturm and drang* в Париже 26-28 годов¹¹. Иллюстрируя Ваш ‘Дневник Фокса Микки’, ‘Кошачью санаторию’, Вашу ‘Азбуку’, я стал открывать себя – будущего иллюстратора детской книги. Я вспоминаю Ваше доброе лицо, Ваше пророчество: как вдруг и незаметно придет ко мне моя известность...»¹²

Пророчество это сбылось. Голодные месяцы остались позади, появились заказы от авторов и издательств, в карманах снова зазвенели монеты¹³.

Саша Черный привлек художника и к работе в сатирическом издании «Ухват» (издательство «Птицелов»). В редакции этого журнала произошло знакомство Рожанковского с художниками Александром Яковлевым, Сергеем Шаршуном, Дон Аминадо, а также завязалась многолетняя дружба с Дмитрием Кобяковым, Григорием Евангуловым и Михаилом Осоргиным. Вот как вспоминал поэт Кобяков первую встречу с Рожанковским:

«Я редактировал сатирический журнал «Ухват», в котором принимали участие Алексей Ремизов, Саша Чёрный, Василий Шухаев, другие русские писатели и художники, жившие тогда в Париже. Пришел в редакцию и молодой, никому не известный художник, приехавший из Польши, Федор Рожанковский. Как две капли воды похож он был на Пабло Пикассо!»¹⁴

К сожалению, срок жизни «Ухвата» был коротким. За неполных четыре месяца его существования (с 31 марта по 20 июля 1926 года) было выпущено шесть номеров, и почти в каждом из них встречались рисунки Рожанковского. Цветные обложки второго и третьего номеров также вышли в его оформлении.

В том же году рисунки Рожанковского украсили обложки популярного еженедельника «Иллюстрированная Россия». Это были первые журнальные иллюстрации художника, созданные им в Париже¹⁵. Обложки номеров этого популярного эмигрантского издания в оформлении Ф. Рожанковского выходили наряду с иллюстрациями таких художников, как А. Яковлев, Ф. Малявин, И. Библибин, А. Бенуа, К. Коровин, Д. Стеллецкий.

Рассматривая эти рисунки, невозможно не отметить, как легко художник играет с двумя стилями: в одних – это русский лубок, пере-кличка с С. Судейкиным, Н. Ремизовым и Кустодиевым о былой России, в других (из французской уже жизни русских эмигрантов) –

силуэтные фигуры в стиле ар-деко. Но при этом лицо у Рожанковского свое, работы его узнаваемы.

Картинки эмигрантской жизни и уличные сцены в русских кварталах Парижа перенесены им в ткань множества рисунков в «Иллюстрированной России». На одном из них, например, изображен тот «русский Пигаль»¹⁶, который годом позже описал в романе «Княжеские ночи» французский романист Жозеф Кессель:

«На каждом шагу там можно было наткнуться на казаков, охранявших вход в кабаре; певцы или танцовщики, разодетые в шелка и бархат, во время антрактов выходили на улицу и заглядывали в соседние бары и кафе. Светлоглазые и бледнокожие женщины, наряженные в яркое тряпье, беспричинно плакали или хохотали. Князья пьянствовали в обнимку с конокрадами. И все это повторялось из ночи в ночь»¹⁷.

Одновременно Рожанковскому начинают поступать заказы в рекламе. Художника пригласили в парижское рекламное агентство *Lecram Press*. Там он очень скоро проявил себя в дизайне рекламной продукции, каталогов, плакатов и брошюр для французских фирм. С 1927 по 1931 годы, когда *Lecram Press* становится одной из ведущих рекламных компаний Франции, Рожанковский руководил художественным отделом агентства, в который входили одиннадцать молодых и талантливых коллег. Многие из них стали его близкими друзьями на долгие годы. Среди них – французские художники-графики: Гастон де Сент-Крюа (Gaston de Sainte-Croix, 1904–1977), Франсуа Хиршлер (François Hirschler, 1900 – ?), франко-венгерский художник Ласло Фирча (László Fircsa, Lazzlo Frisca, 1904 – ?), американский художник из Сан-Франциско Жорж Александр (George Alexander, 1896–1977), а также французский график русского происхождения Валантен Ле Кампион (Valentin Le Campion, настоящее имя – Валентин Николаевич Битт, 1903–1952).

Вместе с Франсуа Гиршлером и Жоржем Александром они снимали в Париже уютную квартиру в доме № 11 на улице рю Мадам (rue Madame, 11).

«...Я жил в конце двадцатых годов в квартире на 6-м этаже и помню, как первое время уставал. Это был старинный дом, чердак, который перестроили, добавив современную студию, 2 комнаты, кухню и ванную. Квартирка была хороша, но лестница – старинная и крутая»,

– напишет Рожанковский позже в своих незавершенных набросках к мемуарам.

В 1929 году Рожанковский создал изысканный каталог для фешенебельного парижского универмага *La Grande Maison de Blanc*. В это время в повседневный гардероб француженок стремительно ворвался элегантный спортивный стиль. В рисунках в стиле ар-деко, насыщенных ритмом и звонкими контрастными цветами, художник ярко пере-

дал новаторские тенденции в модном женском костюме. Точность графического исполнения, изящный образ молодой дамы – центральный мотив, активно использовавшийся тогда в рекламной графике французских мастеров – вызывали у потребителя эмоциональный отклик и магически удерживали его во власти этого образа. Его имя теперь на слуху не только среди эмигрантов, но и в широкой франкоязычной среде.

В том же году в оформлении Рожанковского появился и путеводитель по шопингу в Париже¹⁸. Талант художника заметил известный парижский издатель Альфред Толмер (Alfred Tolmer, 1876–1957).

В 1929–1930 годах Рожанковской совместно с Толмером реализовал несколько рекламных проектов и продолжал с ним сотрудничество (в основном анонимное) до конца 1937 года. Толмер специализировался на рекламной графике, выступая за инновационные подходы в книгоиздании. Стремясь достичь своей главной цели – создать книги для детей высокого художественного уровня – он привлекал к работе лучших иллюстраторов своего времени: Фернана Леже, Жоржа Брака, Мари Лорансен, Эди Леграна (1892–1970, Эдуард Варшавский), Алексея Бродовича (1898–1971).

Тогда же, у Толмера, Федор Рожанковский впервые познакомился с русской художницей Натали Парэн (Nathalie Parain)¹⁹. Она также какое-то время сотрудничала с парижским издателем, однако ни один из ее рисунков не был опубликован. Толмер не рассмотрел ее способности, посчитав их недостаточно эффектными и интересными. Очевидно, между ними существовала взаимная антипатия. «Не пойду больше к этой лисе Тольмеру, он отказался платить мне за макет последней обложки, которую я сделала для него, заявив, что у меня, видите ли, нет никакого таланта, – писала Натали мужу, Брису Парэн²⁰.

В 1931 году в жизни Рожанковского появляется милостивая француженка по имени Иветт (Yvette), которая оставалась его спутницей жизни в течение десяти лет, до переезда художника в Америку. В семейном архиве Рожанковского нет ни одного письма Иветт – возможно, они не сохранялись намеренно (по личным причинам художника), либо переписка пропала во время наводнения, случившегося в Бронксвилле в начале 1960-х годов, во время отсутствия семьи Рожанковских в США. Сохранились лишь несколько крошечных размытых снимков тридцатых годов: Иветт в Аржантьере на пороге их домика во Французских Альпах, построенного незадолго до начала войны, а также карандашный портрет, сделанный Рожанковским в 1930 году на авантитуле книги из его домашней библиотеки.

Официально они не состояли в браке, но в письмах к парижским друзьям Рожанковский называл Иветт супругой. Друзья художника вспоминали ее как добрую хозяйку и заботливую «маму» для Рожанковского, – она умела готовить вкусные обеды, вязала ему лыжные свитеры, создавая домашний уют и все условия для работы.

По слухам, у Иветт был сын, который остался жить с отцом,

когда она съехалась с Рожанковским, – вот, пожалуй, и всё, что было известно о симпатичной эльзаске. Любопытно, что ни в одном из сохранившихся писем не встречается ее фамилия – ни девичья, ни фамилия ее бывшего мужа. Иветт Рожанковская – так она указывала свое имя на конвертах, отправляя письма их общим друзьям. Однако совсем недавно французская исследовательница и библиофил Беатрис Михелсен (*Béatrice Michielsen*), коллекционер детских книг и большая поклонница творчества Рожанковского, обнаружила в парижском архиве несколько любопытных документов²¹. Оказалось, что настоящее имя Иветт – Каролина Саломея Боссерт (*Karolina Salomea Bossert*). Под этим именем она была зарегистрирована во время переписи населения 1936 года в Плесси Робинсон по адресу авеню Payret-Dortail, 3 как «компаньонка Рожанковского». Обнаружены также свидетельство о ее рождении и свидетельство о заключении брака Каролины Боссерт с плотником Жоржем Марионом. В документах указаны год и место рождения – 1902, Страсбург, столица Эльзаса, которая в то время находилась под юрисдикцией Германии²². Почему молодая эльзаска скрывалась под другим именем – остается пока не разгаданным. В дальнейшем мы будем продолжать называть ее Иветт, – как называли ее в письмах Рожанковский и его друзья.

Работы Рожанковского для *La Grande Maison de Blanc* восхитили не только Толмера, но и двух молодых американок, живших в те годы в Париже – Эстер Аверилл (*Esther Averill*) и ее коллегу Лайлу Стенли (*Lila Stanley*). До поездки во Францию Э. Аверилл (1902–1992) работала художником-карикуристом в местной газете в родном Коннектикуте, а позднее – в нью-йоркской газете мод *Woman's Wear Daily*. Приехав в Париж (в тот же год, что и Рожанковский, – 1925), Аверилл начала свою деятельность как свободный фотограф, а со временем решила заняться писательским трудом и даже основала собственное издательство – *The Domino Press*. Поначалу работа шла медленно: Эстер приходилось осваивать новое ремесло, самостоятельно вести и расширять бизнес, изучая как современные произведения, так и тексты старых французских детских книг. Главной задачей ее издательства было выпускать детскую литературу, привлекая талантливых художников, которые не боялись экспериментировать с цветом и использовать новые возможности современного графического дизайна. В 1930 году американские издательницы предложили художнику проиллюстрировать книгу об одном из первых народных героев Америки, который прославился своими приключениями на территории современного штата Кентукки – родины Эстер Аверилл. Книга эта называлась «Даниэл Бун. Истинные приключения американского охотника среди индейцев»²³.

После оформления черно-белых рисунков в книгах Саши Черного и работы в рекламных проектах Рожанковскому вдруг представился случай проявить свои возможности в полную силу, быть

свободным от любых ограничений и работать по своему усмотрению. Еще в детстве он зачитывался Джеймсом Фенимором Купером, сделавшим Буна прототипом Натти Бампо, главного персонажа серии романов о Кожаном Чулке. Чувствовалось, что Рожанковский был увлечен предложенной ему историей. Это была его первая книга на английском языке и абсолютно новаторский проект, ставший настоящей творческой удачей. Теперь он мог прорабатывать каждую мельчайшую деталь с особой тщательностью и лично следить за процессом гравировки. Потрясающие литографии, напечатанные в пять красок в знаменитой типографии Фернана Мурло²⁴, завораживали читателя смелым и ярким стилем фовизма и буквально выпрыгивали из страниц. «Кто, кроме русского осмелится окружить зеленый луг фиолетовыми деревьями, добавить хромово-желтое дерево для усиления эффекта, и увенчать все это скачущей по веткам красной белкой!» – восклицали критики²⁵.

В 1931 году книга о Буне была выпущена издательством *Domino Press* почти одновременно на английском и французском языках и мгновенно получила признание как во Франции, так и в США.

В том же году влиятельная британская газета *The Observer* назвала «Буна» лучшей детской книгой сезона²⁶.

«Краткий текст под редакцией Эстер Аверилл и Лайлы Стэнли смотрит-ся в книге всего лишь как ясный и простой комментарий. Однако историю рассказывают сами картинки. Цветовая палитра обладает каким-то светящимся эффектом, какой-то жизненной силой; блики от походного костра, холодный снег, и, кажется, что солнечный свет пробивается сквозь весеннюю зелень деревьев. Дети будут получать удовольствие от яркости красок, непосредственности и драматического элемента, выраженных в этих рисунках. Но правда заключается и в том, что это также и ‘детская книжка для взрослых’. Взрослые ценят эти рисунки не только за высокое качество их исполнения, за что они и нравятся детям, но и за ту утонченность и изысканность, которые еще трудно оценить юному читателю.» («Нью-Йорк Таймс»)²⁷.

Следующими книгами *Domino Press* с иллюстрациями Федора Рожанковского были издания на английском и французском языках, выпущенные почти одновременно, – «Poudre» (1933) и его продолжение «Éclair» (1934). Литографии для этих изданий печатались также в типографии Фернана Мурло²⁸.

Таким образом, закрепив свое имя в кругу эмигрантской литературы, Рожанковский начал пробовать силы в области европейской детской книги.

Вскоре после успешного проекта с Эстер Аверилл он получил предложение от французского издательства «Фламарион» (*Flammarion*)²⁹. В 1931 году педагоги Поль Фоше³⁰ и его жена чешская писательница Лида Дурдикова³¹, последователи учения чешского педагога Франтишека Бакуле³², создавшего уникальную концепцию воспитания детей искусством, начали выпускать знаменитую образо-

вательную серию детских книг «Альбомы Папаши Бобра» (*Albums du Père Castor*)³³.

На международных выставках детской книги в Париже – сначала в 1929 году, а потом в 1931-м – Фоше был восхищен работой книжных графиков из СССР, особенно их новаторской стилистикой. И тогда к воплощению своего увлекательного образовательного книжного проекта он привлек плеяду талантливых русских художников-эмигрантов – Федора Рожанковского, Натали Парэн, Александру Экстер (1882–1842), Ивана Билибина (1876–1942), Юрия Черкесова (1900–1943), Натана Альтмана (1889–1970), Елену (Элен) Гертик (1897–1937), Александра Шеметова (псевдоним Шем; 1898–1981). Большинство из них уверенно использовали в оформлении книг для детского читателя смелые приемы авангардного искусства.

Видел ли Рожанковский в себе уже тогда призвание детского иллюстратора? И разделял ли он мнение Натали Парэн о том, что работа художника должна быть полезна обществу? Предложение Фоше, скорее, рассматривалось им как источник заработка и, в определенной мере, как путь к известности. И известность пришла.

За период с 1931-го по 1945 годы в этой серии был издан сто тридцать один альбом, и каждый второй был иллюстрирован работами художников-эмигрантов из России. В числе самых популярных детских художников первого десятилетия существования серии лидировали Федор Рожанковский, Натали Парэн и Элен Гертик.

Так, в оформлении первого иллюстратора «Папаши Бобра» – Натали Парэн – вышло пятнадцать альбомов. Рисунки Рожанковского, украсившие двадцать семь книг этой сверхпопулярной серии, стали частью жизни нескольких поколений читателей. Вот как, например, искусство Рожанковского повлияло на дизайнерские вкусы и будущую профессию французского модельера Кристиана Лакруа:

«Когда я был ребенком, я был без ума от сказки о трех медведях – особенно от той версии с иллюстрациями, которую вы видите в моей книге. С тех пор именно эта волшебная, как будто живая ‘растительная’ мебель глубоко засела в моей памяти. Вероятно поэтому созданные мною интерьеры салонов высокой моды так напоминают обстановку в этой сказке. Даже дизайн моего дома повторяет очертания тех же форм и узоров, идущих из любимой книги детства»³⁴.

Логотип серии *Père Castor* (изображение бобра с большой книгой в руках) был также создан Рожанковским.

Через «Ухват» Рожанковского найдут два его давних приятеля – два Владимира: Соколенко и Иванов. Судьбы трех товарищей впоследствии окажутся тесно переплетены – как во Франции, так и в Америке. Первое письмо от Соколенко Рожанковский получит в 1926 году, а конверт с американским штемпелем от Иванова «прилетит» в Париж в 1931-м. К сожалению, ни одно из этих писем не сохранилось до наших дней, но уцелело несколько ответных писем Рожанковского

к Иванову начала тридцатых годов. Хотя отдельные страницы писем утеряны, некоторые рисунки вырезаны, частично отсутствует текст. Но и эти обрывочные фрагменты, помимо ценнейшей биографической информации, изобилуют красочными рисунками, дружескими шаржами, коллажами из газетных и журнальных вырезок, а также выражениями самой разной стилистической окраски – от инкрустированных просторечий до возвышенных, высокопарных слогов. В рисунках на полях писем проявляется остроумие и тонкий юмор, а стихотворные эпиграфы задают настроение и определяют тон всего послания.

Из письма Федора Рожанковского к Владимиру Иванову:

«Начну с Дрона. По этому же ‘Ухвату’ Володька меня нашел, будучи еще в Болгарии. Мы списались. Через год прервалась переписка. У меня кончились деньги, с коими сюда из Польши прибыл. Начались мытарства и т.д. Месяцев шесть назад получил от него снова письмо, он приехал во Францию 4 года назад и как галерник работает на сталелитейном заводе в Имфи (*Imphy* – городок в департаменте Ньевр (*Nièvre*). – Л.В.). Я побывал у него, и вот на 4 дня (11-14 июля) он гостил у меня. Как раз перед выездом и еще на вокзале изыскивали способы тебя найти – решили, что ты в Крыму остался. На следующее утро пришло твое письмо. Ну, дорогой, я никак не ожидал, что ты... (далее письмо обрывается)³⁵.

Еще одно письмо Рожанковского к Иванову начинается с карандашного наброска весеннего Парижа – арочный мост через Сену, Эйфелева башня небесно-голубого цвета, на фоне которой парит белый голубь (этот рисунок полностью повторяет сюжет картины Рожанковского, созданной им еще в 1927 году). В начале письма – шуточный эпиграф:

*Париж, май.
Голубя в лёте
поймай и спроси:
далеко ли до Passy?
Чтоб оттеля
Голубую узреть
башню Эйфеля*

(Из Рожанковского)

«Дорогой Вольдемар, давненько хочу писать тебе! Лишь три дня назад закончил последнюю работу (все спешные были) для Юнайтед Стейтс и чувствую облегчение и чудесную свободу, которую с непривычки и не знаешь куда деть. Сегодня, однако, без святцев знаю, что праздную св[ятого] Николая. Письмом напоминает жена Николая Ник[олаевича] Карбасникова, что нас ждут и что будет возмутительно, если мы не придем. Это мой первый парижский издатель (он Сашу Черного издавал с моими рисунками).

Прогорев, как все русские ‘дельцы’, он занят подыскиванием книг и

продажей их. Папины мильёны пролетели несуразно, но он хорошо играет на рояле, пишет романсы (хуже). Помню, на его опусе на слова Пушкина 'Отцы пустынноики и жены непорочны' я ему нарисовал два профиля – его и Пушкина, причем схватил его карикатурно, и он очень сердился.

...Чудесное время стоит здесь, ведь тут всё в зелени и в цветах. Париж превращается в молодого красавца в мае. Хорош городишко!...» (окончание отсутствует)³⁶.

О Владимире Соколенко до недавнего времени известно было немного. И только письма из архива художника помогли «навести увеличительные стекла» к судьбе его товарища.

Владимир Илларионович Соколенко родился в Ялте в купеческой семье в тот же день, что и Рожанковский, – 24 декабря, с разницей в год (1890). Во время Гражданской войны он служил офицером в Добровольческой армии. После эвакуации из Крыма, в составе Алексеевского арtdивизиона, жил в армейских лагерях в Галлиполи, затем – в Болгарии, в Варне³⁷. В 1925-26 годах вследствие организованного переезда галлиполийцев-чинов Алексеевского артучилища из Болгарии во Францию, Соколенко оказался в Имфи. Разыскав друг друга, они больше уже не терялись, даже тогда, когда их разделял океан. Долгие годы Владимир Соколенко был зрителем в летнем доме Федора и Нины Рожанковских на юге Франции, в Ла-Фавьере, где и скончался в 1963 году. В одном из писем Рожанковского к Иванову раскрываются интересные подробности биографии их общего друга:

«...На праздник 14 июля (на 3 дня) приезжал по традиции из Imphy Володя Соколенко. Надо тебе сказать, казус с ним произошел занятный. Верно, тебе известно, что событием в художественной жизни наиболее ярким у нас была выставка Пикассо, представившая более чем 300 полотен. Впечатление сильнейшее! Вот он (Соколенко. – Л.В.) всегда живописью интересовался (2 его жены были художницы и бывали в Париже). Мы с ним посещали всякие выставки, собрался и на Пикассо. Была пятница, день аристократический, когда вход вместо 5 франков стоит 10. Ну, мы завернули на Мане, решив пойти в субботу. С утра мы были на выставке. Столкнулись на ней с С. Прокофьевым (мой композитор очень любимый). Его водил по выставке худ[ожник] Анненков, и мы прислушивались к его разумным объяснениям некоторых пикассиных вещей³⁸. Затем мы отделились и вот, находясь в отдельной зале, вижу – подходит худощавая дама типа художницы к нам, и обращается к Володке с волнением, и заикаясь, спрашивает – не Соколенко ли он? У него брови подскочили и задвигались и, замычав и взявшись за руки, они начали издавать нечленораздельные звуки. Я поспешил ретироваться, а они скрылись в соседней зале, где был диванчик.

Ну, потом я был представлен даме. Понял я, что это одна из его жен того московского периода, когда он познакомился со мной и 20-го пропуская с нами свое сорокарублевое жалование в тракторе на Неглинном проезде.

М-те Поворина, жена немецкого художника, живет в Кельне и приехала на выставку Пикассо. Она бывала у нас раза 3 до своего отъезда. Володька уехал раньше. Ну конечно, он желает видеть в этой встрече всё, что угодно,

но не случай. Душевное его равновесие нарушилось. И я должен буду поехать к нему, т.к. всё, что его теперь окружает, его тяжелая и ненужная работа, дыра, в которой он живет, – всё его приводит в уныние, но хуже всего, что, верно, он уверовал, что возможна какая-либо коренная перемена в связи со встречей с Повориной...»

Далее часть письма утрачена, сохранился лишь следующий фрагмент:

«...Ей лет 50, художница полеее Пикассо, в духе немецких сюрреалистов, последовательница учения Mary Baker Eddy³⁹. Мы были силком потащены на мессу в одну из парижских залл. Откуда я вылетел через 10 минут. Вот какие дела происходят с Володей...»⁴⁰

На момент описываемой встречи художнице Александре Повориной (настоящее имя – Александра Андреевна Поворинская, 1885–1963) было сорок семь лет. Родилась она в петербургской дворянской семье – крупного государственного чиновника А.Ф. Поворинского. Уже в юности она отправилась учиться в Мюнхен, в студию Ш. Холлоши, и вскоре вышла замуж за одного из его учеников. Первым мужем А. Повориной был венгерский художник Karoly Kiss (1884–1953), но этот брак вскоре распался. В 1911 году Александра снова уехала в Париж, продолжая свою творческую жизнь. «Тот московский период», о котором в письме говорит Рожанковский, без сомнения, относится к 1912 году; отношения Соколенко и Повориной, вероятно, были недолгими, поскольку уже на следующий год Александра навсегда покинула Россию.

В Париже, в студии Анри Матисса, она познакомилась с немецким художником Фридрихом Алерс-Хестерманом (*Friedrich Ahlers-Hestermann*, 1883–1973), который стал ее мужем. В 1919 году у них родилась дочь – Татьяна Алерс-Хестерман, впоследствии – художница по текстилю и стеклу. Довоенное и послевоенное время Александра Поворина провела в Германии: она не боялась открыто выступать против нацистского режима в тридцатые-сороковые годы, участвовала во множестве групповых и персональных выставках в разных немецких городах и неоднократно посещала Париж. Большинство ее работ – абстрактного искусства – хранятся сейчас в Потсдаме и Берлине, однако многие из них были уничтожены во время бомбардировок Второй мировой войны. Скончалась Александра Поворина в 1963 году в Берлине – в тот же год ушел из жизни и Владимир Соколенко, что невольно придает особую символичность их судьбам.

Из того же письма к Иванову становится яснее, чем еще была наполнена парижская жизнь Рожанковского помимо издательских заказов:

«...Эту зиму я наслаждался – два раза смотрел Шляпина – в ‘Борисе’, и видел ‘Игоря’ (он Галицким был), ‘Моцарта и Сальери’ (опять же с

Шаляпиным). Спектакли русской оперы были полны в Opéra Comique⁴¹. Сейчас начались съемки 'Дон Кихота', и я из журнала тебе вырезал личность этого замечательного артиста. Через 2 (sic!) или через месяц, как пишут в *Cinemond'e*⁴², он будет у вас в Нью-Йорке⁴³.

Музыка, мой дорогой, для меня нечто большое, должен сказать, я часто бываю и слушаю en persone (Лично. – Л.В.) Стравинского, Прокофьева, Равеля. Бывают фестивали модернистов. Вообще, Париж не обладает оркестром симфоническим первого класса, но один (1-ый симф[онический] Пар[ижский] оркестр) в последнее время поднялся в уровень первоклассных, и в Германии его выступления встречены были прессой с большими похвалами. Фуртвенглер, Вейнгартнер – каждый год здесь бывают⁴⁴. Прокофьев меня очаровывает, и хочется услышать в этом году что-нибудь новое.

<...> Доходят ли до вас издания советские? У меня накопилась целая серия мемуарных книг, записок и монографий. Здесь закончил записки Глинки, два тома Мейерхольда, Мгеброва. Станиславский, Оленев – всё очень интересно. Всех кроет 'Жизнь Бенвенуто Челлини', писанная им самим⁴⁵, и сказки русского Севера⁴⁶.

Прежде чем продолжить знакомить читателя с письмами Рожанковского, настало время представить подробнее второго его приятеля – Владимира Иванова (близкие друзья называли его Вольдемаром).

До недавних пор о судьбе художника-эмигранта первой волны, живописца и скульптора Владимира Степановича Иванова (1885–1964) можно было узнать лишь из краткой биографической справки в словаре «Художники русского Зарубежья»⁴⁷. Упоминания о нем встречаются и в мемуарах его племянницы Татьяны Ивановны Устиновой, которая родилась в 1913 году в Алуште и впоследствии стала известным советским геологом и первооткрывательницей долины гейзеров на Камчатке. В 1988 году она переехала жить в Канаду. Правда, Т. Устинова вряд ли могла хорошо помнить брата своей матери – ведь она появилась на свет в Алуште, когда Иванов жил уже в Москве. В 1920 году, когда он эмигрировал, ей было всего лишь семь лет, и с тех пор они никогда не встречались. В ее рассказах Владимир предстает в образе «художника из непрепевающих и бонвивана», который, вероятно, сформировался у нее из родительских суждений и семейных легенд⁴⁸.

И всё же воспоминания Т.И. Устиновой, а также письма, редкие фотографии и документы из архива Ф. Рожанковского значительно дополнили ранее скудные сведения о семье Иванова.

Родился он в Екатеринославе (ныне г. Днепр, Украина) в купеческой семье Олимпиады Ивановны и Степана Захаровича Ивановых. Отец его торговал зерном, но удачливым коммерсантом он не был – деньги в доме не задерживались, семья жила очень скромно. После смерти Степана Иванова двоих детей взяла под опеку их богатая бездетная тетюшка из Алушты – собственница домов в Екатеринославле и больших земельных участков на юге Новороссийской губернии (в

Одесской области). Чтобы обеспечить безбедное будущее вдовствующей матери Иванова, она приобрела для них дом в Алуште. Этот небольшой двухэтажный каменный дом со временем расширили за счет просторной пристройки. Главным источником дохода для матери Иванова и его сестры стала комната, сдававшаяся летом дачникам. Владимир к тому времени уже жил в Москве. В Харькове он закончил коммерческое училище, затем поступил в технологический институт, но со временем понял – ни торговец, ни инженер из него не получится. Больше всего он мечтал о рисовании и поэтому отправился учиться в Москву на курсы Ф. Рерберга. Вероятнее всего, это происходило в 1911–1912 годах, когда в студии Рерберга занимался и Федор Рожанковский. «Володя, мамин брат, жил сначала в Харькове, потом в Москве, где он учился живописи и жил в свое удовольствие за счет ‘бабушки’, маминой тетки. Он был ее любимцем и надеждой, и на него она не скупилась», – вспоминает племянница Иванова⁴⁹. Спонсорские деньги тетки, которая обожала племянника и всячески его поддерживала, позволяли жить ему в Москве благополучно и беззаботно. Однако после событий 1917 года Иванов был вынужден уехать в Алушту – у него там был небольшой домик – и работал учителем рисования в местной гимназии.

В 1920 году, во время эвакуации из Крыма, Иванов покинул Россию и первые три года жил в Константинополе. Там, на его рисовальные «четверги» в доме 83 на улице Акаретлер (*Akaretler*), в районе Бешикташ, собиралась большая группа художников. «Сперва все писали с натуры (обычно на эти «четверги» приглашались и модели), затем пили чай и горячо обсуждали злобы дня»⁵⁰. В 1921 году Иванов был избран одним из учредителей и впоследствии председателем Товарищества «Союз русских художников» (*Union des Artistes Russes*), помогая своим коллегам-соотечественникам находить работу и поддерживать их в трудные годы эмиграции. В архиве Рожанковского вместе с письмами и фотографиями, вернувшимся к нему после смерти Иванова, хранится также трудовой договор членов Товарищества, который подписали 19 января 1921 года художники Н.Н. Беккер (1877–1962), В.В. Бобрицкий (1898–1986), Н.Н. Васильев (1887–1970), Н.В. Зарецкий (1876–1959), В.С. Иванов (1885–1964), Н.В. Пинегин (1883–1940), А.Т. Худяков (1894–1985), Б.Ф. Цибис (1895–1957). В этом документе были обозначены и задачи «Товарищества»: создание в Константинополе и эксплуатация художественной мастерской под фирмой «Союз Русских Художников» для выполнения всякого рода художественных работ – росписей зданий, исполнение всевозможных декоративных работ, иллюстраций, оформления книжных обложек, графических работ, рекламных плакатов и надписей, организация рекламных изданий. Согласно этому уставу «все участники ‘Союза’ вкладывали в общее дело свой личный труд. Необходимый для начала и организации дела капитал, исчисляемый в 80 турецких лир, вносится подписавшими договор лицами по 10 лир»⁵¹.

В 1923 году Владимир Иванов вместе с супругой, Ириной Папкевич, покинул Константинополь и перебрался в Америку. В Нью-Йорке он работал свободным художником, писал картины, создавал скульптуры из дерева. В будущей книге будет представлена редкая фотография – Владимир Иванов в американской мастерской Сергея Конёнкова с супругой скульптора, Маргаритой Конёнковой, в канун их отъезда в 1928 году в Италию.

Подробнее об американском периоде жизни Иванова будет сказано в следующих главах. А пока вернемся к письму, которое было отправлено Рожанковским Иванову в начале сентября 1932 года из Сен-Тропе. Здесь, на Лазурном берегу, Рожанковский второй раз проводил свой «vacans» (sic!), надеясь, что солнце и море избавят его от огромной усталости, накопившейся за год непрерывной работы. Всё это время он мечтал о долгожданной свободе – о том, как будет сидеть по утрам в уютных кафе, любуясь яхтами богатых людей, рисовать только для себя и неспешно отвечать на письма друзей:

«Чудесное утро, и я в кафе в Порту. Проходят знакомые личности. Газетчик поехал на вокзал. В 10 привезет ‘Последние новости’⁵² – воскресный номер. Проходит жандарм и говорит со всеми. Яхты сушат паруса. Художники тащат ящики и этюдники. Большинство, что я видел – маляры, фабрикуют картины и выставляют в *Café de Paris* в расчете продать приезжим иностранцам. Но здесь же живет *Dunoyer de Segonzac*⁵³ – это туз. Верно, знаешь его работы?

Я в прошлом году последнюю неделю начал писать и сделал этюдов пять, кои мне не доставили (кроме последнего) удовольствия. Дольше надо пробыть, чтоб войти во фкус (sic!).

В этот приезд я сделал сынишку своего хозяина пока что, а время близится к отъезду»⁵⁴.

О предстоящем отъезде он думал с неохотой. Одну из причин своего нежелания возвращаться в Париж он объяснит в следующем письме:

«Ник[олай] Ник[олаевич] Карбасников (издатель) – мой первый заказчик в Париже – я делал ему ‘Азбуку’ Саши Черного (бедняга (Саша Черный. – Л.В.) умер недавно на этих берегах⁵⁵). Так вот – живет он у меня в кухне и торгует книжками. Он – симпатичный тип и хороший музыкант, часто музицирует. Приедешь – будет аккомпаниатором. Возненавидел его, однако, я – клопов привил в нашей квартире – втащил железную кровать клопиную и, как мне сожители пишут: ‘от них не стало мочи – не стало им житья’. Ввиду сего с отвращением думается о возвращении в Париж и о борьбе предстоящей»⁵⁶.

Тогда же, из Сен-Тропе, он впервые сообщит приятелю и о своей французской подруге:

«Дорогой мой Вольдемар! Вот уже год, как я живу не холостяком. Ivette в Париже занималась у меня кухней, починкой и уборкой + обязанностями

супруги. Приехав сюда, она заболела (почки или печень – по-французски foie), и бедняга нуждается в уходе и диете. Мне пришлось выполнять всевозможные требования ее и доктора, и отдых как-никак был испорчен».

Свою спутницу он ласково называет Шерихен (Cherichen) и объясняет в письме – «Cherichen – это Ivette другими словами, она эльзаска, и я произвел сие нарицательное смешливое фр. chérie с немецким уменьшительным окончанием»⁵⁷.

Первую книгу издательства «Фламмарин» с иллюстрациями Рожанковского «Les petits et les grands» («Дикие животные и их детеныши») читатель увидел в 1933 году, следующую – «En famille» («В семье») – в 1934 году. И с каждой новой историей в этой серии – о львах и гиппопотамах, зебрах и жирафах, тиграх и лисах, орангутангах и полярных медведях, слонах и кенгуру – раскрывался всё больше и больше исключительный талант художника-анималиста.

Рисунки Федора Рожанковского привлекут внимание посетитель и на международной выставке детской книги. В 1933 году она проходила в книжном магазине Fishcbacher по адресу 33 Rue de Seine. Выставку, на которой можно было ознакомиться с книжными новинками Европы, Мексики, Коста-Рики и даже СССР, посетил и Александр Бенуа. В своей обзорной статье для газеты «Последние новости» он напишет:

«Во французской секции имеется ряд приятных юмористических или полуюмористических книг. Из них я особенно люблю теми, рисунки в которых принадлежат Федору Рожанковскому – талантливому иллюстратору, начавшему свою деятельность еще в России во время войны. В прошлом году им была с необычайным блеском иллюстрирована история одного искателя приключений, нынче его карандашу принадлежат отличные изображения зверей в альбоме 'Les Grands et les Petits', а также иллюстрации к истории жеребенка 'Poudre'. Особенно удались художнику сложные композиции – приезд в провинциальный город странствующего цирка и самый спектакль в цирке. Благодаря остроумному распределению колеров (и несмотря на ограниченное их количество), впечатление от этих картинок получается яркое и веселое»⁵⁸.

Весну и лето 1934 года Рожанковский трудился над альбомом «Белка Панаш» (*Panache l'écureuil*). Закончив работу над обложкой, он в июле отправит Фоше пробный оттиск, выполненный вручную и дважды пропечатанный красным цветом. Это был его первый опыт работы с офсетной печатью. Освоив все тонкости этого процесса, Рожанковский почувствовал себя готовым для реализации большого проекта. Если бы только не постоянное безденежье...

Жить в те годы во Франции становилось всё труднее. Несмотря на то, что стране удалось избежать разрушительных последствий мирового экономического кризиса, симптомы Великой депрессии всё же были ощутимы. С началом политического и социального кризиса

происходило и падение экономики, платежеспособность населения сократилась в разы, доходы таяли, а высокий уровень безработицы влиял на уровень заработных плат.

«...Дорогой месье Фоше, [позвольте напомнить] еще раз, я – беден, а потому вынужден просить о великой милости выслать мне ваш чек на получение из кассы *Фламариона* 1000 фр. Вчера [за неуплату] у нас отключили электричество <...> Прошу вас, спасите нас!»⁵⁹ –

– взывал художник к своему работодателю.

Осенью того же года французские издатели, братья Шарль и Арманд Фламарион (*Charles u Armand Flammarion*), убедившись (как и Поль Фоше) в способностях Рожанковского как художника с мощным творческим зарядом, заключили с ним пятилетний контракт, согласно которому иллюстрации к детским книгам для других иностранных издательств могли осуществляться только с письменного разрешения братьев Фламарион. По условиям договора, братья обязывались ежемесячно выплачивать художнику аванс в размере 1170 франков за создание иллюстраций альбомов серии «Папаши Бобра» под руководством Поля Фоше. Таким образом, годовой доход Рожанковского в издательстве составлял 14 040 франков (для сравнения – это было чуть больше зарплаты парижского почтальона).

Как было прописано в контракте, Фоше должен был предоставить Рожанковскому не позднее заранее оговоренной даты сюжеты и тексты, необходимые для оформления двух образовательных альбомов по типу «Белки Панаш». В свою очередь, художник обязан был иллюстрировать два подобных альбома, создавая эскизы и рисунки для каждой обложки в шести цветах, двенадцать черно-белых и двадцать шесть цветных иллюстраций формата 21x23 см., с переносом всех созданных изображений для последующей печати на цинковые пластины и негативы. Сюжеты и тексты для иллюстраций должны были предоставляться художнику не позднее определенной даты раз в год – по распоряжению Поля Фоше.

Отношения с братьями Фламарион (Шарлем и Армандом) и с Полем Фоше складывались у Рожанковского непросто. Требования контракта соблюдались не всегда: обещанные суммы выплачивались с опозданием, сроки отправки текстов часто срывались. Многие его коллеги – художники-эмигранты из Восточной Европы – соглашались на любые заказы на любых условиях, и только Рожан (теперь в серии Пер Кастора его имя звучало на французский манер – *Rojan*, без *kovsky*) по мере того, как его репутация росла, осмеливался спорить, высказывая претензии и претендуя на более достойную оценку своего нелегкого труда. Настойчивое несогласие вызывал у него пункт договора, запрещающий принимать предложения от других издателей. Но и на тропу войны дружелюбный и легкий со всеми в общении Рожан долгое время выходить не желал. Это видно и по его

красиво иллюстрированным и наполненным добрым юмором письмам к Фоше и его семье. Фоше, как и подобало главному редактору, заботился о конечном результате. С подчиненными он всегда был вежлив, но одновременно и строг, внимательно следил за каждым штрихом художника, твердо настаивал на выполнении своих пожеланий, не всегда соглашаясь с мнением Рожана. Поначалу в их отношениях переплетались дружба и профессиональная требовательность, но со временем нежелание художника подчиняться жестким условиям контракта и отказ со стороны работодателей идти на уступки неизбежно приведут к большому конфликту. В этом противостоянии сложно занять чью-либо сторону, ведь проект *Père Castor* принес популярность многим художникам, помогая им выжить в трудные времена. Для Рожана работа с «Фламарионом» была настоящим карьерным прорывом, подарив ему славу крупного европейского детского иллюстратора. Тем не менее обида останется в нем на десятилетия.

Через тридцать с лишним лет, уже в Америке, художник напишет:

«...моя настоящая фамилия шокировала моего издателя. Ему, конечно, хотелось, чтоб я был француз, а если и нет, то чтоб мое имя звучало по-французски <...>. Но всё это неважно. Важно одно, что успех этих книжек принадлежит мне за мои рисунки и что издатель и сей *Père Castor* (отец бобр) вот уже в продолжении 33-х лет кладут в свой карман материальный успех этой серии (мною проиллюстрированных) книг, непрерывно продающейся и пользующейся успехом и в Европе, и в Америке»⁶⁰.

Еще за год до заключения контракта с «Фламарионом» Рожанковский вместе с Иветтой переедут из Парижа в Плесси Робинсон (*Plessis-Robinson*) – городок в 11 км. к юго-западу от Парижа. Там же с 1929 года поселилась и Наташа Парэн с мужем Брисом и маленькой дочкой Татьяной. Идея создания городского ансамбля с недорогими квартирами для сдачи внаем семьям рабочих и ремесленников родилась еще в 1923 году в рамках программы строительства муниципального жилья, доступного широким слоям населения. Атмосферу этого необычно-замечательного места помогают лучше представить и понять мемуары Татьяны Майер-Парэн:

«Амбициозный проект включал в себя так же строительство небольших двухэтажных ателье для художников-скульпторов – своего рода новый Монпарнас со своим концертным залом, театром и библиотекой. <...> Вдоль загибающегося дугой Бульвара Единства (*Boulevard de l'Union*) выросли домики с плоскими крышами-террасами. Центральное отопление горячим воздухом, ванная, канализация – комфорт по тем временам редкий. Перед каждым домом была лужайка, где дети могли спокойно играть под присмотром, и мамам не нужно было тратить свое время, просиживая в городских скверах. И всё это вполне за приемлемую цену»⁶¹.

В начале 30-х годов, когда на холме построили целый квартал

домов с недорогими квартирами, в этом районе стали появляться русские. В одном из таких домов, по адресу авеню Пейре-Дортай, д. 3 (Av. Payret Dortail, 3, ныне Charles-de-Gaulle), поселился и Рожанковский с Иветтой. По воскресеньям они бывали на журфиксах в доме Парэн, где гостей традиционно угощали чаем и булочками с вареньем. Из воспоминаний Татьяны Парэн:

«Летом стол накрывался под вишней во дворе, а из рестораника наверху холма доносились звуки аккордеона <...> Тот ресторан был местной достопримечательностью – так называемое ‘Большое дерево Робинсона’ с платформами между мощных ветвей. Наверх к столикам посетителей поднимали в больших корзинах. Официанты тянули за веревку, перекинутую через мощный блок, юбки разлетались в стороны, девушки визжали, юноши хохотали, среди густых ветвей завязывались знакомства, чему очень помогало прохладное белое вино»⁶².

А вот как видел Плесси-Робинсон Рожанковский:

«...Париж со всех сторон окружен бывшими малыми городишками, кои с развитием путей сообщения и приростом населения (стиль фельетониста из парижской русской газеты ‘Последние новости’) мало-помалу сливаются с *La Ville Lumière* (Город огней. – Л.В.).

Robinson – место для прогулок, названо так, потому что изобилует рестораничками с садиками, в коих на старых больших деревьях устроены беседки, куда тебе человеки доставляют пиццу заказанную, и ты ешь, сидючи на дереве в 15, а то и 20 метрах над уровнем моря. Какая глупость! Будто бы Робинзон жрал на дереве – он спал в первые ночи прибытия на остров – неувязка очевидная! <...> Так вот, в околицах сего местечка есть парк какой-то обедневшей аристократки (sic!). Она его запродала городу – сей последний взялся застроить купленное место массой недурно задуманных и сносно выполненных вилл и корпусов большей вместимости – сие рассчитано на парижан и названо *Cité Les jardins*. Я и все мои квартирные решили от парижских цен и шумов перебраться туда. На сей предмет подали записки, и с января, верно, буду пригородным жителем; довольно центра с его шумами мне уже не нужны при характере моей теперешней работы – иллюстрации книг»⁶³.

Наташа Парэн с дочкой часто навещали Рожанковского в Плесси Робинсон⁶⁴. Особенно девочке запомнились те визиты, когда художник работал над оформлением детской книжки «Белка Панаш»⁶⁵. На балконе, затянутом сеткой, у него жили две белки, и маленькая Татьяна могла не только наблюдать, как они резвились, но и просовывать им сквозь решетку орешки. В это время Рожан показывал ее матери новые рисунки, а Иветта накрывала на стол чай с вареньем из собранной в лесу ежевики. По воспоминаниям Татьяны Парэн ее мать, несмотря на присутствие Иветты, общалась с Рожаном на русском. «Француженка, простая домашняя хозяйка, она души не чаяла в своем друге (хотя вряд ли его до конца понимала)», – такой запомнилась девочке гостеприимная подруга художника⁶⁶.

В Робинсоне Рожанковскому работалось спокойно и хорошо.

«Придумывать рисунки для ‘Зайки Фру’, возиться с карандашами и ножницами в моем парижском городе-саде – это истинное удовольствие. Работаю с улыбкой – во-первых, это весело, а во-вторых, я же сам заварил эту кашу... В нашем доме большие красивые окна, вечерами небо Плесси усыяно звездами – все знаки зодиака. Каждый день играем в теннис...»⁶⁷.

Там не было столичной суеты, при необходимости до Парижа можно было добраться на электричке за полчаса, по соседству жили Жорж Александр, Ле Кампион, Николай Евреинов. Здесь он найдет и новых друзей, с которыми будет неразлучен до последних дней.

(продолжение в следующем номере)

ПРИМЕЧАНИЯ

Стиль и орфография авторов писем сохранены. Примечания сделаны публикатором. Автор выражает большую благодарность за ценные дополнения и уточнения Татьяне Федоровне Рожанковской-Коли и Беатрис Михельсон (Béatrice Michielsen); Максиму Макарову – за помощь в переводе текстов писем с французского.

1. Лев Александрович Шульц (Léon, Lev, Leff Schultz, 1897–1970), франко-русский художник, скульптор, ювелир. Обучался в Петербургской Академии Художеств, в 1918 году бежал из Советской России в Бердичев, где жил и работал губернским пробирером его отец. В Бердичеве Шульц около года преподавал рисунок в изостудии, а затем переехал в Киев. В 1919 г. ему удалось перебраться в Крым, и до севастопольской эвакуации он служил картографом в штабе генерала Врангеля. Путь в Париж (через Константинополь, Любляны, Вену, Прагу и Берлин) занял долгие три года. В то время, когда Рожанковский приехал в Париж, Шульц учился на скульптора в частной художественной академии Гранд Шомьер (*Académie de la Grande Chaumière*) и одновременно изучал живопись в Академии Р. Жулиана (*Académie Julian*). В 1930-х годах вместе они совершат поездку в Алжир.

2. Борис Константинович Билинский (1900–1948), художник театра и кино, живописец, график. В Париже в 1920–1930-х годах участвовал в постановках более чем 30 фильмов. Главную роль в фильме «Casanova» (1927) исполнил Иван Мозжухин, его партнершей была актриса Нина Кошиц (роль графини Воронцовой).

3. Саша Черный (наст. – Александр Гликберг, 1880–1932). Поэт Серебряного века, прозаик, журналист.

4. Вадим Дмитриевич Фалилеев (1879–1950), выдающийся гравер-живописец первой трети XX века. Ученик Я. Циоглинского. П. Мясоедова, М. Матэ. Член художественного объединения «Мир искусства». Мастер цветной линогравюры, цветной ксилографии и цветного офорта. Уехал навсегда из России в 1924 году. Скончался и похоронен в Риме.

5. Журнал «Новости детской литературы». 1916. № 8. С. 23–25.

6. Михаил Александрович Дризо (1887–1953), художник-график, карикатурист. Работал под псевдонимом MAD.

7. Яблоновский, А. «Живая азбука». *Возрождение*. 1927. 24 февраля. № 632. С. 3.
8. Кому предназначалась эта книга и почему она не осталась у адресата – не установлено.
9. (Чуковский, К.И. «Саша Черный». В: *Саша Черный. Стихотворения*. СПб.: Петерб. писатель, 1996. С. 15.
10. В.Н. Ладыженский (1959–1932), писатель, критик, журналист. С 1919 года жил во Франции; Ладыженский В. *Детская книга. Саша Черный. Дневник фокса Микки*. Рис. Рожанковского. Париж, 1927. – *Возрождение*, 27 июня, № 755. С. 2.
11. В переводе с немецкого *sturm and drang* – буря и натиск, в данном случае – лихолетье, трудное время.
12. Саша Черный. *Стихотворения*. М.-Л. Советский писатель, 1962. (Семейный архив Рожанковского. Далее сокращенно – САР).
13. В 1927 году Ф. Рожанковский оформит обложки сборника стихов Д.Кобякова «Горечь» (Париж. Изд-во «Птицелов»), «Городка» Н.Тэффи (Париж. Изд-во Н.П. Карбасникова), а также обложку сборника для детей под редакцией Саши Черного «Молодая Россия» (Париж, 1927). В 1928 году создаст обложку сборника лирической сатиры Дон-Аминадо «Накинув плащ». (Париж. Изд-во «Нескучный сад»).
14. *Дмитрий Кобяков*. [Ред.-сост. С.А. Мансков]. Алтайский краевой университет, науч. б-ка им. В.Я. Шишкова. Барнаул; 2018.
15. Вот некоторые из номеров «ИР», обложки которых оформил Ф. Рожанковский: № 17 (50) Апрель 1926 – Пасхальный номер; № 27 (60) Июль, 1926 – «Замоскворечье»; № 29 (62) Июль, 1926 – «14 июля в Париже»; № 31 (64) Июль, 1926 – «Мороженщик»; № 33 (66) Август, 1926 – «На пляже»; № 35 (68) Август, 1926 – «Лихач»; № 37 (70) Сентябрь, 1926 – «Осень»; № 39 (72) Сентябрь, 1926 – «Ярмарка в деревне».
16. «Русский Монмартр». Рис. Ф. Рожанковского. *Иллюстрированная Россия*, 1926, март, №10 (43). С.3.
17. Kessel, Joseph. *Nuits de Princes*. Paris. Éd. de France. 1927.
18. Bonney, Therese, and Bonney, Louise. *A Shopping Guide to Paris*. New York: R.M. McBride & Company, 1929.
19. Наталья Георгиевна Парэн (урожд. Челпанова, 1897–1958), родилась в Киеве в семье философа и психолога Г.И. Челпанова. Обучалась в Москве на живописном отделении ВХУТЕМАСа искусству гравюры по дереву у В.А. Фаворского, рисунку – у Д.П. Штеренберга, живописи – у П.П. Кончаловского. В 1926 году вышла замуж за атташе по культуре посольства Франции в Москве Бриса Парэна – философа, писателя, издателя.
20. Рене, Татьяна Майар-Парэн. *Франция – Россия. Расставания и встречи. Хроника семьи на стыке двух миров*. Редактор-составитель М. Макаров. Париж. 2020. С. 50.
21. Archives de Paris: <https://archives.paris.fr/s/11/denombrements-de-population/resultats/>
22. В 1923 году у Каролины Боссерт родился сын Жак, а через год она вышла замуж за плотника Ж. Мариона, который официально признал свое отцовство. В 1933 году Марион скончался. Сын Иветт (Каролины) умер в 1944 году. Забегая вперед, скажем: отъезд Рожанковского в Америку в 1941 году был для Иветт настоящим ударом. Художник какое-то время скрывал от нее новость о том, что женился, просил не сообщать об этом и друзей, с которыми он поддерживал переписку. Иветт же долго писала ему и до последнего

надеялась на его возвращение. Все военные годы Рожанковский помогал своей бывшей подруге – отправлял посылки и денежные переводы. В 1946-м, когда он жил уже пять лет в Америке и был женат на Нине Федотовой, во время очередной переписи населения, Иветт впервые назвала себя Каролиной Марион.

23. Boone, Daniel. *Les aventures d'un chasseur americain parmi les Peaux-Rouges*. [Illustrateur Rojankovsky, Fedor]. Paris: Domino Press, Esther Averill and Lila Stanley. 1931.

24. Фернан Мурло (*Fernand Mourlot*, 1895-1988), парижский литограф, представитель четвертого поколения в семье печатников. В Mourlot Studios приезжали работать для создания оригинальных графических произведений искусства выдающиеся художники: А. Матисс, Ж. Брак, П. Пикассо и мн. др.

25. Dupuy, R.-L. «Feodor Rojankovsky». *Gebrauchsgraphik*, 1932. IX. № 12. P.41.

26. Averill, Esther. «Unfinished portrait of an Artist». *Horn Book*, 1956. № 4. P.246.

27. Eaton, Anne T. «New Children's Books». *New York Times Book Review*. 14 August, 1932.

28. Что же касается дальнейшей судьбы Эстер Аверилл: после десятилетнего пребывания во Франции она вернулась в Соединенные Штаты, основала нью-йоркское издательство – The Domino Press: New York, работала в Нью-Йоркской публичной библиотеке и параллельно изучала живопись в художественной школе при Бруклинском музее. Писательскую славу Э. Аверилл принесла серия «Кошачий клуб» – 13 историй о черной кошке по имени Джесси Ленски. Книга «День рождения Джесси», написанная и проиллюстрированная ею в 1954 году, была признана лучшей детской книгой года, по версии *New York Times*.

29. В одной из статей историка искусства Сесиль Пишон-Боне говорится о том, как Поль Фоше привлек Рожанковского к сотрудничеству с «Фламарионом» – «...это случилось после того, как ему (Фоше. – Л.В.) случайно попала в глаза проиллюстрированная им (Рожанковским. – Л.В.) книжка с 12 баснями Лафонтена (это была реклама, которую распространяла парижская фармацевтическая лаборатория «Rosa»). Пишон-Боне, С. «Роль русских иллюстраторов 'Папаши Бобра' в обновлении детской книги во Франции в 1930-х гг.: биографии художников и анализ 'фактуры'». *Детские чтения*. Т. 16. № 2. С. 157.

30. *Paul Faucher* (псевдоним *Père Castor* (Папаша Бобер), 1898-1967). Французский педагог, редактор издательства «Фламарион». На примере образовательной системы, созданной чешским педагогом Ф. Бакуле, создал серию развлекательных и, одновременно, познавательных книг, стимулирующих у детей дошкольного возраста творческую активность, в т.ч. и тактильную – рисунки в книге можно было раскрашивать, вырезать и склеивать.

31. *Lida Durdíková* (псевдоним – Lida, 1899-1955). Чешская писательница, переводчица, педагог. В 1920-е годы была помощницей чешского педагога Франтишека Бакуле в доме для детей-сирот с физическими недостатками. С 1932 года – жена и соавтор издательской концепции Поля Фоше. С 1933 года проживала во Франции.

32. *František Bakule* (1877-1957). Чешский педагог-гуманист, создатель школы-коммуны для детей с ограниченными возможностями, которой управляли сами дети. Школа приобрела широкую известность благодаря детскому хору, гастролировавшему по странам Европы вплоть до Второй мировой войны.

33. После смерти Поля и Лиды дело продолжил их сын Франсуа, крестным

отцом которого был Франтишек Бакуле. В 1996 году была создана ассоциация «Друзья Папаши Бобра», которая взяла на себя задачу сохранения и распространения наследия Поля Фоше под руководством его сына Франсуа. Серия книг «Альбомы Папаши Бобра» в 2018 году включена в реестр Всемирного наследия ЮНЕСКО.

34. Christian Lacroix. *Pêle-mêle*. Paris. Thames & Hudson, 1997. С. 98-99.

35. Сохранившийся фрагмент письма Ф. Рожанковского к В. Иванову. 25. VII.1931. САР.

36. Фрагмент письма Ф. Рожанковского к В. Иванову. 22 мая (предположительно 1932). Париж-Нью-Йорк. САР.

37. ЦДА. Ф.5. Оп. 7. а.е. 2 д.

38. Юрий Павлович Анненков (1889–1974), русский и французский живописец, график, художник театра и кино, литератор, историк искусства.

39. Мэри Бэйкер Эдди (1821–1910), американская писательница, основательница религиозного движения «Христианская наука».

40. Письмо Ф. Рожанковского к В. Иванову. 5. IX.1932. Saint-Tropez. С.6. САР.

41. Парижский театр «Опера-Комик» – Национальный театр комической оперы. В 1932 году на сцене этого театра состоялись три спектакля в рамках антрепризы «Русская опера в Париже». В мае была дана премьера «Князя Игоря» (партию Галицкого исполнил Ф. Шалапин, хореограф Б. Нижинский). В июне – «Моцарт и Сальери» и «Борис Годунов». Премьера «Годунова» состоялась годом раньше в Театре Елисейских полей.

42. *Cinemon*d – популярный еженедельный киножурнал, запрещенный во Франции в годы нацистской оккупации.

43. Главную роль в фильме «Don Quichotte» (1933) исполнил Федор Шалапин.

44. Вильгельм Фуртвенглер (1886-1954), немецкий композитор; Феликс Вейнгартнер (1863-1942) – австрийский дирижер и композитор.

45. Автобиографический роман итальянского скульптора, ювелира, писателя Бенвенуто Челлини (1500-1571).

46. Письмо Ф. Рожанковского к В. Иванову. 5. IX.1932. Сен-Тропе. САР.

47. *Художники русского Зарубежья. Первая и вторая волна эмиграции: биографический словарь*: [В 2 т.] О.Л. Лейкинд, К.В. Махров, Д.Я. Северюхин; Фонд им. Д.С. Лихачева. СПб. 2019.

48. Устинова, Т.И. *Воспоминания: автобиографический очерк. Кроноцкий заповедник, люди и судьбы*. Камчатпресс. 2011. С.7.

49. Там же. С. 8.

50. Новицкий Г. «Памяти художника В.С. Иванова». *Новое русское слово*. 1965. 23 декабря.

51. Договор членов Товарищества «Союз русских художников» (САР). Подробнее о творческой жизни художников-эмигрантов на Босфоре, в том числе о круге Владимира Иванова в Константинополе, рассказывается в книге: Айгюн, Екатерина. *Дом вдали у дома: Художники-эмигранты из Российской империи в Стамбуле*. М.: Музей Современного искусства «Гараж», 2025.

52. «Последние новости» – популярная русскоязычная газета, издаваемая в Париже с 1920 по 1940 годы. С нее начиналось утро Рожанковского. На фотографиях тех лет Рожанковский читает «Последние новости» на улице за чашкой кофе, либо она лежит у него в мастерской на столе.

53. Андре Дюнуайе де Сегонзак (1884–1974), французский художник, график и иллюстратор. Один из крупнейших представителей реалистической живописи во Франции в период между двумя мировыми войнами.

54. Ф. Рожанковский к В. Иванову. 5. IX. 1932. Стр. 5. Сен-Тропе (САР).
55. Саша Черный скончался в Провансе 5 августа 1932 года на 52-м году жизни от сердечного приступа, помогая соседям тушить пожар.
56. Ф. Рожанковский к В. Иванову. Сентябрь 1932. Сен-Тропе (САР).
57. Ф. Рожанковский к В. Иванову. Сен-Тропе. 5. IX. 1932 (САР).
58. Бенуа, А. «Художественные письма». *Последние новости*. Декабрь. 1933.
59. Из письма Ф. Рожанковского к Полю Фоше. 17 июля 1934. (Архив «Друзья Дядюшки Бобра» *Amis du Père Castor*). Перевод Максима Макарова.
60. Такой «дедикас» оставит Рожанковский на титульной странице первого издания книги «Заяц Фру» (*Froux le lievre*, Flammarion, 1935). К печатному имени *Rojan* художник от руки допишет *kovsky*. Этот автограф Рожанковский посвятил дочке Татьяне для ее личной книжной коллекции.
61. Рене, Татьяна Майяр-Парэн. *Франция-Россия...* С. 41.
62. Там же. С. 45.
63. Рожанковский Иванову. Сен-Тропе. 5. IX. 1932. САР.
64. Натали (Nathalie) – так ее имя стало звучать после выхода книги «Моя кошка» в издательстве «Галлимар», в семейном же кругу и для близких друзей ее звали Наташей.
65. Книга *Panache l'Écureuil* вышла в издательстве «Фламмарион» в 1934 году и мгновенно попала в реестр бестселлеров.
66. Рене, Татьяна Майяр-Парэн. *Франция-Россия...* С. 85.
67. Из письма Ф. Рожанковского к Полю Фоше. 31 июля 1935 года. Плесси-Робинсон.

Олег Лекманов

Как и из чего сделан «Неживой зверь» Н. Тэффи

1.

Рассказ, о котором пойдет речь, – программный. Именно его заглавие было в итоге присвоено сборнику рассказов Тэффи, вышедшему в издательстве «Новый Сатирикон» в 1916 году.

А первая публикация «Неживого зверя» состоялась в номере газеты «Русское слово» от 25 декабря 1911 года. Не только день, выбранный для этой публикации (западное Рождество) вкупе с фамилией автора (популярной юмористки), но и начальная фраза рассказа («На елке было весело». (296)¹) вводили читателя в заблуждение, обещая ему благостную рождественскую историю с обязательным счастливым концом.

Это заблуждение не развеивалось и после прочтения двух начальных абзацев:

На елке было весело. Наехало много гостей, и больших, и маленьких. Был даже один мальчик, про которого нянька шепнула Кате, что его сегодня высекли. Это было так интересно, что Катя почти весь вечер не отходила от него; всё ждала, что он что-нибудь особенное скажет, и смотрела на него с уважением и страхом. Но высеченный мальчик вел себя, как самый обыкновенный, выпрашивал пряники, трубил в трубу и хлопал хлопушками, так что Кате, как ни горько, пришлось разочароваться и отойти от него.

Вечер уже подходил к концу, и самых маленьких, громко ревуших ребят, стали снаряжать к отъезду, когда Катя получила свой главный подарок – большого шерстяного барана. Он был весь мягкий, с длинной кроткой мордой и человеческими глазами, пах кислой шерстью и, если оттянуть ему голову вниз, мычал ласково и настойчиво: мэ-э! (*там же*)

Хотя читателя могут насторожить две дисгармоничные детали (мальчик, которого высекли; плач маленьких детей), однако эта потенциальная настороженность абсолютно нейтрализуется контекстом. Катин интерес к высеченному мальчику как к особому, уникальному существу выглядит не трагически, а комически; а плач уставших маленьких детей, которым давно пора спать, но которые не хотят уходить с праздника, явление настолько часто встречающееся, что печали в читателе не пробуждает. Тем более, что саму Катю, судя по ее жгучему интересу к высеченному мальчику, никогда так жестоко

не наказывали, а подаренный ей на рождество большой шерстяной баран – это хотя и «главный», но только один из врученных ей подарков. То есть девочка в зачине рассказа выглядит вполне благополучной и окруженной заботой.

Первый недвусмысленный сигнал тревоги Тэффи посылает читателю во фрагменте, следующем сразу же за только что процитированным. Игнорирование матерью вопроса дочери свидетельствует о том, что мать «уже давно» перестала интересоваться Катинной жизнью:

Баран поразил Катю и видом, и запахом, и голосом, так что она даже, для очистки совести, спросила у матери:

– Он ведь не живой?

Мать отвернула свое птичье личико и ничего не ответила; она уже давно ничего Кате не отвечала, ей всё было некогда. Катя вздохнула и пошла в столовую поить барана молоком. (*там же*)

Весьма показательно, что именно в этом фрагменте начата ключевая для понимания смысла рассказа серия уподоблений *каждого* взрослого персонажа «Неживого зверя» тому или иному животному.

Вслед за матерью-птицей в рассказе появляются:

– подруги Катинной няньки – «бабы с лисьими мордами» (297);

– отец-козел («Пришел весь серый, сердитый, борода мохнатая, смотрел исподлобья, по-козлиному» (300));

– учительница-пёс («Она <...> похожа была на старого умного цепного пса, даже около глаз были у нее какие-то желтые подпалины, а голову поворачивала она быстро и прищелкивала при этом зубами, словно муху ловила» (300));

– и даже самое близкое к Кате существо – нянька – в финале предстает в облики кошки («Катя забилась в постель, закрылась с головой, молчала и не плакала. Боялась, что нянька проснется, ощерится по-кошачьи и насмеется с лисьими бабами над шерстяной смертью неживого зверя» (301)).

С людьми-животными в рассказе соседствуют настоящие и очень страшные звери – крысы, а также полусказочная-полуфольклорная огневица (печной огонь):

В детской перед обедом углы делались темнее, точно шевелились. А в углу трещала огневица – печкина дочка, щелкала заслонкой, скалила красные зубы и жрала дрова. (297)

Нужно отметить, что персонажи рассказа ведут себя в полном соответствии со своими звериными сущностями. Так, например, нянька-кошка ненавидит не только крыс, но и пришедшую наставлять Катю учительницу-пса (а учительница отвечает ей взаимностью):

Нянька выбежала, вернулась, засуетилась.

– Пришла твоя учительница, морда, как у собачицы, будет тебе ужо.

Учительница застучала каблуками, протянула Кате руку. <...> Осмотрела детскую и сказала няньке:

– Вы – нянька? Так, пожалуйста, все эти игрушки заберите и вон, чтоб ребенок их не видел. Всех этих ослов, баранов – вон! (300)

Также следует обратить внимание на то обстоятельство, что едва ли не основным видом деятельности и метафорических, и настоящих, и фольклорных животных в рассказе Тэффи предстает еда и всё, с ней связанное, – в первую очередь, грызение. Роковая ссора отца и матери произошла за обедом, «после супа» (297); «лиси бабы» вместе с нянькой пили водку и закусывали ее «вонючей рыбой» (298); старая учительница словно бы ловила ртом мух (300); огневица «жрала дрова» (297); крысы отгрызли «у баринова чемодана все углы» (298), а затем разорвали на куски шерстяного барана.

Символика этой серии эффектных уподоблений прозрачна. Традиционно связываемые в народной демонологии с дьявольским началом животные (птица, лиса, козел, пёс, крыса, огневица²) противопоставлены в «Неживом звере» барану-Агнцу (Христу, очистительной жертве) «с кроткой мордой и человеческими глазами» (больше ничьи глаза в рассказе не упоминаются). По-видимому, неслучайно учительница велит вынести из детской не только неживого барана, но и игрушечного осла – животное, опосредованно связанное с Христом (въезд в Иерусалим).

Таким образом, прием, примененный Тэффи в зачине (обман, а затем переворачивание читательских ожиданий), работает и во всем рассказе. Активное живое вопреки традиции оказывается хуже апатичного неживого, и традиционный рождественский рассказ с грустным началом и благополучным финалом превращается в рассказ с относительно благополучным началом и грустным финалом. Дьявол в рассказе Тэффи одерживает победу над Христом, и ребенку, познавшему невеселую тайну жизни, предписывается существовать так, как в течение всей советской эпохи будут вести себя рожденные в те же годы, что и Катя, представители близкой ей социальной прослойки: «Затихла вся, сжалась в комочек. Тихо будет жить, тихо, чтоб никто ничего не узнал» (301).

2.

Знакомясь с «Неживым зверем», внимательный читатель русской модернистской прозы почти с неизбежностью вспоминает одно из главных модернистских произведений этого периода – роман Федора Сологуба «Мелкий бес» (1902 г.*).

Начну с того, что и в «Мелком бесе» возникает проекция баран – Агнец, причем у Сологуба, как позднее и у Тэффи, эта параллель особенно отчетливо вводится через описание сна.

* Роман завершён в 1902 г., впервые частично опубликован в ж. «Вопросы жизни». 1905. № 6-11.

«Мелкий бес»:

– Я сегодня <...> интересный сон видел, – объявил Володин, – а к чему он, не знаю. Сижу это я будто на троне, в золотой короне, а передо мною травка, а на травке барашки, всё барашки, всё барашки, бе-бе-бе. Так вот всё барашки ходят, и так головой делают, и всё этак бе-бе-бе.

Володин прохаживался по комнатам, тряс лбом, выпячивал губы и блял. Гости смеялись. Володин сел на место, блаженно глядя на всех, щуря глаза от удовольствия, и смеялся тоже бараньим, блеющим смехом.

– Ну, что же дальше? – спросила Грушина, подмигивая гостям.

– Ну, и всё барашки, всё барашки, а тут я и проснулся, – кончил Володин.

– Барану и сны бараньи, – ворчал Передонов, – важное кушанье – бараний царь. (177)³

«Неживой зверь»:

Уснула Катя на мокрой от слез подушке и сразу пошла гулять по зеленой дорожке, и баран бежал рядом, щипал травку, кричал сам, сам кричал мэ-э и смеялся. Ух, какой был здоровый, всех переживет! (299)

Совершенно очевидным кажется и то, что главный inferнальный персонаж «Неживого зверя» – огневица – это вписанная в декорации рассказа Тэффи *недотыкомка* из романа Сологуба.

«Неживой зверь»:

А в углу трещала огневица – печкина дочка, щелкала заслонкой, скалила красные зубы и жрала дрова. Подходить к ней нельзя было: она злоющая, укусила раз Катю за палец. Больше не подманит. (297)

«Мелкий бес»:

...пламенная недотыкомка, прыгая по люстрам, смеялась и навязчиво подсказывала Передонову, что надо зажечь спичку и напустить ее, недотыкомку огненную, но не свободную, на эти тусклые, грязные стены, и тогда, насытившись истреблением, пожав это здание, где совершаются такие страшные и непонятные дела, она оставит Передонова в покое. И не мог Передонов противиться ее настойчивому внушению. Он вошел в маленькую гостиную, что была рядом с танцевальным залом. Никого в ней не было. Передонов осмотрелся, зажег спичку, поднес ее к оконному занавесу снизу, у самого пола, и подождал, пока занавес загорелся. Огненная недотыкомка юркою змейкою поползла по занавесу, тихонько и радостно взвизгивая. Передонов вышел из гостиной и затворил за собою дверь. Никто не заметил поджога. (234–235)

Как представляется, именно у Сологуба Тэффи в данном случае позаимствовала сам прием размывания границы между объективной реальностью и субъективным, настроенным на мистическое видение взглядом на события персонажа. Приведем здесь очень «сологубовскую» цитату из «Неживого зверя», описывающую, как вполне реальные подруги Катиной няньки превращаются в сознании девочки в

страшных ведьм, проникающих в детскую (то есть – в ее сокровенный, интимный мир):

Стали приходиться из кухни какие-то бабы с лисьими мордами, моргали на Катю, спрашивали у няньки, шептали, шуршали:

– А он ей... В-вон! А она ему...

Нянька часто уходила со двора. Тогда лисьи бабы забирались в детскую, шарили по углам и грозили Кате корявым пальцем.

А без баб было еще хуже. Страшно. (297)

Наконец, и тот прием, о котором я писал в начале этой заметки – благостное начало произведения, обманывающее читателя, был ранее применен в знаменитом первом абзаце «Мелкого беса»:

После праздничной обедни прихожане расходились по домам. Иные останавливались в ограде, за белыми каменными стенами, под старыми липами и кленами, и разговаривали. Все принарядились по-праздничному, смотрели друг на друга приветливо, и казалось, что в этом городе живут мирно и дружно. И даже весело. Но всё это только казалось. (11)

В воспоминаниях о Федоре Сологубе, впервые опубликованных в 1949 году, Тэффи рассказала необычную историю своего знакомства с ним. Тэффи сообщают, что Сологуб переделал ее стихотворение «Пчелки», и, впервые встретившись с Сологубом, она сразу же спрашивает:

– Федор Кузьмич, вы, говорят, переделали на свой лад мои стихи.

– Какие стихи?

– «Пчелка».

– Это ваши стихи?

– Мои. Почему вы их забрали себе?

– Да, я помню, какая-то дама читала эти стихи, мне понравилось, я и переделал их по-своему.

– Эта дама – я. Слушайте, ведь это же нехорошо так забрать себе чужую вещь.

– Нехорошо тому, у кого берут, и недурно тому, кто берет.

Я засмеялась.

– Во всяком случае, мне лестно, что мои стихи вам понравились.

– Ну вот видите. Значит, мы оба довольны.

На этом дело и кончилось⁴.

Столь экстравагантное начало знакомства не помешало, однако, дальнейшей и многолетней дружбе Сологуба с Тэффи, а может быть, этой дружбе даже поспособствовало.

Рассказ Тэффи «Неживой зверь» можно прочесть как своеобразный писательский ответ на выходку Сологуба, забравшего «себе чужую вещь». В качестве компенсации Тэффи переделала на свой лад фрагменты главной «вещи» самого Сологуба – его прославленного романа «Мелкий бес».

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Здесь и далее рассказ цитируется по изданию: Тэффи. *Собрание сочинений: в 5 тт.* Т. 2. М., 2011. С указанием в скобках номера страницы.
2. В фольклорных текстах Архангельской и Олонецкой губерний Огневицей называли лихорадку – одну из двенадцати дочерей Ирода (*Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии.* Собр. П.С. Ефименком. Ч. 2. М., 1878. С. 161).
3. Здесь и далее роман цитируется по изданию: Сологуб, Ф. *Мелкий бес.* Серия «Литературные памятники». СПб., 2004. С указанием в скобках номера страницы.
4. «Федор Сологуб: Из воспоминаний Н. А. Тэффи». *Новое русское слово.* 1949. 9 января. С. 2.

ИНТЕРВЬЮ

Гуд-бай, Голос?..

Интервью с радиожурналистом Людмилой Оболенской-Флам

Напомним читателю НЖ драматические события весны-лета 2025 года, сломавшие привычную структуру работы американских независимых СМИ. По распоряжению президента Д. Трампа в этот период времени произошло сокращение штата Агентства США по глобальным медиа на 85%, в их числе – более шестисот сотрудников «Голоса Америки», что фактически привело к закрытию радиокomпании. Собственно, сегодня «Голос» перестал звучать, кроме четырех служб на специфических языках, вроде языка мандаринов (официальный язык Китая, однако на русском и в данной ситуации это воспринимается весьма двусмысленно. К 2025 году ГА звучал на 49 языках на аудиторию в 360 млн слушателей)... Согласно информации The New York Times от 28 августа судья Ройс К. Ламберт из Окружного суда США по округу Колумбия постановил, что представители администрации Трампа не могут уволить директора ГА Майка Абрамовица без одобрения Международного консультативного совета по вещанию, двухпартийного органа, призванного контролировать политическое влияние на редакции, финансируемые из федерального бюджета. Сотрудники ГА, в свою очередь, выступили с коллективным иском против решения администрации президента; очередное заседание суда назначено на 15 сентября, когда этот номер НЖ будет уже в типографии...

– Людмила Сергеевна, сегодня мы будем говорить о судьбе знаменитой среди русскоязычной диаспоры радиостанции «Голос Америки», которая переживает весьма непростой момент своей восьмидесятилетней жизни. Вы всю жизнь проработали на «Голосе», стояли, практически, у истока. Мало кто помнит, что «Голос Америки» (далее – ГА) был создан в феврале 1942 года не как орган антикоммунистической пропаганды, а как радио, направленное против нацистской Германии, против геббельсовской пропагандистской машины в Европе. Оригинальное название канала – «Америка вызывает Европу» (America Calling Europe), также использовали «Голос Соединенных Штатов Америки» (Voice of the United States of America). То есть эта служба изначально была правительственной, федеральной, отражала задачи

Людмила Сергеевна Оболенская-Флам, радиожурналист, проработавший на «Голосе Америки» (VOA) более 40 лет; публицист, мемуарист. Родилась в Риге (Латвия), внучка литератора и правоведа Петра Якоби, праправнучка академика Бориса Якоби. В течение своей карьеры на VOA работала корреспондентом в Нью-Йорке, Мюнхене, Москве, Мадриде, Будапеште и Вашингтоне (округ Колумбия); занимала руководящую должность в штаб-квартире VOA. Возглавляла в США общественный комитет «Книги для России» (1997–2016). Автор книг «Вики; княгиня Вера Оболенская» (1996, 2005), «Правовед П.Н. Якоби и его семья: воспоминания» (2014), «Vicky. A Russian Princess in the French Resistance» (2022); составитель сборника мемуарных очерков «Судьбы поколения 1920–1930-х годов в эмиграции» (2006), автор многочисленных статей в журналах и газетах.

внешней политики США и направлена была на борьбу с гитлеровской Германией в военные годы – с целью дать оккупированной Европе правдивую информацию о происходящем. Вы жили тогда в Латвии. Слушала ли ваша семья и друзья ГА в Прибалтике?

Л.О-Ф: Нет, мы даже не знали о существовании такой станции. Мы слушали во время войны русскую передачу из Финляндии, иногда – московское радио с голосом Левитана. А когда мы попали в Германию, родители слушали тайком новости по BBC. Я же о существовании ГА узнала практически только тогда, когда поступила туда на работу. Дело в том, что в те годы у ГА была очень малая мощность, это потом были построены мощные передатчики в Танжере, а затем и на Тайване, и нас можно было слушать как на коротких, так и на длинных волнах.

– В 1952 году Вы начали работать в качестве диктора Русской службы Европейского отделения ГА в Мюнхене. В Мюнхен Вы приехали из Марокко. Давайте отвлечемся на Северную Африку. Как Вы попали в Марокко? Расскажите о вашей семье, об эмиграции из Прибалтики.

Л.О-Ф: Мы перебрались в Германию в период наступления Красной армии еще во время войны, в 1944 году. Дело в том, что когда советские войска в первый раз вошли в Прибалтику в 1940 году, и я провела год под советской властью в Латвии, нашей семье пришлось довольно плохо – как и многим подобным семьям.

Я родилась 14 июня 1931 г. в Риге. Отец, Сергей Николаевич Чернов, был инженером, работал на вагоностроительном заводе «Вайрогс». Мама, Зинаида Петровна, была одной из дочерей известного юриста Петра Николаевича Якоби – к тому же, основателя и редактора единственного в Русском Зарубежье юридического журнала «Закон и Суд». Его сыновья – художник Маврикий и журналист Николай – сотрудничали в знаменитой газете «Сегодня», издававшейся русской эмиграцией, и в журнале «Для вас»; одна из дочерей (сценическое имя Вера Лихачева) была прима-балериной балета Рижской оперы; прима-балериной была и Галина Чернова, сестра отца. В 1940-м, после советской оккупации Латвии, деда и одну из маминих сестер арестовали. Дедушка погиб в пересыльном лагере в Котласе, тетю удалось выцарапать из тюрьмы. 14 июня 1941 года, как раз в день моего рождения, началась массовая депортация из Прибалтики в Сибирь – было вывезено практически полмиллиона людей; нас просто не успели отправить по этапу – мы были в списках тех, кто предназначался к депортации в следующей партии. Более того: моего отца должны были расстрелять... Парадоксально, но нас спасло наступление немецкой армии. Так что в 1944 году при наступлении Красной армии выбора у нас – бежать или оставаться – не было. Никакой симпатии к нацистской Германии мы, естественно, не испытывали, но пришлось родителям выбрать меньшее зло.

В Марокко мы попали уже после войны. Мы собирались ехать в США, но с нашими бумагами уехала другая семья. Как это получилось, не совсем ясно; я думаю, просто было время, когда многие бывшие советские граждане, оказавшиеся в Германии в результате войны, старались приобрести себе ложное гражданство прибалтийских стран, выходцы из которых не подлежали насильственной репатриации, – ведь по Ялтинскому соглашению союзников по антигитлеровской коалиции все лица, располагавшие советским гражданством на 1939-й год, должны были быть репатриированы в СССР, в том числе насильственно, если они отказывались возвращаться*. Я полагаю, что каким-то образом кому-то удалось заполучить наши документы на выезд в США. А моим родителям пришлось начать всю процедуру с нуля. Но оставаться в Европе они боялись: то было время, когда шла блокада Берлина, в Европе была напряженная атмосфера, и все опасались, что Сталин двинет войска и начнется новая война. Так что мои родители решили, что нужно срочно куда-то выехать, а в Марокко у нас уже находились родственники. Папа получил контракт на работу в Касабланке – так мы оказались в Северной Африке, где я прожила четыре года.

Потом я поехала повидать родственников, которые оставались в Германии, и там случайно познакомилась с директором Русской службы Европейского филиала ГА Чарльзом Львовичем Маламутом (Charles Malamuth); он и предложил мне: будете в Мюнхене – заходите, мы устроим вам пробу голоса. В прошлом Маламут был журналистом, работал в Associated Press в Москве. Перевел на английский Валентина Катаева, а также был известен тем, что сопровождал Ильфа и Петрова, когда те путешествовали по Америке. И в их книге «Одноэтажная Америка» фигурирует под фамилией Смит. Он оказался не только их гидом и переводчиком, но и «умыкнул» жену одного из них – к сожалению, не знаю, была ли она женой Ильфа или Петрова: спросить было неловко. Ренэ была очень милая, гостеприимная женщина, я часто у них бывала. Помню, меня поразило, что мой американский шеф после ужина убирал и мыл посуду! У русских, в моем представлении, это невозможно.

Так вот, я прошла, как у нас называлось, *пробу голоса* и стала работать диктором на ГА.

– *Согласно энциклопедиям, главным инициатором русскоязычной программы был У.А. Гарриман**.* В начале 1946 года, отмечая недоста-

* Послевоенная волна русскоязычных эмигрантов в США включала эмигрантов первой, постреволюционной, волны, а также «вторую волну», состоящую из советских граждан, отказавшихся вернуться в СССР, – военнопленные, оstarбайтеры, беженцы. Получая статус Ди-Пи («перемещенное лицо»), они могли эмигрировать.

** У.А. Гарриман (1891–1986), дипломат, специальный представитель президента в Великобритании и СССР; он же, в частности, отвечал за ленд-лиз, а с 1948-го был координатором Плана Маршалла. В 1950–1951 гг. – специальный помощник президента Г.Трумэна, в 1954–1958 гг. – губернатор штата Нью-Йорк. В 1960-х – заместитель Госсекретаря США по Дальневосточному региону.

точную эффективность антикоммунистической пропаганды США на СССР; он доказывал правительству, что «радио – это единственное для США средство свободного и прямого обращения к советскому народу». То есть ГА переосмыслился как идеологический антикоммунистический пропагандистский канал. Отдельный русскоязычный канал на радиостанции появился в 1947 году, с началом Холодной войны, – и именно вещание на русском языке стало со временем приоритетным...

Л.О-Ф: Погодите... Тут так – да не так. Насчет роли Гарримана, признаюсь честно, я ничего не знаю. Но я знаю, что в те годы, когда я туда поступила, мы не считали себя *органом пропаганды*. Вот Вы упомянули ранние передачи ГА, начавшиеся в 1942 году. Он впервые вышел в эфир 24 февраля того года. Позже мы отмечали все его ровные годовщины, неизменно припоминали слова, обращенные к слушателям в оккупированных Германией странах Европы: «Каждый день, в этот час, мы будем извещать вас о положении в Америке и о войне. Новости могут быть хорошими и плохими. Мы будем говорить вам правду». Это обязательство перед слушателем считалось у нас основополагающим принципом. А в 1976 году президентом Джеральдом Фордом была подписана так называемая Хартия, или по-русски правильнее Устав «Голоса Америки». В нем подчеркивалось обязательство ГА служить авторитетным, надежным и объективным источником информации. Еще добавлялось и слово «исчерпывающим». Более того: Устав защищал ГА от политического давления; он должен был служить гарантом, что ГА не превратится в орган какой-то одной части общества, а будет отражать широкий спектр мнений; излагая официальную политику США, будет также допускать и критическое обсуждение ее. Но забавно, что при всей скрупулезности и гарантиях объективности ГА не имел права вещать в пределах самих США.

– Вы, очевидно, имеете в виду U.S. Information and Educational Exchange Act of 1948 («Закон Смита–Мундта»), по которому на территории самих Соединенных Штатов вещание «Голоса Америки» и других медиа, работающих на зарубежную аудиторию, было ограничено. Ограничения были отменены в 2012 году, тем самым ГА фактически был приравнен к СМИ, работающим внутри страны.

Л.О-Ф: Ограничения были сняты в силу того, что трудно было запрещать людям слушать канал, вещающий на другие страны, раз это доступно вашему радиоприемнику! Преследовать в США за слушание ГА было невозможно. Между прочим, к нам неоднократно поступали жалобы от новоприезжих из СССР на то, что им трудно здесь ловить волну ГА, к которой они так привыкли у себя дома!

– А почему вообще вначале были ограничения в вещании на США?

Л.О-Ф: Чтобы не дать возможности данной администрации страны влиять на умы избирателей, чтобы ГА не превратился в голос пропаганды действующего правительства.

– Интересна структура радиостанции. ГА имел редакции по разным странам вещания, к 2025 году ГА вел передачи на английском и 48 других языках, включая русский. Но давайте сосредоточимся на Русской редакции. Кто был директором Русской службы, кто создавал контент? А какие еще подразделения были, кто чем занимался?

Л.О-Ф: В тот момент, когда я поступила на работу в Мюнхене в 1952 году, у нас был шеф – Маламут, его помощник из США и несколько местных сотрудников – я, моя подруга Наташа из Югославии, молодой человек, который родился в Польше; старшим редактором был Александр Степанович Казанцев, автор книги «Третья сила» о русском национальном движении, которое ставило себе задачу быть и не со Сталиным, и не с Гитлером, а служить как бы идеологом возникшей во время войны Русской Освободительной Армии генерала Власова (РОА). Казанцев был эмигрант из Югославии. С его легкой руки я стала делать свои первые шаги на поприще радиожурналистики. Но сперва, помимо работы диктором и некоторых секретарских обязанностей, я должна была приходить на службу пораньше и слушать диктовку передовицы «Правды», передаваемую для районных советских изданий газеты. Это было очень скучно. Начиналось всё с достижений знатных доярок, квадратно-гнездового способа посадки картофеля и проч. проч. И вот когда диктор произносил: «Однако не всё у нас благополучно...» – тут становилось интереснее. Ответ на передовую «Правды» в тот же день писали для эфира либо сам Маламут, либо Казанцев: он это делал с немалой долей юмора. Из Нью-Йорка, где тогда находился главный персонал ГА, такая оперативность была бы, из-за разницы во времени, невозможна.

Надо сказать, что у нас, в Мюнхене, была довольно большая степень автономности от Центра ГА. Такое положение продолжалось приблизительно до 1958-го, когда структура ГА стала более централизованной; центр перевели в Вашингтон, и Русскую редакцию в Мюнхене прикрыли, оставив только корреспондентский пункт. В Нью-Йорке тоже оставили только костяк – который функционировал, скорее, как корпункт. А все остальные редакции – их, по-моему, тогда было 32 – перевели в Вашингтон, где сильнее чувствовалась рука Государственного Департамента.

– То есть, в отдельных городах продолжили работать только корпункты, правильно?

Л.О-Ф: Их было не так много. В Америке только два – Нью-Йорк и

Лос-Анджелес. А за океаном со временем появился и корпункт в Москве. Так вот, когда я с мужем переехала в Нью-Йорк, то я стала работать как внештатный корреспондент при этом корпункте.

– Я так понимаю, из русской эмиграции на ГА работали преимущественно эмигранты послевоенной волны. Кто еще, кроме Казанцева?

Л.О-Ф: Казанцев оставался в Мюнхене и перешел на работу в Русскую редакцию Радио «Свобода». На ГА в первые годы были преимущественно представители старой эмиграции – первой довоенной волны и некоторые уже вторично эмигрировавшие. Ну и, конечно, прибавились также служащие из числа «перемещенных лиц». Это была, я бы сказала, органическая смесь тех и других. Я вспоминаю Виктора Французова – он был нашим политическим обозревателем. Он родился в Российской империи, приехал в США еще до войны, воевал во время Второй мировой войны в Американской армии. Когда я переехала из Нью-Йорка на постоянную работу в Вашингтон, моим непосредственным начальником был Владимир Мансветов, поэт и тонкий знаток русской литературы. Он был из Праги, родился тоже в Российской империи. Его родители были эсэры, отбывали ссылку вместе в Лениным, – и, судя по воспоминаниям матери Мансветова, Ленин собирался стать этнографом, он очень интересовался сибирскими племенами. В своих воспоминаниях Мансветова писала о камлании, на которое к шаману пришел Ленин, чтобы узнать свою судьбу. Впавший в транс шаман предсказал ему – будет много крови.

– Но это его не остановило... Обидно, что он не стал этнографом. А как было бы славно: один – этнограф, другой – живописец, третий – семинарист... И всем было бы хорошо. Но что-то пошло не так...

Л.О-Ф: Помощником Мансветова был философ Сергей Левицкий. Мансветов был замечательным человеком, большой эрудит; к сожалению, вскоре после того, как я стала работать в его отделе, он заболел и скоропостижно скончался. Да... а меня назначили на его место.

– Тогда подробнее расскажите, как Вы организовали работу отдела.

Л.О-Ф: В то время Виктор Французов был начальником т.н. отдела новостей (News Branch), куда входили последние известия и анализ политических событий – преимущественно, но не только, поступавшие из центрального, англоязычного, отдела для всех языковых редакций. Но многое комментировал сам Французов. А я унаследовала от Мансветова т.н. культурный отдел (Features Branch). Но культура – понятие растяжимое. Помимо собственно культуры (театр, кино, книги и т.п.) туда входило сельское хозяйство, новости науки и техники, молодежные программы, музыкальные – под нашу музыку

ребята в Советском Союзе отплясывали. Я расширила религиозную программу. Приняла на работу священника отца Виктора Потапова, который вел интересные беседы на религиозные темы о православии в Америке – и не только. Тематика его программ была очень широкая, он говорил, в том числе, о русской религиозной мысли 19-го – нач. 20-го веков и о ее распространении в Европе и Америке.

– *Он ведь до сих пор служит в храме в Вашингтоне...*

Л.О-Ф: Да, он настоятель Иоанно-Предтеченского собора Зарубежной Церкви в Вашингтоне. Нам также посылал звукозаписи своих бесед архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Иоанн (Шаховской), Православная Церковь Америки. Он никогда не укладывался в отведенное ему время – я сидела и вырезала лишние слова из его записи, чтобы уложить в формат. А когда он приехал в Вашингтон, я пригласила его к нам на ужин и призналась: «Владыка, Вы знаете, я ведь Ваши программы сокращаю...» – «Знаю, знаю, я по субботам сижу у радио и слушаю и сравниваю мой текст с тем, что вы выпускаете в эфир.» Потом мы завели еврейскую программу, освещали проблемы еврейского населения в СССР и, параллельно, жизнь и интересы еврейских общин в США. Много говорили об «отказниках», о проблемах с эмиграцией. Многих выезжающих по еврейской линии, как и тех, кто был выслан за правозащитную деятельность, мы потом интервьюировали. Это уже в 70-е и 80-е годы.

– *У вас были чисто литературные программы?*

Л.О-Ф: Была специальная еженедельная программа «Книги и люди»*, довольно широкая. Мы читали переводную американскую литературу и из того, что появлялось в русскоязычной печати в Америке. И конечно, проводили интервью с писателями, кто находился здесь. Скажем, я пригласила в качестве внештатного сотрудника Льва Лосева**, он делал очень содержательные беседы.

– *Мне кажется, поэт второй эмиграции Иван Елагин делал скетчи?*

Л.О-Ф: Это, по-моему, было для «Свободы», но какие-то интервью с

* По воспоминаниям Ираиды Легкой (НЖ, № 280, 2015), «...После того, как профессор Сергей Левицкий ушел из 'Голоса' преподавать в Джорджтаунский университет, <...> Я стала вести программу 'Книги и люди', выступая под фамилией своего первого мужа Ванделлос». Ираида Иоанновна Легкая (1932–2020), дочь епископа Иоанна Легкого, Русская Православная Церковь за границей. По первому браку – Ванделлос, по второму – Пушкарева (муж – Борис Пушкарев, один из лидеров НТС, сын историка, эмигранта Сергея Пушкарева), поэтесса, переводчица, публицист, радиоведущая; эмигрантка второй волны.

** Лев Лосев (Лифшиц, 1931–2009), поэт, литературовед и эссеист, эмигрант третьей волны; профессор Dartmouth College, США. С 1983 года вел литературную передачу на ГА. Автор многочисленных книг по русской литературе.

ним мы ставили в программу. Но вот что я вспомнила: у Елагина был замечательный перевод поэмы «Тело Джона Брауна» – о периоде Гражданской войны в Америке и посвященной этому казненному аболиционисту. Мы ее передавали в эфир. Но постоянным сотрудником ГА Иван Елагин не был. Потом, когда появился Василий Аксенов, я привлекла и его: он сделался одним из наших постоянных внештатных сотрудников. Но это было уже в 80-х годах, когда я временно исполняла обязанности начальника всего русскоязычного вещания ГА.

– Говоря про 70-е годы – с кем из Советского Союза Вы проводили интервью, ведь тогда были частые гастроли оттуда.

Л.О-Ф: Это началось еще в 60-е годы, когда появилась договоренность между США и Советским Союзом о культурных обменах. Лично я, будучи еще в Нью-Йорке, интервьюировала Игоря Моисеева*. А когда впервые приехал Большой театр – это было одноразовое, но значительное событие, – я передала в ту же ночь репортаж об открытии гастролей в прямом эфире по Московскому радио! Помню, очень волновалась. Это был единственный случай на ту пору. А позже – после 1991 года – мы проводили в прямом эфире неоднократные радиомосты на разные темы со специалистами по ту и эту сторону океана.

Но Вы, Марина, заговорили о семидесятих годах. С начала 70-х я уже была в Вашингтоне. А в 1976-м произошло очень важное для меня событие, имевшее также последствие и для ГА, – меня отправили в тридцатидневную командировку в Советский Союз для ознакомления с нашей аудиторией. Для меня, рожденной за пределами России, это была первая встреча с ней. Связанные с этим переживания и наблюдения – целая отдельная тема. Ошеломляющей для меня оказалась популярность ГА, и это – несмотря на старательную работу глушения. Поразила меня и скорость, с которой новости, переданные «голосами», распространялись по Москве.

Официально я была прикомандирована к американскому посольству, которое старательно устраивало для меня всякие официальные встречи, но неофициально я встречалась и с отказниками (скажем, со Щаранским), и с художниками-нонконформистами, с писателями, не боявшимися со мной встречаться, – ведь слежка за мной велась неустанно. Но главное, к великому недовольству наших дипломатов, я встретилась с правозащитниками и учредителями так называемой Хельсинкской группы, которые выложили мне длинный список своих претензий к ГА за недостаточно полное освещение их деятельности и текстов из документов, проникающих на Запад. Вернувшись, я, естественно, обо всем этом доложила, и многие из справедливых претензий к нам были учтены, в том числе в передачах, за которые отвечал мой собственный отдел.

* Игорь Моисеев (1906–2007), советский артист балета, балетмейстер, хореограф.

Но Вы спрашивали меня про лиц, побывавших у нашего микрофона в 1970-е годы. Конечно, Ростропович и Вишневецкая, они часто бывали – после лишения их советского гражданства – в нашей студии, наши сотрудники неизменно давали репортажи об их выступлениях, интервьюировали их после концертов... Из литераторов, официальных и неофициальных, в нашей вашингтонской студии побывали Бродский, Гладиллин, Солоухин, Вознесенский, Нагибин... С Нагибиным был забавный эпизод: я пригласила его в студию, мы провели примерно десятиминутную беседу, а выйдя из студии, он спросил: когда это пойдет в эфир? А я ему – уже ушло. Это его сразило: вот так просто, без всякой проверки!

– А с Нуриевым вы встречались – он ведь приезжал в Нью-Йорк?

Л.О-Ф: Я с ним встретила на одном приеме, но он отказался давать интервью. Ничем не мотивируя – просто не захотел. Мы никого не принуждали.

– Вернемся к истории ГА. В середине 1970-х годов ГА был реорганизован: радиостанция более не считалась правительственной, там даже финансирование изменилось – по легенде, после скандала, связанного с финансированием ЦРУ...

Л.О-Ф: Нет, ГА этот скандал вовсе не касался. ГА еще долго продолжал быть частью Информационного Агентства США, пока не вошел в 1994 году в Агентство по глобальным медиа (USAGM). Сейчас объясню, в чем было дело. «Свободная Европа» и Радио Свобода действительно финансировались ЦРУ, чего никто не должен был знать. А в 1970-х годах сенатор Фулбрайт этот факт разгласил. Тогда само существование обеих радиостанций повисло на волоске. Знаю я это из первых рук – т.к. мой первый муж, Валериан Оболенский, двадцать лет проработал на Радио Свобода, из них примерно лет десять – директором Нью-Йоркского отдела.

– Как он объяснял? Зачем Фулбрайт обнародовал эту информацию?

Л.О-Ф: Считалось, что не дело ЦРУ финансировать СМИ, которые влияют на умы, – это противоречит принципам демократического государства. Скандал касался не только радио, но и журнала «Континент», выходившего в Париже. Фулбрайт утверждал, что в демократическом обществе это недопустимо. И тогда Конгресс принял специальный закон о создании в 1971 году Совета по Международном Вещанию (Board for International Broadcasting), куда вошли на открытое финансирование Конгрессом США «Свободная Европа» и Радио «Свобода». И только в 1994 году, уже после моего выхода на пенсию, когда было учреждено Агентство по глобальным медиа, в него вошли, в числе других, и «Свобода», и «Свободная Европа», и ГА.

– Это нас подводит вплотную к сегодняшней ситуации. Но давайте сначала попробуем разобраться. Ведь Конгресс – это тоже деньги налогоплательщиков. Разве этот спор не о нюансах лишь? Всё равно – деньги государственные.

Л.О-Ф: Однако активность ЦРУ в этом деле была непрозрачна и Конгрессу неподконтрольна. С изменением источника финансирования радиостанции приобретали общественный и подотчетный характер.

– Тогда давайте определим: что такое позиция редакции в случае с ГА? Кто ее выработывал, учитывая «подотчетный характер»?

Л.О-Ф: Были разные периоды. Во время активного периода разрядки Государственному Департаменту не хотелось, чтобы мы широко освещали проблемы эмиграции из Советского Союза, проблемы свободы совести, а тем более, нарушений прав человека. Хотя мы всё равно эту тематику освещали, поскольку она находилась в поле внимания американской прессы и общественности. Ведь иностранные корреспонденты в СССР находили доступ к инакомыслящим, к художникам-нонконформистам, авторам сам- и тамиздата... Их информация появлялась в американской прессе, – так что мы пользовались тем, что было в открытом доступе. Одной из самых популярных передач была у нас «Американская печать о Советском Союзе».

Позорным эпизодом для ГА был запрет – под давлением Госдепа – проводить интервью с Солженицыным, когда он оказался на Западе. Зато когда президентом стал Рейган, он круто поменял позицию ГА. Здесь я могу рекомендовать книгу Марка Помара*, который был одно время директором нашей Русской службы; он пишет не только о ГА, но и о Радио «Свобода», подробно разбирает нюансы различных периодов вещания в эпоху Холодной войны. В частности, он приводит довольно забавный эпизод, когда в период разрядки у нас появилась важная делегация журналистов из СССР и работников радио под предводительством Г. Оганова, журналиста из «Комсомольской правды». Попытки Оганова продать директору ГА свое видение, чем должен заниматься ГА, натолкнулись на очень точно изложенные директором принципы свободной и объективной журналистики. Я была свидетелем этого. Мне было тем более приятно услышать отпор, данный директором, что перед встречей с ним гости посетили наш Русский отдел. Была суббота, с нашей стороны – Французов, я и директор вещания на СССР, куда входило пять языковых редакций. И вот Оганов, привыкший к повиновению, стал нас поучать. Дескать, мы недостаточно освещаем американскую жизнь и слишком много времени уделяем тому, что происходит в СССР. – «Мы хотим услышать, как живет средний американский рабочий, передачи о сельском

* Pomar, Mark G. *Cold War Radio: The Russian Broadcasts of the Voice of America and Radio Free Europe/Radio Liberty*. Potomac Books. 2022.

хозяйстве, о новом в вашей науке, а вместо этого мы должны слушать о таких отщепенцах, как Сахаров и Солженицын». Тут я не выдержала. «Простите, – сказала я, – вы ничего не *должны* слушать. У радио есть такая кнопка – вы можете ее повернуть и выключить радио.»

*– Поговорим о сегодняшнем дне. К 2025 году, уже задолго до сегодняшней кризисной ситуации, у ГА сформировались определенные организационные проблемы. Ведь не случайно в 2017 году был запущен русскоязычный телеканал «Настоящее время», совместный медиапроект «Радио Свобода / Свободная Европа» и «Голоса Америки» – как попытка вписать исторические радиостанции в сильно изменившуюся систему современных СМИ. Кстати, уже с лета 2008 года Русская служба ГА полностью перешла на Интернет. Но в отличие от других онлайн-медиа, ГА не стал **самоокупаемым органом** и по-прежнему финансировался государством. Объем запрашиваемого финансирования в 2013 году, например, составил 3,7 млн долларов. И не стал ли ГА с развитием интернет-ресурсов рядовым СМИ, работающим в одном ряду с другими онлайн-средствами информации, только не таким популярным и не зарабатывающим достаточно на эфире?*

Или, если посмотреть на проблему с другой стороны – и учесть возобновление идеологического противостояния в двадцатых годах нового века, – ГА опять востребован как идеологический голос государства, тем самым оправдывая свое существование? Что думаете Вы?

Л.О-Ф: Понимаете... я вышла на пенсию уже более двадцати лет назад, с тех пор многое изменилось. Скажем, в свое время, на одном из совещаний руководства я задала вопрос: почему мы не создаем телевизионную программу? И на меня замахали руками: да что вы, нет! У нас и так большая аудитория – зачем нам телевидение?! А вскорости после того, как я вышла на пенсию, стали создавать и телевизионную программу. Моя личная точка зрения на сегодняшнюю ситуацию: безусловно – да, ГА вновь актуален. Как когда-то. Но радио как средство информации себя изжило, теперь – всё в Интернете, вы все самые последние новости носите у себя в кармане, они – на экране вашего телефона. Куда, кстати, некоторые блогеры выносят всякую непроверенную чушь. Тем важнее иметь достоверный и объективный канал, каким был ГА, особенно для таких стран, где доступ к этому ограничен.

– Тогда – еще вопрос. С такой преамбулой: в марте 2025 года президент Дональд Трамп подписал указ о сокращениях в Агентстве по глобальным медиа (USAGM), что фактически привело к остановке работы «Голоса Америки». Вспомним, что миссией Агентства США по глобальным медиа было – и оставалось – информировать, привлекать и соединять людей всего мира в поддержке свободы и

демократии («to inform, engage and connect people around the world in support of freedom and democracy»). Одной из основных претензий нынешней администрации стало непомерное финансирование – неоправданное ничем. Вы уже сказали, что ГА – не совсем обычный канал, поэтому к нему и относиться надо иначе, а не только с точки зрения финансов. Так вот: прикрыт канал, выражающий принципы свободы и демократии и вещающий на страны с современными авторитарными системами, где «свобода прессы ограничена властями и не является нормой общественной жизни» (так при рождении ГА была определена целевая аудитория радиостанции). Примером таких стран сегодня является, увы, и Российская Федерация. И со стороны, скажем, многомиллионной русскоязычной диаспоры это решение о закрытии ГА вызвало бурю возмущения: назначение и значение ГА всегда воспринималось традиционно-исторически – как **канала противостояния** советской и несоветской системе.

Закрытие подобного вещания – это что? – результат недооценки правительством идеологической борьбы в современном мире – в том виде, как он сложился? Как в 1917 году говорили в России: глупость, граничащая с предательством? Или боязнь усилить идеологическую болезнь в демократической стране – ибо современный мир действительно крайне заидеологизирован? Или попытка выправить катастрофическую финансовую ситуацию в стране (что странно: закрытие радиостанции ну совсем не те деньги)? Как Вы, журналист с 40-летним стажем активной работы в самые сложные времена второй половины XX века, как Вы оцениваете эту ситуацию?

Л.О-Ф: Я думаю, что Трампу чрезвычайно неприятны любые объективные средства массовой информации. Ведь он подобрался и к нашему Общественному телевидению. Всё, что неподконтрольно его мировоззрению, ему не нужно. Это подрывает его авторитет. К сожалению, то, что сейчас происходит, у меня вызывает большие опасения. При том, что сформирован невероятно некомпетентный кабинет, все министры выбирались по принципу лояльности, но при этом последовательно подрываются основы гражданского общества.

– То есть вы видите в этом попытку огосударствления прессы, идеологизацию «наоборот» – вопреки исторически сложившимся демократическим основам?

Л.О-Ф: Безусловно.

– Вы, как опытный журналист, как человек с четкой гражданской позицией, видите возможность этому противостоять? Потому как речь идет не о четырех годах правления конкретного президента: очевидно – мы пожинаем последствия неких внутренних процессов, которые давно уже происходят со страной. И какова перспектива?

Л.О-Ф: Я надеюсь – я надеюсь – что все-таки в США гражданские свободы развивались достаточно последовательно на протяжении более чем двухсот лет – чтобы быть окончательно разрушенными. И это вопросы не просто идеологии, но и совершенно конкретных сфер деятельности государства – лечения, социального обеспечения, миграционной политики, образования, ну и, конечно, доступа к информации.

– Возвращаясь к конкретным проблемам журналистики – как профессии... Для меня, скажу, драма в том, что закрыть любой медиа-орган на самом деле просто – как легко закрыть и радиоканал с такой историей, который столько перипетий испытал за свою жизнь, и выживал, работал в самых разных ситуациях... Но суть в том, что вновь открыть – невозможно. Нельзя начать заново. Это будет другая радиостанция, другой тип СМИ. Уже без ГА.

Л.О-Ф: Да, нам остается только интернет. И, к сожалению, туда вываливают все и всё, что угодно, и о профессионализме чаще всего речь не идет. И, конечно, этим тоже пользуются.

– Время фейков, а не правды. К сожалению, я как интервьюер, заканчиваю на этой грустной ноте. Если у Вас есть что-то добавить оптимистичное напоследок – с высоты вашего опыта, человека, столько пережившего, в том числе и как журналист... какая-то надежда на что-то, где-то, как-то...

Л.О-Ф: Надеюсь на то, что всё еще имеется достаточно талантливых и умных людей, которые будут подавать свой *голос* и, может быть, это не будет голосом вопиющего в пустыне.

– Ну да, как всегда – маргиналы нас спасут...

Интервью провела М. Адамович, специально для НЖ

БИБЛИОГРАФИЯ

Книжная полка Юлии Баландиной

The Russian Intelligentsia: Myth, Mission, and Metamorphosis. [Ed. Sibelan Forrester, Olga Partan]. Boston: Academic Studies Press, 2025. – 363 с.

В современном русскоязычном культурном пространстве, пожалуй, нет темы более дискуссионной, чем обсуждение места и роли русской интеллигенции в общественно-политических процессах. Дискуссия эта не нова. Появившись в момент зарождения концепта, она сопровождает интеллигенцию на протяжении всего ее существования; причем самые острые дебаты, разводящие оппонентов к противоположным полюсам, происходят внутри самой интеллигенции, достигая крайних и непримиримых позиций в наиболее турбулентные периоды российской, советской и постсоветской истории. Вышедший в бостонском издательстве Academic Studies Press сборник статей под редакцией С. Форрестер и О. Партан лишь подтверждает эту мысль.

Подготовка сборника к печати носила не менее драматичный характер, чем освещаемая в нем история русской интеллигенции. Большая часть вошедших в него статей была представлена в виде докладов в рамках ежегодных конференций, организуемых Ассоциацией славянских, восточноевропейских и евроазиатских исследований (ASEEES¹). Эпидемия ковида задержала подготовку материалов к публикации, а последующее вторжение России в Украину потребовало их существенной ревизии и повлекло задержку на несколько лет с выходом из печати. Некоторые участники проекта отзывали свои работы по соображениям личной безопасности, другие не смогли завершить работу ввиду преждевременной кончины.

Восемнадцать статей, вошедших в издание, распределены по четырем разделам, формируя историческую перспективу становления интеллигенции как класса, его трансформацию в ходе социальных и экономических реформ, революций, периодов жесточайших репрессий, попыток «вписаться» в изменяющийся политический ландшафт и дать ответ современным вызовам. Детальное и объемное введение обосновывает актуальность поднимаемой темы и, в общих контурах, обрисовывает содержание разделов, отдавая дань академическим традициям освещения поднимаемого вопроса. Составители отмечают логоцентричность сборника, его фокус на анализе литературных текстов, посредством которых представители интеллигенции определяли политические цели и нравственные ориентиры – прежде всего, для самих себя – и дискутировали о способах их достижения. Уделяя отдельное внимание специфике термина «интеллигенция» (восходящего в современной интерпретации к девятнадцатому веку) и динамике его наполнения, авторы отмечают особый интерес к феномену со стороны западных исследователей истории культуры, работы которых позво-

ляют сформировать более полную картину масштабов влияния русской интеллигенции на культурные и политические процессы в мире.

Экскурс в историю русской интеллигенции начинается с со- и противопоставления двух фигур екатерининской эпохи – Николая Новикова и Александра Радищева, «прародителей» будущей интеллектуальной элиты, – им посвящен первый раздел сборника².

Издательская империя Новикова, начавшись с сатирических журналов, в которых анонимно и без цензуры обсуждались самые злободневные темы жизни и устройства государства, со временем разрослась до весьма внушительных размеров. Его деятельность, поддержанная на первых порах, в том числе и финансово, Екатериной II, в дальнейшем вышла далеко за рамки только публицистики, так что через некоторое время Новиков приобрел достаточный вес и влияние в обществе для спонсирования собственных гуманитарных проектов. Всё закончилось доносами, разгромом типографии, изъятием и сожжением книг, заключением под стражу; формально – за масонскую деятельность, на деле – за просвещение. В свою очередь, Радищев, по личному распоряжению императрицы направленный на учебу в Лейпцигский университет, впоследствии «отблагодарил» императрицу публикацией «Путешествия из Петербурга в Москву», где выступил с жесткой критикой крепостного права и автократии, за что и полатился ссылкой в Сибирь.

Таким образом, начиная с самых истоков появления интеллигенции как класса, обнаруживается паттерн, которому будет суждено многократно повториться в истории России: власть, выделяя и поощряя наиболее интеллектуально продвинутых граждан, надеялась на их ответную лояльность; граждане же, предполагающие, что к особому доверию прилагается большая свобода действий, заходили, по мнению власти, слишком далеко в своих стремлениях эту власть отредактировать, что закономерно вело к наказанию со стороны последней, не желающей терять свои позиции.

Кроме того, на примере двух фигур – Новикова и Радищева – автор намечает и две магистральные ветви развития интеллигенции, по-разному понимающей свою роль в обществе. Если Новиков считал своей задачей становление национального и социального самосознания через популяризацию чтения, – пишет Левитт, – то Радищев претендовал на политическое влияние в публичном пространстве. Там, где Новиков предлагал последовательное и постепенное совершенствование себя и общества, оставаясь «в благочестивых рамках» (читай: правилах, установленных Екатериной), Радищев, называемый многими исследователями «прототипом русского интеллигента», высказывался более радикально, обличая Церковь и государство на институциональном уровне.

Второй раздел сборника, посвященный девятнадцатому веку, рассказывает о мировоззренческих баталиях, в которых ковалась концепция русской интеллигенции. Он включает обзорную статью

К. Ключкина «Интеллигенция и русская пресса в 1860-х – 1870-х годах»³, а также статьи, посвященные взаимоотношениям с и отношению к интеллигенции трех столпов русской классической литературы – Достоевского, Толстого и Чехова.

Но прежде чем переходить к собственно баталиям, имеет смысл обозначить их предмет. Является ли русская интеллигенция феноменом уникальным и специфическим и в чем состоит отличие русского интеллигента (если оно существует) от западного интеллектуала – вот вопрос, которого в той или иной форме касается практически каждый автор сборника, каждый из них подкрепляет свою точку зрения соответствующими логическими построениями. Обобщающий набор характеристик описывает интеллигенцию как социальную страту, в которую входят люди умственного труда, имеющие высокие идеалы и определенный моральный кодекс поведения, стремящиеся к распространению этих идеалов и нравственных норм посредством просветительской деятельности в публичном пространстве. Внутри этого определения – довольно широкий спектр разночтений: может ли считаться интеллигентом человек, состоящий на зарплате у государства, а значит, транслирующий его идеологию? не имеющий профессиональной подготовки в области интеллектуального труда, но проявляющий высокие моральные качества? не стремящийся изменить общество, но вносящий посильный вклад в его совершенствование на личном уровне? и так далее. И наконец, идея *уникальности* русской интеллигенции – в чем она состоит и не является ли она таким же мифом, как и идея богоизбранности русского народа?

Так что же представлял собой русский интеллигент в XIX веке? Говоря о специфике формирования русской интеллигенции как социальной страты, К. Ключкин указывает на особенности экономической и политической ситуации в России, представлявшей собой идеальные предпосылки для концентрации интеллектуалов вокруг печатного слова: в обстоятельствах, когда темпы индустриализации страны катастрофически отставали от темпов интеллектуализации и резко возросшее после либеральных реформ Александра II количество молодых людей, получивших хорошее образование, остававшихся профессионально невостребованными, журналистика представлялась единственным местом приложения интеллектуальных и творческих усилий. Так, «к концу шестидесятых годов создатели текстов и их читатели закрепили за собой право называться интеллигенцией – сообществом образованных людей, обособленных от государства, общества и средств производства». Ведущая роль в процессе становления культуры общественно-политического дискурса принадлежала «толстым» журналам.

Завоевав аудиторию в первой половине девятнадцатого века ориентацией на лозунги французской революции – равенство, демократия, социальная справедливость, – во второй его половине прогрессивные журналы предложили интеллигенции новую дорожную карту

в светлое будущее: здоровый прагматизм, опора на научное знание, отрицание существующих социальных норм, эмансипация. Здесь же, на страницах журналов, шла бурная дискуссия по выработке универсального определения терминов интеллигенция/интеллигент. Одни призывали считать интеллигентом человека, развивающего научное знание, другие добавляли непременной характеристикой «возврат долга» и «служение народу», чей тяжелый труд делал возможным их появление и существование⁴, третьи настаивали на решительной борьбе и сломе системы. Едва зародившись, интеллигенция тратила колоссальное количество усилий на внутренние баталии – еще один повторяющийся рисунок истории.

Важно отметить и другую особенность русской интеллигенции, на которую обращает внимание К. Ключкин. Утопические фантазии писателей сталкивались с неповоротливой государственной машиной, не поспевающей за темпами развития прогрессивной мысли, а жесткая цензура не позволяла авторам вести героев революционным путем. Героям романов предлагалось три финала: саморазрушение (алкоголизм, самоубийство), обыденная жизнь без филантропического компонента или уход в буржуазную стилистику. Ни один вариант развития не соответствовал определению интеллигента. «‘Гора’ идеологических устремлений ‘родила мышь’ банального существования», – цитирует Ключкин критиков того времени⁵. Автор делает вывод, что подобное банкротство во многом объяснялось особенностями происхождения русской интеллигенции, формировавшейся в условиях самодержавия, крепостничества, отсутствия свободы слова. Невозможность практического влияния на ход развития страны, отчуждение от власти и институций компенсировались мессианством и его производными.

Длящееся противостояние Достоевского и русской интеллигенции проанализировал А. Виггу⁶, рассматривающий весь творческий путь писателя – от издания журналов до написания романов – как интеллектуальный дискурс, адресованный в первую очередь собратьям по перу. Разделяя общие надежды на будущее России, Достоевский принципиально расходился с воинствующей группой нигилистов, претендующих на эксклюзивное право именоваться настоящими интеллигентами, по двум вопросам: средства достижения цели, где под целью понималось улучшение общества, и следование христианской вере. «Во время как издаваемые им журналы ‘Время’ и ‘Эпоха’ имели – по крайней мере, поначалу – схожую социальную повестку с прогрессивными ‘Современником’ и ‘Русским словом’, – пишет автор статьи, – антинигилистические романы Достоевского отражали его категорическое неприятие леворадикальных настроений, захвативших умы русской интеллигенции»⁷. Достоевский жестко критиковал утилитарный подход к искусству, веру в рациональное начало человека, атеистические убеждения и террористические методы борьбы. Литературный мир отвечал враждебностью и настрожен-

ностью. По мнению автора, последующее сближение Достоевского со славянофилами и народниками (А. Виггу анализирует внешние и внутренние причины этих трансформаций) смягчило критические настроения писателя по отношению к левым радикалам и, одновременно, способствовало кристаллизации собственного видения дальнейшего развития России, что нашло отражение в более поздних романах «Идиот», «Подросток», «Братья Карамазовы»⁸. Однако «Пушкинская речь», произнесенная незадолго до смерти писателя, с его призывами к русской интеллигенции «смириться и работать над своими добродетелями» вызвала новую волну осуждения. «Полемизирующий, но ищущий точки соприкосновения писатель сумел объединить враждующие стороны только в момент смерти, – с горечью отмечает А. Виггу. – Отдать дань памяти Достоевскому пришли тысячи людей самых разных политических взглядов, включая членов царской семьи.»

Толстой критиковал интеллигентов за самонадеянность, за веру в то, что они могут «облагородить людей» извне и улучшить их жизнь, в то время как настоящие преобразования происходят внутри человека. Идеологическая одержимость радикальной части интеллигенции, ее стремление к власти и готовность идти к своей цели любыми средствами делали русскую интеллигенцию в глазах Толстого еще большим злом, чем власть существующая, ибо прикрывалась она благими намерениями. Опираясь на два фундаментальных трактата Толстого – «Так что же нам делать?» и «Царство Божие внутри вас», Майкл Деннер⁹ подробно разбирает вопрос, вновь актуализировавшийся в современной России: что, с точки зрения классика, объясняет готовность человека жить в подчинении, всё время приспосабливаясь к новым виткам насилия, и что должно случиться, чтобы насилие перестало считаться нормой?

С. Евдокимова¹⁰ возвращается на шаг назад, к сущностному определению интеллигенции. Она считает необоснованной попытку представить русскую интеллигенцию как явление уникальное, отличающееся от европейской наличием специфических этических норм, а именно совести. В качестве одного из ярких примеров, подкрепляющих ее позицию, автор приводит ожесточенные дискуссии, инициированные открытым письмом Э. Золя в защиту Альфреда Дрейфуса, офицера еврейского происхождения, осужденного по ложному обвинению в шпионаже в пользу Германии. Общественная поддержка Дрейфуса в Европе стала символом борьбы за справедливость против государственного антисемитизма. Сравнивая русскую интеллигенцию и западных интеллектуалов, Светлана Евдокимова находит больше параллелей, чем различий. «Подобно утверждениям русской интеллигенции о том, что консервативные писатели не могут считаться настоящими интеллигентами, некоторые французские левые интеллектуалы, такие как Жан Жорес (1859–1914), также настаивали на том, что правый интеллектуал – это некий оксюморон», – пишет она. По мнению

Евдокимовой, русские интеллигенты переживали сходные проблемы роста, что и их западные собратья: они так же стремились к участию в формировании общественного мнения и политики государства, так же политизировались, так же претендовали на звание носителей нравственных норм и были так же далеки – по уровню культуры и образованности – от народа. «Как русская интеллигенция, так и французские интеллектуалы, – продолжает автор, – имели своих оппонентов, обвинявших их в 'безродности', космополитизме и партийной ангажированности. В обоих случаях велись споры о том, должны ли интеллектуальные элиты руководствоваться универсальными ценностями или конкретной идеологией».

И всё же оппозиция интеллигент/интеллектуал существует, продолжает С. Евдокимова, подкрепляя свою мысль примером А.П. Чехова – «типичным русским интеллигентом», по мнению одних, и «настоящим западным интеллектуалом», по убеждению других. Автор статьи исследует феномен человека, коренным образом перформативовавшего мировое театральное пространство так, что из зрелищного формата, рассчитанного на широкую аудиторию, оно превратилось в *язык* и *место* общения интеллектуалов вне зависимости от их культурного бэкграунда. Отчего одни называли Чехова воплощением интеллигентности, а другие антиинтеллигентом? как он мог быть выразителем идей интеллигенции и разрушителем ее убеждений? как он мог одновременно критиковать русскую интеллигенцию за ее многочисленные недостатки и использовать термины «интеллигентность» и «интеллигенция» как признаки утонченности и культуры? Отвечая на эти и другие вопросы, автор приходит к выводу, что Чехов не принимал в русской интеллигенции существенную часть идентичности, которая отличала ее от западных интеллектуалов, – идеологию, основанную на подчинении личных интересов общественным, жертвенность, готовность отдать свою жизнь борьбе за идею. Вслед за Достоевским и Толстым Чехов предупреждал, что поощрение террористических методов борьбы приведет к установлению в России власти, еще более жестокой, чем испанская инквизиция¹¹.

С именем Чехова неразрывно связана судьба главных на тот момент либеральных подмостков страны – Московского Художественного театра, о судьбе которого в контексте вовлеченности купеческого капитала в развитие интеллектуальной сферы в России рассказывает Мария Игнатьева, открывая третий раздел сборника, посвященный веку двадцатому¹². Отмена в 1882 году монополии Императорских театров, существенно сдерживающих развитие сценического искусства, кардинально изменила театральную жизнь обеих столиц. Одновременно с этим набирающее экономический вес купечество искало формы увеличения своего веса и влияния на общественно-политическую жизнь страны. Так, на пересечении интересов представителей интеллигенции и купцов-меценатов возникает Московский Художественный театр, ставший символом начавшейся

смены театральных систем, движения к русскому варианту европейской новой драмы и обновления всех слагаемых театрального искусства. Подобные реформы требовали серьезных вложений. И если заинтересованность драматургов в желании увидеть свои произведения на сцене была вполне понятна, то за благотворительными инвестициями частного капитала скрывалась более сложная картина: одни видели в этом возможность получить социальные и налоговые льготы, другие – реализацию религиозных или национальных идей¹³. Автор статьи уделяет особое внимание характеру взаимоотношений культурной интеллигенции со своими спонсорами и высоким моральным качествам представителей купеческой элиты.

Аналізу обострившихся на рубеже XIX–XX веков противоречий внутри различных групп интеллигенции посвящены статьи И. Мэйсинг-Делик и О. Соболевой¹⁴. В своих построениях авторы опираются на ключевые публикации того времени: «Проблемы идеализма» (1902), «Вехи» (1909), «Из глубины» (1918) и акцентируют внимание на концептуально-философских аспектах противостояния. Среди упомянутых источников выделяется мартовский выпуск «Вех», вместо консолидации интеллигенции приведший к ее окончательному расколу. Обращение к историческим – в буквальном и высокопарном смысле этого слова – документам актуально именно потому, что русская интеллигенция не раз входила в конфронтацию с создаваемыми ею самой идеалами и, не признавая своих ошибок, не могла и не хотела консолидировать усилия ради достижения благородных целей.

Пример конфронтации между представителями идеалистического лагеря интеллигенции и материалистического интересен еще и потому, что вскрывает не только культуру концептуально-идеологического дискурса обеих сторон, но и его мотивацию. Мировоззренческие баталии вызвали подъем интереса к национальной истории. В 1913 году доктор исторических наук, журналист, путешественник и общественной деятель В. И. Семеvский вместе с издателем, педагогом и публицистом С. П. Мельгуновым создают ориентированный на широкую публику ежемесячный журнал «Голос минувшего», задачей которого видят неполитизированное, основанное на научном подходе изложение истории. Несмотря на разносторонний характер публикаций, голос журнала отражал, скорее, либерально-популистскую перспективу, рассчитанную на прореволюционную публику, и только во вторую очередь следовал образовательным и просветительным целям. Историю журнала и его создателей рассказывает Г. М. Гамбург¹⁵.

О. Партан проливает свет на одну из самых загадочных страниц в истории русской интеллигенции. Основываясь на публикациях А. Л. Никитина, чей отец был театральным художником, и на имеющихся работах западных исследователей, О. Партан повествует о миссии Апполона Карелина, основавшего Восточное отделение Ордена тамплиеров в постреволюционной России, и о вовлеченности деятелей

культуры в сохранение и распространение рыцарских идеалов¹⁶. «Моей задачей было показать, – пишет О. Парган, – как в то время, когда революционный вихрь сметал вековые устои и убеждения, древний рыцарский орден помогал русской интеллигенции поддерживать нравственные идеалы, помогая подняться над повседневной реальностью и соединяя ее [русскую интеллигенцию] с общей историей мировой культуры.» Спротивляясь невежеству и репрессиям советского режима, они стремились к личной свободе, отвергая любую форму политического или религиозного догматизма и насилия. Марина Цветаева, Евгений Вахтангов, Михаил Чехов, Юрий и Вера Завадские, Рубен Симонов, Вера Львова, Дмитрий Благой... Многие предположения и догадки исследователя строятся на полунамеках, оставленных в стихах и дневниковых записях. Несмотря на отсутствие задекларированных политических целей, многие члены Ордена во время сталинских репрессий были обвинены в анархизме и погибли в лагерях.

Изгнав и уничтожив большую часть русской интеллигенции дореволюционного образца и приручив другую ее часть, советское правительство поставило цель создания нового отряда пропагандистов, задачей которого было бы не только прославление молодого советского государства, еще не получившего международного признания, но и идеологическое утверждение его превосходства внутри страны – посредством формирования у населения чувства принадлежности к уникальной, передовой общественно-политической системе. Carol Any¹⁷ описывает этапы «приручения» существующей и воспитание новой интеллигенции, лояльной государству. Автор в положительном ключе рассматривает роль М. Горького в формировании нового лица советской литературы, отмечая его последовательные шаги по воспитанию молодого поколения писателей. Она ставит в заслугу Горькому продвижение идеи необходимости фундаментального образования для будущих писателей и вовлечение интеллигентов дореволюционной эпохи – носителей универсальных, а не партийных ценностей – в профессиональную подготовку студентов.

Тем не менее, основанный почти одновременно с Литинститутом Союз писателей сделал литературный труд одним из возможных карьерных путей и обеспечивал возможность социального лифта, предоставляя вместе с социальным статусом целый ряд существенных льгот его членам. Оба проекта финансировались государством, потому ни о какой идеологической свободе не могло быть и речи. Как пишет Carol Any, к концу тридцатых годов примерно четверть Союза писателей всё еще состояла из критически настроенных, независимо мыслящих людей, которых не устраивали жесткая цензура и отсутствие свободы творчества. Безжалостно расправившись с ними во время Большого Террора, власть предложила освободившиеся места более послушному и лучше вписанному в советские реалии молодому поколению.

S. Forrester¹⁸ исследует феномен популярности жанра научной фантастики в постсталинскую эпоху. Автор справедливо отмечает, что его расцвету способствовал ряд объективных факторов: ослабление цензуры, формирование критической массы образованных людей, способных создавать и потреблять творческую продукцию, успехи Советского Союза в программе освоения космоса. Forrester разделяет *псевдофантастику*, написанную в стандартах соцреализма, с примитивным переносом социалистической действительности на Луну или другую планету, и *настоящую фантастику* (Ефремов, Стругацкие), часто создаваемую авторами с научно-техническим бэкграундом и являющуюся пространством обсуждения актуальных проблем общества и поиска единомышленников; именно к ней она апеллирует, когда говорит о традиции следования моральному долгу, присущей русской интеллигенции. «Как и в XIX веке, – пишет Forrester, – отсутствие возможностей для публичных дебатов без цензуры делало советскую литературу живой площадкой для идеологической, психологической и эстетической работы, даже если читатели сначала должны были научиться читать между строк». Добавлю, что сама возможность высказывания, серьезно лимитированная, но всё же допустимая, с миллионом сопутствующих ухищрений, направленных на то, чтобы, с одной стороны, произведение увидело свет, а с другой, не особенно привлекло внимание цензора к содержанию¹⁹, делало отношение к научно-фантастической литературе в СССР и странах Восточной Европы более серьезным, чем в Соединенных Штатах, где свобода слова была соблюдаемой, а не декларируемой конституционной нормой.

Forrester проводит также любопытное межжанровое сравнение научной фантастики и деревенской прозы, имеющих общие черты, но существенно разнящихся относительно видения предполагаемого вектора развития страны. Если деревенская проза апеллировала к национальным культурным традициям, сожалела о том, что было утрачено в ходе модернизации, то научная фантастика поднималась на наднациональный уровень и, с любовью характеризуя родную планету – общий дом человечества, с некоторым опасением, но с надеждой и энтузиазмом смотрела в лицо техническому прогрессу. Автор описывает это как двойную оппозицию: прошлое против будущего, этнический национализм против космополитизма, что фактически воспроизводило противостояние интеллигенции в XIX веке: традиции против прогресса. Позволю себе дополнить интерпретацию сравнительного анализа автора еще одним замечанием. В Советском Союзе, в мире тотального контроля над печатным словом, к публикации разрешались лишь те произведения, которые соответствовали задачам партии. Например, публикация статьи Ф. Абрамова «Люди колхозной деревни в послевоенной литературе», в которой писатель выступил против лакировки положения дел на селе, вызвала гневные отклики и отрицательную реакцию по партийной линии.²⁰

Русская деревня умирала после десятилетий планомерного ее уничтожения: коллективизации, разрушительных для природы индустриальных проектов, рабского положения крестьян, не имеющих паспортов и работающих за трудовни, тотальной демотивации, деморализации и алкоголизма сельских жителей. Таким образом, романтизация деревенского образа жизни помогала привлечь внимание к проблеме или вернуть людей в деревню. Это не отменяет искренности мыслей и намерений писателей-«деревенщиков», но мотивы их продвижения в печати могли быть и пропагандистско-экономическими.

Образ идеального интеллигента и его идеальная картина мира на протяжении столетий питали интеллектуальный дискурс в России, используя в качестве площадки для обсуждения толстые литературные журналы. М. Адамович позиционирует толстые журналы как пространство гипертекста – открытую систему, предполагающую множественные интерпретации и итерации взаимодействия между авторами и читателями²¹. Предлагая краткий обзор наиболее знаковых в истории России изданий (включая издания, учрежденные иммигрировавшей интеллигенцией), М. Адамович называет их «энциклопедией мысли» и выделяет «фундаментальный плюрализм» как основу долгожительства толстых журналов. Автор подчеркивает, что сохраняемая преемственность периодических изданий в чужеродной языковой среде является одним из доказательств универсальности концепта «Интеллигенция» и интертекстуальности т.н. *культурного гипертекста*, а в современной культуре конца XX – нач. XXI вв. разница между русским интеллигентом и западным интеллектуалом фактически стирается, несмотря на разные истоки происхождения феноменов.

Закату советской интеллигенции посвящена статья А. Смит «Романтический насмешник или новый интеллектуал? Татьяна Толстая и ее критика русской интеллигенции»²². Обзор творчества одной из самых противоречивых фигур русского постмодернизма автор статьи начинает с цитаты американского слависта Катерины Кларк, которая представляла интеллигенцию «как самопровозглашенную группу людей... позиционирующую себя как уникальную и аутентичную, с исключительным доступом к истинному знанию»²³. Это определение как нельзя лучше иллюстрирует сарказм Т. Толстой, обвиняющей позднесоветскую интеллигенцию в несостоятельности и полном провале миссии. Отрыв от реальности, беспособность более быть моральным авторитетом, отказ от личной ответственности за прошлое и настоящее, инфантилизм, бесплодный дискурс, инертность, самовлюбленность, показная рефлексия – вот характеристики, которыми Т. Толстая наделяет интеллигенцию. А. Смит исследует творчество Т. Толстой в контексте ее ранних художественных произведений («На златом крыльце сидели», «Кысь», «Река Оккервиль») и последующей репрезентации в публицистике, социальных сетях и средствах массовой информации, делая акцент на постмодернистском понимании автором индивидуального вклада личности в исторические процессы.

Образ интеллигенции времен хрущевской оттепели – глазами интеллигенции из века двадцать первого – подвергнут ревизии в статье Sofya Khagi «Улицкая и Пелевин о шестидесятниках»²⁴. Анализ знаковых для каждого из писателей произведений показывает, насколько быстро в условиях тоталитарного режима произошла девальвация понятия *интеллигенция*: от веры в нравственные идеалы и возможность построения светлого будущего у Улицкой до циничного приспособленчества у Пелевина. При этом следует отметить, что траектории героев Улицкой, по сути, воспроизводят – с поправкой на время – характерное для журнальных романов XIX века отсутствие конструктивных сценариев самореализации для мыслящего человека внутри России. Пелевинский же герой («Generation ‘П’»), оказавшись выброшенным на финансовую обочину жизни в результате экономических реформ, довольно быстро избавляется от романтических иллюзий юности и выбирает обслуживание капитала вместо служения идеям.

Кризис идентичности, с которым сталкивается современная интеллигенция, связан с переосмыслением своего статуса, роли и возможностей влияния на общественное мнение. Окончательный крах концепта «интеллигенция», видимо, произошел примерно после 2010-х годов, когда процессы глобализации и интеграции в мировое пространство сделали слово *интеллигенция* «немодным», ассоциированным с провалом идеи усовершенствования общества, считает А. ДеБласио²⁵. «Молодое поколение российских интеллектуалов, – пишет она, – совсем не позиционирует себя как интеллигенцию, для них это понятие из прошлого. Их самоидентификация – либералы, миллениалы, люди мира». Вместе с тем сфера интересов современных российских интеллектуалов пересекается с таковой у интеллектуалов XIX века – саморазвитие, забота об окружающей среде, участие в волонтерских проектах, просвещение.

С другой стороны, анализ медиаплощадок и онлайн-платформ показывает, что несмотря на декларируемую смерть интеллигенции, дискурс о роли интеллектуальной элиты в жизни страны продолжается два первых десятилетия XXI века. Интересно, что официальный российский кинематограф транслировал нарратив о деградации русской интеллигенции, в то время как альтернативные платформы (независимое кино, ютуб-каналы, социальные сети) демонстрировали противоположное видение²⁶. А. ДеБласио и Т. Смородинская предлагают краткий обзор оппозиционных площадок, критикующих действующую власть и пытающихся сплотить гражданское общество в отстаивании своих интересов.

К сожалению, после начала полномасштабной войны в Украине, большая часть оппозиционно настроенной интеллигенции была вновь выдвинута из страны – теми же методами, что и столетие назад, – и, как прежде, раскололась на уехавших и оставшихся; на открыто осуждающих войну и хранящих молчание; на тех, кто собирает финансовую помощь «нашим мальчикам», и тех, кто отказывается считать

«нашими» воюющих на несправедливой стороне. Интеллигенция вновь вернулась к внутригрупповым дебатам. Разногласия внутри оппозиции сегодня носят не менее ожесточенный характер, чем тот, что был на переломе предыдущих веков. Достаточно вспомнить инициативу Г. Каспарова о введении «паспорта хорошего русского» или дебаты о том, как русская интеллигенция в изгнании должна относиться к ответным бомбардировкам российской территории вооруженными силами Украины; войну оппозиционера (или оппортуниста?) М. Каца против ФБК Навального; ФБК Навального против редактора радиостанции «Эхо Москвы» А. Венедиктова и тому подобное. Все эти исторические повторы наводят на мысль о том, что представители российской интеллектуальной элиты, как и прежде, больше обеспокоены захватом власти, нежели разрешением глобальных цивилизационных вызовов. Как будто русская интеллигенция вернулась на этап юношеского максимализма и никак не может достичь того уровня зрелости, который предполагает наднациональную, общечеловеческую ответственность за свои действия. Возможно, в этом и состоит ее отличие от интеллектуалов западного типа, характерной чертой которых, по мнению М. Фуко, является универсальность и космополитизм?

Представляемый сборник статей не предлагает полного анализа ни истории русской интеллигенции, ни самого феномена, но вполне объемно обрисовывает основные вехи его развития. За кадром остались петровская эпоха и первые этапы формирования образованного класса, влияние идей Просвещения на прогрессивно мыслящие аристократические элиты в начале века девятнадцатого (Пушкин, Карамзин, Пестель, Муравьев-Апостол, Рылеев). Дополнительного внимания заслуживает обзор правозащитной деятельности русскоязычной интеллигенции в позднесоветское время, в том числе за пределами родины; эффект «возвращения» писателей-диссидентов и расцвет культуры в короткий период свободы конца девяностых – начала нулевых; провальные для интеллигенции – если рассматривать ее как авангард общественной мысли – десятилетия, когда интеллигенция оказалась способной возглавить протест, но не способной предложить программу действий, и многие другие аспекты. Хотелось бы рассматривать появление этого сборника как начальную стадию проекта с потенциалом развития и возможного преобразования в фундаментальное издание, представляющее антологию интеллектуальной мысли, вышедшей из России и оказавшей влияние на цивилизационные пути всего человечества.

Юлия Баландина

1. Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies – международная организация славистов, возникшая в 1960-х гг. на основе Американской ассоциации славистов (1948). В 2025 признана официальными властями РФ «нежелательной организацией».

- Этот статус автоматически лишает российских славистов возможности продолжать участие в работе ассоциации, сотрудничество с которой ставит их под угрозу подвергнуться давлению со стороны государственной системы в РФ. (Ред.)
2. Levitt, M. "An Essay on the Origins of the Intelligentsia: Catherine the Great and Her Relations with Novikov and Radishchev". P. 3-26.
 3. Klioutchkine, K. "The Intelligentsia in the Russian Press of the 1860s and 1870s". P. 29-43.
 4. В данном случае применимо для обеих групп: для интеллигенции, выросшей из прогрессивно настроенных аристократических кругов, и для интеллигентов-разночинцев, «вышедших» из народа. Отчего смелость, готовность вырваться из будничной рутины неосознанности существования (см. ниже апелляцию к Толстому о свободе как о характеристике осознанной личности), стремление к знаниям, интеллектуальный труд, наконец, лишения, должны были вызывать, по мнению разночинцев, чувство вины вместо чувства гордости, остается неясным.
 5. К.Ключкин ссылается на А.М. Скабичевского и его оценку творчества А.К. Шеллера-Михайлова.
 6. Burg, A. "Dostoevsky and the Intelligentsia". P. 44-61.
 7. Здесь и далее в кавычках приводится мой свободный перевод цитат авторов сборника. – Ю.Б.
 8. Автор статьи приводит следующие примеры: Ипполит Терентьев представляется невинным и благонамеренным человеком, введенным в заблуждение, роман «Подрасток» звучит мягче, чем «Бесь», а Иван Карамазов, нигилист и атеист по внешней атрибутике, и вовсе наделен многими из заветных убеждений писателя.
 9. Denner, M. "Accommodation the Intelligentsia: Tolstoyan Nonresistance as a Response to the Russian Intelligentsia". P. 62-79.
 10. Evdokimova, S. "Merchants vs. the Intelligentsia and Western Intellectuals: through the Prism of Chekhov". P. 80-102.
 11. В 1888 году А. Чехов предсказывал в письме А. Плещееву: «Под флагом науки, искусства и угнетаемого свободомыслия у нас на Руси будут царить такие жабы и крокодилы, каких не знавала даже Испания во времена инквизиции... Узкость, большие претензии, чрезмерное самолюбие и полное отсутствие литературной и общественной совести сделают свое дело. Они напустят такой духоты, что всякому свежему человеку литература опротивеет, как чёрт знает что, а всякому шарлатану и волку в овечьей шкуре будет где лгать, лицемерить и умирать 'с честью'».
 12. Ignatieva, M. "Merchants vs. Intelligentsia: The Case of the Moscow Art Theater". P. 105-122.
 13. Большая часть купцов-мecenатов происходила из старообрядческих семей (Морозовы, Третьяковы, Мамонтовы, Щукины, Алексеевы, Рябушинские). Активное участие религиозной оппозиции в благотворительных проектах может объясняться еще и возвращением староверам гражданских прав, которых они были лишены со времен реформ патриарха Никона, полагает В. Ильин (В. Ильин. «*Старообрядческий вопрос в Российской империи 1666-1905гг.*»). Д. Жуковская добавляет: став серьезной экономической силой, купцы-староверы поддерживали деятелей искусства из здоровых патристических чувств, веря в свою миссию развития и приумножения творческого потенциала России (Д. Жуковская. «Мecenатство и благотворительность в России в конце XIX – начале XX века»). Ист.: https://historicus.ru/mecenatstvo_i_blagorvoritelnost.
 14. Masing-Delic, I. "A Bridgeable Schism? The Russian Silver Age Intelligentsia Holds Its Ground, Spruces Up, and Prozelitizes". P. 123-148; Sobolev, O. "Landmarks – the Russian Intelligentsia at a Crossroads". P. 149-164.
 15. Humburg, G. "The End of the Classical Intelligentsia". P. 165-187.
 16. Partan, O. "The Russian Knights Templar: A Secret Order and its Legacy". P. 188-210.
 17. Any, C. (Windley) – "Remaking the Literary Intelligentsia (1930s – 1940s)". P. 211-228.
 18. Forrester, S. "The Soviet Intelligentsia and the Thaw-Era Science Fiction". P. 229-244.
 19. Под ухищрениями понималось: идеологически правильно составленное предисловие, восхваляющее достижения компартии и обличающее капитализм; серая бумага, на которой печатались книги; «второсортность» жанра, скромные тиражи книжных изданий (при упоминаемой Forrester цифре 3,5 миллиона образованных людей тиражи едва достигали нескольких десятков тысяч; таким образом, книги оседали в крупных городах и почти не достигали своего читателя в провинции) и др.

20. Позднее за выдержанную в правильном идеологическом духе трилогию «Пряслины» Абрамов получил Государственную премию.
21. Adamovich, M. "The Intelligentsia and the Thick Journals". P. 245-263.
22. Smith, A. "A Romantic Ironist or a New Intellectual? Tatyana Tolstaya and Her Critique of the Russian Intelligentsia". P. 264-286.
23. Clark, K. "The King is Dead, Long live the King. Intelligentsia Ideology in Transition". Yale University: *Comparative Literature*.
24. Khagi, S. "Ulitskaya and Pelevin on the Shestidesiatniki". P. 288-311.
25. DeBlasio, A. "The Intelligentsia and the Intellectuals: A History of Two Terms in Russian Philosophical Discourse". P. 312-333.
26. Smorodinskaya, T. "Russian Intelligentsia on screen and Online in the first Decades of Twenty-First Century". P. 334-349.

Бахыт Кенжеев. Избранное: 1972–2024. New York: Freedom Letters. 2025. 438 с.

Нью-йоркское книжное издательство выпустило четырехсот-страничное «Избранное» Бахыта Кенжеева. Поэт успел составить сборник, но увидеть его уже не смог.

Фотопортрет поэта на первой странице обложки выполненный Владимиром Эфроимсоном; строгое, скупое оформление издания; большой формат, качественная бумага и удобный шрифт, выверенная корректура, – всё это располагает к долгой жизни книги. Надеемся, что в переизданиях, если они последуют, обложка будет заменена твердым, надежным переплетом.

Книга открывается очерком Сергея Гандлевского «О Бахыте». Это больше мемуарный текст, нежели обзорный или стиховедческий. О стиховедении касательно Кенжеева со всей обстоятельностью когда-нибудь напишут потом; пока же придется ограничиться беглыми наблюдениями – и дело тут не столько в близкой человеческой утрате или в неготовности к академическому подведению итогов, а в том, что Кенжеев – слишком живой для такого рода штудий.

Дружба, прошедшая через долгую жизнь, определила задачу и мемуарную форму текста Гандлевского, но, опытный эссеист и прекрасный поэт, он называет (без этого всё же не обойтись) читателям главные черты кенжеевской лирики: ироническую легкость, эрудицию, биографичность, дружественность к «классикам и современникам». Упоминаются, конечно, сверстники из группы «Московское время», но и подразумеваются – по старшинству – питерский «волшебный хор», близкий во многом Лев Лосев, Окуджава, Арсений Тарковский (памяти которого написаны пронзительные, болевые стихи). Мандельштам и Ходасевич... пушкинская плеяда... далее везде.

В поэтической генеалогии Бахыта Кенжеева главное – интонация, с которой он так легко становится своим и для классиков, и для современников. Интонация эта, как теперь видится, была сходной для Сергея Гандлевского, Александра Сопровского, Алексея Цветкова. Никакой, пусть даже условной, романтики, никакого распада формы,

которому так противился незадолго до смерти еще Пастернак в «Людах и положениях». Никакого конформизма и эзоповщины, столь характерной для многих шестидесятников и многих начинающих в семидесятые. Зато у этой четверки – чувство настоящей свободы, ясность просодии, гармоническая дикция... и, конечно же, высокая игра со Словом. То, что при зарождении называлось постмодернизмом. Непринужденная интонация, с которой прививают, по Ходасевичу, классическую розу изящной словесности к позднесоветскому и постсоветскому дичку. А чего в ней больше – минутного столичного сленга или возврата к традиционной архаике – решать уже нам.

Например, Кенжеев, 1973 год:

А. Цветкову

Ты медленно перчишь пельмени
в столовой и медленно ешь.
Они что в Москве, что в Тюмени,
и где он, желанный рубеж?

Скажи мне, работник печати,
сумел ты составить вполне
систему правдивых понятий
о нашей счастливой стране?

Умеешь ли в сердце поэта
вобрать пятилетки размах?
Умеешь ли выразить это
в добротных сибирских стихах?

Мне грустно – за эти три года
я чувствовать рядом привык
огонь твоей горькой свободы,
похмельный ее черновик.

Пиши мне – напутствия кратки.
Господь да пребудет с тобой,
играющим в прятки с судьбой
под запах отечества сладкий...

А вот, Цветкову же посвященное, из Сопровского, год 1976:

Налей и за старое выпей.
Наплюй на уик-энд и поп-арт.
Уже сочиняет нам гибель
Какой-то февраль или март.
Затем нас не глядят по шерстке,
Что сказано: время – вперед! –

И ласточка взором пижонским
Обмерила твой самолет.

О чем тебе снится, покуда
Два неба в раструбах очес,
Пока я с надеждой на чудо
В прожекторах ночи исчез.
Я сгинул под зимние грозы
В родном до проклятья краю...
Березы, березы, березы
Судьбу обступили мою.

Дворы наши в желтых сугробах,
Шурша, догнивает листва.
В беззвездных туманах багровых
Метелями бредит Москва.
Кому-то срываться в рыданье,
Хватаясь за воздух рукой,
Кому-то стекаться рядами
На сбор за Непрядвой-рекой.

Мы сдохнем на черной равнине
В расстрелянной светлой дали,
Обнявшись, как братья родные,
Чтоб чистой волной позывные
Сквозь крупчатый воздух прошли.

Присмотримся: вот общий трехсложный амфибрахий, который при чтении переходит от одного стихотворения к другому. Близкий разговорный зачин (пельмени под рюмочку – какой цимес!). Кенжеев: «счастливая страна», и Сопровский: её позывные. «Пятилетки размах» у Кенжеева (скрытая отсылка к пастернаковскому «И разве я не мерюсь пятилеткой...») и «время – вперед» у Сопровского (и у Маяковского, разумеется, ибо тут давние, еще с ораторских революционных лет, пароль и отзыв, сближение и отталкивание). Более того, из каждого советского радиоутога несло убеждающее: «Потому что у нас каждый молод сейчас в нашей юной, прекрасной стране!» И, конечно, ни Кенжеев, ни Сопровский пройти мимо этого никак не могли...

Вот самое настоящее искусство поэзии, вот заново преображенная, пересочиненная в позднесоветских условиях *элегическая* интонация; только у Кенжеева, прячась за иронией, она лишена ложного пафоса и сентиментальной слезы.

Се творчество! Безумной птицей
Над зимним городом кружит,
Зовёт с отечеством проститься,

Снежинкой дивною дрожит.
И человеки легковерны
Охотно поддаются на
Ее призыв высокомерный,
Как будто истина она.

Конечно, мы помним классическую формулу, такой же четырехстопный ямб: «Цель творчества – самоотдача». Но Бахыт Кенжеев в своей *пьесе*, предвидя судьбу беллетриста или живописца, далее пишет:

Проходит день, и две недели,
У беллетриста бледный вид.
Он над бумагой, не при деле,
С утра до вечера сидит.
Гоненья, смерть – ему неважно,
парит в безбрежной синеве,
И вдохновенья холод влажный
Ползет по лысой голове.

<...>

Проходит год, и два, и восемь.
У живописца бледный вид.
Он за столом в глухую осень
С бутылкой крепкого навзрыд.
А где же творчество? Угасло!
А где возвышенная цель?
Всё позади. Осталось масло,
Мольберт, бумага, акварель.

Это уже из книги «Осень в Америке» (1988).

Наверное, в нынешнее время какой-нибудь условный Ленский, потерпев неудачу на лирическом поприще, подался в прозаики – и даже не стал приличным беллетристом. Да и живописец, судя по всему, ни ремеслом, ни мастерством не блеснул. Получилась вполне ироническая элегия, да еще и с пародийным сюжетом.

Двигаясь в чтении кенжеевского «Избранного» от раздела к разделу, мы видим, как почти потерянный жанр усложняется и актуализируется. «Осень в Америке», открывшая нам зрелого, замечательного поэта, сменяется большим циклом «Послания. Монреаль» (1989). Адресаты: Александр Радашкевич, Юрий Милославский, Михаил Моргулис, Дмитрий Александрович Пригов, Саша Соколов, Тимур Кибиров... Белый пятистопный ямб, немного, для возлияния, разбавленный пиририем, двенадцать стихотворений, двенадцать адресатов; эхо пушкинское, легкое, по духу – моцартианское. И завершается цикл пушкинскими литературными сюжетами:

Уже, наверно, франты молодые
 в дурацких котелках, по новой моде
 слоняются бульварами. Поэт,
 чуть улыбаясь, смотрит с постамента
 чугунного... а глупые студенты,
 хихикая, перевирают строки
 про милость к падшим... подлая цензура
 и здесь успела – даже после смерти
 не убежал твой славный соименник
 из лап её...

В каждом послании ставшая традиционной для Бахыта Кенжеева элегическая интонация то входит в противоречие, то сближается с бытовым, ежедневным словарем. Автор смешивает понятия и предметы из разных времен и мест, нисколько, казалось бы, не заботясь о конечном результате. Нынешнее словцо «коммерсант» вдруг оборачивается архаичным «купцом». Продается «завод по выпечке пшеничных караваев из теста замороженного», «социалисты... во фраках, при шёлковом белье, при сапогах начищенных»), а главный герой, то бишь автор, – «раздает бесплатные буханки чиновникам, артельщикам, министрам...») Пастухи, синие джинсы, прерии, Новый Йорк, номер «Русского богатства» в сумочке, Москва, мастеровые мещане, смирновская водка, франты в дурацких котелках. Не правда ли, гротескная, чуть ли не от Павла Андреевича Федотова, картина вымалёвывается?

Причем, что очень важно, у каждого послания – свой лирический и бытовой сюжет, привязанный лишь к одному адресату, и других он не касается. Продления или повторы исключены, авторский подход или прием только на первый взгляд представляется общим для всего цикла. И тут мастер Кенжеев, используя «живой великорусский язык», в архаическую форму вкладывает вполне актуальное, новаторское содержание.

Кенжеев о своем труде писал много, но, пожалуй, откровеннее и серьезнее всего – вот такое высказывание, из цикла «Век обзлѣнного вздоха» (1987–1989):

Каждому веку нужен родной язык,
 каждому сердцу, дереву и ножу
 нужен родной язык чистоты слезы –
 так я скажу и слово свое сдержу.

Так я скажу и молча, босой, пройду
 неплодородной, облачную страной,
 чтобы вменить в вину своему труду
 ставший громоздким камнем язык родной.

<...>

Что ж – отдирая корку со сжатых губ,
превозмогая ложь и в ушах нарыв,
каждому небу – если уж век не люб –
проговорись, забытое повторив

на языке родном, потому что вновь
в каждом живом предутренний сон глубок,
чтобы сливались ненависть и любовь
в узком твоём зрачке в золотой клубок.

Возможно, это, как у многих, напрямую обращающихся к предмету своего труда, произнесено слишком патетично. Но тут поэт, возражая собственной усвоенной интонации, предлагает себе – и нам – от сленговых, ложных и минутных наслоений нелюбимого века вернуться к забытым урокам, к изящной словесности как она есть. Мотивы бытования в нелюбимом веке и ухода вспять являются для стихотворения, да и для всего цикла, ключевыми.

С годами, от цикла к циклу, от книги к книге, поэтика Бахыта Кенжеева меняется. Прежняя, юная элегическая ирония отступает, прячется за новыми приемами, темами, сюжетами, жанрами. Лирика становится строже, жанры сложнее, сюжеты разнообразнее и многозначнее. Взгляд поэта на мир и на всё происходящее в мире приобретает жёсткость и драматизм. Даже «фирменная» авторская дикция, при ее легкости и гармоничности, становится скупее и расчетливей. Это ни в коем случае не уход в «алгебру», но дополнительное знание себя и своего труда. Меняется и отношение к городу – Москва, Питер, Нью-Йорк, Монреаль, etc. – узнаются топографически и лирически, приобретают точные, только им присущие бытовые черты. Тут, опять же, актуален предметный опыт Бориса Пастернака, его учительство. Рискнем сказать, однако, что начальные годы группы «Московское время» и, конечно, Бахыта Кенжеева, все семидесятые, совпали с вершинами прозы Юрия Трифонова, с его повестями «Обмен», «Дом на набережной», «Другая жизнь», с итоговым его романом «Время и место». И с осторожностью предположим, что поздний трифоновский метод косвенно совпал с поэтикой Бахыта Кенжеева.

Вот завершение книги 2000 года «Снящаяся под утро»:

Керосинка в дворницкой угловой
да витает слава над головой –
одному беда, а другому голод,
у одних имущества полон дом,
а кому-то застит глаза стыдом
и господским шилом язык проколот.

И один от рождения буквоед,
а другому ветхий стучит завет

прямо в сердце, жалуясь и тоскуя.
Голосит гармоника во дворе.
Человек, волнуясь, чужой сестре
сочиняет исповедь земляную.

Человек выходит за табаком,
молоком и облаком, не знаком
ни с самим собой, ни с младенцем Сущим.
Остается музыка у него,
да язык, да сомнительное родство
с пережившим зиму, едва поющим

воробьем обиженным. Высоко
он проносит голову, глубоко
в ней сидят два ока, окна протертых,
а над ним, невидим и неведим,
улыбаясь Марии, Господь один
равнодушно судит живых и мертвых.

О чем или о ком написано стихотворение? Ускользящий, словно в ночном сне, от прямого прочтения сюжет определить трудно, это, скорее всего, историографическая зарисовка, давние времена дворовых гармоник, нищих керосинок, скудной пищи, недостатка электричества. Встреча двух, в беде и голоде под стать временам, очень близких по духу персонажей – живущих в том же, как у автора, родном языке. Очень важно: вслед за взглядом автора сюжет стихотворения восходит от дворницкой, мимо табачной и молочной лавок, к облачному небу. Может быть, он будет яснее, если припомнить тут же Осипа Мандельштама начала тридцатых (не о нем ли идет речь?), его дворницкую на Тверском, его встречи с Арсением Тарковским, «курву-Москву» – и стайки воробьев, ласточек, щегловитого щегла...

В новейшие времена Бахыт Кенжеев выпустил более десяти книг, стихи из которых, с большей или меньшей полнотой, собраны как циклы в представленном посмертно «Избранном». Вот некоторые из них: «Невидимые» (2003–2005), «Крепостной остывающих мест» (2006–2008), «Элегии и другие стихотворения» (2013–2016). Читая их, мы понимаем: поэт достиг такого уровня профессионального мастерства и такой лирической щедрости, что, наверное, уже невозможно выделить ту или иную. Но прочтем хотя бы вот это, из книги «На долгом ящике Пандоры», написанное за год до смерти:

весенние дни становились длинней
а хрупкие ночи — бесценней
мы жили среди говорящих теней
поющих зверей и растений

смородина зрела и друг баклажан
блистая боками на грядке лежал

белел в отдалении парус тугой
как словоохотливый демон
и даже цветков мизантроп и изгой
считал эту юность эдемом
куда она делась зачем унеслась
блаженная словно советская власть

спи время мое незлопамятный лед
прививка от вечного горя
билет прикуплю на ковер-самолет
нацелюсь на Мертвое море
где вобла укутана в вязкий тузлук
не ведает встреч и не чает разлук

не там ли безглазая речь солона
когда сплетена из вискозы и льна
слезинки чужого ребенка
стирается рвется где тонко
и вдруг понимаешь всеислен аллах
но вряд ли он смыслит в подобных делах

Не хочется впасть в бессмысленную патетику, но ясно, что Бахыта Кенжеева читали, читают и будут читать всегда. И главная моя задача как автора изложенных наблюдений – этой «не только рецензии» – выразить бесконечное уважение и любовь к большому мастеру.

Евгений Сухарев
8-16 июля 2025, Эрфурт, ФРГ

Елена Холмогорова. Недрогнувшей рукой. М.: АСТ, Редакция Е.Шубиной. 2025.

Даже замысел написать книгу о собственной жизни кажется мне рискованным. Тем более воплощение этого замысла, доведение его до конца. Да ведь это прыжок с парашютом! А кто знает, откроется ли он? Мандельштам говорил, что делит все книги на «разрешенные и написанные без разрешения». Книга Елены Холмогоровой написана «без разрешения». Она – сгустившийся воздух пережитого, тишина потеря, летопись теперь уже неблизкого времени. Замыслом этой работы движет не выдумка, не изобретательность, а что-то большее, что хочется сравнить с работой многих и многих пчел, которые трудятся, следуя тайной цели и не теряя ее из виду, хотя глаза их, кажется, и не смотрят в ее сторону. Сознание человека, устремленного к

искренности, но знающего, что одним этим добрым, детским качеством всё равно не обойтись, напоминает сновидение, которое не забывается никогда. Холмогорова понимает, что в жизнь родной семьи нельзя войти, как в русло пересохшей реки, нельзя подменить живые лица слепками, а живые голоса, обрывками шепота, тающего в потеплевшей от нежности памяти. Она выбрала путь негромкого разговора с собой, прежде всего с собой, а потом уже с теми, кто будет читать.

Большинство армянских сказок заканчивается так: с неба упало три яблока. Первое – тому, кто рассказывал, второе – тому, кто слушал, а третье – тому, кто понял. Бутылка с запиской внутри брошена в глубоководную воду. Книга о собственной жизни завершена и покоряется суду посторонних людей. Я читала ее, стараясь обнаружить то, *как* она была написана, а не то, *как* ее прочитает большинство. словно в детской игре, когда поиск спрятанного предмета сопровождается восклицаниями «холодно», «совсем холодно», «теплее», «еще теплее»; я перебирала страницы и вдруг почувствовала чистое и громкое биение пульса. Книга начала пульсировать: вот оно. «Оно» – это слово, единственно верный, никогда не подводющий материал. Холмогорова вспоминает, что никак не могла одолеть таблицу умножения, и «тогда отец придумал хитрый способ: он расчертил лист ватмана на клеточки и на каждое действие придумал задачку. Со *словом* (Курсив мой. – И.М.) дело пошло куда лучше. Кое-что помню до сих пор. Вот мой любимый пример: ‘По лестнице идет пьяный. На лестнице семь ступенек. На каждой он споткнулся по четыре раза. Сколько раз споткнулся пьяный?’ И на вопрос, сколько будет семью четыре, я бойко отвечала ‘пьяный споткнулся двадцать восемь раз’». Писать о потере так же трудно, как писать о любви. Потеря жжет через годы, они не помеха. Елена Холмогорова наделена особым талантом: она *просто* пишет обо всем. О самых тонких, самых болевых переживаниях, когда защитный слой лет истончается настолько, что просвечивают нервные окончания: «Я живу без него тридцать лет и три года. Но не могу писать об отце. Потому что сейчас, когда я старше его, когда и мамы нет на свете, когда я стала, наконец, понимать его и когда именно сейчас мне хотелось бы по-настоящему поговорить с ним. Но теперь я могу только заполнить клеточки некогда начертанной им таблицы умножения, ставшей для меня таблицей умножения любви.»

Литературная грамотность отнюдь не совпадает с обычной, то есть с умением узнавать буквы и складывать их в слова. Боюсь, что процент читающих, которым не доступна литературная грамотность, не только не уменьшается, но стремительно растет под давлением интернета, искусственного интеллекта и прочих хитроумных, бездарных затей изворотливого человеческого рассудка. Дешевые возбудители поверхностного интереса, отвратительные неологизмы, враждебные самой языковой стихии русской речи, «правят бал», и человек, утверждающий, что ему «всё равно», на каком языке разгова-

ривать, глубоко заблуждается. Нет, не всё равно. Так же, как не всё равно, сама ли ты выносила своего ребенка, или просто присутствие-вала при родах суррогатной матери. О, разумеется, ты полюбишь этого ребенка, ты воспитаешь его, он даже будет похож на тебя, как две капли воды, но что-то нарушено в этом рождении, в этом чужом вынашивании (родившая подписывает бумагу – страшную, если вдуматься, и уходит в никуда, хрустя денежными знаками в сумочке), нарушена нормальная «цельная жизнь». Вся книга Елены Холмогоровой отстаивает (часто между строчек) эту *нормальную цельную жизнь*. Когда она пишет о том, как приехала в Израиль провести там отпуск, а на следующее утро началась война, она не говорит, что ей не было страшно, но обронив загадочную фразу «впрочем, и к личным переживаниям можно отнестись по-разному», цитирует митрополита Антония Сурожского: «Я помню, я лежал на животе, был май месяц, стреляли над головой, я делался как можно более плоским и стал смотреть перед собой на единственное, что было: трава была, и вдруг меня поразило: какая сочная, зеленая трава, и два муравья ползли, тащили какое-то маленькое зернышко. Я загляделся, и вдруг на этом уровне оказывается жизнь, нормальная, цельная жизнь. Для муравьев пулеметов не было, стрельбы не было, войны не было, не было немцев, ничего не было, была крупица чего-то, что составляло всю жизнь этих двух муравьев и их семейств». Это сразу напоминает духовное пробуждение князя Андрея, раненного на поле Аустерлица: «Над ним не было ничего уже, кроме неба, – высокого неба, не ясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем серыми облаками. Как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как я бежал, – подумал князь Андрей, – не так, как мы бежали, кричали и дрались... Как же я не видел прежде этого высокого неба?»

Елена Холмогорова написала *большую* книгу. В ней нет страха перед конкретным собеседником, нет надежды на того «друга в поколении», которая необходима большинству авторов; она настояна на честности и добросовестности самого высокого толка. Ее простое и чистое слово справилось со своей задачей: оно стало разумной плотью, живым источником, к которому хочется наклониться как можно ниже и зачерпнуть из него полную горсть, утоляя собственную жажду.

Ирина Муравьева

Год поэзии 2024. Составитель Виктор Фет. Обложка Николая Сологуба. Київ: Друкарський двір Олега Федорова. – 620 с.

Я пишу эти строки о сборнике стихов военного времени, а вокруг происходит фантазмагория, связанная с окончанием Мюнхенской конференции по безопасности, встречей в Эр Риате, твитами Трампа, ответами Зеленского, паникой в Европе... Вроде бы собираются решать судьбу войны, хотя и очень неопределенно. Но поэты уже всё решили; их определенность куда выше. Об этом книга.

Война не располагает к изданию стихов в киевском издательстве, написанных на языке противника. Могут не так понять, даже если эти стихи и направлены против самого противника. Однако Виктор Фет (США), составитель, и Олег Федоров (Украина), издатель, это делают третий год подряд. Что само по себе позволяет считать книгу неким памятником эпохи, которых не так много. В сборнике – стихи более чем ста авторов со всего мира (кроме России, ибо их, как представительной страны-агрессора, в Украине печатать нельзя). Написать о всех из них в короткой заметке невозможно. Я цитировал и цитирую многих из них в других своих текстах. А здесь подробнее остановлюсь лишь на трех авторах, которые совершенно по-разному раскрывают тему, если так можно сказать.

...А пруд, где я тебя пугал
к мосткам прибившимся жуком?
Там покорёженный мангал
присыпан пепельным песком.
Они, которых «тьмы и тьмы»,
взорвав, разграбив, порубив,
уже убили всё, что мы
обжить успели, полюбив.
Я тоже умер, если что.
Теперь я – видеомонтаж.
Взамен потёртого пальто –
на мне солдатский камуфляж.
Не тронь: я – трэш, я нехорош,
я не из тех, кто ищет слёз.
На свет не выйду – обомрёшь:
мне полбашки осколок снёс.
Я – только тело среди тел,
что в яме общей сплетены,
и, если честно, лишь затем
я отделился от стены,
с трудом дождавшись темноты,
боясь не вовремя позвать,
что можешь ты и только ты
меня по шраму опознать.

Ирина Евса

Трудно себе представить более мощное и выразительное отражение трагедии происходящего. В нескольких строках Ирина Евса показала самое главное: разрушенную войной страну; прерванную смертью любовь; отсылку к общим и для влюбленных, и для оккупантов классическим образам («тьмы и тьмы», о которых Блок недвусмысленно писал сто лет назад и которые неожиданно пришли в Украину, позабыв как-то, что и им «доступно благодество»), что дела-

ет эту войну отличной почти от любых иных; высшую деликатность погибшего, не желающего «попусту» (т.е. по факту смерти!) беспокрить возлюбленную и намекающего на то, что нет других, кто знает его какой-то особый шрам на теле... Слова поэтессы сильны, точны и безжалостны.

– Я покину, – сказал он, – хлипкую эту лодку.
Сил всё меньше день ото дня.
Мне война запускает костлявую руку в глотку
и вычёрпывает меня.
Там, внутри, уже – ни листочка, ни лепесточка,
ни обрыва, ни пустыря.
Посмотри, – говорит, – легка моя оболочка,
легче рыбьего пузыря.
Я уже не читаю книг, не включаю телик.
За харчами – и в норку юрк.
Я – законченный псих, затравленный неврастеник.
И не в помощь ни Фрейд, ни Юнг.
Соскреби нас, Господь, стальным своим мастихином
до земли сырой, до тьмы.
И не надо стихов – какие теперь стихи нам? –
только бдение и псалмы...

А еще он сказал: «Когда я рассыплюсь в этом
судном взрыве на горсть песка,
собери меня, Боже, заново – не поэтом,
а зрителем маяка,
что уверен в одном: не тьма управляет светом, а его рука».

Отчаяние, скорбь, непреходящая боль. Поэт не может найти достойного собеседника, сопоставимого с масштабом катастрофы, кроме Господа. Оптимизм есть, но запредельный – после пересборки из горсти песка. Однако вдруг и раньше что-то получится? «Но у тебя, Господь, есть же какой-то план?» Надежда на «план» переключается с личной на глобальную: «Господь, – он шептал, – она / должна развалиться на / участки и племена»; «И все мои страхи, сны, / желания сведены / к рассеянию страны, / покинувшей зону света».

Эти темы сострадания к бедствиям и ненависть к оккупантам переходят в книге, как в сообщающихся сосудах, от автора к автору, от стиха к стиху. Но сама ненависть тут в высшей степени своеобразная – ведь кто пришел на твою землю? Те, кто говорят на языке, который ты прекрасно знаешь; те, с кем и ты сам, и твои родители и деды прекрасно уживались; те, чью культуру ты изучал в школе и знаешь ничуть не хуже своей, а даже, может, и лучше. Боль от всего этого абсурда становится совсем невыносимой и порождает удивительные строки.

Вот Андрей Костинский: «...и если б сам себя вдруг встретил, ска-

зал бы: «одного из нас ведь нет»... «нашел детей игрушки – зайку, мишку – /лежат, спасённые волной взрывной. / Вселенная – как теремок – домишко, / впускает с ними дом погибший мой». «Когда ты уезжала из Харькова, / наш любимый город / обстреливали из всех орудий, / бомбили самолетами – как в 41-м, 80 лет назад, / когда твоя бабушка / точно так же уезжала из него, / разрушаемого такими же идеологами.» У него отношение к врагам осознанное; он не обвиняет «Ваньку взводного», он видит глубже, отмечая в русской культуре имперскую агрессию. Разбомбили театр в Мариуполе, повесили огромную заставку на фронтоне, где идет восстановление здания, на которой портреты Пушкина, Гоголя, Толстого...

Марина Эскина не была под бомбами сама, она живет в спокойном Бостоне, но:

Сны мне выхолостила война –
этой шлюхе пришлось отдать
параллельную жизнь, что во снах жила, –
ни отец не снится, ни мать.
Даже друг не снится, какие сны,
когда ночью в Украине день,
никакой ностальгии – горя, вины
шапка полная набекрень.
Не боец я словесных и прочих битв,
я – улитка на склоне Фудзи,
кроме Оккама, много есть разных бритв,
но судьба сказала: ползи.
Мне не нужен ни флюгер, чтобы найти
направление, ни GPS,
если зло окажется впереди,
обойду по краю небес.
Обыграю тихим ходом его,
даст Бог, переживу вождя,
хоть улитку так раздавить легко
теплым утром, после дождя

Здесь всё предельно точно: «какие сны, / когда ночью в Украине день». Вслушивание в новости занимает огромное время каждый день, вот уже несколько лет; ты не можешь оторваться, как будто от тебя что-то зависит. Но в реальности – «улитку так раздавить легко»... Она нашла нужные слова, чтобы подчеркнуть безумие происходящего:

Я могу только запинаться
и ответить воющей заумью
на зияющий ужас ясности
отражённый твоими глазами
нет, не сто, десять тысяч лет назад,

мир, ты так же сегодня чудовищен...
ямб, хорёк, амфибия... что еще
дыр бул шыр я могу сказать

Язык словно заплетается; классические стихотворные размеры, изучаемые на уроках русского языка, превращаются в зверьков, а потом и в заумь.

Отголоски утерянного былого раскиданы по всей книге: «И за шесть гривен не возьму / в мечтах летучую пролётку. / Сыграли в русскую рулетку – / убили молодость мою» (Нина Гейдэ); «И я лечу ожог Цветаевский / слезами Леси Украинки.» (Денис Голубицкий); «...где эта улица, где эта ночь, / где эти дни, улетевшие прочь?» (Виктор Фет). Авторы сборника – последнее поколение тех, кто помнит лучшее из прошлого, которое беспощадно убивают на кровавых полях Украины. Дети и внуки этих поэтов уже не будут цитировать Крученых, Пастернака, Цветаеву или песенку из фильма тридцатых годов. Сборник, быть может, предвещает тектонический сдвиг культуры.

Порой трудно понять, о какой из войн пишут авторы, – в Израиле ведь тоже идет война, и многие из поэтов живут там. Кого оберегают ангелы-хранители Дины Меерсон?

Граждане, тихо, не возмущайтесь, граждане.
Ангел-хранитель положен по штату каждому.
Достанется всем в порядке живой очереди.
Каждый ангел проверен: исправен, крылат и прочее

Войны разнятся лишь в политике, но не в поэзии: их истинное лицо всегда одно, и оно отвратительно. В книге нет патетики, нет дешевой пропаганды, даже нет похвал героизму. В ней есть картины бойни, сродни полотнам Отто Дикса, изредка перемежающиеся светлыми образами возможного будущего в стиле букетов Одилона Редона, на которых яркие цветы помещены в загадочный и мрачный фон.

А еще в книге есть прекрасная любовная лирика, мрачный юмор и многое другое, о чем нельзя рассказать в двух словах. В ней есть та неуловимая субстанция, которая, несмотря на приевшийся афоризм про музыку и пушки, жива и которая способна пробуждать и слезы, и сопереживание, и тягу к жизни. Пройдут года, какой-никакой мир установится в этой части земного шара, но книга останется ярчайшим свидетельством того, что люди по-настоящему чувствовали в тяжелейший период истории.

Игорь Мандель

The New Review / Novyi Zhurnal is the oldest continuously published Russian-language literary quarterly

The New Review Inc. gratefully acknowledges the support of our loyal friends:

Patrons: Russian Nobility Association in America;

Benefactors: Mrs. Larisa Vulfina & Mr. Yan Vulf; Eli & Ludmila Flam Living Trust;

Sponsors: Mr. Vitaliy Pavlyuk; Mr. Alexandr Neratoff; The Tcherepnine Foundation Inc.; American-Russian Aid Association “Otrada”;

Fellows: Mr. G.Mesniaeff; Mr. A.Nemirovsky; Mr. V.Torchilin;

Friends: Mr.&Mrs. G. Cheron; Ms. R. Nuzhdenko.

The complete list of Fellows&Friends see at: <http://newreviewinc.com/fundraising-2022>

It requires the support of loyal friends for year 2026:

Patron – \$ 5,000 and up

Benefactor – \$ 2,000 and up

Sponsor – \$ 1,000 and up

Fellow – \$ 500 and up

Friend – \$ 100 and up

The Internal Revenue Service has determined that The NEW REVIEW, Inc. is a tax-exempt organization and a «public charity». Contributions to The NEW REVIEW, Inc. are tax-deductible in the USA.

Checks must be made payable to

THE NEW REVIEW
1216 Broadway, 2nd floor
New York, NY 10001

Additional information: https://newreviewinc.com/podpiska_subscription

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Москва, Россия: Андрей Красильников – 111024 Москва, а/я 61

Санкт-Петербург, Россия: Евгений Голлербах – тел.: 7-921-940-0421

Израиль: Марина Кособок-Полонски: Polonskybooks@gmail.com

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» МОЖНО КУПИТЬ:

Polonsky Books: Haifa, Huri Street, 2, Migdal ha Nevi'im, Israel;
+972 55 968 24 16

На сайте журнала через PayPal (страница: Подписка)

Вы можете оформить подписку на журнал, в том числе электронную.

Подробности на сайте: www.newreviewinc.com (Подписка)

Вся информация об авторах НЖ на сайте The New Review Inc.

<https://newreviewinc.com>

e-mail: newreview@msn.com newreviewinc@gmail.com

Новый Журнал THE NEW REVIEW

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ на 2026

Подписная цена (4 книги, включая пересылку):
для университетов и организаций
в США – \$ 160.00, за границу – \$ 220.00
(10% скидка для подписных агентств)

Индивидуальная подписка
(4 книги, включая пересылку):
в США – \$ 85.00, за границу – \$ 130.00

Цена отдельного номера – \$ 16.00
дополнительно за пересылку:
в США – \$ 7.00, за границу – \$ 37.00

E-access на год – \$ 185.00

Комбинированная подписка на год
(E-access и 4 журнала)
в США – \$ 320.00
за границу – \$ 360.00
(10% скидка для подписных агентств)

Все подробности о подписке на сайте
www.newreviewinc.com (Подписка)

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В РЕДАКЦИЮ:
The New Review
1216 Broadway, 2nd floor, New York, NY 10001

Телефон редакции: (212) 353-1478
www.newreviewinc.com
newreview@msn.com
newreviewinc@gmail.com
